

Конст. Федин

Конст. Федин

3

**Государственное
издательство
художественной
литературы**

Конст. Федин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

Конст. Федин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТОМ ТРЕТИЙ

БРАТЬЯ

Роман

НАРОВЧАТСКАЯ ХРОНИКА

ТРАНСВААЛЬ

Повести

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

Примечания
Б. БРАЙДИНОЙ

БРАТЪЯ

Роман

Прощай, прощай, и если
навсегда, то навсегда прощай!

Байрон

*Моей сестре —
Александре Александровне
Солоониной*

ОДНА НОЧЬ

Глава первая

Доктор Матвей Карев к пятидесяти четвертому году своей жизни устал от славы, от работы, от самого себя. Он был профессором, но не любил ни этого звания, ни самого слова «профессор». После обхода своего отделения в громадной, безнадежно грязной от ветхости больнице, после занятий со студентами, после визитов к больным он возвращался домой. И тут, почти всегда, — в сумраке большой, увешанной картинами приемной комнаты, — возникала перед ним зыбкая человеческая тень, и голос, исковерканный страхом, надеждой и лестью, падал ему навстречу:

— Профессор, ради бога!..

Тогда он горбился, голова его тяжелела, в серой мути сумерек еще снежнее делалась его седина, и он в двадцатый раз за день шел к умывальнику мыть руки.

Несколько лет подряд он складывал в книжный шкаф бювары, папиросницы, ножи для разрезания книг — золотой и серебряный мусор, исчищенный граверами, — складывал так, чтобы не попадалось на глаза слово *профессор*, засовывая вещи поглубже на книжные полки, за книги и альбомы.

Но все-таки на его столе громоздился нескладный письменный прибор с мемориальной доской из золота:

*В день двадцатипятилетия
ученой деятельности
профессора... —*

и на крышках чернилниц сидели корявые, непохожие на живых, божьи коровки из рубинов.

Иногда его вызывали в Москву, на консультацию к какому-нибудь больному, жизнью которого дорожили. Приезд его в Москву делался скоро известным, и два-три дня его возили по сутулым мостовым на извозчиках, и он так же, как дома, часто и подолгу мыл руки.

Дома его ожидали записочки, городские телеграммы и скучный рядок телефонных номеров, выведенный женской рукой в настольном блокноте.

Все случаи, по которым обращались к нему, бывали неотложны, он привык к этому и почти никогда не торопился, так что походка его давно уже стала грузноватой. В пятьдесят четыре года доктор Карев устал. Он полюбил домашние праздники, нечаянные семейные события, загородные поездки. Внезапно, вечером, он привозил с собой плетеную корзину, туго перетянутую шпагатом, набитую разнокалиберными свертками, пакетиками. Он сам смотрел за тем, как приготавлился стол, разворачивались розовые, голубые, серые бумажные картузы, открывались коробки и бутылки.

Потом, в передней комнате, он снимал с телефона трубку, говорил прислуге:

— Меня нет дома, — и шел в комнату дочери.

И вот, когда он вводил свою дочь в столовую и включал свет, когда дочь смешно всплескивала руками и вдруг угловато, по-ребячьи, бросалась к столу с криком:

— Папа! А инжир есть? В сахаре? — Доктор Карев стягивал на губы седые с прожельтью усы, точно стыдясь улыбки, и глуховатым голоском загадочно говорил:

— Не знаю, что тут есть, посмотри.

И пока дочь перебирала коробки с ягодами и пряниками, он следил за ней пристально, и лицо его становилось покойней.

— Давай кутить, — говорил он.

Тогда начинался пир.

Бывал он хорош не миндалем и фисташками, дробно хрустевшими на молодых зубах, не рахат-лукумом, в котором сладко вязнул язык, и даже не ореховой халвой — этим вожаденным лакомством школьников.

В продолговатой, слегка похожей на коридор комнате, начинавшей уже дряхлеть, — с проржавленной лампой, с треснувшей облицовкой камина, — вдруг возникало волнение молодости. Всё кругом беспричинно, неясно становилось смешным, все оборачивалось самой веселой, самой забавной стороной.

Весь вечер непрерывно доктор Карев мягко поводил толстыми губами под занавескою седых с прожелтью усов. И только на одну минутку пробегал по комнате сквознячок, когда Ирина, растягивая склеенные рахат-лукумом челюсти, картаво говорила отцу:

— А почему ты не позвал маму? Давай позове-
м? А?

Доктор утирал большой ладонью лицо, ото лба книзу, легкая позевота налетала на него вместе со сквознячком, и он отвечал, чуть медля:

— К ней кто-то пришел, кажется...

Потом снова все молодело.

Да, доктор Матвей Карев с каждым годом больше уставал, с каждым годом больше любил отдыхать. Вот почему семейные праздники в его доме бывали многолюдны и широки, вот почему именины его жены — Софьи Андреевны — устраивались на русский лад: с ужином, танцами, с превеликой стряпней на кухне, с разлитым морем настоек и водок, с чайными трешницами дворникам, швейцару, повару, кухаркам, с бестолочью, беготней, гамом, треском, грохотом — на всю долгую ночь, до зари...

Давно ли потеряли мы в переулках нашей памяти — так легко, словно обронили на проспекте перевязанную шпагатиком покупочку, — окаменело-возвы-

шенный облик Петербурга? Грозные, мятежные и смятенные годы счесали с Петербурга завитушки, пуговицы, папилютки, бантики, и город предстал перед нами в суровой своей наготе. Поблекло, омертвилось великолепие фасадов, застыли обмороженными пальцами недвижимые краны верфей, гавани, порта, и люди, скрюченные холодом, торопились оголеть окоченелый город там, где он был еще прикрыт.

Но нет такого испытания, нет запрета, которые колебали бы людскую веру в воскресение, и люди верили, что город воскреснет, — и — каждому по вере его — город воскрес. Он зашевелил окоченелыми пальцами — со ржавым свистом повернулись краны верфей, он начал дышать, и редкой испаринкой отделился от него дымки и поплыли в рассвет.

И вот уже изо всех щелочек, скважин и трещин, с василеостровских задворков, величественных своими фасадами, лопухами и крапивой, с молочно-бидонной, сыроварной Охты, из деревянного Лесного, из подворотен дворцов и разбитых окошек Рот, — отовсюду полез, повыполз, посочился старомодный, недавно упраздненный Петербург.

Где хоронились завитушки, бантики, папилютки, пуговицы? В каких сундуках были попрятаны, каким нафталином пересыпаны шевиотовые сак-пальто, убранные кружевцами наколочки, департаментские сюртуки, путейские диагональные брючки? Кто извернулся в сыпно-тифозные, застуженные выюгами, измятые голодом и санитарной каретой дни и ночи, кто извернулся уберечь всю эту нафуфыренную ве-тошь, от умиления перед которой разорвалось бы сердце бессмертной калужской просвирни?

Но уже наступают фаланги модисток, закройщиков, портных, уже выгарцевала снежно-полотняная кавалькада парикмахеров, неслышно просеменили, подергивая хвостиками салфеток, полки официантов, и россыпью отмаршировали музыкантские команды приказчиков: так-с, нет-с, да-с! так-с, нет-с, да-с!

— Переделать? Перелицевать? Приспособить?

— Одеколон? Вежеталь? Попудрить?

— Филе-соте? Шато-икем?

— Так-с, нет-с, да-с!

И вот по заплатам торцам проспектов надвигается танкоподобная колымага, обложенная тортами и пирогами, в цветочных горшках, опоясанных крашеной плетенкой, в гортензиях и гиацинтах, и под сахаренным кренделем, закрученным в гигантскую восьмерку и благостно висящим в небесах, триумфально восседают всероссийские Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

Они слегка реставрированы, — стародавние вековушки, — но мудро не поверить в их подлинную молодость, глядя на лоск полированных ногтей или вдыхая свежесть rouge pour les lèvres¹.

О, этот вечер, перед закрытием лавок и пассажей, эта судорожная минута евхаристии, это преддверие, предчувствие торжественной ночи! Трясущейся рукой доцарапывает золотых дел мастер sacramентальную цифру на сахарнице или солонице; в кондитерской укладывают сто сороковой фунт пралине в коробку с «Березовой рощей» Куинджи; в цветочном магазине исколотыми пальцами насаживают на проволочку дохлые папоротники; фруктощик, как скульптор, в последний раз оглядывает корзину с яблоками, виноградом и переворачивает персик гнилым бочком вниз.

Кончено. Закрыты двери, навешены решетки, повернут ключ.

Голубые, розовые, белокипенные именинницы ждут гостей.

Оголтелые трамваи перебрасывают из конца в конец города перешитое, перелицованное, приспособленное и попудренное человечество. С Выборгской стороны в Гавань, с Аптекарского острова на Пески. Даже какой-нибудь новодеревенский отец Геннадий, пребывавший круглый год в состоянии анабиоза, медленно оживает и — во благовремении, купно с матушкой, охраняемый законом республики, — движется, подобно ледоколу, взяв некий твердый курс...

Софье Андреевне Каревой в тот день некогда было поглубже вздохнуть. Усилия всего дома были

¹ Губная помада (франц.).

устремлены к воображаемому, идеальному порядку, в котором должны были бы протекать именины. В доме делалось решительно все, что могло бы с честью войти в энциклопедию российских празднеств. Но каждый понимал порядок по-своему, хватался то за одно дело, то за другое, хозяйничал, суетился за свой страх. И вдруг обнаруживалось, что ничего больше нельзя сделать, что поздно, что множество необходимейших вещей так и останется недоделанным, что гости водопадом рушатся в столовую, что выпита первая смена графинов, расковыряны вилками осетры, сиги и салаты и что сам Матвей Карев, во главе дрессированного табунка молодых докторов и студентов, вот-вот прослезится.

— Тиш-ше, тш-ш!

— Чш-ш! Матвей Василич говорит! Т-ш-ш!

Звенькают ножи по тарелкам, переливается колокольцами хрустальная посуда, нетерпеливо погромычивают на паркете подбитые, ради праздника, набойки студенческих башмаков.

— Т-ш-ш! Ч-ш-ш! Матвей Василич!

— Что ж, господа, — тихо говорит хозяин, опираясь о краешек стола угловатыми костяшками пальцев, — что ж?..

Он стоит, чуть сгорбленный, в старом черном сюртуке, сидящем на нем так, как сидят только докторские, профессорские сюртуки — будто снисходя к общественным предрассудкам, бочком, одним лацканом чуть пониже, на домашний лад. Под усами его и в глазах зыблется смешок, и не понять — смеется ли Матвей Карев над своими словами, или над тем, как заглядывают ему в рот студенты, или над Арсением Арсеньевичем Бахом — ученым биологом и публицистом, который торчит из-за стола, напротив хозяина, каким-то сморщенным опенком.

— Что ж, господа, — повторяет Матвей Карев, — что я могу сказать? Вот давеча, в зале, Арсений Арсеньевич обмолвился, что-де в жизни все закономерно, а русский народ в революцию изменился-де ровно настолько, насколько он и должен был измениться. А я,

господа, даже думаю, что русский народ ни капельки не изменился.

— Ого! — прорывает кого-то после рюмки ерофеича.

— Я думаю, что по-прежнему есть хорошие и плохие люди и что, как мы ни стараемся испортить русский народ, ничего у нас из этого не выходит.

— Святая истина, Матвей Василич! — кричит звонкий, рассчитанный на большую сцену тенор.

Арсений Арсеньевич сосредоточенно прожевывает ветчину. Кажется, что он жует не челюстями, а всем лицом. Оно разбито у него продольными и поперечными морщинками на мельчайшие участки. Ромбики, квадратики, прямоугольнички тонкой желтой кожи шевелятся на лице и в сложнейшей машинной последовательности. От поджарых губ движение передается щекам, со щек наползает на виски, с висков проносится по лбу стремительною рябью и, растаяв на высокой лысине, точно obeжав вокруг головы, снова появляется на губах.

Арсений Арсеньевич внимательно глядит на Карева. Изредка соседи с робкой любезностью подкладывают на его тарелку кусочек ветчины. Не поворачиваясь, привычно-прямо взметнув свой профиль, Арсений Арсеньевич благодарит за ветчину величаво и торжественно, словно приняв диплом какой-нибудь заграничной академии. Он давно знает Матвея Карева, знает весь этот дом, с его прославленной хлебо-сольной бестолочью, с его ритуалом речей и тостов, со всеми слабостями немного путаных, смешных, но — в сущности — хороших стареющих людей.

Он знает, что Матвею Кареву будут мешать говорить, что в его речи все чаще и чаще замелькают слова «русский народ», он растрогается, отуманенными, добрыми глазами — вот так — будет глядеть только на одного Баха, а сам Бах — вот так — будет отвечать на его взгляд сочувственным, несогласным, но довольным взглядом.

Потом Матвей Карев грузновато опустится на стул, поднимет большую рюмку, с понимающей улыбкой

кивнет Баху и размажет указательным пальцем слезу...

Тогда вокруг Арсения Арсеньевича зашестинится сначала почтительный, потом настойчивый, назойливый шумок, стул его окружают полные, зарозовевшие дамы и оставленные при кафедре общей терапии доктора и, все больше наклоняясь к нему, почитатели талантов и каревского гостеприимства станут требовать:

— Несколько слов, всего несколько слов, Арсений Арсеньевич! Пожалуйста! Т-ш-ш!

Засушенной и морщинистой, как лицо, рукой Арсений Арсеньевич миротворно, но с решимостью отклоняет просьбы:

— Нет, зачем же? Ведь мы собрались повеселиться.

И на манер человека, понимающего толк в веселье, говорит:

— Давайте лучше выпьем, закусим... вот передайте мне, пожалуйста... ветчину!

Он глотает рюмку водки, какой-то смерч проносится по его ромбикам, квадратикам, прямоугольникам, губы страдальчески суживаются и вдруг — стертые меловой белизной лица — пропадают. И только большие, немного выпяченные глаза застенчиво улыбаются, словно говоря: «Уж вы простите меня, что я такой морщинистый, невзрачный и сухой, что я не совсем подхожу для ужина и меня вряд ли что позабавит в нашей любительской программе».

— Пусть скажет Софья Андреевна, — предлагает он.

Это случается при самых дверях всеобщего единодушия, когда холодными закусками умерены аппетиты и на буфете за клубился пахучий парок соусов. В треске и звоне сменяемых тарелок поднимается хозяйка дома, именинница, Софья Андреевна.

Не слишком ли покраснелись ее щеки? Так ли молоды глаза и рот? Неужели не стоило усилий взбить волосы с такой легкостью, таким задором?

— Господа, — произносит Софья Андреевна, и рука ее дрожит, чуть-чуть отплескивая белое вино из стакана на пальцы.

И едва открываются ее зубы — видно, что весь ее облик странно повторился в этой шумной комнате, и тотчас головы гостей — мужчин и женщин — поворачиваются в сторону, на край стола, к Ирине. И потом, сейчас же, все переводят взгляды на Матвея Карева, и почти у всех, вероятно у всех, возникает мысль, что чуть уловимое сходство Ирины с отцом волнует больше обновленной в ней материнской красоты.

Софья Андреевна покашливает, пышность ее внезапно кажется неловкой, дыхание коротко перехватывает ей горло. Она вдруг хрипнет и раньше срока сбивается на тост:

— Нашу радость... наше счастье... не можем не выразить нашего счастья, что здесь присутствуют такие представители русской науки, как наш общий друг Арсений Арсеньевич, как Матвей Васильевич... русской мысли... наше искусство тоже...

Софья Андреевна называет по именам добрую дюжину гостей — художника, докторов, старого композитора, тенора, голос ее поднимается, выбросив свободную руку, она показывает на край стола и — в растущем, дыбящемся шуме — кричит:

— Наконец с нами здесь — гордость и слава молодой русской музыки, брат Матвея Васильевича Никита Карев!

Так искушенная рука распахивает двери застольного единодушия, и общество врывается в них с кликами радости. Студенты под шумок торопятся схватить стаканы размером побольше, осушить их и снова наполнить; доктора встают, отодвигают стулья, протискиваются в дальний конец комнаты; как стайка спугнутых голубей бьет крыльями — плещут в ладоши восторженные дамы, и громоздкий, похожий на Будду, старый композитор медленно поднимает глаза и постукивает вилок по костлявому рябчику, как концертмейстер постукивает смычком по скрипке, когда от имени оркестра благодарит дирижера.

— Никита Карев, Никита Карев! Здоровье Никиты Карева!..

На этом, в сущности, кончалась часть ужина, общая всем званым вечерам, которые устраивались у

Каревых. С того момента, как Софья Андреевна избирала очередного фаворита из среды неперменных знаменитостей, украшавших собрание, вечер получал, так сказать, голову, и в нем проявлялись индивидуальные черты. И, право же, на каревских вечерах не всегда было скучно!

Никита Карев сравнительно давно вернулся после своих скитаний. Он жил по-прежнему в стороне, диковато и, казалось, навешая Матвея, нарочно выбирал часы, в которые каревский дом отдыхал от гостей, пациентов, ученых коллег брата и театральных любимцев его жены. Он впервые за последние годы пришел на каревский вечер.

Он сидел рядом с Ириной, на конце стола, и в кругу малопочетных гостей, какие всегда оказываются в избранном обществе. Лица этих гостей крайне деликатны, почти умильны, неисчезающая улыбка уподобляет их бедным родственникам, и смотреть на них может только человек с очень хорошим, устойчивым характером.

Кажется, Никита не видал соседей. Когда заплескались дамские ладоши и гости, колоннами, повели наступление, обходя свою жертву с флангов, Никита наклонился к Ирине и сказал:

— Экая глупость!

Она озорно, по-девичьи, взглянула на него снизу вверх и приготавилась ждать. Он понял ее, сказал, нахмурясь:

— Инквизитор.

Она молча засмеялась.

Шум становился сильнее. Студенты вопили, как на галерке: «Никита Карев, Никита Карев!» Старый композитор неслышно постукивал вилочкою по рябчику.

Ирина опять взглянула на Никиту, быстро подвинулась к нему, крикнула (надо было уже кричать):

— Встаньте же, отклоняйтесь! Ведь вы привыкли кланяться на концертах!

Он посмотрел в ее глаза. Они были веселы, лукавы и так молоды, что он резко, точно испугавшись, отвернулся.

В этот момент Матвей Карев, широко раздвигая толпившихся гостей, подошел к брату, взял его локоть, заставил приподняться и повернул к себе лицом. Потом обнял его, крепко поцеловал усатым мягким ртом в лоб и начал трясти его руки. И пока он делал все это, шум неистовствовал, шум взгромождался на какую-то вершину.

Никита сжал пальцы брата. Матвей понял по его губам, что он сказал: «Что ты, что ты, Матвей?!» — и опять легко и трогательно прослезился.

И тотчас Никита увидел среди ладоней, бившихся вокруг него справа и слева, тонкие, чуть худощавые, быстрые руки, узнал их мгновенно и обернулся к Ирине.

Ей мешал стул, она встала на него одной коленкой, платье туго обтянуло ее, она покраснелась и часто, сильно хлопала в ладоши, переводя взгляд с Никиты на отца и снова на Никиту.

Он вспыхнул, придвинулся вплотную к столу и сделал медленный поклон. Выпрямившись, он посмотрел на композитора, встретил его бесцветные глаза в мешковатых веках и еще медленнее, глубже поклонился.

Композитор положил вилочку, ударил трижды пальцами правой руки по ладони левой и, не поворачиваясь, так же буддообразно сидя, прикрыл глаза в знак того, что он отвечает на поклон поклоном.

Никита поднял стакан и залпом выпил его.

Гости с удовлетворением прянули в стороны, Софья Андреевна осекшимся голосом воскликнула:

— Но ведь это овация, прямо овация! — и тоже выпила вино, держа стакан чуть блеклыми, дрогнувшими пальцами.

Никите захотелось поблагодарить Ирину. Он взял ее руку, лежавшую на столе. Ирина не отняла ее, он хотел приподнять руку, поднести к губам, но Ирина вдруг заговорила с кем-то, и он почувствовал, что она нарочито тяжело облокотилась на стол.

Тогда взгляд его неприязненно и удивленно заскользил по лицам, кучившимся в комнате, как будто только теперь он заметил, кто его окружал.

Он быстро поднялся и вышел из-за стола в коридор.

Глава вторая

В кабинете горела одна лишь лампа под абажуром с длинным козырьком, как у жокейской кепки. По стеклам шкафа, на полированных спинках кресел, на письменном приборе мелькали обрывки теней.

Никита ходил из угла в угол, Матвей привалился к кожаной подушке дивана, сидел, разрыхлевший и большой. Оба курили папиросы, вязкий дымок космами тянулся за Никитой, было похоже, что у него мгновенно отрастают и улетучиваются седые пряди волос. Шум из столовой едва доносился сюда.

— Так ты и не соберешься рассказать толком о Ростиславе, — проговорил Матвей.

Никита остановился у шкафа. В полумраке, сгущенном дымом папирос, лицо его казалось мутным отсветом, упавшим на черное стекло. Он ответил:

— Главное ты знаешь. А подробности — не сейчас же.

Чуть приметно он качнул головою на дверь.

— Я все жду, когда ты выберешь часок.

— Я бываю у вас, — сказал Никита, помедлив, — ты всегда занят.

Матвей вздохнул, руки его сползли на диван, он произнес с неохотой:

— Устаю я. Время...

Они продолжали молча дымить. Потом Никита раздельно и тихо сказал:

— Самое невнятное для меня в жизни — эта минутка, на углу, знаешь, там, у Вахромеева тупичка, в трех шагах от нашего дома. Я никак не могу назвать ее. Но вся горечь и вся радость, отчаяние и восторг какой-то — не пойму, — все вместе, вся наша жизнь — в одной этой дощечке. Когда я поднял голову — не помню, почему — и увидел ее, вот тут — черт знает что! «Улица товарища Карева» — что это? Знаешь, этак неумело буквы выведены, не профессионально, и краска жидкая, и под ней сквозит: «Атаманская улица»...

Никита приостановился, пыхнул папироской, в оранжевом свете огонька зажглись и потухли непо-

движные глаза, он повторил с расстановкой и еще тише:

— Улица товарища Карева...

Матвей сказал, усмехнувшись:

— Третий Карев, который сделал себе имя...

— Третье поколение, — отозвался Никита, — ты, я, Ростислав.

Матвей тяжело встал, подошел к брату, взял его под руку:

— Если так, то Ростислав — четвертое колено: первое — отец, Василь Леонтьич. Не сдается старина! Пойдем, я для тебя кое-что приготовил...

Он потянул Никиту к двери.

Когда они проходили мимо столовой, Матвей зашел туда, вынес графин водки, повел Никиту в глубь коридора.

— Пойдем, пойдем!

Сгустки пара клубились над плитой, заволакивая монументального неподвижного повара, кто-то шаркался из угла в угол кухни, кто-то усердно выколачивал золу из самовара. Здесь была кочегарка вышедшего в плавание большого каревского корабля, в кают-компаниях которого уже появились неизбежные на море больные.

Встречу хозяину из-за стола качнулся невысокий человек. В нахлынувшем облаке пара он казался ступенчатым, как отражение в колеблемой воде: мелькнула короткая рука, выпятилось круглое плечо, покатая грудь с частым рядком башмачных пуговиц на вороте, наконец выплыла голова в кудерьках пегой седины.

Матвей подтолкнул медлившего брата. Никита всмотрелся в лицо человека, ясно выступившее из тумана, отодвинулся, точно не веря себе, потом вытянул вперед руки:

— Евграф, ты? Откуда?

Он кинулся к нему и обнял его.

Маленькое волосатое существо щерило дубовые зубы, мигало лучистыми глазками, довольное и спокойно-прозрачное.

— Здравствуй, Никита Василич.

— Здравствуй, Евграф, здравствуй, дружище! Да откуда же ты взялся? Давно ли?

Матвей по-отцовски добродушно наливал в стакан водки. Никита разглядывал Евграфа, пощупывал его плечи, круглую спину, как будто с изумлением обнаруживая, что это — точно плечи, спина, тело живого Евграфа. Никита словно даже обнюхивал Евграфа, и ему чудилось, что он пахнет не только кухонными пряностями, но еще и степью, и яблоками, и еще чем-то холодновато-затхлым, вроде больниц.

— Так как же ты, где, с каких пор? — твердил он.

— Налей мне тоже, Матвей, я выпью с Евграфом.

Кто-то бросился из кухни в столовую за рюмкой, повар деловито вытер фартуком уголок кухонного стола около Карева, не замечая Евграфа, и так же деловито подsunул Никите крошечную кастрюльку тушеных грибов.

Евграф взял стакан, ласково глянул на Матвея, Никиту и приветил:

— Ну, с повстречаньем!

Выпив, он обтер ладонью мохнатый рот и посмотрел на грибы.

— Ешь, ешь, Евграф, — торопился Никита, подвигая ему кастрюльку. — Что же ты все молчишь?

— Жду, пока ты выговоришься, — сказал Евграф и тут же, понизив голос, прибавил: — Слыхал, слыхал, какой тебе почет, Никита Василич!

— Какой почет?

— Большой почет, — повторил Евграф. — Давеча, как тебя в комнатах величали, я в щелку глядел, порадовался за тебя, заслужил, думаю, не иначе!

— Да ты о себе скажи, где ты теперь?

Евграф одернулся, волосатое лицо его взъерошилось, он ответил степенно и жестковато:

— А по-прежнему — при анатомии. Благодаренье Матвею Василичу, опять на своем деле, с усопшими.

Матвей засмеялся, сказал:

— Прислал мне письмо, определите, говорит, опять к анатомии, скучно мне на родине, ни одного стоя-

щего доктора вокруг, один фельдшер, а в Питере, слышь, опять хлебом кормят, опять стал народ наживаться. Вот я его и выписал.

— А ведь он меня спас! — воскликнул Никита. — Я тебе говорил, Матвей? Помнишь, Евграф, как в будке-то сидели? А?

— Никто никого спасти не может, — недовольно и все еще жестковато возразил Евграф, — каждый сам себе спаситель.

— Ладно! — перебил его Никита. — У отца бываешь?

Евграф ожил, глаза его залучились, хмелек, видно, докатился до головы, он ответил проворно и с лукавиной:

— Одолею я Василь Леонтьича! Он все говорит — выдержит, а я ему — вре-ешь, не выдержишь, Василь Леонтьич. Перетянули! Аж забранился на меня, смерть как серчает.

В кухню вбежала Ирина, завидя отца и Никиту, крикнула:

— Вон где вы! А вас-то ищут!

— Это — мой дядька, Ирина, знаете? — живо спросил Никита.

Ирина дружелюбно поглядела на Евграфа.

— Знаю. Он все не хочет мне сказать, сколько ему лет.

— А ты попытай, — насмешливо, поощряющим баском отозвался Евграф и вдруг, мотнув на Ирину головой, сказал Никите:

— Вот бы тебе такую дочку, Никита Василич!

Никита вздрогнул, хмурая улыбка сжала его рот, глаза прищурились, точно от внезапной темноты.

— Ну, прощай, Евграф, — сказал он коротко, — загляни ко мне. Знаешь, где живу?

— Люди добрые знают, — ответил Евграф.

— Прощай, — еще короче сказал Никита.

В коридоре, идя следом за Ириной, Матвей говорил брату:

— Ведь что особенно хорошо: русская, настоящая русская душа этот Евграф!

И в его голосе булькала растроганность стареющего человека.

Никита молчал.

Из столовой выходили гости. В узком коридоре теснились, медленно проталкивались в переднюю, там, по пути, заводили разговоры, останавливались, потом шли в гостиную. Нескладный, долговязый и пусторотый человек в смокинге, скаля черные корешки зубов на белых деснах, тыкался от одного гостя к другому, зачем-то таинственно потихоньку твердил:

— Гевалт, гевалт! — и смеялся.

И ему отвечали смехом, замедляя движение, скупчиваясь, закупоривая вход в гостиную разморенными, неповоротливыми телами.

В тот момент, когда Никита с братом, Ириной и Арсением Арсеньевичем добрались до передней, над притолокой входной двери дернулся и пружинно задрожал колокольчик. Хозяин стоял около самой двери и — не сделав ни шага — открыл замки.

И тотчас, прямо на него, обсыпанный изморозью, словно выкупанный, запыхавшийся, налетел матрос. На мгновение он как будто смешался, мелькнул взглядом по комнате, но сейчас же обрывисто, на необычный в этом доме лад, сказал:

— Мне надо профессора Карева.

Было похоже на то, что общество, случайно столпившееся в передней, ворвалось в дом к матросу, когда он никого не ждал, и ему не понять — чего хотят от него все эти странные люди?

Матвей Васильич сгорбился, запахнул сюртук.

— Это — я, — ответил он нехотя.

— Вы требуетесь к больному, внизу — машина, — по-прежнему отрубил матрос.

Хозяин ухмыльнулся, качнул головой на гостей, точно хотел сказать: «Что вы порете чепуху, вы же видите!» Тогда матрос, засовывая руку в мокрый карман куртки, подчеркнуто-раздельно произнес:

— Вот бумага. Заболел товарищ Шеринг.

И он медленно обвел глазами переднюю, словно испытывая, какое впечатление произвело это имя.

Взгляд его скользнул по телефону, упал на снятую трубку, беглая улыбка шевельнула вдавленные, отчетливые уголки его рта, но тут же он заметил Никиту.

С того момента, как он влетел в комнату, прошло не больше полминуты. Гости сразу же приостановились. Те, кто уже протискивался в гостиную, обернулись назад, другие продолжали выходить из коридора в переднюю. Не то что замешательство удержало всех на месте, но как-то вдруг стало очевидно необычайное значение этого визита, и, когда матрос назвал имя Шеринга, действительно кругом притихло. Однако никто не проронил ни слова, и все как будто ожидали более важного, чем известие о болезни Шеринга.

Никита с первой же секунды, как только матрос заговорил, начал вглядываться в него, понемногу выдвигаясь вперед.

Отдав Матвею Васильичу письмо и вслед за тем увидев Никиту, матрос быстро вскинул брови, и так же быстро лицо его передернулось косой, болезненно-трудной гримасой.

— Вы как здесь? — спросил он и, догадавшись, прибавил: — Да, вы ведь — брат.

И он кивнул на Матвея Васильича, который, откинув голову и держа бумагу на отшибе, по-стариковски разбирал письмо.

— Вот, встретились еще раз, — неуверенно проговорил Никита.

Матрос глядел на него с напряжением, словно подавляя в себе какое-то тягостное желание. Ни он, ни Карев, стоявший против него, не двинулись друг к другу, и — как знать — чем разрешилось бы смутное, молчаливое ожидание, если бы в это время не вклинились две новых нечаянных и странных встречи.

Матвей Васильич дочитал письмо.

— Извините, господа, — сказал он гостям, растерянно, со вздохом улыбнувшись, — я должен ненадолго оставить вас.

Но ему удалось это не сразу.

Арсений Арсеньевич, проложив себе дорогу деликатным потрагиванием рукавов и фалд своих соседей,

незаметно вынырнул между Никитой и матросом. Взметнув профиль (Арсений Арсеньевич был человеком профиля; качество это далось ему природой и необыкновенно украсило его; замечательно, что с течением лет оно возрастало в нем непрерывно, так что Баха никто не знал иначе, как в профиль; так он становился к аудитории, выступая с докладом, так говорил с друзьями, так покупал в кооперативе ученых сеledку — всегда в профиль; в конце концов горбинка на его носу, выпяченный глаз, округлая, высокая лобная кость, мягкий подбородок и линейка поджатых губ — все это со схематичной наглядностью выразило сокровенную сущность Арсения Арсеньевича), — взметнув свой профиль, он произнес лаконично, в духе классической древности, как если бы сказал: «Deus ex machina»:

— Здравствуйте, Родион.

Тогда в лицо матроса хлынула молодая кровь, наивно расцветила его щеки, и он неуклюже, как школьник, затоптался.

И опять новое классическое «Deus ex machina»:

— Рад вас увидеть, Родион.

И суховатая, морщинистая рука, протянутая величаво и добро (не жест, но мание), колыхнулась перед матросом.

И вот, едва Родион дотронулся до руки Арсения Арсеньевича, кажется, пуще всего боясь изувечить ее, и — будто освобожденный — начал приходить в себя, незапертая входная дверь медленно отворилась.

Самая тихая, самая изумительная, необъяснимая минута в каревском званом вечере наступила.

В дверях стояла женщина, стряхивая с пальто растаявшие хлопья раннего, крупного снега. Мокрые следы его залепили вуаль, и женщина осторожно, стараясь не замочить лица, стягивала вуаль с подбородка кверху. Но лицо ее все же запорошилось мельчайшими блестками капель, и, может быть, потому, рядом с комнатно-желтыми лицами гостей, намученных ужином, казалась она особенно свежей. Краски лица ее были чересчур яркие, словно ненатуральные, и здо-

ровье ее, бросавшееся в глаза, могло, пожалуй, и оттолкнуть.

— Простите, ради бога, что я врываюсь, — заговорила она так просто, точно отпировала с каревскими гостями весь вечер, — но мне нужен вот этот бестолковый человек.

Она взяла за локоть Родиона.

Он стоял спиной к двери, не выпуская руки Арсения Арсеньевича, и, когда услышал голос женщины, выпрямился и отвердел. Она хотела повернуть его к себе, но он резко отдернул свою руку, шагнул в сторону и прислонился к закрытой створке двери.

— У нас нет ни одной свободной минуты, — сказал он угрюмо, обращаясь к Матвею Васильичу.

— Ах, чудак! — воскликнула новая гостья.

Рассмеявшись, она стала еще поразительней среди вытянувшихся в любопытстве, недоуменных и неловких фигур.

— Что ты прячешься? — продолжала она сквозь смех. — Я видела, как ты сюда подъехал, и решила непременно узнать, куда ты девался? Что за конспирация? Как здоровье Ленки?

Матрос стоял неподвижно, потупясь и сжав крепко рот, так что углы губ вдавились еще больше. При имени Ленки его опять передернуло косой гримасой, и, вдруг подняв глаза, он уставился на Никиту. Взгляд его был тяжел, озлоблен, как у затравленного зверя, и неуловимая, блуждавшая по лицу боль увеличивала это сходство.

— Я сейчас оденусь, — совсем растерянно пробормотал Матвей Васильич и двинулся в коридор.

Тогда, всмотревшись в Родиона и перехватив его взгляд, женщина быстро повернула голову и увидела Никиту.

— Карев! — снова воскликнула она. — Карев! Ей-богу, это — великолепно! Вот не думала! Здравствуйте, ну, здравствуйте же! Господи, какие вы все деревянные! На вас лица нет... Что у вас тут происходит? Зачем примчался сюда Родион? Да говорите же, Карев! Неужели вы так перепугались меня?.. Чудак, право!

— Варвара Михайловна, — с усилием отозвался Никита, — все это вовсе не обычно...

— Да я же о том и говорю, что — великолепно! Только никак не могу понять, почему вы такой деревянный? Вы мне не рады? Я помешала вам?

Она огляделась, на секунду брови ее сжались, усмешка жестко дрогнула на темных веках.

— А-а, — протянула она тихо и тут же, словно перебив свою мысль, еще живее, стремительней и проще заговорила:

— Это ваша племянница? Ирина, кажется? Ну, познакомьте же меня с ней, Карев!..

Матвей Васильич, грузно влезая в рукава тяжелого пальто, протиснулся из коридора и поощряюще мотнул головой:

— Вы знакомы, Никита? Ну, приглашай раздеться, а я поеду. Простите, господа. Пошли, — буркнул он матросу.

Матрос взялся за дверь.

— Родион! — позвала Варвара Михайловна, отрываясь от Ирины. — Постой, постой! Что же ты ничего не сказал мне?

Матрос тяжело глянул на Ирину, Никиту, потом на Варвару Михайловну, медленно разжал рот и, уже выходя за дверь, наклоняясь всем телом вперед, точно падая, обезображенный гримасой, хрипло выдавил из себя:

— Дрянь!

Матвей Васильевич подтолкнул его и с силой захлопнул за собою дверь...

— Ну, познакомьте же меня с вашей племянницей, Карев, — повторила Варвара Михайловна так же просто, с прекрасной, немного пугающей улыбкой, как будто никакого матроса и не было в этой комнате, еще гудевшей от захлопнутой двери.

— Познакомьтесь, Ирина, — бездушно, одними губами сказал Никита.

Варвара Михайловна протянула руку, плавно качнулась к Ирине и, глядя прямо в ее глаза, не изменяя улыбки, сниженным голосом назвалась:

— Шерстобитова.

И, глядя прямо в глаза Варвары Михайловны, не моргнув, преодолевая темноту набегавших слез, выросшая и больше обычного похудалая, Ирина, заложив свои руки за спину, не торопясь, нарочно сдерживая, напрягая себя, повернулась и пошла в гостиную.

Ей дали дорогу, расступившись почти в испуге.

Тогда Варвара Михайловна внимательно, в подробностях рассмотрела застывшее лицо Никиты и вдруг громко, оглушающим взрывом расхохоталась и бросилась вон, к дверям.

Через мгновение ее смех отголоском докатился с лестницы и замер.

Никита стоял неподвижно. Голова его, высоко поднятая, в углубившихся тенях морщин, казалась неживой.

Гости бестолково, с деликатным оживлением заговорили о театре, об уровне воды в Неве, о норд-весте и тяготах докторского быта.

Глава третья

Прежде Шеринг не замечал, что диван неудобен. Диван служил постелью, каждую ночь по несколько часов Шеринг проводил на нем в забытьи, похожем на сон. И постель исполняла свое назначение: она была просторна, не жестка, хорошо согревалась. Каждый вечер диван оказывался накрытым простыней и одеялом, на кожаном широком валике лежала свежая подушка, и — оторвавшись от стола — можно было, не думая, скинуть башмаки, раздеться и лечь. Никаких неудобств Шеринг не замечал.

Но это было наваждение, какой-то нелепый, бессмысленный самообман.

Диван никуда не годился, его следовало бы давно выкинуть, продать, как барахло, татарину, может быть он нашел бы ему применение в каком-нибудь кабаке или черт знает где!

Но лежать на этом диване, — да что там! — спать на нем каждые сутки, отдавать ему редкие, спасительные часы отдыха — какое издевательство над здоровым смыслом!

«Завтра же велю выкинуть, — подумал Шеринг, — и куплю кровать. Велю купить кровать. Надо побереечь здоровье. Нельзя».

Диван был короток. Ступни упирались в кожаный валик, подушка страшно давила на плечи, как будто Шеринг нес поклажу в неудобной корзине. Ощущение было именно такое: в плечи врезывался упругий, слегка треснувший на выгибах переплет прутьев.

Матрасик, подложенный под простыню, был слишком тощ, и холод диванной кожи проникал сквозь него.

Но самая большая беда — спинка дивана: она мешала протянуть левую руку, рука ныла, ей нужен был покой, удобство. Спинка не пускала руку. И потом — боль в левой лопатке. Не поймешь — что от чего? Может быть — все дело в лопатке? Если бы можно было лечь на бок! Этот проклятый лед, нагроможденный в ногах! Может быть, вовсе и не надо льда? Разве положишься на такого доктора, как этот юноша? Этакий вопрос:

— Товарищ Шеринг, можете ли вы не дышать?

Да ведь в том все несчастье, что невозможно дышать, что нет дыхания, что товарищ Шеринг не дышит!

Скорее бы приехал доктор, то есть настоящий, какой-нибудь знающий доктор, старый доктор. Черт знает что за бестолочь! Добрый час звонят по всем телефонам, разогнали по городу чуть ли не дюжину машин — и никого нет. И потом — куда все подевались? То кучились вокруг, словно в синагоге, а то — как рукой сняло — ни души!

Впрочем, теперь ничего. Ужас прошел. Даже лучше лежать одному. Ужас? Товарищ Шеринг и — ужас? Ну да, это чувство, это потрясающее чувство пустыни. Мрак, пропасть, пустыня. И так стремительно быстро: из комнаты, наполненной людьми, из круга друзей, известных до мельчайших пустяков, —

в пустыню, в смертное беззвучие, к черному одиночеству. Черт знает как это назвать!

Теперь лучше. Холод становится меньше, боль в спине и руке выносима. Какие-то буравчики ввинчиваются еще в лопатку, прутья давят на плечи. Но уже можно дышать, спокойно, тихо дышать, даже тише обычного. Как сказал этот молодчик-доктор — *можно* и не дышать. И такая усталость, такая здоровая, покоряющая усталость! Конечно, здоровая! Главное — не шевелиться, не двигать даже пальцем, лежать, думать, думать о чем угодно — ведь теперь можно думать о чем угодно. И дышать.

Если бы не диван с дурацкой, никчемной спинкой! «Завтра же велю продать», — снова подумал Шеринг.

Он застыло вслушался в отдаленный неясный шум, взгляд его ожил, он прошептал невнятно:

— Кажется, приехал...

Матвея Васильича встретили несколько человек. Он видел, как испытующе оглядели его, как ждали, что он скажет. Родион стащил с него пальто, молодой человек с красным крестиком на кармане френча вытянулся по-военному.

— Где больной? — спросил Матвей Васильич.

Кто-то торопливо, но внушительно поправил:

— Товарищ Шеринг...

— Где больной? — повторил Матвей Васильич. — Проведите меня к больному.

— Пожалуйста, профессор, — выдохнул молодой человек с крестиком, решительно и отчаянно, как брандмейстер, показывая в глубину пустой комнаты, точно там, как в дыму, подкарауливали неизведанные опасности.

За Матвеем Васильичем двинулась колонка настороженных людей.

— Кто оказал помощь? — спросил он, ни к кому не обращаясь.

— Я, профессор, доктор Званцев, — одним духом выпалил молодой человек с крестиком, — у больного ясно выражена...

— Очень рад, — перебил его Матвей Васильич и подал руку.

Сделав вид, что собрался выслушать молодого коллегу, Карев замедлил шаг и начал устало покачивать головой, как будто хотел сказать, что он, профессор Карев, так и знал, что больной страдает теми болезнями, о которых говорит доктор Званцев, что всего этого давно следовало ожидать и ничего здесь не поделаешь.

— Характерно, очень характерно, — торопился доктор, стараясь перейти на лагерь и все поскользываясь, — несомненно, следует предположить застарелое... я хочу сказать — нарастающее воспаление сердечной мышцы. Во всяком случае, анги́на, я хочу сказать — анги́на pectoris...

— Да, да, — понимающе покачивал головой Матвей Васильич, присматриваясь, как вслушивается в разговор колонка настороженных людей, разглядывая потертый френч доктора Званцева и думая о том, что трудно, безнадежно трудно начинать вот такому доктору частную практику.

— Практика, к сожалению, очень часто в последнее время наблюдает сердечные болезни, — проговорил он, оборачиваясь к настороженной колонке. — Что делать, — добавил он, — люди устали. Ну, войдем...

— Здравствуйте, — громко выговорил он, подходя к дивану и вытаскивая из кармана платок.

Он медленно протер глаза, уши, бороду.

В дверях окостенели — молодой доктор, Родион, за ними смутно колыхались всклоченные головы.

— Слякоть сегодня, — сказал про себя Матвей Васильич, — залепило.

Он осмотрелся. Доктор Званцев сорвался с места и подал стул.

Матвей Васильич сел, сочувственная улыбка шевельнула его усы, он взгляделся в лицо больного, точно говоря: «Ну, что?.. да понимаю, понимаю!»

Шеринг оценивал доктора, неподвижно уставив на него глаза. Перед ним находился новый человек, которому надо было что-то доверить. Человек был стар, нетороплив, за дружеской улыбкой его была припря-

тана жестковатость, он уберег свой докторский сюртук, какое-то упрямое превосходство этого сюртука над френчем с красным крестиком казалось несомненным: доктор был настоящий.

Шерингу хотелось спросить его: «Вы — Карев?» (почему-то вспомнилась эта фамилия). Но он почувствовал, что тот ответит: «Я — доктор». И улыбнется обезоруживающей улыбкой. Непременно, непременно должен так ответить и так улыбнуться. Это у них есть, у них — специалистов!

И Шеринг отозвался Кареву усмешкой, раздвоенной беспомощностью и одобрением. Испытание было выдержано: Шеринг знал, что новому человеку можно доверять.

— Оставьте нас, — сказал Матвей Васильич, подняв брови на доктора Званцева.

Френч бесшумно исчез, прикрыв двери.

— Ну, приподнимитесь, — предложил Матвей Васильич.

Шеринг испуганно взглянул на него. Может быть, он ослышался? Может быть, в комнате есть кто-нибудь, кроме них? Ему трудно, невозможно, немыслимо двинуть рукой, а доктор... Да, да, доктор берет Шеринга за плечо, тянет его к себе, заставляет Шеринга сесть, неловко стаскивает с него рубашку.

Осмотр начался...

Осмотр начался, и в соседней пустой, оголенной комнате стихло. Родион кривобоко, как человек в непомерных сапогах, старающийся пройти на цыпочках, отошел к окну, присел на подоконник.

Перед ним, в полумраке, закоченели взъерошенные головы людей, имена которых были менее звучны, чем имя Шеринга. Он должен был вместе с ними терпеливо ждать, что скажет Карев, должен был так же, как они, прислушиваться к шорохам за дверью.

Но, против воли его, в мутном, странно звенящем мраке, среди взъерошенных голов, потухающей полоской мерцали ровные зубы, и, едва Родион останавливал на них свой взгляд, мгновенно дополнялись они запорошенным растаявшими снежинками лицом. Родион жмурился, гримаса обезображивала его, он

переводил глаза в другое место, и опять мерцал перед ним белый ряд зубов, и он почти слышал сильный голос:

«Бестолковый человек!.. Как здоровье Ленки?..»

Тогда до ясности, с какою возникают предметы в полдневный час, он видел голое, посеребренное струйками мыльной воды тельце Ленки, стоящей в корыте, и ее картавый лепет отчетливо раздавался в тишине:

«Папочка, папуля! Что ли ты у меня искал пупочек? Вот же он!»

Родион вновь видел, как Ленка подтягивала кверху кожу на круглом, скользком от мыла животике, стараясь разглядеть получше свой пупок, и опять пугающе-близкий и чужой в то же время голос обрезал Ленкину болтовню:

«Что за конспирация?!»

И снова мерцали тут и там ровные полоски зубов, дополняясь холодною, слепящею свежестью лица.

Родион, как от стужи, потер руки, соскочил с подоконника и, громыхая сапогами, зашагал.

Взъерошенные головы дружно шикнули на него:

— Т-ш! Тише, кто там?!

— Родион, тише, ты!

Родион замер, вспомнив, что надо думать о Шеринге, об опасности, угрожающей Шерингу, надо ждать решения судьбы товарища Шеринга.

В это время открылась дверь, и профессор Карев, высунувшись из комнаты Шеринга, попросил:

— Коллега доктор! Надо приготовить горячие бутылки.

Точно дождавшись какого-то важного результата, люди колонкой двинулись следом за доктором Званцевым.

— Значит, надо не лед, а бутылки, горячие бутылки, а ты клал лед, это что же? Нарочно, что ли, лед, а? Ты понимаешь, что делаешь, ты кладешь лед, когда...

— По-пе-ре-мен-но! — неожиданно закричал доктор Званцев так, что все остановились. — Понимаете? Попеременно! Холодные и горячие ножные ванны попеременно, чтобы отвлечь кровь к ногам! Понимаете?..

Колонка притихла, рассыпалась на две горстки, одна из них потрусилась на кухню, люди затормозили кухарку, надо было затапливать плиту, чтобы согреть воду; доктор Званцев схватил примус, начал прочищать закопченной иглой горелку.

Был момент, когда Родиону почудилось, что с Шерингом ничего не произошло. Просто собрался очередной пленум, сильно поспорили, и вот, в перерыв, забежали по комнатам знакомые озабоченные люди, — прямой, как солдат, Званцев из губздравицы, коротышка-секретарь, — не примечая Родиона (Родион — свой), и вот сейчас выйдет Шеринг, кивнет ему, скажет:

— Здрово! Ты здесь? Как дела? А у нас, видишь, на ночь глядя, — горячка...

Но, войдя с другою горсткой людей в смежную с кухней комнату, Родион почувствовал холодок непривычной растерянности.

Рябой коротыга-секретарь, подергивая носом с красной продавиной от очков, держал около уха телефонную трубку, и все смотрели на него, чего-то напряженно ожидая.

Словно умышленно тихо, он говорил в трубку:

— Выпускающий?.. Ну?.. В стереотипную?.. Неопределенно... Ждем, что скажет Карев. Во всяком случае... одна минута...

Он прикрыл ладонью трубку и сощурился на товарищей. Ему ничего не сказали, он сильно задергал носом и опустил руку:

— Во всяком случае, в газету больше ничего не успеем. Спускайте на машину... Да... Подождите...

Он быстро, как близорукий, выпятил лицо, снова прижмурился, ему ответило безмолвие, и вдруг он еще тише выговорил:

— Оставьте двоих на ручном... Да, наборщиков... Может быть...

Не договорив, он резким рывком повесил на аппарат трубку и как-то косолапо обернулся: сначала стал лицом к стене, потом медленно отошел от нее, сделав полный оборот.

Тогда Родиону захотелось спрятать глаза, и, не взглянув ни на кого, он вышел...

Матвей Васильич застегивал свой сюртук, один лацкан приходился выше другого, Карев тянул его книзу и во второй раз внушительно досказывал порядок леченья. Опять, как в начале осмотра, он улыбнулся, что должно было означать, что для него Шеринг — обыкновенный больной, что он — Карев — знает, как надо говорить с больными, и что тут ничего нельзя поделать.

— Поправляйтесь, — сказал он, дотрагиваясь до руки Шеринга и пожимая ее на одеяле. И в том, как он пожал руку, предупреждая лишнее движение больного, было что-то сурово-нежное и подчиняющее, — так что Шеринг затеплился ответной улыбкой и вдруг, поднявшись на локоть, спросил беспокойно:

— Вы уходите?

Он тут же опустилсЯ на подушку, повел ладонью по лицу, точно стирая с него нечаянное, неподобающее выражение, и проговорил по-деловому:

— Я хотел спросить: у вас есть дети?..

— Есть, — ответил Матвей Васильич, — а у вас?

Словно обдумывая, куда может привести зачем-то начатый разговор, привычно стягивая лоб в морщины, Шеринг сказал:

— У меня сын. Ему восемнадцать лет... И его никогда нет дома, — вдруг зло добавил он.

— Ого, уже — солдат! Но вам не следует разговаривать, не следует. До свидания, до завтра.

Тут Шеринг вновь колыхнулся, незастегнутый рукав рубашки сполз на плечо и обнажил белую руку, дрябло и неуверенно потянувшуюся за Каревым:

— Я хотел сказать... спросить вас...

— Вам нельзя волноваться, — перебил его Карев.

И сразу холодно, неприязненно, преодолевая непонятное отвращение, проговорил Шеринг:

— Что, всегда бывает это дурацкое состояние?.. Это... черт знает что!.. Какой-то... какая-то...

И, совсем зло, выпалил:

— То есть при этой болезни, я спрашиваю?.. Это, конечно, чистейшая физиология...

— Ну да! — спокойно отозвался Карев. — Ведь все-таки сердце, вы понимаете, — сердце, самая жизнь, средоточие. Конечно, всегда. Главное — покой.

— Пожалуйста, — вскрикнул Шеринг, — позовите мне...

Он оборвался и тихо договорил:

— Пусть сюда придет Родион!..

— Хорошо. Главное — покой, — повторил Карев и вышел.

Шеринг лежал неподвижно. Глаза его потухли и неторопливо блуждали по стенкам. Он мог думать о чем угодно, и, может быть, поэтому лицо его не отражало никаких мыслей. Он остановился на толстых корешках немецкого словаря, издавна скучавшего на полке. Корешки были тяжеловесные, прочные, в золотых полосках наверху и внизу, с кожаными наклейками темно-красного цвета, в золоте букв с четким именем Мейера, увесисто повторенным каждым корешком: Мейер, Мейер, Мейер. Эта почтенная немецкая фамилия истратила на себя такое количество позолоты, какого хватило бы на сенаторские, судейские, канцелярские мундиры во всем свете и на протяжении всей человеческой истории. Но, по правде, золото должно было заслужить честь увенчания такого имени, как Мейер, потому что все Мейеры делали прекрасное дело, и отец Мейеров делал прекрасное дело, и дядя и дед Мейеров совершали все то же неоспоримо замечательное дело Мейеров. Золото внушительно и бесконечно повторяло: Мейер, Мейер, Мейер; золото переливалось в сплошную рябящую ленту, разрывало тягостную туманность на желтые полосы, прокалывало, пронзало тоскливое ничто светлыми остриями; на этих остриях бесчисленно повторялось какое-то: ер, ейер, ер, ер, потом опять возникал отчетливый золотой ряд: Шер, Шер, Шеринг, Шеринг, Шеринг. Золото поистине должно было заслужить честь украшения такого имени, как Шеринг, потому что все Шеринги делали прекрасное дело, и отец Шеринга бежал от преследований за границу, и сам Шеринг только недавно вернулся в Россию, и его сын, сын Шеринга... Шер, ер, ер... ейер, Мейер, Мейер...

— Что это? Что это? — спросил Шеринг, вздрагивая всем телом.

— Это — я, — робко сказал Родион.

— Это — ты? — прошептал Шеринг.

— Да, — шепотом ответил Родион.

Он стоял, приподняв локти и касаясь пола одними носками, точно готовясь куда-то полететь. Испуг и смятение сделали его похожим на птицу.

— Опять? — снова прошептал Шеринг.

— Что — опять? Я не знаю, я только что вошел...

— Ну?

— Я вошел и... смотрю...

— Уехал? — спросил Шеринг, стараясь бровями показать на дверь.

— Уехал. Воротить? Я ворочу его.

Родион кинулся к двери, не отрывая глаз от Шеринга.

— Постой.

Рядом с простыней и наволочками лицо больного было чуть серовато, и заостренные на висках концы бровей казались чернее обычного.

Вдруг Шеринг вдавил затылок в подушку, руки его необыкновенно удлинились, выгнувшись в локтях как-то по-женски, внутрь. Серое лицо его посеребрилось потом, капли которого росли, увеличивались с неожиданной быстротой.

Родион наклонился к Шерингу, беспомощно растопырив над ним руки, как птица распускает подбитые, негодные крылья. В небывалом, отвратительном страхе он глядел, как сквозь омертвевшую кожу Шеринга проступают булабочные головки пота.

Это продолжалось несколько секунд. Шеринг прерывисто, как после плача, вздохнул и, вцепившись в руку Родиона, зашептал:

— Что такое? Нет, нет! Зачем? Ничего!

Точно извиняясь в чем-то, он силился улыбнуться, и таким жалким, убогим стало его лицо — мокрое, перекошенное болью, что Родион в отчаянии забормотал:

— Ты... Ты не бойся... Понял? Не бойся... Это, брат, так, это всегда... главное — не бойся...

И тут же, застыдившись, нечаянно вспомнив что-то очень важное, перебил самого себя:

— Будь спокоен. Мы все сделаем. Положись. Все как есть. Так что можешь спокойно... Мы...

Шеринг бессмысленно, стеклянно глядел на Родиона, губы его шевелились. Родион припал к нему, коснувшись ухом холодного, влажного кончика носа.

— Позови...

— Кого?

— Сына... — выдохнул Шеринг.

Потом он неожиданно громко воскликнул:

— Не может быть!.. — и странно застыл.

Когда Матвей Васильич вернулся домой и переступил через порог передней, в него впился острый, продолжительный телефонный звонок. Не раздеваясь, прямо от двери, он подошел к телефону.

— Слушаю, — сказал он. Брови его лениво приподнялись, он пощупал свои карманы, отыскивая портсигар.

— Опять?.. Но ведь машина ушла... Другую?

Он снял шляпу, кинул ее в кресло и, приподняв плечи, сгорбившись, ответил:

— Ну что же делать... Хорошо.

Он прошел в гостиную. Здесь было пусто, оранжевая лампочка лениво освещала один угол комнаты, следы многолюдной и шумной бестолочи были видны повсюду: скученные кресла, закатанный в трубку ковер, окурки на полу возле камина, раскиданные по роялю листы нот. Со скукой оглядевшись, Матвей Васильич вернулся в переднюю, прошел коридором. Около столовой он остановился, приоткрыл дверь. Там все еще торчали засидевшиеся сонные, размякшие гости, допивая подонки разнокалиберных бутылок. Софья Андреевна увещевала пусторотого чело-века в смокинге, он не хотел слушать, щерил черные корешки зубов, пьяно твердил: «Гевалт, гевалт!»

Матвей Васильич отыскал, наконец, в заднем кармане сюртука портсигар, раскрыл его, но не нашел ни одной папиросы. Уже у себя в кабинете он закурил и, точно боясь присесть, распуская тонкие, сивые в темноте ленты дыма, двинулся к комнате дочери.

Ирина не слышала, как он вошел. Она сидела, облокотившись на изголовье кровати, спрятав лицо в ладони. Матвей Васильич молча глядел на нее, ожидая, что она пошевелится. Но она была как-то особенно неподвижна. Он позвал ее.

Ирина вскинулась, схватила с постели платок, наскоро вытерла им глаза.

— Это — ты? А я собираюсь ложиться...

— Что с тобой?

— Со мной?.. А ты почему в пальто? Только что приехал?

— Ты расстроена? — спросил Матвей Васильич, подходя ближе.

Но она продолжала торопливо сыпать вопросы:

— Ведь поздно? Наверно, утро? Наверно, уже светает? А ты почему не разделся?

— Мне надо опять ехать.

— Опять? Но ведь это невыносимо! Когда же ты отдохнешь?

Матвей Васильич обнял дочь одной рукой и, заглядывая в глаза, крепко прижимая ее плечо к своей груди, сказал:

— Ну-ка, помолчи.

Коричневое лицо ее стало еще смуглее, большие обычного проступило в ней сходство с мулаткой (черта эта рознила ее от Каревых, была ее собственной, не унаследованной, и придавала ей едва уловимую особенность), она отстранила отца.

— Я очень устала.

— Ты плакала?

— Да нет же, я говорю, что устала, — недовольно повторила она. — Слышишь, в передней — звонок.

— Это — за мной, — сказал Матвей Васильич.

Он поцеловал дочь и — хмурый, отяжелевший — ушел.

...На улице колебался мутный, насыщенный изморозью рассвет. Рыжий кузов автомобиля, дожидавшегося у подъезда, мокро поблескивал в тумане. Шофер с нетерпением смотрел, как медленно, неуклюже влезал в автомобиль Карев, и, не успев захлопнуться дверца, — включил мотор.

Матвей Васильич привалился к подушкам, закрыл глаза. Но автомобиль мотало из стороны в сторону, подкидывало на выбоинах, как мяч, надо было держаться за ременный поручень, чтобы не разmozжить себе голову.

— Черт знает что! — пробурчал Карев.

Он оглядел внутренность автомобиля. Это была старая, трепаная повозка, пережившая свою эпоху, выдавшая поражения и победы, свидетельница героизма и подлости, та самая повозка с мотором, которой уже приготовлено место в музее революции, — *машина*, механизированные розвальни, усердно и самоотверженно потрудившиеся в гражданскую войну. Запасные сиденья, откиннутые к передней стенке экипажа, были исковерканы, пол — протерт, зашаркан тысячами ног, обивка вымызгана, просалена, кое-какие планочки из фанеры, набитые тут и там, указывали на изобретательность нового владельца — шофера, решившего попытать счастья на бирже автомобильного проката. С треском, гулом и грохотом, разражаясь пальбой, как пулемет на полигоне, починенный отремонтированный, залатанный и запаянный мотор мчал это чудовище по сумрачной и влажной бесконечности, встряхивая его, подбрасывая, точно норовя скинуть на каком-нибудь повороте с приземистой скрипучей каретки.

— Мостовые... — опять пробурчал Матвей Васильич, раскачиваясь и повисая на поручне.

Он вспомнил, к кому едет, и вдруг на него напала раздраженность. Не останавливаясь он ворчал на ночные вызовы к больным, на грязь и слякоть, на треск мотора, бессонную ночь, засидевшихся у Софьи Андреевны гостей, на всю неудобную, утомительную жизнь.

— Сказать бы ему, — шептал он, кланяясь в лад дергавшему автомобилю и думая о больном, — сказать бы... до чего дошло... противно видеть... развал, сплошной развал...

Его сильно потянуло вперед, он почти сполз с сиденья: автомобиль стал.

В квартиру Шеринга Матвей Васильич поднялся с трудом. Усталость безжалостно сгорбила его, лицо

стало желтым, почти слилось с прокопченными табаком усами, руки тяжело и неподвижно повисли. Еще на лестнице, поднимаясь, он решил сказать, что считает вызов ненужным, что следовало бы подождать до утра и делать то, что он велел.

Но его встретили настолько неловко и как-то неуважительно, что он старым своим докторским, каревским нюхом почуял, что мог бы и не являться.

— Мы вызвали вас, — сказал кто-то, — чтобы подписать бюллетень.

Обстоятельный и строго формальный голос поправил:

— Чтобы составить совместно с нами и подписать бюллетень о кончине товарища Шеринга.

— Так, так, — сказал Матвей Васильич и развел тяжелыми руками, — ну, пройдемте все-таки к нему.

Около раскрытой двери какой-то комнаты на мгновение задержались, и Карев увидел коротенького человека с прижатой к уху телефонной трубкой. Нетерпеливо подергиваясь, он говорил:

— ...Набирай, да... Из пяти, из пяти человек, а не из шести, комиссия из пяти человек... Да ты сосчитай по фамилиям... Бюллетень пришем через двадцать минут...

При входе в пустынную большую залу Карев заметил бледное лицо Родиона, точно приклеенное к стене, не узнал его и, конечно, не слышал, как Родион, поглядев ему вслед, пристально обмерив его с головы до ног, выговорил сквозь зубы:

— Эх, вы... сюртуки!

Глава четвертая

Что, если бы все безумцы, чудаки, Геростраты собрались в этом городе?

Он еще полон химер, окутанные сыростью камни кажутся сквозными, здесь нет пространства, каким глаза привыкли видеть его, здесь утро наступает в полдень, и лампы вновь загораются, не успев остынуть.

Не призраки — живые люди скользят вдоль зыбких стен, струятся по мостам, перекинутым из мутной пустоты в мутную пустоту, колышутся испариной над бледными площадями.

И все же, как будто — не живые люди, но призраки, призраки, призраки.

Сорвавшись с библиотечных полок, шуршащие, как книжные страницы, они притворились простыми людьми, обыденными вещами, осязаемой, тленной материей.

И они говорят, они поучают, они плодятся, как печатные изделия, они убедили человечество в вечно-сти, животности своей природы.

Но это же — Диккенс, это — полнейшее собрание сочинений Чарльза Диккенса, представленное в бесподобной обстановке!

Здесь люди улыбаются так, что один взгляд на них напоминает счастливый очаг, здесь отращивают бакенбарды на голландский манер, чтобы поглаживать их незабываемым жестом согнутой в пальцах руки, здесь плачут о погибших безродных малютках, носят веночки из вереска на могилы утонувших моряков, и высшее, сердечнейшее веселье — до слез в благородных глазах — здесь все еще — простенькая полька и старая семейная кадрили.

Да, да, в этом бледном городе человеческие призраки, надуманные чувствительным британцем, поселились прочно, и целый республиканский штат, пожалуй — республика, принадлежит неотъемлемо очагу, бакенбардам, несчастным малюткам, веночкам из вереска и семейной кадрили.

Остров, воспетый остров, республика академиков и лоцманов! Никакими брандспойтами не смыть с тебя прекрасного твоего обольщения!

Печальные корабли стародавней стройки одиноко удаляются отсюда в неизвестность, доморощенные капитаны, завернувшись в угловатые резиновые дождевики, осеняют крестиками пряжки своих поясов, и в кирках служат суровые мессы, и бородатый звездочет поворачивает обсерваторские телескопы, и аспиранты поводят головами следом за флюгером метеорологиче-

ской вышки, и заводы, как курильщики, грустно выпускают зеленоватые колечки хлористых отбросов.

Как Млечный Путь, неясны и обманчивы здесь очертанья, и как в Млечном Пути — загадочно множество видений.

Ночами островная республика рассылает по всему городу своих бумажных, призрачных граждан, и художавые поэты бормочут на каналах вирши, застывшие женщины, перегнувшись через перила мостов, смотрят в воду, отжившие витии становятся у церковных оград и протягивают давно не мытые руки за подаванием.

Разоблачается театр, и даже трезвейшему педанту очевидно неумное дневное притворство героев, и вот он сам уже покрылся бледностью, размеренная поступь его дрогнула, он стал просвечивать и шуршать, вместо того чтобы отражать свет и гроыхать сапогами, неясность, всерастворяющая неясность поглотила трезвейшего педанта, и вот он — новый персонаж из Чарльза Диккенса, вот он — призрак, вот он — живое подобие человека!

Что, если бы и впрямь в этом городе собрались все чудачки, безумцы, Геростраты?

И куда же, куда еще могли привести Никиту Карева его взволнованные скитанья?

В самой походке его было что-то необычное, прямое, словно приподнятое над землей. Как случилось, что из всей каревской семьи он один — Никита Карев — не унаследовал ничего от отца, деда, от всех своих пращуров, уральских, яицких первой руки казаков? Куда девались в нем косолапость ступней, вывернутых киргизскими стремянами, тугая упругость колен, неповоротливая толщина пояса — тех самых чресел, которыми крепок казак? Да и сидел ли Никита когда-нибудь в седле?

Откуда-то появилась у него любовь к ходьбе, и земля носила его удобно, с внимательной заботой о том, чтобы не нарушить легкой прямоты его осанки, не искривить ровной его поступи. И он ходил, не помня, куда заносили его ноги, постоянно глядя вперед малоподвижными, ленивыми глазами.

...В эту ночь, выйдя от брата, окунувшись в вихревую суматоху тяжелых, тающих на лету хлопьев снега, Никита быстро слился с темнотою. У него было одно желание: идти. То, что он оставил в доме Матвея, чудилось ему сумбуром. Ни одного взгляда, ни одного движения по-разному близких ему людей он не мог понять. Но жестокая встреча с Родионом и Варварой Михайловной как-то очень скоро заслонилась болью, знакомой, почти привычной, но еще больше выросшей болью об Ирине.

С этой тоскою, с этим гнетом только и можно было нестись неизвестно куда, в снежном тайфуне, в мокром, свистящем смерче. И, закрученный воронками выюги, исчезнувший в рябой суматохе несчетных пятен, Никита кружил по бесконечным слепым улицам города.

Его сопровождал непрерывный слитный шум: звенели потоки воды по сточным трубам, хлупала по крышам и дорогам тяжелая дробь дождя. В этом шуме сама собой нашлась стопущая длинная волна каких-то звуков. Волна катилась навстречу Никите, неустанно возрастая, готовая подмыть его, бросить и разорвать, разомкнуть неудобное, назойливое сцепление звуков. Он слышал ноты, которые должны были разрешить это сцепление, они были в нем, он знал их, он даже промышчал их одну за другой через нос, числом пять, гнусаво и коротко, точно давая тон безучастной, неподчиняющейся погоде, он даже прикрикнул:

— Ну же, ну!

И вновь прогнусавил пять нот, сидевших в голове и единственно способных сбить гребень с волны, уронить ее, сровнять с поверхностью потока. Но волна продолжала мчаться на него, все усиливая свое звучание, разливаясь вширь, окружая Никиту со всех сторон и упрямо держась на одной и той же напряженной, мучительной высоте. Ему хотелось, чтобы она ударила его в грудь, он думал рассечь ее, он ускорил шаги, побежал, и его охватило то чувство тоски, которое давит человека после томительного сновидения.

Он против воли смутно и долго вспоминал недавний сон, державший его в мертвящем подчинении целое утро.

Это был город, похожий на все города, какие видел Никита, а может быть — на те, каких он никогда не видал. И был вечер, с огнями, фазтонами, людьми. Какой-то большой, сумрачный дом, нерусской стройки, колыхался где-то в городе. И вот самое непонятное: вовсе не Никита со стороны смотрит сон, и вовсе не себя видит Никита во сне, а какие-то чужие души переживают все за Никиту, и само собой понятно для этих чужих душ и для Никиты, что смотрит, видит, переживает Никита. Словом, когда-то в юности Никита учился в Дрездене, в консерватории. Там встретил он девушку, и они жили вместе, не зная, конечно; что это и была настоящая жизнь, а как все люди думая, что настоящее — впереди. Потом девушка умерла. Возможно, впрочем, что Никита потерял ее, но только он сразу понял, что настоящее — позади. Так вот, оказалось, что девушка не умерла, а живет в этом колышущемся большом доме, в этом городе, вечером. Зовут ее Анной. Да, да, ее действительно звали Анной, и она только что приехала в большой дом. Живет она в одной квартире с другой девушкой, но не знает, кто эта девушка. И вот она смотрит Никите в глаза, он слышит, как она держит его голову теплыми руками и говорит ему, что любит его. Тогда он опять чувствует смертельное счастье и рассказывает ей, что он никогда не верил и ни за что не поверил бы, будто она умерла. Так вот, когда его заставили думать, что она умерла, когда он думал это, он поехал к ней, в ее город, в их город. Против окна Анны был магазин с громадным зеркальным стеклом. На выставке магазина всегда торчали манекены в модных платьях, люди часто останавливались смотреть на манекены. И он всегда стоял у зеркального стекла, но не видел манекенов, а смотрел в стекло, в зеркальное стекло, чтобы видеть ее окно. Он стоял, смотрел, ожидая, как она подойдет к окну и кивнет ему. Она ведь знала, что он смотрит через стекло на нее, и всегда отвечала на его поклон коротким кив-

ком. Надо ведь было скрывать их любовь, и они были осторожны. Он все ждал, что она подойдет к раскрытому окну, что она появится в летнем платье — голубые полосы по белому — и кивнет ему. Но он не дождался Анны и ушел искать ее могилу.

И вот, пока Никита рассказывал Анне об этом, он видел, как росли ее глаза и как она начинала понимать его тайну: он связан еще с кем-то! И потом, вместе с Анной, он внезапно понял, что все раскрыто, что Анна угадала, кто жил с нею в большом доме. Он видит, как каждый день, в один час, вечером, крадучись, возвращается в большой дом та, другая девушка, Ирина, и как Анна угадывает, что она возвращается от Никиты. Может быть, это не Ирина, может быть — двойник Анны крадется по большому дому, где живет та — другая, то есть Анна, которая не могла, конечно, не понять всего, решительно всего, когда Никита рассказал ей, как он смотрел на ее окна через зеркальное стекло магазина. Потому что кому же, если не Анне, знать об этой любви Никиты к тайному, скрытому, обманному, о той неотразимой силе, какая тянула его к глядению через стекло? Да, конечно, он смотрел тогда в окно Анны, надеясь, отчаиваясь увидеть в нем Ирину. И не в этом ли двойнии Ирины и Анны таилась мертвящая сладость сновиденья?..

Никита сделал последнее усилие подробней и живее представить себе сон. Волна неприятно сцепленных звуков сменилась чем-то однотонно-пустым, хлопьев снега не стало, суматошную рябую пелену кто-то сдернул с улиц.

Никита стоял на плохо освещенном проспекте против громадного зеркального стекла магазина и смотрел в отражение большого темного дома. Окна его были мрачны, ни одной тени не скользнуло в них, ни одна рама не открылась. Кажется, Никита в действительности ждал, что у окна появится Ирина, взглянет в зеркальное стекло и тайком кивнет ему.

Он выговорил вслух:

— Умерла, конечно умерла. Не пойти ли искать могилу?

Он внезапно громко рассмеялся.

— Как во сне! — воскликнул он.

И уже двинувшись вдоль проспекта, все еще с улыбкой на лице, так же вслух спросил:

— Но, может быть, повторится?..

Он ощутил резкий, пронзающий холод, пальто его было мокро и тяжело повисло на плечах, со шляпы скатывались и падали на грудь капли воды. Он увидел большой иссиня-белый фонарь, проливавший свет на подъезд старого дома. Чердака колясок тянулась из глухой темноты к подъезду, согнутые силуэты людей дрожали в иссиня-белом свете. Никита узнал дом, тоскливое желание тепла толкнуло его к подъезду, он отряхнулся, расстегнул пальто и вошел в дом.

Его встретили разбухшие от одежды ряды вешалок, как в лавке богатого старьевщика. Ковер в потертых землисто-серых плешинах пятнистой гадюкой вползал на лестницу. Тонконогий столик, покрытый газеткой, на минуту загородил Никите дорогу. На столике валялись потерявшие блеск серебряные и медные деньги, топоршились розовенькие книжки входных билетов. В зимнем саду поддельная зелень пальм бережливо держала на себе фиолетовые мертвые слои пыли, и в маленьком бассейне с водою мертво стыли фиолетовые спины карпов и лещей. Разноцветные лампочки жидкой гирляндой обвивали пальмы, и в ровном их тлении таилась такая бесталанная, могильная скука, что Никита почти бегом кинулся вперед.

Но это было лишь преддверие склепа.

В игорном зале, на стульях, разбросанных вдоль стен, искалеченные страданием, сидели, полулежали, приткнулись фиолетовые мертвецы. Головы одних были запрокинуты назад, и черными дырами зияли раскрытые рты. Лиц других не было видно, только округло-тупые, недвижные затылки возвышались над скрюченными телами. Выбывшие из строя, изможденные, загнанные, обескровленные, посиневшие от злобы, как удавленники, игроки в бессмыслии отдавались мертвой хватке сна. И когда внезапно кто-нибудь, забормотав спросонок, вскакивал и бросался к столу, — казалось, что мертвец присоединяется к ти-

хой погоне за удачей, чтобы вновь отстать, вновь изойти кровью и замертво рухнуть где-нибудь в сторону, открытым черным ртом выдыхая отчаянье.

И только за столами медленно шевелились восковые фиолетовые чучела, наряженные людьми, и этим молчаливым паноптикумом безупречно дирижировал охрипший, как пропойца, арбитр счастья, пробуждавший к движению своих чучел рокочущим призывом:

— Есть прием на табло! Делайте игру! Принимаем на табло!

Тогда женщины начинали обкусывать грязные ногти, и кургузые пальцы стариков ощупывали карманы жилетов и брюк, и мертвецы вздрагивали на отдаленных стульях, с болью вслушиваясь в чарующую, властную хрипоту:

— Есть место за столом баккара! Есть прием на табло!..

Приторная духота охватила Никиту, он поспешно сделал круг по залу, держась около столов, будто в боязни упасть, и вернулся в сад. Но холод не оставлял его, он решил согреться, выбрал глухой угол позади волосатой пальмы и занял столик.

Но едва он опустился на стул, как вплотную перед ним кто-то встал. Он вскинул голову.

Раскрасневшееся, пышущее свежестью лицо Варвары Михайловны улыбалось ему, точно из другого мира. Он отстранился, не веря глазам, но тотчас принял обычный свой сдержанный, чуть напыщенный вид и привстал. Варвара Михайловна рассмеялась и, будто дразня Никиту, приблизила к нему свое лицо. Он ощутил поток душистого холода, который она принесла на себе с улицы, яркость ее словно утишила в нем беспокойство, он улыбнулся. Тогда Варвара Михайловна засмеялась громче, взяла Никиту за руку и — довольная собою — сказала:

— А здорово я вас знаю, Карев!

— Вы знали, что я приду сюда? — спросил он.

— Ну, нет! Я плутала вместе с вами по улицам, — черт знает где вас носило! — я насквозь промокла. Просто, когда я выбежала от вашего брата, мне сразу пришло на ум, что вы не вынесете всей этой

неразберихи — я ведь здорово там начудила! — не вынесете, ну, и непременно пойдете бродить, выхаживаться. И правда ведь, Карев? Я подождала совсем немного, не больше десяти минут, и вот он — вылетел и поплыл!

Она опять расхохоталась, в голосе ее появились сочувствие и теплая, женственная нежность, но говорила она все еще насмешливо, немного, пожалуй, свысока:

— Право же, право, Карев, вы ведь не ходите, а плаваете. Или нет, нет! Вы если и ходите, то не по улицам и, конечно, уж не по панелям, как у нас выражаются, а по эпо-хе, по современности или как это? Миры, миры! Верно? Вокруг вас ледок, в такой вот форме, как это называется? — сфероид, что ли? Ха-ха, такой сфероидальный холодок...

Она круто сжала брови, точно намереваясь одним взглядом разгадать Никиту.

— Послушайте, Карев...

Вдруг оборвав себя, она спросила чуждо:

— Скажите мне правду, Никита. Вы побежали за мной, то есть вы захотели меня видеть, или... или напосто ваша племянница устроила вам сцену?

Он смотрел мимо Варвары Михайловны неизменившимся, малоподвижными глазами, и неровная белизна медленно покрывала его губы.

— Впрочем, она, конечно, не из тех, кто устраивает сцены, — с легкой улыбочкой сказала Варвара Михайловна. — Да?

— Не знаю, — ответил наконец Никита, — мне было неприятно и тяжело. Я ушел.

Варвара Михайловна опять засмеялась, и опять волнующая теплота смягчила ее речь.

— Бедный Карев, ведь из этого ничего не выйдет. Неужели вы надеетесь? Сколько ей лет? Семнадцать?

Он вдруг вспомнил Евграфа, озноб передернул его плечи, он спросил резко:

— Почему вы такая злая?

На одну секунду Варвара Михайловна смешалась. Вдруг она наклонилась к нему и торопливо зашептала:

— Нет, нет, Карев! Не злая, нет! Но подумайте: всю жизнь — ведь скоро уже *вся* жизнь, и зачем обманывать себя? — всю жизнь я преследую вас...

— Зачем? — воскликнул Карев, но она не дала ему говорить и продолжала торопливо шептать, приблизив к нему вплотную свое лицо:

— Тут не во мне дело, Карев. Я знаю, я прекрасно знаю вас, Карев, я знаю...

Она остановилась, сжала его руку и убежденно просто сказала:

— Вы не можете быть счастливы без меня.

Он отшатнулся от Варвары Михайловны, пристально оглядел ее, точно впервые попавшегося, чужого человека, и неуверенно засмеялся:

— Я боюсь вас.

— Вы любите меня, — еще проще сказала Варвара Михайловна.

Он закрыл глаза и с минуту просидел молча.

— Нет, — произнес он тихо.

Она снова внезапно расхохоталась, как будто долго сдерживала мучивший ее смех и наконец дала ему волю.

— Вы должны были это сказать, Карев! Иначе в какое нелепое, смешное положение вы попали бы? Двадцать лет подряд тайно влюблен! Здорово!

— Вы возбуждены сегодня.

— Я давно не говорила с вами, Карев.

Она глядела на него в упор, открыто, немного надменно и вызывающе. Было что-то неприятное в ее глазах, может быть — грубоватая уверенность в том, что они хороши. Они действительно были хороши — под твердым росчерком бровей, разделенных прямою тонкою морщиной. Изредка морщина углублялась, и тогда вместе с выражением упрямства в лице Варвары Михайловны мелькало нечто очень несвойственное ей, мягкое, растерянное, — подобие мольбы, пожалуй — извинение за эту скрытую, застенчивую мольбу.

Кареву стало не по себе. Он спросил новым, подчеркнуто измененным тоном, показывая, что прежний разговор кончен:

— Что произошло у вас с Родионом?

— Я бросила его.
— Бросили?
— Ну да, ушла от него.
— Но зачем же вы сегодня разыскивали его?
— Он ревнует ко мне Ленку. Мечет и рвет, когда я прихожу с ней повидаться. И, представьте, потихоньку перебрался бог знает куда, кажется на Васильевский остров, а я ищу его, как дура.

— Зачем?

— Как — зачем? А Ленка? Это же — прелестная девчонка, я ее страшно люблю. Вы послушали бы, как она болтает! Я ей обещала подарить домик, а она спрашивает: а что, у домика будет открыватка и закрыватка? Понимаете? Нет? Ну, дверная задвижка! Прелесть! Книжки у нее бывают порусские и понемецкие, бородадку она называет бородавкой, или, например, знаете вы такое число — половинадцать? Я без ума от нее, Карев.

— Зачем же вы бросили ее? — воскликнул Никита.

— Я и не думала! Я бросила Родиона. А он не отдает мне Ленку. Он тоже от нее без ума, он прямо зверски привязан к ней.

— Тогда зачем же вы ушли от Родиона?

— Карев, Карев! Ведь это же форменный допрос! Я никак не ждала от вас такого интереса к себе. Я страшно польщена, право! Ха-ха! Ну, извольте: Родион мне надоел. Он сделал свое дело.

— Какое дело?

— У меня от него ребенок.

— Родион только для этого нужен был вам? — изумился Никита.

С запыленных фиолетовых вершушек пальм низринулся грохот оркестра, в саду стало шумно, нужно было кричать. И Варвара Михайловна, придвинувшись к Никите, прокричала:

— А вы не догадывались? Конечно, я предпочла бы иметь ребенка от другого отца, но он — тоже прекрасный отец. Впрочем, я хотела бы еще одного ребенка... от вас, Карев.

Варвара Михайловна сильным, плавным движением качнула свои широкие плечи и грудь перед Ни-

китой, словно развертывая их материнскую мощь, и губы ее раскрыли ровную, мерцающую полосу зубов.

— Чтобы бросить меня, когда я... сделаю свое дело? — спросил Никита с усмешкой и, казалось, чересчур тихо, чтобы его можно было расслышать.

Но она поняла его и ответила:

— Я вас не бросила бы.

Пододвигаясь совсем близко к нему, она отчетливо выговаривала, точно вбивала в Никиту крепкие, неломкие слова:

— Я никогда не брошу вас, Карев. А вы должны выкинуть из своей великолепной головы бред о том, что вы не годны для меня и что мне нужны особые экземпляры, какие-то Родионы.

— Это — не бред, — сказал он, покачивая головой.

— Это — глупость, — крикнула Варвара Михайловна. — И трусость, ребячья трусость.

— Невозможно, — улыбнулся Карев, все еще покачивая головой, — вы говорите невозможное. Человек, к несчастью, связан прошлым. Мы не *поступаем сейчас*, а неизбежно *должны* поступать так, как определено нашим прошлым. Каждый шаг наш оставляет следы не только настоящего, но и прошлого. Прошрое и настоящее — одно. В этом смысле времени нет, по крайней мере его нет для одного человека. А вы хотите...

— Я хочу прежде всего, — прервала Никиту Варвара Михайловна, — чтобы вы не говорили со мной так снисходительно и к тому же не выдавали пустяков за философию.

Он встал, мучительно поморщившись, взглянул наверх, откуда горохом сыпалась барабанная дробь. Варвара Михайловна опять взяла его руку и тоже поднялась.

— Я больше не могу. Пойду, — сказал он.

— Я приду к вам, Карев, — быстро проговорила она ему на ухо.

— Хорошо, — ответил он.

— Приду скоро! — добавила она, пожимая руку Никиты.

И тут же громко, весело крикнула:

— И у меня будет от вас ребенок!

На полуфразе оборвалось разящее форте оркестра, и сильный голос Варвары Михайловны прозвучал в тишине сада:

— ...от вас ребенок!

Это было так громко, что — кажется — фиолетовые рыбы в аквариуме расслышали неожиданные слова и пошевелили мертвыми спинами.

Все кругом обернулись на Варвару Михайловну.

Она стояла, упершись одной рукой в бедро и показывая стынущую полоску ровных зубов.

Никита быстро вышел.

Он вырвался на улицу и с радостью вдохнул в себя колющую, острую свежесть зари.

Но неожиданный, стремительный поток крови неприятно согрел его с головы до ног, он засунул руки глубже в карманы и торопливо зашагал.

Ему представилось, что десятки, сотни глаз с укоризной и нелюбовью, даже с ненавистью осматривают его лицо, затылок, помятую, промокшую шляпу, его забрызганное грязью пальто. Ему стало мерзко видеть себя, точно грязь запачкала не одежду его, а все тело.

Утро было обычное. Толстые, укутанные в мохнатые шубы фигуры неповоротливо копошились на трамвайном пути, поспешные удары молота железно сыпались, догоняя и подталкивая эхо, в молочном свете электрических вспышек дрожали и колебались согнутые спины сварщиков рельсов. Раскачиваясь и гудя суетливыми колесиками, бежали вдаль серые платформы рабочих трамваев, и навстречу Никите, наперерез ему, перегоняя и обходя его, спешили люди, кое-как заткнув в рукава курток красные от холода руки, разбрызгивая покоробленными подошвами слякоть тротуаров.

Никита попробовал взглядеться в мелькавшие мимо него лица. Они были сосредоточены на одной какой-то думе, в морщинах их лежала сдержанная суровость, точно эти люди, сжав свое сердце, навсегда признали упрямую неизбежность вот таких городских

рассветов — с торопливо бегущими, однотонными фигурами, с железным звоном ударов по рельсам, с дрожащим молочным огнем сварки.

Это был долг, человеческий долг — такие рассветы, когда люди бежали, бежали, чтобы скорее, как можно скорее добежать, включить себя в какую-нибудь крошечную часть озабоченной машины.

Стыд шемил Никиту. Ему было стыдно перед божьим светом, перед зачинающимся днем, перед бегущими людьми. Ему хотелось приобрести с ними сходство, потеряться среди них. Но он чувствовал, что лицо выдает его, что нельзя скрыть истекшей бессмысленной, жалкой ночи.

Он вздохнул свободнее, выйдя на Фонтанку. Походка его изменилась, свет сломал ее, как сламывал, стирал вечернюю, ночную неуловимость и неясность уличных линий.

Город лежал спокойный и большой. Все вокруг было полно смысла. Краски, стены, углы, решетки были подобраны и сделаны расчетливо и разумно. Все размещалось на земле с простором и достоинством. Мир был удобен.

Никита легко сбежал с возвышенности, поднимающейся к Аничкову мосту.

Вдруг сзади его кто-то придержал за локоть,

— Извиняюсь.

Он отдернул локоть и повернулся.

— Извиняюсь, гражданин, — сказал мухрастый человек, приподнимая картузик, — очень извиняюсь, если обознаюсь.

Желтенькие глаза с сиреневыми мешочками под нижними веками испытующе всматривались в Никиту. Незнакомец, как бы нарочно, быстро заткнул руки в ободренные рукава рыжего пальто.

— Извиняюсь — холодно, не могу протянуть руку. Не за подаванием, нет. До этого не доведен. Но чтобы позать в свою очередь руку известному и знаменитому Никите Кареву. Насколько убеждаюсь — не обознался. Извиняюсь — Никита Васильич?

— А вы кто?

— Значит, верно-с... — Никите Васильичу — честь,

почет, уважение и вообще — фурор. Готов рукоплескать, но холод не допускает.

— Вы знаете меня? Кто вы?

— Называю по имю, отчеству и по фамилье. Так что — знаю-с. Мое фамилье, конечно и обязательно, не так знаменито. Но вам может показаться знакомо. Чупрыков. Мог сохраниться в вашей памяти довольно прочно, скорее, конечно и обязательно, по имю: Витька. Витька Чупрыков.

— Помню, — сухо сказал Никита. — Вы служили у Шерстобитовых?

— Действительно, так. Но впоследствии служил по призыванию в геройской Красной Армии. Заметьте: по призыванию, а не по призыву. Совершил большие походы, контужен и в демобилизацию уволен инвалидом на сорок процентов. Страдал сознательно и не каюся: по призыванию бороться за правду.

— Как же вы попали сюда... и чего вы хотите от меня?..

— От вас — ничего. Считаю за почет обмен мнением. Ваше фамилье облетело весь город. Читал в афишах и чувствовал. Очень крупно: симфония Никиты Карева под управлением автора. Стоял у дверей и наблюдал за толпою публики. Конечно и обязательно, мое фамилье честного бойца не может идти в сравнение с вашим фамильем. Однако задумываюсь по своей склонности размышлять...

Никита пожал плечами и двинулся с места.

— Мне надо идти.

— Пожалуйста, не могу задерживать. Извиняюсь. Но разрешите проводить. Вы ведь неподалеку?

— А вы откуда знаете?

— Заметил. Привык замечать.

— Вы давно здесь?

— Не очень. Но срок дела не меняет. С утра в искании работы. Был в Саратове, затем в Москве. Искал места, но ничего не достиг, хотя, конечно и обязательно, везде признают, что Чупрыков заслужил весьма беззаветной борьбой в рабочих-крестьянских рядах. Впрочем, сказать правду, достиг: в Саратове платили шесть с полтиной в месяц за сорок процен-

тов контузии, здесь платят десять. На такой баланс, извиняюсь, даже умереть прилично невозможно.

Чупрыков оглядел себя сверху донизу, демонстрируя свою бедность.

— Никакого сальда не остается, чтобы постираться и подмыться, — сказал он, ухмыляясь.

Потом он умирил шаг и остановился.

— Извиняюсь, вы ведь, кажется, торопились домой?

— Да откуда вы знаете, где мой дом? — вскрикнул Никита.

Чупрыков приблизился к Кареву и, подергивая сиреневым мешочком под правым глазом, чуть дребезжа хрипотцой, легонько протянул:

— Я много чего знаю, Никита Васильич, уважаемый мой Никита Васильич.

— Вас что, — грубо спросил Карев, — Варвара Михайловна подослала?

— Ну-у, не-ет! — засмеялся Чупрыков. — Хотя мы, конечно и обязательно, с Варюшей, как братья, и я знаю, что она, моя душенька, здесь проживает, в Питере, но я ее пока не видел. У нас с ней вроде перебива в сношениях, и я понимаю, что другого классу... А про вас я знаю...

— Что знаете? — нетерпеливо поторопил его Никита.

Но Чупрыков неожиданно стал медлить, вытащил из рукавов краснопалые руки, потер их со вкусом, будто готовясь к чему-то чрезвычайно приятному и важному, поправил картузик.

— Про вас я знаю порядочно, — заговорил он с растяжкой. — Про то, как вы ушли, и про то, как вернулись. И про то, как вы *там* были, *там*...

Он снова задергал сиреневыми мешочками глаз и куда-то таинственно показал.

— Ну, и что же? — зло спросил Никита. — К чему это ваше знание?

— Пока не употребил его, не употребил. Но по привычке задумываться... Да-а. Вот, думаю, ходит человек и вот другой человек. Один, скажем, Витька — в рубищах и в постоянном поиске труда за фунт сит-

ного. Но человек геройской заслуги и инвалид, бился за правду по призванию. Другой, скажем, какая-нибудь знаменитость. И тоже ходит. Но одетый, обутый, в почете и в чести. Хотя в прошлом, то есть в прошедшем времени, у человека... Да-а! И как ходит?!

Витька подмигнул с веселым лукавством и распрямился, поднял голову, стал на цыпочки.

— Вот как ходит. Хе-хе! Дескать, на то мы вам знаменитость, полюби нас беленькими, а красненькими нас всякий полюбит!

Он очень громко, рассыпчато засмеялся, тихонько подтолкнул локтем Никиту в бок и повторил с удовольствием:

— Полюби нас беленькими!.. И, извиняюсь, любя! Любят, конечно и обязательно, выражают почет! А красненьких-то, сказать правду, не всякий любит, не-е-ет, шалишь! Красненьким-то от сил — красненькую в месяц, за сорок процентов контузии! Вот как-с!

Никите хотелось уйти, но что-то удерживало его около Витьки. Было отвратительно видеть его подмигивания, кривлянья, гнусно ощущать панибратское подталкивание локтем и слышать прилипчивую хрипотцу. Он принижался с умыслом и ровно настолько, чтобы придать загадочность назойливым своим намекам. Но что мог знать о Никите этот вынырнувший из-под земли человек? И разве Никитину жизнь нельзя было показать всему миру на ладони?

— Перестаньте попусту болтать, — брезгливо оборвал Никита Чупрыкова.

Но, взглянув в глаза нечаянного своего собеседника, поежился и отступил. Желтизна этих глаз показала ему совершенно прозрачной, как у кошки, и в небольшой глубине их он увидел незатененную, голую и ясную, как божий день, наглость. Он никогда не встречал таких глаз.

— Попусту, изволили сказать? — произнес с усмешечкой Чупрыков. — А сами пожимаетесь...

Они стояли у открытых литых ворот шереметевского дворца. Один шаг — и Никита был бы во дворе дома. Он оторвал взгляд от глаз Чупрыкова и посмотрел через Фонтанку.

Там, на громоздких развалинах сломанного дома, копошились рабочие, разбирая и укладывая в клетки кирпичи. Работа успела развернуться, сероватый покров пыли колыхался над развалинами, по дощатым настилам ворчливо катились груженные кирпичом тачки.

Витька проследил взгляд Карева, прицелился на разрушенный дом и секунду смотрел молча. Потом он опять подтолкнул Никиту в бок и, показывая отогнутым большим пальцем через Фонтанку, просмаковал язвительно:

— Производство кирпича...

Но в тот же момент он дрогнул. В его подвижном лице, во всем его теле произошла мгновенная схватка каких-то противоречивых движений. Он глядел на Никиту подозрительно, пытливо, ненавистно, и в то же время губы его кривились в лстивой и понимающей улыбке.

Он вновь потер свои руки, на этот раз уничтожительно, и раскрыл было рот.

Но Никита уже смеялся. Под его преодолевающим взором заегозили, засновали машинными челночками сузившиеся глазки Чупрыкова:

— Красненькие, говорите? — спросил Никита, стараясь поймать сновавшие во все стороны глаза и подражая последнему вопросу Витьки. — А сами забеспокоились.

Он повернулся и, смеясь, вошел в дворцовые ворота. Витька молчал.

Конечно, он выдал себя. Но как было ему устоять перед соблазном такого словечка?

Он опять посмотрел на разрушенный дом и ухмыльнулся.

Потом он мотнул головою вслед Никите. Это должно было означать: «Посмотрим!..»

INFERNO¹

Глава первая

Семья Каревых была громадна, пышна, многолика. Дети росли тремя поколениями, старшие почти не знали младших, дочерей выдавали замуж, у них родились и цвели ребята, а в это время основатель семьи, папаша Василь Леонтьич, производил на свет новых Каревых. У него были внуки старше детей, и последний сын Ростислав, родившись, сразу заполучил кучу племянников, один из которых уже щеголял в новенькой форме реалиста казачьего образца — с широким малиновым околышем на фуражке, с такими же малиновыми лампасами на штанах. Раскиданы Каревы были по разным далеким концам, но иногда, почти полностью, всей семьей собирались в горсть, и тут Василь Леонтьич, приехав домой, наскоро осматривал своих чад, точно подытоживая доходы.

— Ну, что, кончил, доктором стал? — спрашивал он Матвея, пыхтя и осторожно наваливая свое раздутое, ожиревшее тело на краешек кровати. — Что бороду-то остриг, точно адвокат? Борода не ноготь, не

¹ Ад (итал.).

сломается. Что? Для чистоты? Много ль в бороде грязи поместится? Все норовят почуднее... Деньги стал зарабатывать—это хорошо, отцу с плеч долой, а то у меня вона сколько!.. Скоро ль женишься?.. Как—учиться? Опять учиться? На профессора? Ну, вали. Да гляди, женись скорей, без жены баловство...

Василь Леонтыч с великим трудом пересаживал свое туловище с кровати на ноги и вперевалку шел в другую комнату.

— Что это, Мастря, — обращался он к дочери, — про тебя мне мать говорит, будто не в меру богомольна стала, с чего это? Ну-ка, покажись... Нехороша, матушка, нехороша. Замуж надо. Чего? Рано? А я говорю — как раз, не то забегаешься по монастырям — поздно станет. Ну ступай, целуй.

Он нагibal к дочери коричневую маленькую свою голову, насколько пускала толстая шея, чмокал губами воздух, а сам уже косил глазом на другую дочь, подходящую к нему здороваться.

— Здравствуй, Поля, с приездом. Родила? Слава богу. Это который у тебя? Второй? Как нарекли? Иваном? Хорошее имя, хотя больно просто, как у мужиков. Совсем позабыли, что казаки! Надо было бы Васильем назвать. Не казачье имя? А отец кто у тебя, казак? Есть Василий? Это который? У Катерины? А тебе что до Катерины — у ней Василий, и у тебя был бы Василий, чай не в одной постели спите, разберетесь...

Потом выкатывался на двор, к маленьким, раздавал им конфеты, вынимая гостинцы из отвислых, глубоких карманов чесучового пиджака, углы которого хлопались у него по коленкам. Повидав потомство, он возвращался к жене, чтобы передать свои впечатления — сверить лицевые счета с главной книгой.

Жена его и впрямь была главной книгой многочисленного человеческого и вещевого каревского хозяйства. Как успевала она справляться со всеми болезнями материнства, растить маленьких детей и помогать взрослым, приглядывать за домом, за несколькими домами — в городе, на форпосте, в саду?

Между тем делала она все в большом, неприметном спокойствии и всегда в каждом деле успевая.

— Слава богу, — отчитывался Василь Леонтьич, посапывая после утомительной, хотя и короткой ревизии. — Все, как у людей. Насчет Матриды ты, мать, подумай. А кого у нас нету? Натальи? Учение не кончилось? Синий чулок, только и знает книжки муслит. Никита что-то больно тих, хуже девчонки. Матвей — молодец. За этого я спокоен, дело доводит до конца — казак...

Василь Леонтьич сам был казаком по роду, по крови, по уральской степной волюшке, и отцу его доводилось скакать в голове целой сотни. Но воякой Василь Леонтьич прослыл шарабанным, и хоть в малолетках научен был, бежа на коне, преспокойно запускать в обе ноздри хорошие понюшки табаку, когда конь не скачет, а расстилается по земле стелькой, — хоть и научен был этому Василь Леонтьич, но ловко и с удовольствием занялся хозяйственной службою и скоро начал толстеть.

Толстел он непомерно, с легкостью невиданной, со дня на день, и вместе с толщиной пухла, ширилась его известность в городе, на форпостах, на зауральской, «бухарской» стороне. К сорока годам весу в Василь Леонтьиче было восемь пудов с небольшим, и он даже во сне давным-давно не ездил верхом, а сядя на дрожки, просил кого-нибудь помочь ему, закинуть ногу через сиденье. Дрожки для него заказывались особые, на рессорах, а не на столбиках, и рессоры ставились линеечные, поосновательней, так что в Уральске не находилось подходящего дрожечника и со всем делом отправлялись на Волгу, в губернский город.

С дрожек Василь Леонтьич почти не сходил; иной раз, позавтракав, так и засыпал сидя, протянув короткие ножки и облокотившись на коробок с провиантом, привязанный позади сиденья. Служба его была непокойная, хлопотливая, надо было неустанно передвигаться, — где же тут прыгать с дрожек да на дрожки, сел поутру — сиди до вечера.

Был Василь Леонтьич управляющим, — должность, ни в каком законе с точностью не обрисованная, но могущественная и многосильная, особенно если владелец хозяйства носит звучное имя и проживает в каких-нибудь Петербургах. Ко всему благоприобретенному владельцем присоединялись богатства, положенные казакам по вольностям (хозяин считался старого казачьего роду), и добра было много, добра была прорва, и добром полноправил, добро умножал единственно Василь Леонтьич.

За казачьей чертой, в самарских полях простирались имения, где сеяли, разводили племенную скотину, строили конные заводы; при самой черте, в степях уральских испокон веку нарезались владельцу покосы — степные, хрящеватые, обильные травы; на тихом, стоячем Чагане, под яицкой атаманщиной, на изворотах низкой луки цвели пахучие яблонные сады; а в самой атаманшине, в Уральске, старели огромные тесовые дома; а в заречье, на «бухарской» стороне, у киргизов, подрастали закупленные овечьи гурты, чтобы летом, пока не сгорела степь, перевалить пыльной тучей через Урал, через Чаган, в степь, на луговую Волгу, в города.

Но ведь Василь Леонтьич тоже был казак, и сыновья его — казаки, и он не только управлял чужим добром, но имел еще и свое, и сыновнее, и ему нарезали в степях участки под покосы, и его сыновьям, и ему отводили надел под яблоньки на Чагане, и его сыновьям. И — господи сил! — кто, кроме Василь Леонтьича, мог бы разобрать, где кончается свое, каревское, и где начинается чужое? Мир был широк, без конца и краю, лошадей много, овец без числа, степи не охватишь, сена не взвесишь, яблочка к яблочку не уложишь!

Василь Леонтьич ездил на дрожках, дрожки возились за ним с самарских полей в уральские степи, из степей — в сады, из садов — на «бухарскую» сторону, к киргизам. Он пытел, посапывал, перекатывал свое круглое туловище на коротких ногах, утирал пухлой ладошкой потный, запыленный, коричневый лоб.

Со временем в нем оставалось все меньше и меньше казацкого, он обрастал путаным обиходом, новые домочадцы подмывали столбы, на которые исстари казак ставил дом. Иногда Василь Леонтьич спохватывался, и на него нападало свирепое упрямство. В такую пору про него говорили: папаша хворают норовом.

— Обмужичились, — задыхался он, — в купцы метите, в ученые? А я кто вам? Отец? Ну и баста! Как сказал, так и будет.

Так действительно и бывало. Одну свою дочь он окрестил Матридной, потому что, захворав норовом, вспомнил превосходные казачьи имена (а казаки именами славятся, и поныне еще украшают землю многие Агафангелы и Таврионы, Олимпиады и Артемии). И — как знать? — может быть, папашиному норову обязан был Никита тем, что стал музыкантом?

Он помнил с томящею силой одно лето, которое проплыло над ним зеленым облачком и — часто потом — казалось последним счастливым, по-настоящему счастливым летом.

В мае перекочевывали, как киргизы, всей семьей из зимнего жилья, с форпоста (казаки говорят — фарфос) на Чаган, в сады. Степь лежала сытая, вдосталь нахлебавшаяся обильными снегами, и — по вечерам — как-то особенно смиренная, совсем неслышная.

Много позже, когда жизнь населилась грохотами и скрипом, в хорошую минуту Никита возобновлял в себе эту неслышность, и тогда ему было так, будто он утратил все и навсегда.

Он помнил, как остановились однажды в вечернюю зарю на ночлег, как он убежал от табора, и издалека, над травой, видны были ему неподвижно изогнутые верблюжьи шеи и тоненькие поднятые оглобли телег и линеек. Головы верблюдов освещались упавшим солнцем и были кирпично-красны, и тончайшими волосками висели на верблюжьих ноздрах повода.

Над Никитою устало пролетел ястреб. Снизу было видно, как у птицы просвечивало одно изорванное крыло, и он долго слышал мерные вздохи и присвист

полета. Потом опять наступила такая неслышность, такая необыкновенная неслышность, что Никита вдруг заплакал и в страшном испуге побежал к матери.

Наверное, впервые он почувствовал, что живет в неизмеримо громадном мире и что мир этот непонятно суров.

Но лето не было сурово.

На Чагане Каревых встретил Евграф — существо домовитое, обстоятельное. Он играл в семье роль почтенную, а в иных делах даже тираническую, несмотря на то, что чин его был невысок: когда-то Евграфа наняли садовым мужиком. Старшие посмеивались над ним, но редко перечили ему, потому что он умел молчаливо, без шума и ссор, настоять на своем. Маленькие привязывались к Евграфу крепко, хвостом волочились за ним по саду, а он неторопливо и ловко, как нянька, справлял докучливое бабье дело.

В садах Евграф давно стал главным, старшим мужиком вроде надсмотрщика, десятского, и оттого, что узнал себе цену, сильно заскупился на слова.

Перед приездом Каревых сады были подготовлены к поливу, весенние работы кончились, и у Евграфа нашлось немало времени для каревских ребятишек. Никите шел восьмой год, приспела пора научить его ставить переметы и морды, гнать обломком весла бударку, бить из дробовика, бежать на лошади...

И вот кòлыхнулось и поплыло Никитино зеленое облачко.

Подле избенки Евграфа вечерами варились харчи для садовых рабочих. Это был славный час, когда медлительные, тихие от усталости работники усаживались на земле вокруг бурливого пахучего котла, подвешенного к козлам. Изредка тут затевались разговоры о далеких, чудесных краях, об осетре, которого не могло вытянуть из Урала все казачье войско, о киргизском богатстве, о всяческой удали и силе.

Но чуть ли не каждый вечер, когда темнело, рабочие кучились около Евграфова крыльца, разглядывая ужищу, выползавшую со своими ужонками

полакать молочка. Змея была хорошо приручена, преспокойно, не глядя на людей, пила молоко, нет-нет отнимая узенькую свою головку от черепка и по-птичьи запрокидывая ее назад. Красные отблески костра мерцали в ее маленьких глазках, она чудилась Никите зловещей, безжалостной, но вдруг кротко падала к черепку, и ей смешно подражали коротенькие глянцевые ужонки.

Евграф осанисто и снисходительно, точно какой-нибудь немец, показывающий зверинец уважаемой публике, объяснял:

— Гад гаду рознь. Есть такой, что его и сапогом раздавить мало, а есть невредные. Ужа большую человеку службу принесла. Когда прародитель наш сорок дней, сорок ночей над землей, как по морю плавал, поганая мыша в ковчеге дырку прогрызла. А вот эта самая ужа тою дырку собою заткнула. Ковчег-то и не потоп. Может, мы за всю нашу жизнь этому гаду благодарны!..

Никита дивился на Евграфа. Такой простой, понятный человек с корявыми длинными руками, обгорелым лицом, как все мужики, нырявший под яблонную паветвь, расхаживавший босиком по саду, — откуда мог он знать такое множество чудеснейших вещей, о которых ни от кого другого никогда не услышишь? И как легко, как тихо бывало Никите с Евграфом!

Когда выжгло степь, и — серая — она растрескалась, как пересохшая кожа, Евграф занялся приработком, — начал выливать из нор сусликов. В городе, в какой-то конторе, за каждого суслика платили одиннадцать копеек, надо было доставлять хвосты и задние лапы суслика — для счета, шкурка шла ни во что.

Черными дырками нор рябила голая, плоская степь, и только Евграфовым чутьем можно было выбрать в этой ряби настоящее сусликовое жилье. Охота ставилась неподалеку от Чагана или поблизости от котлубани, которую не успело выпарить солнце. Евграф носил воду ведрами, Никита выливал ее в норку.

Земля жадно впитывала в себя влагу, темнея и размягчаясь, ведро за ведром бесследно исчезало в глубине норы, Евграф неумоимо подтаскивал воды и наставлял Никиту:

— Сперва он будет пить. Значит, как дотекет до него вода, он уйдет в самую глубь и подождет. Как увидит, что вода бежит за ним вглубь, так начнет ее пить. Ну, однако же, поймет, что всю ее не выпить. Тогда он заткнет нору задом. Вот, постой.

Никита понемногу наклонял ведро над норой, струя воды, беззвучно пропадая в земле, начинала звенеть, и внезапно вода вырывалась наружу, точно из переполненной бутылки.

— Видал? — говорил Евграф. — Это он теперь заткнул задом и держит, не пускает. Однако же долго ему держать не под силу, он отпустит. Ну-ка, подлей. Вот так, держи воду вровень с землей, чтобы ему было потяжеле.

С минуту стояли молча, отплескивая из ведра воду пригоршнями. И — опять внезапно — вода всасывалась норой, как пустой воронкой, и Евграф щерился:

— Не удержала, погань. Ну, пойдем.

Они отходили на несколько шагов в сторону, Евграф озирался вокруг себя, что-то отыскивая, потом говорил:

— Вон он, вылез! Вишь, куда у него выход проделан.

Никита подбегал к норке.

Из земли высовывалась грязная, мокрая крысиная морда. Как чумной, ничего не понимая, точно не видя людей, суслик с трудом вылезал на свет божий, через силу таща по земле обезображенный, раздутый водою живот.

— Нахлебался! — с презрением замечал Евграф и, подняв дубинку, бил ею по черепу суслика.

— Ай! — кричал Никита.

— Жалеешь? — говорил Евграф. — Надо знать, кого жалеть. Одиннадцать копеек мы с тобой зарабатывали, а это — четыре фунта хлеба. Разве он за зиму-то четыре слопаёт? А ты — жалеть.

И они отыскивали другую сусличью норку...

Пожалуй, самым прекрасным в счастливом Никитином лете была его первая пробежка на лошади.

Он почти задыхался от восторга и страха, когда Евграф посадил его верхом на низенькую карюю казачью замухрышку. Лошадь была не оседлана, не взнуздана, веревочный повод перекинули через ее вихрастую шею вместо уздечки. Евграф заставил Никиту покрепче прижать икры к бокам лошади (коленки наездника приходились наравне с лошадиным хребтом), выпрямить поясницу, не сутулиться и держать повод одной рукой. Потом он ударил лошадь по крупу, и она пошла.

Она пошла вдоль березовой аллеи, отделявшей яблонный питомник от старого сада, пошла ровным, не валким шагом, словно понимая, что несет на себе хрупкую пошу.

Никита боялся шевельнуться, сидел, будто привязанный, и со страхом замечал, как в нем растет желание дернуть повод, прикрикнуть на лошадь.

Каким он представлял себя в эту минуту? Шляпа сползла у него на затылок, он раскраснелся от жары и скрытых, невидных усилий всего тела, на лбу его высыпали мельчайшие капельки пота, он ждал чего-то решающего, окончательного и необычайного.

Наконец против воли рука его потянула и держала повод.

— Но-о, пош-шо... — хрипло и тихо сказал он, и пот покатился с его висков струйками.

Тогда решающее началось. Лошадь добродушно передернула ушами, словно хотела спросить, верно ли она поняла верхового, и охотно, привычно перешла на грунцу.

И Никита не упал — нет, нет, — он даже не пополз набок, даже не ухватился за холку, он запрыгал на лошади, как мячик, неслышно и ровно. В нем радостно вспыхнула уверенность в себе, он улыбался и с удовольствием слушал свой чистый, окрепший голос, смешно перерубаемый в лад мелкой рыси:

— Но-о-о, по-шо-о-ол!

И вдруг:

— Стой! Тр-рр-рр!

Прямо перед ним, перерезая его путь, тянулась глубокая канава, шириною в два добрых шага.

Лошадь стала. Никита сполз на землю. Что было делать? Вернуться назад? Чудно подумать об этом: он только что начал кататься, только-только научился бежать — ну да, — бежать рысью, как настоящий казак. Перед ним, за канавой, простиралась лука, заросшая ежевикой, хмелем, высокими дуплистыми деревьями, в узких тропинках и дорожках — привольное, нетронутое, дикое место.

Никита решил перебраться в лука.

Он долго стаскивал с лошадиной шеи повод, подпрыгивая и становясь на цыпочки, лошадь не понимала его боязливых и неловких движений, наконец опустила голову и скучно ущипнула травку. Никита благодарно, но с опасочкой похлопал ее по шее и, спрыгнув в канаву, потянул повод.

Но лошадь не слушалась его, стояла, точно врытая в землю, и Никите показалось, что во взгляде ее светился непонятный укор. Никита пробовал понукать ее нарочно грубым, не своим голосом, потом прищелкивал языком и уговаривал ласково:

— Ну, Каринька, пошел вперед, вперед!

Все было напрасно, лошадь не двигалась.

Никита вылез из канавы и, опечаленный, задумался. К счастью, лошадь снова принялась щипать траву, и Никите удалось перекинуть повод через голову упрямыцы. Он вцепился лошади в гриву, подпрыгнул, вскарабкался на спину, сел и решил повернуть назад. Но в тот же момент лошадь отступила на один шаг и неожиданно прынула через канаву.

Никита не помнил, как он удержался. Он пришел в себя, почти лежа на лошадиной спине, одной рукой тщетно отыскивая какой-нибудь упор на покато́м крупе, другою держась за натянутый длинный повод. Ноги его беспомощно барахтались, запутавшись в гриве коня. Со страха он даже не кричал, изо всех сил стараясь выравняться и сесть.

Спасло его то, что, перепрыгнув, лошадь сразу пошла вскачь.

Но вот Никита распрямился, сел, взял в обе руки повод.

И тотчас необыкновенное, никогда не испытанное тепло разлилось по его телу. Как к человеку, он почувствовал любовную нежность к лошади. Ему было немножко стыдно перед ней за то, что он чуть-чуть не свалился, но — главное — за то, что он не поверил в нее — в эту прекрасную, умнейшую скотину, усомнился в доблестном и благородном сердце казачьего коня и позорно отступил перед первым препятствием. Как могло прийти ему в голову, что конь полезет следом за ним в канаву? Ведь это же не черепаха какая-нибудь, не ползучая тварь, не ужища!

И втайне изумленный, что бежать вскачь легче и удобней, чем рысью, расхрабренный, счастливый, естегнул лошадь концом повода.

— Ше-ве-лись!

Он скакал по тенистой прохладной луке, задевая головой свисавшие с ветел и вязов листья. Шляпы на нем не было, она осталась за канавой, но он ничего не замечал, он мчался, и каряя замухрышка чудилась ему стрелоподобной антилопой, а путанные усы хмеля — первозданной чашей олеандров, как в книжке, по которой сестры учили его читать.

Вернувшись, Никита рассказал Евграфу, как он перемахнул через ров, утаив, что лазал в канаву и тянул туда за собой лошадь.

— Удержался? — недоверчиво спросил Евграф и, когда Никита жарко и торопливо побожился, заметил безразлично:

— Ездок — что охотник, не обманет.

Никите было очень обидно подозрение Евграфа, он хотел признаться ему во всем, но счастье его было так велико, что проглотило обиду без остатка...

Вскоре после этого произошел случай, неожиданно оборвавший летние Никитины радости и странно переставивший всю Никитину жизнь на новый, какой-то безжалостный, жестокий путь.

Случилось же, в сущности, пустяшное, ничтожнейшее дело, невинная детская история.

Никита никогда потом не мог вспомнить, по какому поводу он очутился в Уральске, на Михайловской улице, и зачем его оставили одного перед окном игрушечного магазина.

Он стоял и глазел на разноцветную грудку тряпочек, оловяшек, жести и фольги. Игрушки сверкали точно росный лужок на солнце, времени у Никиты было много, он разглядывал игрушки пристально, не спеша...

И вот в уголке окна, рядом с куклою в шутовском пестром наряде и в бубенцах, Никита увидел скрипку.

Это была обыкновенная игрушечная скрипка, простого, наверно елового дерева, покрашенная в желтенький, канареечный цвет, с розовыми колочками и коротким — не длиннее скрипки — смычком. На верхней дощечке коричневым глазом таращился перепиленный сук, но в остальном скрипка была, право же, как настоящая: с подставочкой, струнами, с прорезами на верхней деке — прелестный инструмент!

Вот бы такую скрипку Никите! Вместо всяких игрушек и скучных безделиц — одну такую скрипку. Главное, конечно, то, что она — как настоящая, и такой вещью можно вполне заменить уйму ерунды. Если бы Никите подарили такую скрипку, даже лучше именно эту скрипку — с сучком и розовыми колками, — он отказался бы навсегда от всяких других игрушек. На кой они ему? Только мусор от них. А скрипку он повесил бы над своей кроватью и перед сном глядел бы на нее из-под одеяла и трогал бы струны. Струны на скрипке настоящие, поправдышные и, наверно, звенят. А с сучком, конечно, красивее. В самом деле, ведь Никите не так уж много преподносят игрушек. Почему бы не подарить ему скрипку? Ведь это просто выгоднее для них же, для больших, выгодно. Купили раз навсегда одну скрипку, и кончено — никаких подарков делать не надо до тех пор, пока Никита не станет большим. Тогда — он купит себе чего захочет! А какой тоненький у скрипки смычок! Эх...

Еще немного — и Никиту ударило бы в слезы. Но тут его взяли за руку и увели.

И опять Никита не помнил, кто отвел его от окна: кажется, сестра, но какая — он не знал. Всю дорогу он твердил о скрипке, так что в конце концов на него прикрикнули, и от обиды у него больно сжалось горло и задрожал подбородок.

Вечером, дома, Никита не выдержал и разревелся: скрипка не давала ему покоя. Может быть, ему было горько, что от его желаний кругом отмахивались, как от каприза баловня. Он не был баловнем, он редко, очень редко о чем-нибудь просил; наконец он не был виноват, что родился в громадной семье, где постоянно было так много всевозможных желаний, что никто толком в них не разбирался. Может быть, поэтому его желание сделалось нестерпимым, нудным, как боль, и он твердил день и ночь о вожделенной скрипке.

Вдруг этой истории наступил нечаянный конец.

Папаша Василь Леонтьич, приехав из города, привез с собою на дрожках скрипку. Неизвестно, каким путем, какой дорогой докатились до Василь Леонтьича сыновние слезы.

— Ну, Никита, — сказал папаша, сопя и отдуваясь, — ты тут нудишь — на, вот тебе, получай.

И он положил на стол черный длинный футляр с медными замочками и ручкой.

Все столпились вокруг стола.

Никита — бледный, большеглазый — смотрел за тем, как отец отпер замки и приподнял крышку футляра. Там, в футляре, оклеенном зеленой бумагой с цветочками, лежала скрипка.

Но что это была за скрипка! Большая, темная, блестящая свежей полировкой, с черными колками, с длинным, изогнутым смычком, надетым на какую-то вертушку.

Никита был потрясен. Он не мог выговорить ни слова. Он глядел на скрипку в страшном испуге.

Василь Леонтьич сказал, польщенный:

— Не ждал? Видишь, как я тебя...

— Ведь это — настоящая, совсем настоящая!

— Ну а как же, — довольно отозвался Василь Леонтьич. — Со знающим человеком покупал. Как раз для тебя, твоя мерка.

— Ведь на этой нужно играть!.. Я не умею играть, папа! — опять закричал Никита.

— Научись! Будешь учиться — научишься.

— Папа, папа! Я не хочу... я не хотел учиться! Я хотел только так... ту, желтенькую...

— А про это тебя не спрашивают, — наставительно прервал папаша, — про то, чего ты хочешь, знают без тебя.

— Но я совсем не то просил, папа!

— Пошел, дурак! — заключил Василь Леонтьич.

Как мог Никита объяснить отцу, объяснить всем большим, глупым людям, что он хотел получить ту, желтенькую скрипку, с сучком на верхней дощечке, ту самую скрипку... Ах, да разве можно, разве можно?! Ведь Никита хотел ту скрипку, которая — как настоящая, а вовсе не поправдышную, не эту ужасную скрипку, на которой надо учиться играть по правде, как большие! Разве можно?!

Никита бросился к Евграфу.

Он умолял Евграфа уговорить отца, чтобы тот продал скрипку, чтобы не учил его — Никиту — играть на скрипке. Он клялся, что откажется от той, первой, желтенькой скрипки, что никогда в жизни, ни за что на свете, ничего не будет просить — только бы его не заставляли учиться играть на скрипке. Он успел разжалобить Евграфа.

— Эка, довели парнишку, — сказал дядька и пошел к хозяину,

Но Василь Леонтьич, как на грех хворавший норовом, прогнал его. Евграф вышел из дому мрачней тучи и с такой досадой шикнул на Никиту, что он понял: все и навсегда для него было кончено.

Он убежал прочь, сел в канаву — в ту самую канаву, через которую недавно перескочил на лошади, — и дал волю горьким слезам.

И правда. Если с этого часу еще не все и не навсегда было кончено, то многое начиналось.

Осенью Никиту отправили к тетке, в большой волжский город, учиться.

Незадолго до его отъезда уехал Евграф — на службу, в Петербург, куда его вытребовал старший сын Карева — доктор Матвей Васильич. Много позже обнаружилось, что Евграф сам подстроил докторское требование и бросил Каревых назло Василь Леонтьичу, кровно его оскорбившему, когда он просил за Никиту.

Прощание дядьки с Никитой было очень любезным, но ни словом, ни намеком Евграф не обнаружил перед питомцем причины своего ухода. Он только сказал:

— Ты ведь теперь тоже не жилец здесь: пойдет ученье-мученье, замотаешься. Свет-то весь в дорожках да в тропах...

Одна тропа открывалась Никите, и ступить на нее он не хотел. Как зародилось в нем томительное предчувствие неблагополучия, какой-то тяготы, ожидавшей его впереди? Он не мог ни знать, ни думать об этом. Ему стало тоскливо, тревожно и немного боязно.

Завязывалась судьба музыканта, его — Никитина — судьба, его inferno.

Глава вторая

Первая гамма по школе Берио начинается со свободного (музыканты говорят — открытого, пустого) соль. Это — четвертая, крайняя слева струна, басок. Потом идут: ре — терция, ля — секунда, ми — квинта, слева направо. Все это прекрасно объяснено у Берио и запоминается без труда.

Если левую руку обернуть ладонью к лицу и потом очень медленно, без напряжения, сжимать кулак, стараясь, чтобы мизинец прежде других пальцев коснулся ладони, то в какой-то момент кисть сама собою займет положение, которое она должна иметь на скрипичном грифе. Указательный палец считается

первым, средний — вторым и так далее. (Здесь, в названии пальцев, скрипачи расходятся с пианистами.)

Об этом тоже изложено у Берио, и, кроме того, Яков Моисеевич Гольдман записал Никите на особом клочке нотной бумаги:

указательный — первый

средний — второй

безымянный — третий

мизинец — четвертый.

Большой палец, как видно по этой записочке, в счет не входит. Он торчит у Никиты с левой стороны грифа, отогнувшись загогулиной, и — от времени до времени — Яков Моисеевич дает ему щелчка, чтобы он не торчал, чтобы держал гриф, чтобы гриф не ложился на Никитину ладонь, а палец не залезал бы на колок баска.

Для того чтобы начать играть, надо подумать. Подумать надо прежде всего о ногах. Становиться следует так, чтобы тяжесть тела падала на левую ступню. Правая нога, в сущности, — простое украшение. Яков Моисеевич поди ничего не имел бы против, если бы правую Никитину ногу отрезала конка. Правую ногу нужно чуть-чуть выставить вперед, с известной небрежностью (ну вот, точь-в-точь так, будто она совсем лишняя).

— Непроизвольно, произвольно! — кричит Яков Моисеевич, подшибая Никитину коленку сзади ударом руки, как делают школьники.

Что такое «непроизвольно» — Никита не знает, слово кажется ему зверским.

Потом надо подумать о левой руке. Без левой-то руки не обойдешься; небось и Якову Моисеевичу было бы жалко, если бы, например, левую руку Никиты отрезала конка.

Локоть левой руки должен приходиться против сердца, но опираться локтем на грудь нельзя, ему полагается свободно висеть в воздухе. Над ним проходит средняя линия нижней деки. То есть она должна проходить, у Никиты она не проходит, у Никиты и локоть и скрипка лезут вбок и вниз, налево, и Яков Моисеевич, схватив скрипку, дергает ее вверх, так что

подгрифок больно тычет Никиту в подбородок, а край нижней деки — в ключицу.

— Ну, попробуем начать.

Это вовсе не значит — начать первую гамму по Берио. Нет. Начать — значит положить на бас смычок. Положить его надо так, чтобы смычок прикоснулся к струне всею плоскостью волоса, наиболее широкой у нижней колодочки. При этом кисть правой руки должна как бы свисать с запястья, совсем свободно, легко, а запястье должно приходиться примерно вровень с кончиком носа. Большой палец нельзя высовывать дальше середины лучка (на этом месте обычно сделана неглубокая ложбинка), а другие пальцы...

— Вот так, так, так, так, — хрипит Яков Моисеевич, раскладывая и по очереди втискивая Никитины пальцы в серебряную обмотку лучка у нижней колодочки.

— Свободно, совершенно свободно, легко! — кричит он. — Ну, начнем, раз, два, три, четыре, раз...

Кажется, все сделано как у Берио: правая нога отодвинута в сторону, локоть левой руки свободен, и локоть правой — тоже, и пальцы на смычке лежат свободно, легко.

Но вместе с вытягивающим душу хрипением Никитиной скрипки низкий потолок комнаты рушит вопль Якова Моисеевича:

— Ай, а-а-а, вз-вз!

Он всаживает пальцы в свою кольчатую черную гриву, потом принимается вертеть Никиту, точно куклу, и кричать:

— Разве это — мальчик? Это не мальчик, а дубовый комод, это дубовая доска, это дубовый кухонный столик!

И правда, Никита чувствует, что он одеревенел и нечего больше ожидать от его локтей, пальцев, от подбородка и ног.

— Еще раз! Раз, два, три, четыре...

Смычок надо вытянуть до конца, до верхней колодочки, не изменяя положения правого локтя, и затем... Но то, что нужно проделать, выдержав счет и дотянув смычок до верхней колодочки, что нужно

проделать кистью правой руки, не мог бы описать даже сам Берио.

Нет, нет! Никогда, ни за что Никита не сумеет этого сделать!

Да и откуда взяли, что Никита хочет стать музыкантом? Кто это придумал? Он не может терпеть музыку, он ненавидит скрипку, ненавидит Якова Моисеевича, он действительно выбежит вот сейчас на улицу, кинется под конку, и пусть! Нарочно ляжет на рельсы, чтобы отрезало руку и ногу, и будет жить без руки и без ноги. Вот вам тогда, возьмите!

— Выше, выше, выше! — орет учитель. — Си, си, си простое! А теперь — до, ниже, ниже, рядом со вторым рядом! До-о-о-четыре, ре-е-три-четыре.

Очень приятно, если спускается струна, — незадача с колком или еще что-нибудь.

— Опять, чер-рт! — скрежешет Яков Моисеевич, выхватывая скрипку из рук Никиты и принимаясь строить.

Тогда выпадает лишняя минуточка отдыха, можно постоять не по Берио, а просто как все люди.

Это, конечно, лучше, нежели тянуть смычок, ломая руки, это хорошо — постоять без дела. Но еще лучше было бы совсем кончить урок, перестать заниматься, уйти, убежать из подвала Якова Моисеевича!

Боже мой, как жутко и душно в подвале Якова Моисеевича!

Вот вбежал в комнату шустрый маленький отец Якова Моисеевича, такой же курчавый, как сын. У него засучены по локоть рукава, он тащит громадную книгу без переплета, за ним струится запах клейстера. Он подбегает к большой, страшной машине, хватается за колесо, вертит его стремительно и громко, на весь подвал, подпевает сыну:

— Ми-и-три-четыре, фа-а-а-четыре, соль-два-три-четыре.

Он кладет книгу в машину и пускает колесо в обратную сторону. Никита слышит, как тяжелый нож режет бумагу и тонкая гармоника обрезков, шипя, сыплется на пол. Никиту пробирает мороз, он фальшивит.

— Фальшь! — кричит Яков Моисеевич.

— Фальшь! — весело и громко отзывается за спиной Никиты переплетчик.

— Фальшь, фальшь, фальшь! — еще сильнее кричит сын.

— Фальшь, фальшь, фальшь! — отвечает отец, подкрадываясь в своих мягких туфлях к Никите.

Никита не может поправиться, он фальшивит больше и больше, у него холодеют пальцы, он видит выглядывающую из двери мать Якова Моисеевича. Она больна желтухой, лицо ее страшно, она улыбается, глядя на мужа и сына, которые пугают ученика. Во рту у нее один большой зуб, чуть белеющий в сумраке подвала.

— Фальшь, фальшь! — кричит в одно ухо Никиты учитель.

— Фальшь, фальшь! — кричит в другое отец учителя.

— Чего вы пугаетесь? — смеется переплетчик, ласково заглядывая в лицо Никиты. — Мы же шутим между нами!

Лучше бы он не говорил, что шутит. От его слов Никите становится нестерпимо жутко, его бросает в пот, омертвевшие руки падают, он жалобно просит:

— Яков Моисеевич, я устал!

Переплетчик уносится за дверь, пахивая сыроватой кислинкой клейстера и напевая гамму, зубастое лицо исчезает. Яков Моисеевич от скуки тренькает по струнам Никитиной скрипки.

Потом он берет с отцовского верстака свою скрипку — темно-вишневый, покрытый белой пылью канифоли инструмент, легко, не опираясь грифом, на весу, стоит и начинает играть.

Подвал наводняется потоками звуков, шорохи и голоса за стеной стихают, уже не слышны торопливые шаги прохожих на улице, ноги их, мелькая в высоком — над головой Никиты — окне, точно не касаются тротуара, потоки бурлят, затопляют темные уголки переплетной, и только стекла входной двери дребезжат, когда на улице пробегает вагон конки.

Медленно приоткрывая занавеску, из смежной комнаты вновь показывается бледный, притихший отец Якова Моисеевича и судорожно подпрыгивает на мягких носочках туфель в такт музыке.

Потом, когда сын кончает играть, восторженный отец подбегает к нему.

— Яков, Яков, — выкрикивает он, махая руками и счастливо раскачиваясь, как скрипач, — совсем замечательно вот это: та́ра-та-тира-та-та́ра-та-рамта!

Яков Моисеевич повторяет коду, потом — бурливый, головоломный пассаж.

Никита в недоумении глядит на его пальцы, веселым винтом вползающие по грифу к самой подставке, ему кажется, что надо родиться в подвале с машиной и клейстером и что он — Никита — всегда нежно любил необыкновенного своего учителя.

— Яков, Яков, какой переход!

— Что ты хочешь, — гордо говорит Яков Моисеевич, — это же — Сарасатэ.

— Ну, я же говорю! Кто может еще что-нибудь такое, если не Сарасатэ? Та́мтара-ррита-тарáмта-тарáмта!

Отец и сын совсем позабывают о Никите, размахивают руками, смычком скрипки, отец выделяет тенорком сокрушающие дробные коленца, а сын щелкает подошвой по асфальтовому полу.

— Рра́м-та-та-рримта!

Наконец, перебесновавшись, отец Якова Моисеевича оборачивается к Никите. Его глаза блестят, в кольцах кудрей болтается за ухом косичкой моток суровых ниток, он в упоении хлопает Никиту по плечу и восклицает:

— Вот как надо играть, господин Никита!

— Будет работать — научится, — безжалостно замечает Яков Моисеевич и вновь берется за ученика:

— Начнем. Раз-два-три-четыре...

Ах, провалиться бы этому подвалу со скрипками, клейстером, с шипящей гармошкой бумажных обрезков, сгнуть бы переплетчику, его жене, его сыну — Якову Моисеевичу, которого всегда, всегда, всегда ненавидел Никита больше всего на свете!.,

Но дни бежали, как конки, — звенькая, поскрипывая, останавливаясь на минутку, чтобы передохнуть (случалось, что у Якова Моисеевича болели зубы, и он не давал урока), и опять бежали, бежали.

Помимо желаний Никиты, подчас против его воли, он научался одной, другой гамме по Берио, привыкал не опускать левую руку по десять, двадцать минут, усваивал смычковые штрихи и на пальцах его давно уже натрудились мозоли.

За зиму Никита одолел первую позицию по школе Берио и перешел на гаммы второй.

И опять — легко говорится и легко объясняет Берио: вторая позиция.

Человек учился грамоте, он запомнил тридцать шесть букв, начал читать. Тогда, обрадовавшись, что он уже читает, ему объяснили: ну, теперь переучись. То, что ты считал за Б, будет А, В — вовсе не В, а Б, и так до конца алфавита.

К чему это? Зачем нижнее до брать вторым пальцем, если оно берется третьим? Разве удобнее лезть четвертым пальцем бог знает куда по баску, когда трижды проклятое ми, из-за которого ломаешь мизинец, гораздо легче взять первым пальцем на терции? Неужели это делается ради лишнего писклявого до на квинте?

Впрочем, Никиту не так уж сильно смущала вторая скрипичная позиция. В конце концов — все равно погибать, жизнь в прошлом, что еще осталось? Но наступило лето, горячее, стойкое, как солнце, лето, и вдруг в чистом небе грянул гром: ехать домой, на Чаган, в степь нельзя; каникулам срок — один месяц; и за этот месяц — четыре гаммы второй позиции и все — первой, по той же самой школе Берио.

Может ли быть, что когда-нибудь земля носила на себе живого Берио? Что же это было за чудовище?!

И все-таки Никита ждал каникул с тоскливым беспокойством: целый месяц он не будет ходить в подвал, целый месяц не будет видеть кольчатых кудрей Якова Моисеевича, его, похожего на черные кольца кудрей, пенсне, дрожащего на горбинке носа,

не будет слышать пугающего и зовущего к возмездью гула коночных колес.

Лето готовило ему даже радость; на его жалобные письма нежно отозвалась мать и обещала приехать погостить у тетки.

Но, несмотря на радость встречи, он уезжал в деревню новым, другим Никитой: с двумя позициями по Берю, тетрадью нот и сердцем, полным грусти.

Книзу от города, верстах в сорока, Волга движется гладкой лавиной. По пути ее — ни одного островка, ни одной отмели. Взглянуть с одного берега на другой — тоненькая, чуть приметная зеленая полоска.

Правый берег крут, горы обрываются почти отвесно. Вверху, на выступе желтой глиноземной корки, стоят дубовые роши. Жилистые корни дубов свисают с обрыва и топорщатся корявыми усищами. Кое-где дубы выпячиваются на самый край выступа, и, если смотреть снизу, кажется — растут в воздухе.

В отлогих местах склоны гор покрыты сыпучей голубой галькой, стекающей на подошву и дальше — по берегу — в реку.

Никита стоит рядом с ноздреватым старым дубом, на краю обрыва. Под ногами его — так круто, что замирает дух, — сквозь мотню шершавых корней виден шнурочек берега, на нем — две кучки белья. У берега, распуская по воде паутину сверкающих кругов, окунается мать Никиты. Много дальше, на свинцовой глади, маячит крошечная голова Надежды Николаевны — учительницы Никиты. Она повязана белым платком, концы его торчат крыльями, издалека похоже, что на воду опустилась птица.

Надежда Николаевна высовывает из воды блестящую, точно облупленный сырой прут ветелки, руку, машет ею, кричит:

— Ни-ки-та!

Голос ее долго бежит по воде и карабкается на обрыв, добираясь до Никиты, как по ступенькам, и он слышит:

— Ни-и-к-и-та-а!

Он отвечает ей:

— Ау-у! — и бежит к расщелине обрыва, откуда по отлогому скату падает к воде голубая дорога гальки. Он садится на гальку, вытянув ноги, отталкивается и, как на салазках по ледяной горе, камнем летит вниз. Вслед ему, обгоняя его и нарастая грузным валом за спиной, сыплются шуршащие ручьи окатышей, кругляшей, и, сильно отставая, волочатся ленивые клубы пыли.

Никита отряхивается на берегу, у воды.

Свинцовый живот реки набухает, делается покатым и желтым, обрыв взмывается над головою, висящие в воздухе дубы становятся маленькими, легкими, как на картинке.

Мать Никиты и Надежда Николаевна выходят из воды, стряхивают с себя ладонями серебро капель и струек, вприпрыжку бегут к белью.

Тело Надежды Николаевны смугло, вся она подтянутая, глянцева, поворотливая и чем-то напоминает холеную лошадь.

Мать Никиты белая, движения ее — шаги, обороты туловища, сгибание спины — рыхлы и полновесны. Когда, надевая рубашку, она вскидывает над головой руки, видно, как опадает книзу ее большой живот.

Женщины по-крестьянски скоро и просто одеваются, идут в деревню. По дороге переходят ручей, звонко скачущий по дну оврага. Никита отыскивает в овраге ракушки, выплеснутые сюда рекою. Он слышит в разговоре женщин странное слово, произнесенное чуть-чуть пониженным голосом: беременна. Слово это почему-то вызывает в его памяти деревенскую девочку с бельмами на глазах. Он спрашивает:

— О чем вы говорите?

Тогда Надежда Николаевна громко смеется и дразнит Никиту:

Бесштаный рак
Залез в овраг,
Собирает ракушки...

— Почему — бесштаный? — спрашивает Никита.

— Э, э, посмотри! — дразнит Надежда Николаевна,

Он щупает свои штаны, сзади они изодраны и висят лохмотьями, будто Никиту рвали собаки.

— Это я там, на камнях, — бормочет он, неуклюже запихивая лохмотья в дыры.

— Э, э! Бесштаный рак! — напевает и посмеивается учительница.

У Никиты вылетают из головы и девка с бельмами, и непонятное слово, и раковины, и все, все...

Потом он останавливается с матерью на деревне, под вековым дубом. На обьерзанных, голых уступах корня сидят старухи, подергивая толстые спицы вязанья, держа в подолах черных юбок пегие клубки толстой шерсти. Платки у старух напущены зонтиками на глаза, и под зонтики, в волосы, заткнуты гусиные перья, смоченные керосинцем, — от мошкары. Разговаривая между собою, старухи покачивают головами, но так тихо, что движения заметны только по кончикам гусиных перьев, то сверху вниз, то из стороны в сторону: видно, старушечью беседу вязать не трудней, чем — чулки.

Из дома, наполовину укрытого дубом, выбегает лоцманский сынишка — Родька. Он на ходу дожевывает ломоть ситника и говорит второпях:

— Никита, айда на дощаники!

Никита умоляюще смотрит на мать.

— Надо играть, Никита, — говорит мать, — поиграешь, тогда пойдешь.

Никита видит тучки мошкары, неугомонно толкущейся над головами старух, густую темную кудерь дуба, синее — без пятнышка — небо.

Родька с любопытством останавливается, переводит глаза с Никиты на его мать и вновь на Никиту.

— Пойдешь? — спрашивает он на деловой лад, точно его попусту задержали.

Лучше бы Никите не приезжать в деревню, так бы и остаться в подвале Якова Моисеевича навсегда. Ведь даже старухи, с гусиными перышками в волосах, счастливее, удачливее Никиты.

— Опять скрыпачить будешь? — спрашивает Родька и, нерешительно подходя поближе, с трудом проглатывая ситник, просит:

— Никит, а Никит, покажешь? А то все посу-
ляешь...

Никита взглядывает на мать, потом с радостью
хватает Родьку за рукав и тащит его к себе в избу.

Там он торжественно вынимает скрипку из фут-
ляра и показывает ее Родьке.

Родька старается держать руки за спиной, посви-
стывает посом и переминается. Потом косит глазом
на Никиту и тихонько трогает руками басок. Никита
подвигает скрипку в сторону, чтобы палец Родьки
пришелся дальше от подставки. Но Родька понимает
это по-своему, прячет руку и садится на лавку.

— Ну-ка, — говорит он, чудно дергая плечом и го-
ловой, что, наверно, означает: «сыграй».

Никита выбирает труднейшую пьесу из тех, какие
он выучил и какие приводит Берно для первой пози-
ции. Он становится, берет скрипку и смычок, соблю-
дая все правила и наставления. Он впервые с тех пор,
как начал учиться, принимается за игру с гордостью.
Во время пауз, старательно, громко отбиваемых
носком башмака, он поглядывает в волнении на
Родьку.

Родька следит за пальцами Никиты, за смычком,
и бойкие глаза его останавливаются, хмурятся, точно
он прикидывает, к чему может изгодиться такое
дело — скрипка. Потом он в подробностях оглядывает
горницу, городские вещи, привезенные теткой Ни-
киты, тихонько встает, топчется около скрипичного
футляра, подходит к окну и, минутку посмотрев кру-
гом, высовывается на улицу и что-то воинственно
кричит. Затем он наспех говорит Никите:

— Кончишь — айда на дощаники! — и выбегает
вон.

Очевидно, что музыка прискучила Родьке, что Ни-
кита очень скверно играет, что вообще скрипка — не-
годное, противное занятие. Наверно, ребяташки со-
брались на дощаниках удить; может быть, поймали
сазана (третьего дня Родька вытащил сазана в че-
тыре фунта), может быть, поживились где-нибудь
старым бреднем и теперь пошли на косу бродить.

А Никите пужно играть.

В каникулы положено заниматься по два часа в день. Разве это каникулы?

Для облегчения занятий время игры разбито на четыре получаса. Два получаса перед обедом и два — после.

Подряд тридцать минут Никита тянет смычок, стоя перед пюпитром и выстукивая ногой такт. Иногда он отходит в сторону, долго строит скрипку, быстро поднимает смычок и броским, неслышным толчком подгоняет кудрявую стрелку маленьких стенных часов. После этого он снова добросовестно учит гаммы.

Не потому ли летние дни делались как будто длиннее, и случалось, что солнце заходило в полночь?

Да, да, они были длинны, нескончаемо длинны — эти жалкие, безрадостные дни! На медленном, тихом огне жгли Никитино сердце, и он знал, что не успеет окончиться получасовая пытка, как нужно ждать наступления нового, второго получаса, за ним — третьего, четвертого. Он ложился спать с мыслью, что завтра встанет все тем же несчастным Никитой, каким встал сегодня, и что во сне он увидит темный подвал, машину для резания бумаги и веселого переплетчика, который с песенкой засунет под нож, вместо бумаги, Никиту, не умеющего стоять по Берю.

Чье сердце вынесет мрачную казнь медленным, тихим огнем? Кто со слезами и воплем не бросится на колени матери, не будет биться в отчаянии, не простенает спасительного, всеискупляющего, беспамятного слова — мама?!

— Мама, мама! Зачем вы меня мучите?!

И какая мать не прижмет к своей груди вздрагивающую, горячую голову ребенка, не погладит его вихры, не заговорит с грустью и участием, не заговорит о том, что в жизни — увы — всегда и все вот так: сначала труд, и потом труд, и в конце, в самом конце — тоже труд, что нужно быть мужественным и сильным, что падать духом нельзя, потому что только сильным дано счастье, и то, что тебе, милый мальчик, кажется сейчас печалью, когда-нибудь непременно станет твоей радостью; какая мать не скажет грустных

этих слов, когда на ее коленях в отчаянии будет биться голова ребенка?

Но на десятом году жизни понять ли ласковую настойчивость матери, ее бессмысленную речь, ее сторожкую опасность перед судьбой?

И Никита плакал. Никита давал клятвы, обещал невыполнимое, смешное и дерзкое, грозил, упрекал в жестокости и умолял, умолял о пощаде.

Он добился уступок: мать согласилась написать Василь Леонтьичу, чтобы он разрешил Никите бросить музыку, и своею властью сократила Никитину пытку до одного часа в день.

Письмо догоняло Василь Леонтьича очень долго, перекочевывая из сумок в карманы, из корзин в короба и снова в карманы, пока не настигло Карева где-то между форпостом и Чаганом. Не слезая с дрожек, Василь Леонтьич прочел письмо и тут же, на дрожках, написал ответ. Вероятно, поэтому ответ был кратко-суров и состоял из двух пословиц насчет груза да насчет мужа.

Папашино решение дошло до сына в тот день, когда Никите радостно объявили, что у него родился новый братец.

Никита встретил оба известия без любопытства. Его двухчасовая пытка возобновилась с переездом в город, он не верил ни во что и никого не любил.

Последние свои слезы он выплакал на коленях матери, в деревне, и вместе со слезами кончилось его детство.

Он исполнился отчаяния, и оно было так велико, что в нем одном находил он какое-то подобие улады.

— Знаешь, что пишет отец? — сказала мать, когда Никиту привели к ее кровати: — Надо учиться.

— Знаю, — ответил он.

— Что же ты не скажешь, рад ли ты своему новому брату?

— Рад, — сказал он.

Потом взял со стола телеграмму и прочел:

«Поздравляю благополучным разрешением нареки Ростиславом...

Отец».

— Какое разрешение? — спросил Никита.

— Это о твоём брате, — сказала мать. — Нравится тебе имя Ростислав?

— Нравится, — ответил Никита.

Он взглянул на мать, и она не узнала его: глаза Никиты были полны тусклой покорности,

Глава третья

Переулок звался Смурским и был, правда, буровато-серым, смурым, смурыгим. На углу Староострожной улицы, посреди проезда, торчала водопроводная будка, к ней с утра до сумерек, погромыхая ведрами, ползли бабы. Отсюда дорога скатывалась к Нижней улице, потом — к оврагам, которые в городе назывались бараками. Дальше шли горы.

У бараков жили по левому порядку угольщики, по правому — шорники. Изредка от бездонной смурской тоски угольщики затевали с шорниками свалку. Старикам доводилось видеть и кулачные бои — стена на стену, но народ мельчал, и к тому времени, когда Никита поселился в переулке, дальше одного-двух сломанных ребер дело почти ни разу не заходило.

Угольщики и шорники в обычное время пользовались тротуарами, не задевая прохожих, по субботам парились в бане — на углу Смурского и Цыганской, в праздники отстаивали раннюю обедню у Петра и Павла, грызли каленые подсолнечные и тыквенные семена, — люди как люди.

По будням, рано утром и к вечеру, Смурский оглашался криками угольщиков, выезжавших в город или возвращавшихся домой на своих кособоких тележках, отороченных рогожами.

— Угле-угле-е! — вопили угольщики на разные лады, зловеще поблескивая белками начерченных глаз и точеными квадратами зубов.

В Смурском звали угольщиков анафемами, они не сердились на эту кличку, и — если принять в расчет,

что шорники, по роду занятия, кричали на улице только с перепою и тоже не обижались на свою кличку (их прозвали потниками), — жизнь была очень тиха и нравы мирны.

Но наступило время, когда анафемы и потники показали себя во всей красе, и Смурский переулочник на своем опыте убедился в обманчивости человеческой природы.

Никита к этому году вытянулся; долговязую, неуклюжую фигуру его каждый день видал Смурский, и снисходительное превосходство потников и анафем над странной, немного тщедушной осанкой музыканта увеличивалось вместе с торопким ростом Никиты.

Он был, конечно, не наш, не нашенький, не смурский, потому что его жизнь шла мимо тыквенных семян, мимо Петра и Павла, — бог знает, где она шла, непонятная, монашеская жизнь скрипичного футляра и нотных папок. Вряд ли во всем переулочке, на Нижних, Цыганских, Староострожных улицах, в бараке и на горах, вряд ли кому-нибудь было дело до того, как живет несуразный подросток — скрипач. И, пожалуй, хорошо, что шорники, угольщики, переулочные старожилы, пареньки и молокососы ничего не знали об этой жизни. Зачем смущать невинные души?

Упорно и сухо Никита одолевал громоздившиеся перед ним трудности. Они возрастали с годами, множились и усложнялись. Он боролся с ними, приучив себя добиваться цели, но ни одно достижение не радовало его. Он знал, что за каждым взятым препятствием возникает новое и что ступенчатость достижений бесконечна. Он знал это не только по себе. Опыт его учителя, его сверстников, примеры десятков прочитанных книг о музыке и музыкантах — все это было сурово и горько, как хлеб поденщика.

Когда Никита играл на скрипке по четыре часа в день, Яков Моисеевич играл по пяти. Пришла пора увеличить работу ученика до пяти часов, учитель начал работать по шести.

— Зачем вы это делаете? — спросил Никита.

— Чтобы вы не перегнали меня, — засмеялся Яков Моисеевич.

— Я никогда не перегоню вас. Я не буду музыкантом, — упрямо ответил Никита.

— Вы думаете, Яков Гольдман возился бы с вами семь лет, если бы не был в вас уверен? Яков Гольдман? Ого!

Но ученик не верил в себя. Он не верил ни похвалам учителей, ни зависти товарищей, ни наивным восторгам случайных посторонних людей. Убеждение в том, что ему предназначено заниматься бесплодным, чуждым делом, было неколебимо в нем. Иногда ему казалось, что это дело должно погубить его.

Однако он шел к своей гибели, непрестанно совершенствуясь, и если бы Шарль де Берио, воскреснув, попал на Смурский переулок, он убедился бы, что его школа недаром положена в самый низ тяжелой стопы Никитиных нот.

В конце концов только катастрофа могла бы поставить предел разладу Никиты с самим собою, и он ждал ее до мучительного телесного напряжения, до ощутимой, резкой боли...

Осенью Никита готовился к публичному концерту. Он должен был выступать в мендельсоновском квартете. Первую скрипку играл Яков Моисеевич, партии альты и виолончели были в руках учителей музыкальной школы. Никите была поручена вторая скрипка. Лучшие музыканты города признали его достойным партнером.

Он работал. Усталость не покидала его, переходя в измождение и тоску. Он двигался как лунатик — с легкостью, почти беззвучно переставляя ноги, не в силах освободиться от бредовой тяжести в голове и пугающих, неясных предчувствий. Так, в солнечный прохладный день, возвращаясь с Волги после прогулки, он испытал волнующее предвкушение чего-то непоправимо жестокого и болезненного.

Перебираясь через пыльную дорогу, Никита нечаянно посмотрел в сторону. Длинная улица, примыкавшая к речным взвозам, наполовину была занята тесовым забором, ограждавшим новые постройки.

Четыре одинаковых двухэтажных дома достраивались на скорую руку. По крышам домов ползали и бегали кровельщики, плотники размыкали леса, тут и там, стоя на лестницах, доконопачивали стены. В распахнутые ворота заграды видно было, как оборванные женщины, согнувшись, подбирали щепу и чурбаки, как, рассеивая розовую пыль кирпича, возчики проворно накладывали в телеги щебень. Во всем обнаруживалась спешка, люди торопились кончить стройку до осенних дождей, крепкая, увесистая рука подрядчика подгоняла спорую работу.

Дома стояли гладенькие, желтые от янтарной смолы, молодо проступившей на бревнах, и солнце веселило статные, похожие друг на друга, как сестры, постройки.

Никита взглянул на протянувшуюся серую улицу, и в один миг — с невероятной резкостью, почти ослепившей его, — увидел четыре новых дома в огне. Они пылали жаркими, дружными кострами, прикрытые легкой шапкой дыма.

Никита закрыл глаза. Багровые кольца расплылись перед ним в туман. Он боязливо глянул на постройки и быстро пошел своей дорогой. Но он отчетливо расслышал внутри себя убежденный голос:

— Сгорят.

Он прошел больше половины пути и успел отделаться от навязчивого представления пылающих домов. Но, дойдя до базара, он расслышал захлебывавшийся звон набата и остановился.

Из-за угла, со двора полицейского участка, выкатывались яркие, сиявшие упряжью и снарядами пожарные телеги. Они громоздко повернули за угол и ринулись вниз по улице, туда, откуда шел Никита.

У него перехватило дыхание, и секунду он не мог двинуться. Потом он оторвался от земли и, подгоняемый тревожным стоном набата, побежал. Он вскочил в вагон конки и высунулся в окно, глядя вслед уносившемуся пожарному обозу, который мчался *туда*.

Никита несколько раз подходил к двери вагона, конка, казалось ему, тащилась по-черепашьи. За квартал до *того* места он выпрыгнул из вагона и опять

побежал. На него никто не обратил внимания, потому что кругом было суетливей обычного.

На *том* месте, именно на *том* месте, откуда Никита смотрел на постройки полчаса назад, толпился народ. Никита протискался через толпу и взглянул на угол.

Он увидел четыре дома в огне. Они пылали жаркими дружными кострами, прикрытые легкой желтой шапкой дыма.

Никита не сомневался, что загорелись новые дома. Его тянуло убедиться в этом, ему нужно было видеть, так ли они горят, как представилось его воображению.

Он насилу выбрался из людской давки, напутствуемый пинками и руганью ротозеев, которым помешал спокойно любоваться пожаром.

Гнетущее чувство охватило его, точно все вокруг пылало огнем и он — Никита — был виновен в этом, он — Никита — поджег четыре новых недостроенных дома. У него подкашивались ноги, он плохо помнил, как дождался конки, как потом дошел домой. Он чувствовал такую слабость, что не мог работать; он был болен.

День спустя его заставили пойти к врачу. Врач выслушал его сердце, велел несколько раз кряду присесть на корточки и подняться, снова послушал сердце, усадил Никиту, постучал по его коленкам, спросил, сколько Никите лет, чем он занимается, и, подумав, объявил:

— Вы здоровы. Маленькое переутомление, усталость, это пройдет. Полезно изредка заниматься каким-нибудь физическим трудом: столярничать, колоть дрова.

Он опять подумал, написал рецептик и сказал:

— Ничего...

Но беспокойство Никиты росло вместе с уверенностью, что предчувствие не обманывает его, что нечто жестокое, неминуемое должно сбыться.

И — странно — оно сбылось.

Катастрофа пришла оттуда, откуда Никита не ждал ее, не мог ждать, потому что связь его со всем тем, что лежало дальше скрипки, была ничтожна. Он

часто думал о том, что находилось за пределами его мирка, но его мысли постоянно затемнялись сознанием несправедливости, которую над ним совершили. Он понимал, что скрипка, наполнявшая всю его жизнь, была мельчайшей пылинкой в мире, в том самом Смурском переулке, по которому он раз в день проходил, в смурыгом мире потников и анафем. Он не был виноват в своем рождении, в своем пребывании на путаном просторе земли. Но в тот момент, когда он начинал приглядываться к этому простору, ему дали в руки пылинку и принудили ограничить ею весь мир. Разве это справедливо? Все его существо вращалось в одной пылинке, и он настолько привык к этому, что ожидаемую катастрофу представлял себе не иначе, как катастрофу внутри пылинки. И если бы он мог оторваться, чтобы извысока поглядеть хотя бы только на Смурский переулок, он понял бы, что его предчувствия были связаны все с тою же пылинкой, с Никитиным мельчайшим мирком, а не с миром. Но он без раздумий отнес предчувствия к тому, что внезапно раскрылось перед ним.

Это были ночи, когда город не спал. По комнатам ходили люди, закутанные в шубы, платки, шинели. Не снимая неуклюжей одежды, варили на керосинках ужины, ели стоя, наспех. Почему-то нигде не ставили самоваров, не топили печей. Было похоже, что город тронулся в путь. Улицы пустовали, никто никуда не выходил. Ворота, ставни, калитки, двери — все было на замках.

И едва наступала осенняя темнота, город начинал стонать.

Он стонал протяжно, как волчья стая в мартовскую оттепель, стон подмывал дома, катился по крышам, стон слышен был везде: в подвалах, на чердаках и погребницах, в глухих толстостенных комнатах, в кладовушках и чуланах. Стон отдавался в печах, от него позвякивали стекла, он был повсюду.

Волчьи стаи рыскали по омертвелым площадям, закоулкам, на горах, в бараках, ища поживы, разнося по ветру дикий вой, переливавшийся в стоны.

И молча перекликались над городом дрожавшие зарева.

Началось с синагоги. Она горела сутки, и целую ночь Никита, сидя в кухне с потушенной лампой и занавешенными окнами, слушал, как грузно ступали по переулку люди, волоча вниз, к барaku, тяжелые, неудобные для переноски вещи. Иногда люди останавливались под окном передохнуть. Их голоса были низки, они перекликались, потом, кряхтя, поднимали кладь и уходили. Спустя недолгое время они бежали налегке обратно, весело покрикивая и треща палками по частоколу палисадника.

Никита выходил в сени. Двор был нежно-розов от недалекого зарева, и погребницы, сушила, надворные флигеля гибко гнулись в колебании отсветов.

Никита не ложился спать. Он был наготове в эту ночь, как все в городе: он не снимал пальто, ему было зябко, и он не мог согреться, он ничего не ел и не испытывал голода.

Так встретил он утро.

Оно занялось чахло и бледно, обескровленным поздним рассветом. Не находя себе места, Никита вышел в коридор верхнего этажа, откуда виден был угол Смурского переуллка и Нижней улицы. Стояла робкая тишина, ни одной души не показывалось из домов, все стыло в неподвижности, и если бы воробей запрыгал на кочках дороги, он тотчас привлек бы на себя взгляд.

Эту неподвижность нарушила калитка углового домика Нижней улицы. Она медленно открылась и выпустила со двора коренастого человека, измазанного мукой. На Нижней, чуть подальше Смурского, торговал мучной лабаз, и приземистого, коренастого человека Никите доводилось встречать.

Мучник вылез на улицу спросонья, снял фуражку, погладил черную голову, заложил руки за спину и прислонился к низенькой верее ворот. Вероятно, он проснулся раньше, чем было нужно, и у него нашлось время до работы поскучать на улице.

Вдруг он повернул голову в сторону, насторожился и подался вперед.

В тот же миг до Никиты долетел отдаленный, раскатистый гул, мерно усиливавшийся и постепенно переходивший в знакомый по истекшей ночи протяжный стон.

Мучник пристально всматривался в даль Нижней улицы, потом живо, неожиданно вертко для коренастой своей тяжелой осанки, юркнул в калитку и приворил ее за собой.

Стон подкатывался ближе, как будто к нему присоединялись новые и новые дома, и вдруг весь Смурский взвыл истошным звериным воем.

На пустынной Нижней улице показался человек. Он бежал посередине дороги, в расстегнутом пальто, без шапки, сильно размахивая руками. Лицо его было похоже на кружок белой бумаги.

Когда он поравнялся с воротами углового дома, калитка распахнулась и из нее выскочил мучник. Он кинулся наперерез бежавшему человеку, припав к земле, чтобы делать пошире шаг, потом дал скачок и раскорякой прыгнул человеку под ноги.

Человек упал на дороге плашмя, крестом раскинув руки, но мгновенно вскочил и бросился снова бежать.

Мучник тотчас настиг его и сразу обеими руками ткнул в спину.

Человек сел на колени, как поскользнувшаяся лошадь, не подымаясь, быстро обернулся лицом к мучнику и пополз к нему на коленях, тряся и протягивая перед собою сложенные руки.

Мучник расставил широко ноги, подбоченился и мотнул головою.

Тогда человек на коленях стал креститься. Он делал это со страшной быстротой, как будто жизнь его зависела от числа положенных крестов. Но кресты клал он странно, кидая руку с левого плеча на правое, так что казалось, будто крестится левша.

Все это отняло очень короткое время, почти мгновение, и человек крестился еще, и тянулся дрожащей левой рукою к груди мучника, и подползал ближе к нему на коленях, когда на Нижней улице

появился длиннорукий дитина и, подбежав к молившемуся человеку, ударил его в лицо.

Он упал, и ему не дали больше подняться.

Один за другим высыпали на улицу какие-то чуйки, поддевки и полушубки, и вдруг орава рвани, гольтыбы, золоторотцев привалила с Нижней и обрушилась на то место, где перед мучником крестился человек. И ничего, кроме дубья, кулаков, растопыренных пальцев и трепаных шапок, не стало видно.

Смурский стонал, ревел во всю глотку, и анафемы, потники, на ходу напяливая чуйки, подымая с дороги булыжники, бежали по Смурскому, от барака к Нижней, чтобы поспеть взять свою долю.

Не помня себя, Никита слетел вниз по лестнице на двор и бросился к калитке. Но тут его задержали.

У калитки, припертой засовом, кучились квартиранты. Посреди них стоял слесарь — жилец надворного флигеля, — скрестив руки, с силой прижимая что-то к груди. На локтях у него висела и билась его жена — маленькая белобрысая женщина. Все тормозили слесаря, уговаривали его и — вместе с женщиной — старались разнять его руки.

Никиту поразила прежде всего жена слесаря. Он привык видеть ее на дворе, она была бойка и норовиста, крикливо верховодила мужем, а он — громадный, нескладно-сильный — всегда подчинялся ей, и двор подтрунивал над ним.

Теперь происходило невиданное: женщина захлебывалась слезами, рвалась как птица в тенетах, вне себя, беспомытно твердила шепотом:

— Петя, Петенька! Христа ради, Христа ради!

А муж стоял каменный, потемневший, и только челюсти его двигались, точно он разжевывал сухую корку хлеба.

— Петенька, Петя! Христом-богом!

Он вырывался наконец из рук жены, шагнул к калитке, но ее заслонила кучка людей, в ужасе сдавленно хрипевших на слесаря:

— Петра, оставь! Сожгут, убьют! Петра, с ума сошел! Христос с тобой!

— Петенька, Петя!

Его оттеснили от калитки. Тогда Никита увидел, что прижимал к груди слесарь: Петр рознял руки и сунул в карман большой матово-черный револьвер. Потом он сжал кулаками свою голову и, как пьяный, покачиваясь, тяжело поднимая обутые в валенки ноги, пошел через двор к себе во флигель.

Жена его опустилась на крылечко и, размазывая белобрысыми косицами слезы по щекам, начала тихо смеяться. Кто-то вынес ей ковшик воды. Она отхлебнула глоток, неловко сползла с крылечка на колени и принялась кланяться соседям в ноги. Ее увели в горницу.

К калитке нельзя было подступиться: засов стерегли, нечего было думать выйти за ворота.

Никита побежал наверх, в коридор.

Стоп на улице оборвался. Никита увидал, как чуйки, пиджаки, поддевки воровски разбегались по Смурскому и Нижней, и в минуту на углу никого не осталось, ворота, калитки захлопнулись, все опустело и притихло.

И только против углового домишка, рядом со столбиком, обозначавшим границу между мостовой и тротуаром, на серой подстилке пыли неподвижно лежала пятнисто-черная колода, и темные разводы пятен ползли от нее по сторонам, переходя в рябые следы человеческих ног.

Сколько времени прошло с тех пор, как Никита разглядел на дороге неподвижную колоду? Он смотрел на нее не дыша, ему чудилось, что она шевелится, он прищурился, вновь смотрел. Колода не двигалась, и по-прежнему было тихо и пусто.

Но вот открылась калитка, за которой прятался мучник, и со двора вылезла старуха. Вразвалочку она подошла к колоде, нагнулась над ней и потрясла головой. Затем, не торопясь, она ушла назад, во двор, не затворив калитки. Это была единственная калитка, стоявшая настежь, в трех кварталах, которые были видны Никите.

Спустя минуту старуха снова показалась. Она несла ведро воды, по-бабьи перекосившись набок и размахивая приподнятой пустой рукою.

Подойдя к колоде, она принялась потихоньку поливать ее водой. Чернота скатывалась с колоды, она начинала поблескивать и медленно окрашиваться в чистый, киноварно-красный цвет. И вместе с тем колода странно изменялась в форме, принимая очертания человека, лежащего ничком: появились протянутые вдоль туловища руки, оттопырились над землею пятки, округлился затылок.

И вдруг вся киноварно-красная масса исподволь зашевелилась, стала приподниматься.

Это был человек.

Его успели, избивая, раздеть и разуть, белье пропиталось на нем кровью, прилипло к нему, разжиженная водою кровь стала яркой, и — облитый ею с головы до ног — человек шатался теперь на зыбких, тонких ногах, словно раздумывая, упасть ли ему снова, или идти.

Он пошел. Старуха подставила ему плечо, он обнял ее. Может быть, это была мать мучника?

Киноварно-красный человек шел посередине Смурского переулка, вверх, к Староострожной, к будке, к воде, шел маленькими шажками, странно перегибаясь, точно мешок, туго набитый тряпьем. На дорожной пыли позади него оставались черные следы.

Народ, прятавшийся по углам, когда человека избивали, высыпал на улицу...

Глава четвертая

Вот что стало известно об избитом человеке после того, как его отлили водою около будки и увезли в больницу.

Он ехал на извозчике. У базара его окружила толпа. Надо было остановиться, но он испугался и велел извозчику гнать лошадь. Толпа бросилась за ним, и, еще больше испугавшись, он выстрелил в воздух из револьвера. Тогда извозчик столкнул его с пролетки. Человек проложил себе сквозь толпу

дорогу револьвером и побежал. Он пробежал шесть кварталов и расстрелял весь барабан.

Остальное Никита знал.

Впрочем, он не знал, что избитый человек был поляком и потому крестился не так, как хотелось мучнику.

Но разве все это важно?

Наступила и прошла новая ночь, в протяжном стоне города, в трепыхании огненных зарниц.

Сонливость иногда преодолевала страх и беспокойство. Никита впадал в глухое забытие, но тотчас вздрагивал, прислушивался к рокоту гулов за окном, плотнее кутался в пальто и окликал свою тетку.

— Нет, нет, не сплю, — говорила тетка, и — в сумраке — он различал, как, встрепенувшись, она зябко поправляла на себе черную шаль.

Не стало никакой грани между сном и явью, и, точно наяву, крестился со страшной быстротой и полз на коленях человек, и во сне шел он — ярко-красный — посреди дороги, шатаясь и оставляя позади себя черные следы.

— Ты спишь?

— Нет, нет, не сплю...

Утром Никиту позвали в кухню, в нижний этаж.

Когда он проходил к сениям, из-за печки (это был самый черный угол кухни, куда не проникал свет даже в летний полдень) раздался приглушенный зов:

— Никита!

Он остановился. Сердце его сжалось до боли, потом сильно и громко забило в грудь.

— Кто это? — спросил он чуть внятно.

— Я.

— Кто? Я не вижу.

— Я, Никита, я!

— Яков Моисеевич? — вскрикнул Никита.

Он шагнул в темноту и тихонько вывел своего учителя на свет.

— Как же вы? — спросил он шепотом, словно испугавшись нечаянного своего крика,

— Вот так, — тихо отозвался Яков Моисеевич и повел рукою сверху вниз, как будто предлагая посмотреть на себя.

На нем были высокие болотные сапоги, широкоплечая, упругая, как кошма, коротайка, баранья шапка с наушниками. Пенсне по-прежнему дрожало на горбинке носа.

— Могут узнать, — сказал Никита, ощупывая шершавый ворс коротайки.

— Меня никто не видал. Я был тут недалеко, прятался. Но там опасно.

— У нас лучше, — сказал Никита, бодрясь.

Он помолчал, внимательно осмотрелся и потерял руки: ему стало холодно, как ночью.

— Я совсем не играю... эти дни, — растерянно пробормотал он.

Яков Моисеевич не ответил.

— Здесь, пожалуй... ничего, — быстро прошептал Никита, кивнув за печку.

Потом добавил:

— Тетка будет молчать.

Он ткнулся губами в ухо Якова Моисеевича и спросил:

— А кухарка видала?

— Нет, не видала.

В заднем окне кухни мелькнула юркая тень. Никита оттащил учителя в темноту и побежал к двери. Она уже рокотала и звенела щеколдой.

Никита отпер дверь.

Белобрысая жена слесаря, не успев раскрыть рта, кинулась прочь от двери и, оборачивая на бегу простоволосую крошечную головку, забросала в Никиту бестолковыми словами:

— Выносите иконы!.. Идут сюда!.. За ворота!.. Ступайте все... На окна поставьте иконы-то, на окна!.. Придут — поздно!

У своего флигелька женщина обернулась еще раз и, несуразно взмахнув руками, крикнула через двор:

— Да чтобы занавесок не было, отдерните занавески. Идут!..

По крышам, взмывая и падая, уже надвигался раскатыстый волчий вой.

Никита вбежал в кухню. Его тетка, забравшись на табурет, снимала со шпигиры киот.

— Скорей, скорей! — крикнул он. — Ступай наверх, неси оттуда, я сниму здесь!

Он вспрыгнул на другую табуретку, распахнул киот и вырвал из него икону в блестящей серебряной фольговой ризе.

Маленькие раззолоченные бумажные иконки, приклеенные к киоту кухаркой, посыпались на пол.

Никита действовал точно, рассчитанно и шустро.

Отдернув занавеску, он прислонил икону к стеклу, ризой на улицу.

Под лестницей, ведущей в комнаты второго этажа, находилась кладовочка, где берегли припасы. Никита распахнул низенькую дверцу кладовки, ощупал и расшвырял низки луку, банки, кульки и шмыгнул за печку.

— Яков Моисеевич, — прошептал он, — пойдемте.

Он подцепил учителя за полу коротайки, быстро протасил его узкой полоской света, падавшей из окна, и, силой нагнув голову в бараньей шапке, втолкал Якова Моисеевича в кладовку. Затем он прикрыл его шелестящими низками лука.

— Здесь лучше... Я скажу... когда.

Он закрыл дверцу на вертушку.

Тетка принесла сверху две иконы. Он взял у нее одну, тогда другою тетка благословила Никиту и поднесла холодную ризу к его губам. Он наскоро чмокнул колючий венчик и пошел.

У ворот, на улице, плотной кучкой жались квартиранты. Чинно, как перед крестным ходом, они держали в руках закоптелые бедненькие иконы и чутко прислушивались к вою, доносившемуся из-за угла.

Нижняя уже неистовствовала, редела, громыхала. Хряский треск раскалывал вой, и в воздухе тянуло паленым волосом.

— Кого это? Где? — спрашивал Никита.

Ему объясняли, твердили одно и то же по нескольку раз, но он ничего не понимал и снова спра-

шивал: чей дом, кто там живет, подожгли уже или еще нет?

Ему необходимо было говорить.

С Нижней вылетела шайка расторопных пареньков в заломленных на затылки фуражках, с дубинками и гвоздырями в руках. По-хозяйски заглядывая в окна домов, они расталкивали людей с иконами, заходили во дворы. Осмотрев флигеля, они шли дальше по переулку на Староострожную.

Один из пареньков отстал, пошел ленивой раскачкой, покручивая в воздухе ремненным кистенищем с навязнем. Может быть, пареньку наскучила разведка, и со скуки он прилипнул к кухонному окну Никитино дома. Он стоял долго, недвижно, тупо вглядываясь в окно — в то самое окно, свет которого падал полосой между кладовушкой и русской печью.

Прислонившись к воротам и сдавив пальцами икону, Никита ждал: сейчас, вот сейчас должно начаться.

И правда.

Крича, потрясая дубьем, разведчики затопали назад, вниз по переулку. Паренек оторвался от окна и кинулся догонять приятелей.

Вой и треск за углом надломились, точно припав к земле, потом со страшной, отвратительной хрипотой сотни голосов переплелись в какой-то рык, и удушающий стон ворвался в переулок.

Лавина громил вымахнула из-за угла и понеслась к Староострожной, заливая тротуары, дорогу, сваливая наземь людей с иконами.

Мимо Никиты мелькали десятки лиц. Они чудились ему знакомыми, не раз встречавшимися, он даже отчетливо различил белую покатую спину коренастого мучника, расслышал мерзкое слово, слетевшее перед его лицом с мясистых красных губ.

— Скрипач, — протянул кто-то со смехом.

Кажется, это было сказано о Никите.

До сознания его ничего не доходило. Он не сомневался, что лавина катится к кухонному окну, к полосе света, падавшей из окна на пол, между печкой и

низенькой дверцей, запертой на вертушку, к этой дверце, к шелестящим низкам луку.

Многолапые, опьянелые, изрыгавшие волчьи стоны, перекошенные коряками, смурские, смурыгие человекоподобные потники и анафемы неслись в кладовушку под лестницу, чтобы урвать свою долю на скрипаче, на музыканте, на учителе Якове Гольдмане.

Музыкант, скрипач, учитель Яков Гольдман будет ползать на коленях перед коренастым мучником, сложив руки, потеряв пенсне, подслеповато шурясь на людей, а мучник станет фертом над Яковым Гольдманом и потребует, чтобы он перекрестился.

— Не смейте! — крикнул Никита и выронил икону.

Но вдруг наступила тишина, и лавина, смешавшись, дрогнув, обернулась назад и повалила вниз по переулку. Люди бежали в молчании, деловито выбирая дорогу, глядя под ноги, на серые мерзлые кочки грязи и выбитые колесами колеи. Быстрота и неожиданность безмолвного бегства были необъяснимо страшны.

Никита успел разглядеть одно: пареньки-разведчики, которые выступали перед толпой, двигавшейся вверх, оказались впереди всех и теперь, когда народ побежал назад, к бараку.

Страх гнал людей с такой силой, что спустя мгновение переулок опустел.

Но тот же страх внезапно захватил в свои пригоршни людей, стоявших с иконами у ворот, и — сплюснутыми табунами — кинул их в калитки.

Неужели на свете существовало что-нибудь более ужасное, чем осатанелая, воющая, смурыгая толпа с кистенями, дубьем и разжигой, намоченной в керосине?

Было так тихо, как в то утро, когда Никита стоял в коридоре, и так же наглухо закрыты были ворота и калитки. Что могла предвещать сейчас тишина?

Войдя в кухню, чуть приоткрыв дверь, Никита взглянул на свет: за окном было пустынно. Он подкрался к дверце кладовки и, не отрывая глаз от окна,

пощупал вертушку. Она была завернута натуго. Он быстро, прерывисто вздохнул и опять услышал свое сердце.

В тот же момент на улице беззвучно показалась горстка людей. Никита отскочил от кладовки и присел на пол, у подоконника. Потом он осторожно, одним глазом, выглянул из-за косяка в окно.

Людей было немного — человек восемь — и они были необычны для Смурского переулка. Почти все они были одеты одинаково скучно, точно экипированы, каким-то бедным интендантством, — в черных куртках или в прямых длинных пальто, в сапогах с короткими голенищами. На одном из них была фуражка с белым кантом, как у паровой команды.

Движения этих людей были очень скупы, бережливы и неспешны. Они растянулись редкой цепью поперек дороги, обернувшись лицом к бараку. На тротуаре, вполоборота к окну, заслонив от Никиты свет, стал высокий рыжеволосый человек. Он держал револьвер, повертывая барабан и вкладывая в него патроны. Окончив зарядку и сунув лишние патроны в карман, он громко, раздельно сказал:

— Бей в упор! — и поднял руку.

Тогда оконные рамы, лампа на стене, раскрытый киот в переднем углу, ухваты под печкой звонко задребезжали, и разорванные, краткие стуки недружно процокали по крышам и потолкам.

Люди стреляли вдоль Смурского, к бараку, стреляли в потников, в анафем.

Радость торкнулась в Никитино сердце. Он подпрыгнул и выпрямился. Рыжеволосого человека с револьвером и патронами отделяло от него только оконное стекло.

Никита тихо, осторожно раскрыл форточку, словно боясь помешать человеку в его важном деле.

За палисадником первой в цепи виднелась фуражка с белым кантом. Она сидела как влитая на круглой, большой голове. Никита пристально взгляделся в голову и, вздрогнув, высунувшись наружу, обрадованно закричал:

— Родька, Родион!

Рыжеволосый человек быстро обернулся, подозрительно скользнул по Никите синим глазом и нехотя позвал:

— Родион, тебя, что ли?

Да, да, это был Родион, лоцманский сынишка Родька, с которым Никита дружил в деревне — скачивался по гальке с обрыва в овраг, пропадал на дощаниках и лодках — тот самый Родька. Года два назад Никита встретился с ним на бульваре, и они посидели под липкой, не зная, о чем говорить. Родион работал на перевозе матросом. «Юнгой?» — спросил тогда Никита. «Это что? У нас такого нет!» — ответил Родион, и Никита почувствовал смертельную неловкость и зависть к своему товарищу. За два года Родион поздоровел, стал кряжистым, мужиковатым, и только лицо его осталось прежним — с глубоко врезающимися углами губ, придававшими ему выражение обиды.

Он валко подошел к окну и заглянул в форточку.

— Здравствуй, Родион, — задыхаясь, сказал Никита.

— А, это — вы? — произнес Родион, пряча одну руку поглубже за борт куртки.

Никита не заметил этого неожиданного «вы»; он понимал, что отрывает Родиона от дела, но не мог сдержать радости:

— Ловко вы их, — одобрил он и коротко потрянул головой в сторону барака. Ему было очень тесно в форточке, он почти висел на локтях.

Родион с достоинством помолчал.

— А вы что же тут? — спросил он недоверчиво.

— Я здесь живу, с теткой. Хотите — приходите ко мне.

Никита немного смешался, как будто новое «вы», которое сорвалось у него, должно было бросить тень на весь разговор.

— Там есть один, — заторопился он, — низенький, мучник, весь белый. Он вчера убил поляка, знаешь? Он тут с ними. Вот бы его как следует...

Родион согласно кивнул и, жестко глядя вдаль, на судовской лад вымеривая глазом расстояние, отделявшее его от барака, сказал:

— Мы их...

Ему не дали кончить.

Пронзительный женский голос неожиданно вспорол тишину. Это был отчаянный, раздирающий вой.

Никита вытащил голову из форточки и подбежал к другому окну.

Слесарь Петр волочил по тротуару цеплявшуюся за полу его куртки маленькую простоволосую свою жену. Она упиралась коленками, путаясь в разорванном подоле юбки, хватаясь крючковой, сведенной судорогой рукою за ноги мужа. Пальцы другой ее руки намертво сжимали полу куртки. Сквозь белые космы волос стеклянно проглядывали вытаращенные бесцветные глаза. Крик ее был неистов.

Слесарь ступал тяжело, с усилием отдирая от земли ноги, наклонившись всем телом вперед. Но в лице его было что-то неколебимо упрямое, как будто он решил непременно выволочить свой груз и будто грузом этим было безжизненное, неподатливое бревно.

К нему подошел рыжеволосый человек.

Петр приостановился, с натугой выговорил несколько слов. Человек подумал и обрывисто утвердительно мотнул головой.

Тогда Петр круто обернулся к жене, коротким, злым рывком выдернул из ее рук полу куртки и, как ребенка, схватив женщину под мышки, поставил на ноги.

— Молчать... баба! — рявкнул он, прислонил качавшуюся жену к изгороди палисадника и пошел на дорогу.

Женщина перестала кричать. Притихшая, она глядела сквозь космы волос вслед своему мужу, потом откинула волосы с лица на голову, по-бабьи привычно заложила косицы за уши и, нагнувшись, примерила к себе болтавшийся под коленями широкий клочок подола.

Кучка одинаково одетых людей молчаливо сгрудилась посередине дороги. Рыжеволосый, внушительно поводя рукою над картузами и шапками, говорил. Кучка встряхнулась, рассыпалась, люди по сговору зашагали вперед, и было так, точно в обед открылись ворота маслобойки или махорочной фабрики, и мастера поспешно разбегаются по домам.

Родион не оглянулся. Слесарь Петр — на голову выше всех, но странно схожий со всеми, — нескладно передергивая огромные углы своих плеч, ушел с людьми, необычными для Смурского переулка.

Безлюдное спокойствие опять простерлось над улицами, стайка воробьев упала с крыши на палисадник, птицы расселись рядком на остриях тесовой городьбы, почирикали, повертелись и, припав к дороге, как ласточки — к воде, юрко исчезли с глаз Никиты.

Он стоял около открытой фортки, ему приятно было ощущать осенний ток холода, тишина казалась благостной, надежной и легкой, и впервые за эти дни на Никиту дохнула сладкая усталость. Он позевнул, не спеша прикрыл фортку и еще постоял у окна.

Нет, в мире должна была существовать справедливость! Всегда, повсюду, в какой-то последний час, в последнюю минутку она являлась, чтобы вдохнуть искупляющий покой усталости, являлась неожиданно, вот как теперь явились люди с бережливыми, скупыми движениями, как явился Родион, как явится где-нибудь нескладно-сильный, громадный и упрямый Петр.

Никита подошел к чуланчику и без оглядки распахнул дверцу.

— Яков Моисеевич!

Он прислушался к безмолвию и позвал громче:

— Яков Моисеевич!

Ему опять ответило молчание. Он расшвырял шелестевшие сухие снизки луковиц и нащупал грубый, колкий ворс коротайки.

— Яков Моисеевич!

И тогда, за шорохом и потрескиванием луковичной шелухи, он уловил сбивчивый, спотыкавшийся шепот:

— Но я же вам... все время... отвечаю!

— Можно! — закричал Никита. — Вылезайте, пойдем наверх.

Он вытянул учителя на свет.

Яков Моисеевич, точно придя с мороза, снял пенсне и тщательно протер стекла. Увидев незанавешенное окно, он схватил Никиту за руку и потащил его наверх. Там, в полутемной комнате, выходившей окнами в коридор, Яков Моисеевич сел и, облокотившись на стол, закрыл ладонями лицо.

Он молчал.

Никитина тетка, подойдя к нему, боязливо дотронулась до его головы и провела ото лба к затылку по волосам. Из-под ее руки посыпались вперемешку, то иссиня-черные, то белые, как глазурь фарфора, кольца упругой, странно новой и старой в то же время гольдмановской гривы.

— Господи, господа, — сказала тетка.

Яков Моисеевич открыл лицо, виноватая улыбка застенчиво дрогнула на его впалых щеках, он опять уткнулся в ладони.

— Господи, — повторила тетка.

Так провели они день и ночь, так до поры жил у Никиты его учитель — скрипач, музыкант Яков Гольдман...

Но не выдумка ли все это? Не бредовая ли болезнь — эти рыскающие по городу вымазанные кровью волчьи стаи, этот протяжный нечеловеческий стон, эти улицы, безлюдные, как кладбища, дрожащие зарева, треск досок, оконных рам, дверных засовов?

Стоит только взглянуть на любой перекресток больших улиц — как благоустроено здесь человечество, как статны подбитые ватином шинели приставов, какое небесное сияние излучают медали почтовых, как зорко стережется благополучие пикетами прославленной пехоты, разъездами казаков, позициями артиллеристов!

На площадях расставлены целомудренные пулеметы, вместительные дворы казенных зданий дружелюбно приютили спешившихся уральцев и астраханцев, малиновые разводы галунов, околышей и лампасов восторженно сочетались с яично-желтыми кантами, оторочками, погонами, и все это блестит, блистает, блещет, все это умиленно верует в неискоренимость благонравия, все это безоблачно, солнечно уповает на высокую идею справедливости и божественный порядок.

Что может быть трогательнее такого братского, душеспасительного восторга, когда сам господин начальник губернии, в положенной четвертому классу треуголке, не щадя своего высокопревосходительного здоровья, сопутствуемый коляской, проходит из конца в конец улицы и, встречая благовоспитанное население вверенной ему губернии, ласково спрашивает:

— Как вы находите меры, принятые властью для ограждения безопасности?

Или:

— Полагаете ли вы достаточными меры, принятые властью для охраны порядка?

Или даже так:

— Не могли ли бы вы порекомендовать власти дополнительные меры, направленные к обеспечению спокойствия?

Вовсе не нужно иметь чувствительное сердце, чтобы умилиться при виде столь явственного единения всех слоев населения. Слезы проступают сами собою даже на глазах черствого художника, ибо воочию праведен и добродетелен человек, ибо посрамлено неверие, уничижен разврат и благонравие водворилось в мире.

Страхивает мизинцем хрустальную слезу губернский прокурор, и пухлой ароматной ладошкой утирает щеку преосвященный епископ, и, прихлебывая изюмный квас, плачет навзрыд казачий есаул.

Нельзя не плакать, нельзя не рыдать: пресечено преступление, утверждается братство, властвует порядок.

Благородные институтки возлагают венок на статую Фемиды в актовом зале, протопресвитеры объясняют прихожанам шестую заповедь, и город беспрепятственно дышит полной грудью. Уральцы, астраханцы, пикеты, разъезды, посты и отряды несут радостно свой блистательный, блестящий, блещущий долг. Население отправляет гражданские обязанности без различия вероисповеданий — без малейшего различия вероисповеданий, — каждый прописанный в домовых книгах человек трудится сообразно с отмеченной в паспорте профессией. Переплетчик может делать книжные корешки с отступом и разглаживать наклеенный форзац, молодой филер может спокойно мерзнуть в каком-нибудь неблагонадежном тупике подле маслостоек или махорочных фабрик, музыканту, скрипачу Якову Гольдману, ничто не мешает, зажав потертый футляр под мышкой, бежать через весь город на репетицию мендельсоновского квартета.

В городе господствует порядок...

Староострожные, Нижние, Смурские улицы и переулки, бараки, горы, золотые роты! Не во сне ли взъярились вы, позабыв про тыквенные семечки, про Петра и Павла? Не с похмелья ли причудилось вам, будто нет на вас управы, ни острастки, ни судьи, ни закона? Куда подевались палицы, гвоздыри да дубины? Не злой ли навет пустила на вас людская молва?

Может быть, не ваши спины гнулись под чужим добром, не ваши подошвы разносили по дорогам липкую кровь, не ваши руки, обхватив тараны, ссаживали с петель ворота и двери?

Иначе зачем же было пожаловать на Смурский переулок если не самому начальнику губернии, то господину полицмейстеру и ласково обратиться к вам — к потникам, анафемам, к смурыгому приходу Петра и Павла, — ласково обратиться от имени его высокопревосходительства:

— Его высокопревосходительство приказал мне лично заявить населению, что властью приняты все

меры для ограждения порядка. Необходимо соблюдать решительное спокойствие...

Но в чинном, благоустроенном городе все еще пахивает гарью, упрямо вздымаются к небу печные трубы пожарищ, свисают из разбитых окон этажей застрявшие кровати и шкафы, хрустит под ногами истолченное в крупу стекло.

И чему же было верить — блистающим галунам, нашивкам, околышкам, смиренной беседе о шестой заповеди или головешкам, стеклу, гари, придорожным тумбам, обрызганным человеческим мозгом?

Катастрофа пришла. Она должна была завершиться так же, как завершилось пьяное неистовство толпы у дома Никиты: возмездием. Возмездие — вот оправдание, цель и смысл катастрофы.

Но Никита напрасно ожидал возмездия.

Настала вкрадчивая, обманная тишина. Благополучие становилось гнетущим, оно удушало больше, чем призраки убийц, чем мрачные стоны сновидений. Люди соблюдали спокойствие боязливо и покорно, как обитатели больниц, и образцово смиренной, послушной сделалась жена слесаря Петра, который не вернулся домой.

Из крошечного душного мирка Никиту выбросила на простор жестокая, неумолимая сила, и духота простора сдавила его нещадной горечью. И тут, как внутри пылинки, тут, в этом путаном просторе мира, кружились бесплодные кольца Никитиной дороги, и тут продолжалось для Никиты отрешенное хождение по аду.

Тогда он, сжав сердце, вернулся в свой мирок..

Для скрипача техника правой руки имеет решающее значение. Можно достичь громадной быстроты, эластичности пальцев левой кисти, можно природнить скрипичный гриф к пальцам, привить его, как прививают хорошую породу к дикой яблоне, можно чувствовать гриф, не держа в руке инструмент, как чувствует калека боль и ломоту в отрезанной ступне, — все это можно. Блестящие игроки, великолепные виртуозы знают такое чувство грифа. Но этого чувства

мало для скрипача. Игрок, виртуоз, мастер становится скрипачом лишь тогда, когда он овладевает смычком. Потому что смычок — не мастерство, не виртуозность.

Потому что смычок — музыка.

Смычковая техника, если о ней рассказывать, непобедимо скучна. Это — теория. Но, примененная на опыте, она становится зловещей. Ее можно преодолеть, ее преодолевают тысячи, десятки тысяч скрипачей мира. Но от этого они не становятся музыкантами.

Чуть выгнутый лучок, скрепленный ровной лентой подобранных нитей волоса, заостренный угольником есика, всем ничтожным весом своим сосредоточенный в нижней колодке, — незамысловатое изобретение прашуров, оно затаило в себе сверхъестественную мощь. Хрупкий, почти невесомый, смычок может быть грузным и тяжким: непрерывный — он может дробиться на мельчайшие части; короткий, ограниченный длиной волоса — он может быть бесконечным. Сотни штриховых приемов усваивает скрипач, и десяткам штрихов учат школы для техники правой руки.

Но все штриховые приемы дают плоды только тогда, когда скрипач, взявшись за смычок, прикасается к *музыке*.

И чем выше взбиралось скрипичное мастерство Никиты, тем горше становился его труд.

Он часами тянул смычок, и звук нарастал беспрерывно, и переход от штриха — вниз к штриху — вверх был почти неуловим; он разрывал движение на крошечные доли, и оно послушно дробилось размеренным стаккато, как торопливая весенняя капель; он кидал смычок на струны, и пружинная, веселая пляска болтыхалась по комнате.

И он падал на постель, и он лежал, глядя в пустоту, изможденный, раздавленный отчаянием.

Однако мендельсоновский концерт должен был состояться хотя бы потому, что он был концертом Мендельсона и в нем участвовал Яков Гольдман, и если бы музыка Мендельсона была отменена или Яков Гольдман уклонился бы от выступления, разве

это не посеяло бы тревогу за действительность мер, принятых властью для безопасности населения?

Концерт состоялся и принес Никите нечаянное волнующее счастье — впервые за весь его музыкантский скорбный послух. Он принес разрешение годами накопленной тоски о настоящем деле, о настоящей радости дела.

Четыре пюпитра, поставленных затылками друг к другу, четыре тетради нот, одинаково четкие линейки, усеянные запятыми, безглазыми очками и хвостиками, прямые ряды бесстрастных ключей — пузатых, хитроумных восьмерок. Четыре человека за пюпитрами в холодной пустоте большого зала: четыре разных, враждебных понимания одной мысли.

И вот труд: стремительный, непоседливый Яков Моисеевич — виртуоз, одержимый музыкой, как талмудист — законом Иеговы; спокойный, умеренный виолончелист — добродушный педагог, никогда не делающий лучше и больше того, что требуется от учителя музыки; живописный, как итальянский нищий, альтист, для которого его мешковатый, осипший инструмент — то же, что развинченный циммермановский ящик для уличного шарманщика — кусок хлеба, только кусок хлеба (ибо что за музыка — альт?); застенчивый, неуверенный подросток, ученик, школьник, добившийся быстроты пальцев и плавной гибкости рук, ничего не выдавший за этой быстротой, за этой гибкостью. Вот труд: соединить в одно воду и масло, камень и дерево, уничтожить природу материи, добиться состава, который безропотно наполнил бы урну с прахом доктора чести, капельмейстера, Generalmusikdirektor'a Мендельсона-Бартольди.

Четверо людей, хватаясь за волосы, размахивая смычками, подтягивая яблоневые податливые колки, ежеминутно прерывая игру, чтобы кричать или перебегать от пюпитра к пюпитру и тыкать пальцами, смычками в нотные страницы, четверо людей крепотью разгадывали мысль одного человека.

И когда по крупцам и крошкам начало устанавливаться согласие, когда в пустом холодном зале возникла гармония и за обрывками, клочками зву-

ков вдруг выросло *целое*, тогда стало так, будто распахнулась передняя дверь и в пустой зал вошел сам Мендельсон-Бартольди, такой, каким его привезли в Веймар, к действительному тайному советнику Гёте.

— Так, так, господа, — тонким голосом проговорил Мендельсон, торопясь между рядов пустых стульев и — от холода — потирая маленькие руки, — это почти совершенно так, как я себе представлял!

Озноб пробежал по спине Никиты, он еще не верил, что слышит нечто громадное и повелительное; но существо его с необычной легкостью оторвалось от скрипки, перешагнуло через преодоленную трудность инструмента и растворилось в новом начале.

Так Никита Карев прикоснулся к музыке. Так, если бы одушевить неживую природу, пригретая солнцем капля воды должна была бы чувствовать себя, испаряясь.

Никита перестал ощущать себя, перестал видеть своих партнеров, он всеми силами старался удержаться в подчинении воле, которая обобщила четырех разных людей. Он наслаждался этим подчинением. Он отдавал себя этой воле...

Дважды пережил такое чувство Никита. На предпоследней репетиции, когда квартет был сыгран в первый раз без перерывов и спора. И на концерте.

Он не помнил, как выходил вместе с учителями на вызовы залы, как пожимал ему — перед публикой — руку Яков Моисеевич и не разобрал смешного замешательства, случившегося после концерта в артистической комнате: мелькнули чужие лица, заблестел аксельбантами частный пристав, кто-то жарко жестикулировал и кричал.

Никита выбежал на улицу. Навстречу ветру, в нелюбимой осенней темноте, он помчался, горячий и легкий, крепко прижав к боку футляр со скрипкой. Сзади его раздавался озабоченный голос:

— Никита, Никита! Господин Никита!

Наконец кто-то схватил его за пальто. Он остановился без страха, недовольный, что ему помешали

бежать. Перед ним стоял переплетчик — отец Якова Моисеевича.

— Что, разве где-нибудь горит? — задыхаясь, спросил он. — Уф! Что значит молодость! Прекрасный концерт. Я хотел вас поздравить.

Он немного передохнул и тихонько притронулся к воротнику Никитино пальто.

— А вы знаете, что происходит? Нет? Вы ничего не заметили? Что? Ну, так после того, как вы вышли второй раз кланяться и Яков пожал всем руки, публика стала орать еще больше. Тогда господин пристав пошел туда, за кулисы, и сказал Якову, чтобы он больше не кланялся.

— Почему? — воскликнул Никита.

— Потому что, сказал господин пристав, он не может допустить оваций, которые уже перешли границы, и это уже будто бы форменная демонстрация Мендельсона и Гольдмана. И в такое время! Уф!

Никита топнул ногой.

— Что за подлость!

— Подлость? — переспросил Гольдман и помолчал. — Вам надо знать талмуд, — сказал он, чуть улыбаясь. — Там есть такое место: падает камень на кувшин — горе кувшину; падает кувшин на камень — горе кувшину; так или иначе — все горе кувшину.

Он неслышно и продолжительно посмеялся, затем приблизил чернобородое лицо к Никите, быстро глянул по сторонам (люди кучками тянулись с концерта) и пробормотал:

— Я давно хочу поблагодарить вас, Никита, за Якова, за то, что вы его спаситель. Нет, нет! Не говорите мне ничего, я же знаю! Вы — его спаситель. И Яков мне тогда сказал: человек с таким сердцем, как господин Никита, должен быть музыкантом. Я, и моя жена, и Яков, вся наша маленькая фамилия, благодарим вас!

Он неловко скользнул рукою по шее Никиты, пригнул к себе его голову и поцеловал. Никита прикоснулся лицом к жесткой, холодной бороде. На переплетчике распахнулось пальто, он был одет в новый

сюртук и манишку, но от него знакомо пахло клейстером.

Он несколько раз кряду пожал руку Никите, хотел что-то выговорить, но только мотнул головою и кинулся прочь.

Никита с минуту стоял неподвижно, глядя вслед убежавшему переплетчику. Ему показалось, что ветер донес до него кисловатый запах клейстера, и он втянул в себя воздух поглубже.

Он любил этого маленького, живого человека. Он любил его сына — учителя, скрипача Якова Гольдмана. Он знал, что на свете стоило жить.

НА ВЗВОЗАХ

Глава первая

Вечером Родион сменился и получил отпуск в город. Было холодно, по реке несло густое сало, шурша и поскребывая о борта судов. Ждали со дня на день конца навигации, перевоз еще работал, но рядом с пароходами стоял мрачный ледокол, и на нем уже несли зимнюю вахту.

Родион быстро присел берегом, привычно разбираясь в темноте, мостками и настилами опустевших товарных складов и выбрался на взвоз. Смоченный дождями булыжник слегка подморозило, идти было скользко, но Родион не умерил шага и скоро очутился на перекрестке. Там он подошел к тусклому оконцу часового магазина и постоял сколю него, раздумывая. За окном виден был сгорбившийся над верстаком мастер, он собирал карманные часы, ловко подцепляя крошечные части щипчиками.

Родион осторожно надавил коленкой на дверь и вошел. Путаный треск маятников, вразброд и страшно торопливо нарубавших ничтожные дольки времени, необыкновенно углубил тишину, и — против воли — голос Родиона упал.

— Скажите, пожалуйста, — спросил он, — который теперь будет час, по-точному?

— Проверить часы? — спросил часовщик, не отрывая головы от работы.

Оттого, что мастер не поглядел на него, Родиону показалось, будто в мастерской стало еще тише, какой-то холодок остро юркнул ему за рубашку, на грудь, и он вдруг громко тяпнул:

— Да не проверить, а узнать сколько время!

Часовщик вскинул глаза, с удивлением осмотрел Родиона и тоже закричал:

— Что у вас, на пристанях, часов, что ли, нет? Шляндрите только тут!

— Виноват, — неожиданно мягко, точно с перепугу, проговорил Родион, — я не был на пристани, я туда иду. Сколько сейчас, скажите, пожалуйста?

Часовщик ткнул большим пальцем через свое плечо:

— Вон теверные, — и снова наклонился к верстаку.

— Очень спасибо, — сказал Родион и для вежливости добавил шепотом: — Четверть седьмого.

Да, часы показывали четверть седьмого. Иначе не могло быть: Родион сменился ровно в шесть, минут на пять задержали его на пристани, минут десять он шел берегом и поднимался по взвозу. Если бы он стоял на вахте или работал на погрузке, он был бы спокоен и мог бы с точностью слышать ход времени. Но он мчался длинной черной улицей, сердце его стучало путано, точно маятники в часовом магазине, и ему чудилось, что он никогда не угонится за минутами. Потом он внезапно сменял бег на медленный шаг, и опять ноги его, сами собой, ступали чаще, чаще, и вновь он бежал, квартал за кварталом, из одной улицы в другую.

Он должен был прийти на место к половине восьмого. Но он потерял чувство времени и, когда очутился на знакомом углу, — стал. В тот же момент его обдало жаром: стоять здесь было невозможно. Тогда нежданно его осветило воспоминание, радостное, как встреча с любимым человеком; он находился вверху Смурского переулкa, какая-нибудь минута отделяла его от дома, в котором жил Никита.

Никита не был ему нужен, но у него он мог узнать время, мог переждать и приноровить свой приход точно к половине восьмого. Самое важное — ни секунды не стоять на месте и явиться в назначенный час.

Его долго расспрашивали, прежде чем пустить в дом. Он терпеливо рассказал о себе и о том, откуда знает Никиту. Его провели кухней, узенькой лестницей наверх. Первые слова его, лишь только он увидел Никиту, были:

— Который час, по самому точному?

Оказалось, что в полчаса Родион пробежал почти весь город. Это обрадовало его, но только на один миг: при мысли, что надо разговаривать с Никитой целых три четверти часа, он опешил.

В комнате Никиты стоял книжный шкаф, поперек кровати валялись ноты и раскрытый скрипичный футляр, стол освещала мягким, желтым светом керосиновая лампа. Тепло, какое бывает только в просторных деревянных домах, ровно колыхалось около печи и ощутимо плавало по комнате.

— Ну, как идет это дело? — спросил Родион после первых бестолковых слов. Он подошел к кровати и мотнул головой на футляр.

— Знаешь, теперь — хорошо, — доверчиво заговорил Никита. — То есть хорошо, потому что стало интересней. Я играл недавно на концерте, в квартете.

Он поглядел на своего гостя и объяснил:

— Вчетвером, четыре инструмента.

Родион улыбнулся и промычал:

— Зн-наю... Что же, вы так и решили музыкантом сделаться? — спросил он.

— Почему ты говоришь мне «вы»? — вспыхнув, сказал Никита. — Мы с тобой не первый раз увидались, а кто с детства знаком, тот всегда...

Он не договорил, дожидаясь ответа.

Родион взглянул на Никиту, прищурившись, отчего глаза его сделались ласковей и мягче; как будто складки лица, которые придают человеку черты хитрости и недоверия, выражали у него просто-душие.

— Вы не обижайтесь, — сказал он, — я не нарочно. Хоша мы с вами жили в деревне, но с того много воды утекло.

Он сразу осанился, как только сказал про «воду», и поглядел вокруг себя внимательно.

— Бывает, что дружба всю жизнь тянется, — обидчиво заметил Никита.

— Верно, конечно.

— А что же нам мешает?

— Как сказать, — промямлил Родион.

Он попал в тот знакомый ему тон, который усваивают деревенские мальчуганы в детстве, подражая отцам и дедам. Этот тон вполне огораживал его от ненужной откровенности и одновременно поддерживал разговор.

— Мало мы касаемся, — сказал он, опять пристально озираясь. — Я — на конторке либо на пароходе, а вы... у себя.

— Чудак, — засмеялся Никита, — ведь так бывает всегда: каждый у себя.

— Правильно, время не остается.

— На дружбу?

Родион улыбнулся:

— Я так и хочу вам сказать, что на дружбу ни одного часу нету. А сколько сейчас время будет? — спохватился он.

— Поспеешь, — сказал Никита.

— Нет, уж пожалуйста, — беспокойно и робко попросил Родион.

— Ну на, гляди сам, — сказал Никита, пододвигая карманные часы на край стола.

Родион взглянул на циферблат и отвернулся к книжному шкафу.

— Можно?

— Смотри.

Родион открыл дверцы и начал разглядывать корешки книг. Иногда он вытаскивал какую-нибудь книгу, развертывал ее и подробно прочитывал титул, но тут же ставил книгу на место и, чем дальше, тем рассеянное пробегал глазами по полкам. Наконец он вздохнул и попросил:

— Которую поинтереснее бы...

— Здесь много интересных, — снова обиделся Никита, но тотчас ожил и, подойдя к Родиону вплотную, спросил тихонько:

— Тебе про революцию?

Родион отстранился от него и помолчал минутку.

— Про чего? — переспросил он, не понимая.

Никита схватил его за локоть.

— Брось притворяться! — шепнул он. — Ведь я знаю! Тут никого нет, тетка — там!

Он махнул рукой на дверь. Лицо его покраснелось, глаза часто моргали, он точно еще больше вытянулся и стал смешней.

— Ты в дружине состоишь?

— В дружине? В какой? — по-прежнему не понимая, переспрашивал Родион.

Его круглая, широколобая голова глубже уползла в плечи, он немного попятился от Никиты, чтобы лучше наблюдать за ним.

— В рабочей дружине, в боевой. Нет? Рассказывай! А помнишь, на улице-то, около дома? — шептал Никита.

— Это тогда... сгоряча, — буркнул Родион. — Какое мне дело...

— Рассказывай! — не унимался Никита. — А куда делся Петр? Не знаешь? Высокий такой, с нашего двора, слесарь. Он тогда ушел с вами. Не знаешь?

— Я там никого не знал. Это — все так.

— Повсери я тебе! — потрянул головой Никита и отступил, недовольный: видно было, что из Родиона не вытянешь ни одного дельного слова.

Они помолчали. Родион опять глянул на часы, на книжки и повторил:

— Как же насчет книжечки?

Тогда Никита ответил с сердцем:

— Про то, что ты ищешь, у меня нет...

— Да я ни про что не ищу, — грубовато сказал Родион.

Потом он всмотрелся в Никиту, улыбка снова смягчила его взгляд, и он сказал тихо:

— Зря сердитесь. Сами говорили про дружбу...

— А ты не хочешь! — прикрикнул Никита. — Утаиваешь о себе!

— Мне таить нечего, — рассеянно ответил Родион.

Он точно вспоминал что-то с усилием и говорить ему было трудно: мысли уводили его в сторону. Вдруг он встряхнулся и сказал:

— Мне пора. Прощайте.

— Ах, Родион! — укоризненно и горько воскликнул Никита.

Но Родион словно не заметил ни укора, ни горечи, ни того, что Никите было очень обидно неуклюжее и пустое посещение гостя.

Он простился и вышел на двор. И едва на него подул морозцем, он так же быстро забыл о Никите, как несколько минут назад вспомнил о нем.

Он двинулся вверх по переулку, пугливо вглядываясь в темноту. В том, как он держал руки, как сгорбилась и округлилась его спина, была такая сосредоточенность, что, если бы Никита увидел его в эту минуту, он понял бы, что их разделяло: рядом с Родионом — одноклассник, сверстником его забав — он был еще мальчишкой.

Родион дошел до угла. Две ступеньки вели к входной стеклянной двери с распахнутыми ставнями, на которых висели по обе стороны живописные вывески. Вековые надписи бакалейных лавок были смутно освещены сквозь стекло: «Чай, сахар, кофе», — «Табак, сигары, папиросы».

В лавку вползла, согнувшись в три погибели, старуха. Колокольчик замотался над дверью, тревожно, визгливо звеня. Родион пропустил старуху вперед и вошел следом за нею.

Спустя две минуты он опять появился на улице, с большим ломтем хлеба, завернутым в газету. Он обхватил сверток поудобнее, ту же засунул в карман свободную руку и зашагал вдоль черного, слепого порядка домов.

Вскоре он расслышал, что кто-то догоняет его. Он дрогнул, хотел оглянуться, но удержался и решил, повернув круто, перейти дорогу. В тот же момент

на мостовой раздались поспешные шаги. Они были осторожны, но в темноте трудно было бежать тихо — ноги срывались с выступавших булыжников, и вот этот звук — звук соскользнувшей с камня и шелкнувшей подошвы — страшно отчетливо долетал до Родиона. Он приостановился на секунду, чтобы лучше вслушаться в шаги, настигавшие его по тротуару, и вымерить на слух расстояние, которое отделяло его от преследователей.

Он ни на одно мгновение не сомневался в том, что его преследуют. Шаги слышались совсем близко. Тогда он бросился в темноту, высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться. И так же открыто, не таясь, тяжело припечатывая сапоги к земле, кинулась за ним погоня.

Бег продолжался недолго. Кто-то крепко схватил Родиона за рукав и выбил у него сверток. Он вырвал руку и нагнулся поднять развернувшийся хлеб. Но человек, бежавший по дороге, налетел на Родиона с другого бока и повалил его.

Борьба велась молча, никто не проронил ни слова, и, может быть, потому до боли заострился слух, и — падая, поднимаясь, отталкивая людей, хватавших его за руки, — Родион расслышал бег третьего человека по дороге — громоздкую поступь сапог с тончайшим, стеклянным дребезжанием шпор.

На грудь Родиона, на лицо навалилась суконная громада, он только успел различить, как откуда-то запахло почтой, почтовой конторой, и сразу руки его были заломлены назад, перехвачены тонкой, режущей бечевкой, и на мостовой задребезжала пролетка извозчика.

Родиона поставили на ноги, и спокойный, шелковый бас произнес:

— Ну, поедем.

Родион хорошо знал город и не мог понять, куда его везут: дорога в тюрьму шла прямо, полиция находилась вверху, на горке, а извозчик кружил по улицам, казалось, без всякого смысла и не спрашивая, куда ехать.

«Все свои», — подумал Родион.

Наконец пролетка стала у большого дома с плохо освещенным подъездом. Родиона ввели в коридорчик, узенький и мрачный, и тут он снова вдохнул в себя запах почтовой конторы — густую, застоявшуюся помесь жженого сургуча со штемпельной краской. Жандарм, который ехал с Родионом в пролетке, усадил его на скамью, почтительно постучал в грязную дверь, приоткрыл ее и скрылся.

Родион торопко посмотрел в конец коридорчика. В него безжизненно упирался желтый, как бутылочное стекло, взгляд громадного неподвижного человека в синей фуражке. Когда Родион входил, он не заметил этого стража.

Приземистое существо, похожее на базарного лотошника, неся что-то под расстегнутой полой чуйки, скользнуло мимо Родиона и, так же как и жандарм, постучав в грязную дверь, неслышно исчезло за нею.

Спустя минуту дверь раскрылась, и жандарм позвал Родиона.

Он вошел в маленькую комнатку со столом посредине, украшенным высокой лампой в красном, очень пышном абажуре. Офицер с темными усиками и бородкой, согнувшись под абажуром, читал. Стены были закрыты плоскими шкафами, выкрашенными в грязновато-желтый цвет, и несколько дверей, — по раскраске и величине такие же, как шкафы, — казались нарисованными на стенах. Приземистого человека, похожего на лотошника, в комнатке не было.

Офицер бросил чтение и осмотрел Родиона.

— Как вас зовут? — спросил он.

Родион хотел что-то сказать, но кашлянул, поперхнувшись, и застыл. Не отрываясь, в каком-то окончании, он смотрел на стол.

Там, с краю, в розовой мути абажура, на помятой и выпачканной газете лежал ломоть пеклеванного хлеба и рядом с ним — пачка бумажных листков в восьмую долю, с вершок толщиной, перехваченная веревочкой, один раз — вдоль и дважды — поперек. Пачка была тоже загрязнена, и уголки листков загнулись веерком. Тут же, около листков, валялся

сплюснутый в лепешку хлебный довесочек: наверно, во время возни на него наступили.

Офицер долго ждал ответа. Потом он перевел глаза на жандарма, стоявшего у входа, и глазами же показал на Родионовы руки. Жандарм ловко развязал бечевку и отошел к двери.

— Как тебя звать? — спросил офицер подтверже.

Родион молчал.

Офицер зевнул, поправил усы и сказал тихо:

— Обыщи, Петров.

Жандарм тронул Родиона за рукав, и они вышли.

Офицер придвинул к себе пачку листков, взял большие блестящие ножницы, разрезал веревочку и повертел ее между пальцев. Вероятно, она показалась ему непригодной, и он кинул ее в корзинку, под стол.

Вынув один листочек из середины пачки, он положил его перед собою, текстом наверх: тыльная сторона листка была чистой. Он начал читать, но скоро опять зевнул, поднялся, подошел к шкафу и отворил дверцу. Шкаф снизу доверху состоял из ящиков, закрытых проволочными решетками. Под каждым ящиком значились номерки и буквы.

Офицер покачивался перед ящиками, изучая номерки, и тихонечко насвистывал. Он был похож на повесу, со скуки разглядывающего за решетками морских свинок или кроличьи выводки.

Наконец он открыл одну проволочную заслонку и вынул канцелярское дело в папке. Вернувшись к столу, он перелистал папку, нашел в ней такой же листочек, какой лежал на столе, и начал сличать их.

Рука его привычно потянулась к кнопке звонка под лампой.

Как будто выскочив из шкафа, в комнате появился жандарм и стал у косяка.

— Пашенко? — спросил офицер, не подымая глаз.

— Точно так.

— Опечатай, — сказал офицер, поведя рукою в сторону развязанной пачки листков.

Жандарм подошел, взял листки, постукал их ребром по столу, чтобы сравнять, распрямил уголки, по-

смотрел один листок на свет и качнул головой с таким видом, что, мол, понял все с одного взгляда.

Офицер посвистывал.

Жандарм хозяйственно оглядывался.

— Веребочку? — спросил офицер. — На! — сказал он, толкая корзинку под столом.

Жандарм нагнулся и заглянул под стол, но офицер, видно, слабо толкнул корзинку, до нее было далеко, и жандарму пришлось стать на четвереньки. В долгополой шинели, сборчато оттопырившейся у него сзади, неуклюже заползая под стол, Пашенко напоминал собою бабу.

Он вытащил корзинку, достал веревочку, которую перед тем бросил офицер, примерил ее к листкам и, соблюдая уважительную осторожность, взял с офицерской чернильницы сургучную палочку.

Офицер насвистывал.

Пашенко снял со стеклянной спиртовки колпачок, подергал пальцами фитиль и чиркнул спичку. Завязав листки крест-накрест, он поднес сургуч к огню.

— Дозвольте сказать, ваше высокородие? — спросил он.

— Вали, — разрешил офицер.

— Очень красиво свистят ваше высокородие.

— А ты знаешь — что? — спросил офицер, все еще сличая листки.

— Точно так. «Марсельезу».

Офицер достал из ящика печать и, положив ее на стол, толкнул ладонью. Печать гулко покатилась к жандарму. Он поймал ее и принялся заливать горящим сургучом концы веревочки на пачке листков.

— Французскую «Марсельезу», Пашенко, французскую, — сказал офицер. — Это тебе не то, что наша: а-а да о-о! — и все...

— Пеклеванный тоже прикажете опечатать? — спросил Пашенко, ложась на гриф печати животом.

Офицер подумал, взглянул на хлеб, на жандарма и опять зевнул.

— Пеклеванный — как хочешь.

Пашенко тоже подумал и сказал:

— Он грязный.

— Ну, пожалуй, опечатай, — решил офицер и чуть-чуть обернувшись к входной двери, крикнул:

— Петров! Можно, води...

Необычная, сразу бросавшаяся в глаза перемена произошла в Родионе. Лицо его было глубоко-красно, он смотрел на пол, себе в ноги, и точно перестал дышать: таким бывает человек, в натуге, через силу отрывающий с земли тяжесть. Войдя, он не сделал ни одного движения, согнутые в локтях руки, голова его не шелохнулись.

Офицер потрогал усики и с видимым развлечением остановил повеселевший взгляд на арестованном.

Едва слышно дребезжа шпорами, жандарм подошел к столу и аккуратно выложил пригоршню мелочей, найденных по карманам Родиона.

— Это все? — спросил офицер, пошевелив бровями, усиками и бородкой.

— Точно так, ваше высокородие, — шелково отпартовал бас, — больше ничего обыском не обнаружено.

— Хм-м, — помычал офицер.

На столе лежали спички, большой складной ножик, начатая пачка папирос «Сирень», обрывыш веревочки, синий платок — размером чуть поменьше головного, две волосяных лески, намотанных одна на щепку, другая на пустой спичечный коробок, и потасканное, блестящее сальцем письмо от матери Родиона, без конверта, полученное уже давно с деревенской оказией.

Офицер не притронулся к вещам, даже не рассмотрел их поподробней, а только скользнул мельком сощуренными глазами по письму.

— Как тебя зовут? — спросил он совершенно таким же тоном, как спрашивал до обыска.

Родион молчал и не шевелился.

Тогда офицер сгреб со стола в горсть лески, «Сирень», письмо, ножик, быстро подошел к Родиону и, остановившись перед ним вплотную, резко сунул в карман его куртки всю мелочь.

— Тебя зовут Родионом Чорбовым, — проговорил он, нарезая слога, как рассерженный школьный инспектор. — Понял? И ты — матрос с волжского переезда.

Он все еще держал свою руку в кармане Родиона и с каждым отрезанным слогом втискивал поглубже спичечный коробок, «Сирень», щепку, как будто этот мусор был виною его раздражения.

— Понял? — повторил он, грозно вглядываясь в красное лицо Родиона. — Деревня, дуботол, понял?

Он с силой вдавил кулак в карман Родионовой куртки, так что хрустнул спичечный коробок, вырвал руку наружу и брезгливо отряхнул ладонь.

Родион качнулся в сторону и поднял глаза. За смутным налетом слез в них, на секунду, метнулись подозренье, решимость и страх. Кажется, больше всего было страху перед тем, что офицер примет непрошенные слезы за испуг.

Но офицер перехватил мысль Родиона и снисходительно, с оттенком презренья воскликнул:

— А что же ты думал?! Конечно, они тебя выдали. Мы отлично знали, что ты сегодня вечером пойдешь в лавчонку за прокламациями, и знали, куда ты их понесешь. Они нам все рассказали!

У Родиона дрогнул рот, кровь быстро исчезла с его лица, точно переплеснулась куда-то вглубь, он поднял руку к груди, колыхнулся и вновь застыл, не произнеся ни звука.

Офицер внезапно схватил его за отворот расстегнутой куртки.

— Кто тебе сказал пароль, по которому ты получил в лавке листки? Кто, говори, ну, кто?..

Родион молчал.

— Дурак, — спокойно сказал офицер, немного пождав и выпуская куртку. — Им всем ничего не сделают, а тебя, если ты будешь молчать, закатают куда Макар телят не гонял, узнаешь!

Он отошел к столу и притронулся к своим усикам.

— Ну, как же, Родион Чорбов, вы не намерены отвечать?

Он испытующе покосился на Родиона, потом сел за стол и решительно взялся за перо.

Он писал недолго.

— Петров, — позвал он, протягивая в воздух узенькую полоску бумаги, — отвезти арестованного.

Потом он вяло поглядел на опечатанную пачку листов, на сургуч, размазанный по корочке пеклеванного хлеба, и скучно, продолжительно, сладко позевнул.

Глава вторая

За Родионом больно прорыл замок. Это было такое ощущение, будто медленно отняли руку или ногу.

Он оправился минуту спустя и сел на койку.

Против него, на другой койке, лежал большой покрытый ворохом тряпья человек. Когда Родиона вводили, он поднялся, но тотчас снова лег, приберегая накопленное в тряпье тепло. Он вскоре уснул.

Было тихо, и постепенно дыхание Родиона совпало с размеренным посапыванием спавшего человека.

Тогда он впервые задумался.

Где, в какой момент, на каком шаге Родион споткнулся? Все концы были чисты и гладки, ни одного узла. Часовщик? Не может быть! Ведь Родион зашел к нему только на полминутки и спросил — который час? Ни слова больше. Лавочник? Но ведь лавочник — свой! (И тут же мысль — чей? Что значит — свой? У них ведь тоже — свои?!) Никита?!

Черт побери этого скрипача! Что он там порол о боевом отряде? И зачем ему надобится Родионова дружба? Мало ли с кем водил Родион в детстве дружбу, и никто потом не навязывался ему в друзья. К тому же, детство — далеко, детства не вернешь, оно ушло, как пароход, который только снится — белее снега, тише речного течения, с голубым дымком, в голубых, как небо, флагах. Так тихо ходил только бук-

сир, на котором плавал отец Родиона — лоцман Чорбов.

Бывало, ввечеру, Родька приметит на небосклоне дымочек, долго стоит, глядя вдаль, вдруг различит корпус буксира, узнает его, бежит домой с криком:

— Мамка, тятка плывет снизу!

И вот он уже на дощанике, с каким-нибудь приятелем, ладит уключины, выпихивает дощаник из затончика, вместе с приятелем садится в весла и часто, коротко побулькивает в воде их увесистыми лопастями. Он держит по течению, навстречу почти неподвижному буксиру, он слушает сиповатое уханье толстых вальков в уключинах и отзвуки дубовой роши на обрыве, ему чудится, что в роше покашливает громадный человек, он весь ушел в слух, и вдруг сердце его стопорит, падает и летит камнем в пропасть. Это отец его, лоцман Чорбов, подходя к дому и завидя плывущий к буксиру дощаник, дает радостный, многословный сигнал своей родной деревне, своей жене, своему сыну Родьке, сигнал о том, что прибыл лоцман Чорбов!

Береговой обрыв и роши перепевают на разные лады пароходный свисток — и Родион изо всех силенок ложится в свое весло.

Потом он снимает с парохода отца, и они плывут назад домой. Буксир скоро остается позади них, отягощенный наливными баржами, глубоко вдавленными в воду, низкими, как плоты.

В сумерки они достигают деревни, в дом к ним приходит родня — поглядеть хозяина на побывке, — Родион, разиня рот, ловит отцовское слово, и потом ему снятся пароходы, машины, шумный город, весь в пристанях, кричащий, надрывающийся гудками, и он выкликает во сне:

— Отдай кормо-ву-я-а-а!

Рано утром отец на подводе уезжает в город — догонять свой буксир. Родька и мать провожают отца до соседней деревушки, и, расставаясь, лоцман Чорбов сухо, точно к слову, говорит, когда — через многоль недель — поплывет он назад вниз, с пустыми баржами...

Детство! Разве вернешь его? Пароход, уплывший навсегда, с голубым дымком, в голубых, как небо, флагах!

Зачем вспоминать о нем?

С тех пор прошло много лет, с тех пор, как лоцман Чорбов, после побывки, увез своего сына в город...

Родион прислонился к стене, непривычная полудрема обессилила его, он попытался вернуться мыслями к тому, с чего начал, но самые мысли его облекла удивительная оболочка, словно за него думал кто-то другой.

Думал, что взвозы круты и тяжелы для подъема, что в ростепели потоки воды буйно мчатся по взвозам в реку. Что тогда человек молодеет, и ему делается легко, незаботно. Солнце не может равняться по часовому маятнику, когда шумит и кудряво скачет на булыжнике желтая вода.

А вместе с водою, умывающей город, стекает по взвозам к реке, неизвестно откуда, рабочий люд, и следом за ними — сор, нечисть и шлак... Едва Родька попал в город, у него екнуло в груди. Вот где было всего понаделано!

Он попал на берег, загроможденный горами невиданного добра, попал в заварную, набухшую кашу ломовых, грузчиков, боцманов, в гомон, в рев, в свистопляску.

Если на белом свете и найдется нескучное место, так это — речные пристани. И если наступит когда-нибудь светопреставление, то умирать будет веселее всего на взвозах. Не потому ли, что смерть здесь идет нога в ногу с работой и на нее оглядываются только тогда, когда она пришла, как смотрят на работу, когда она кончена?

Здесь все в приходе и уходе, здесь вещи — как люди — появляются, чтобы исчезнуть, здесь треск и скрежет аварий заглушает набатный стук починок, и стук поглощен воплями катастроф, и вопли тонут в грохотах стройки.

И — вправленные в эту суету гибели и спасенья — медлительно-осторожные поворачиваются на воде суда.

Вот где было всего понаделано!

Родька всхлипнул, как после плача. Смотреть дольше на окружающее его смятенное великолепие у него не стало мужества. Он сидел на толстом бревне, соединявшем пристань с берегом. Бревно было пере-хвачено железными обручами, в них — вправлены брусья, на которых лежали сходни. По сходням трус-сой торопились грузчики, и от их бега бревно мерно гнулось, слегка подкидывая Родьку.

— Небось, — сказал он вслух.

Это должно было означать, что Родьку ничем не запугаешь, что важно — приглядеться ко всему по-степенно, и тогда будет так же просто, как в де-ревне.

Он глянул вниз, под сходни. Около берега маль-чуганы, по колено в воде, ловили мальков рубашкой с завязанными узелком рукавами и воротом. Так ло-вили мальков и в деревне, ничего замечательного в рубашке и в мальчуганах Родька не нашел. Но вода у берега была особенная — сизо-лиловая, с отливом в зелень, как голубиная грудь. Родька плюнул в воду, сизо-лиловый покров прорвался и потек змейками, потом змейки соединились в кружок и кружок пропал в новом, принесенном течением, широком, как бабий платок, цветистом покрове.

«Обыкну», — решил про себя Родька и тут же вздрогнул: сквозь шум он расслышал тонкий голос отца.

— Вот он, — сказал отец, подталкивая Родьку на-встречу высокому человеку в белой косоворотке. — Это — твой хозяин и начальник, — обернулся он к сыну, — господин пароходный агент, и ты будешь у него служить.

— Значит, за харчи, — сказал агент отцу.

— Точно так, за харчи.

Отец взял Родькину руку, подержал ее недолго и тихонько проговорил:

— Вот твой узел, в уголку.

Потом добавил погромче, чтобы слышал агент:

— Ну, слушайся, смотри...

И, немного погодя, опять потише:

— Из Нижнего я теперь буду ко второму Спасу, не ране.

Он поклонился агенту:

— Так вы, пожалуйста.

— Ладно, — ответил агент, и отец ушел.

Родька хотел ему что-нибудь сказать, но не вышло, он только поглядел отцу в спину, зажал нос пальцами и высморкался.

— Ты это оставь, — усмехнулся агент.

— Чего? — спросил Родька.

— На пол тут, говорю, сморкаться нельзя, в конторе.

— Точно так, нельзя, — подтвердил Родион, стараясь говорить точь-в-точь, как отец, и глядя на пол.

Так Родион попал в город.

«Ничего, — решил он, — обыкну...»

Но первое, что он увидел на городском берегу, потрясло его своим бессмыслием.

Случилось это за полдень, когда стихает немолчный рокот взвозов и люди, оставив работу, показывают себя в безделье.

И вот они развернулись перед Родькой нескончаемой лентой отрепьев, рвани, ветоши, обносков и лохмотьев. Здесь были все цвета, созданные природой, и ни один из них не был чист, но каждый вершок, каждое мельчайшее пятно на лоскуте утопали в шевелящейся грязной мути. Это было какое-то пламя, лениво лизавшее грязными языками своими — охвостьем жалкого и величественного тряпья — обнаженные груди и спины, локти, колени, животы. Человеческие тела — человеческие, потому что они, как все люди, держались на двух ногах и были украшены головами, — горели в мутном пламени охвостья и, обожженные, почти обуглившись, с разводами лиловых и синих кровоподтеков, ссадин, язв и волдырей, вельможно несли свое убожество перед очами мира.

Великое галашье царство, увечные души гениев, беспохмельная человеческая тоска! Перед вами последняя нищета — слепящее богатство, и заповеди блаженства для вас не краше помойной ямы!

Потряхивая лоскутами, с высокомерием попирая землю, толпа галахов двигалась вдоль берега, навстречу Родьке. Он начал всматриваться в толпу и понял, что ее объединяло.

Впереди галахов шествовали два существа, разряженные во множество цветных тряпок. Они рдели в красном, и синее, зеленое умещалось на них с желтым, как перья на попугае.

Это были две городские дуры, сестры Катерина и Лизавета Ивановны, не юродивые Христа ради, каких город тоже знал, а безумицы от роду, женщины причудливой, но незавидной судьбы. Рассудок их был опален огнем богатства (молва считала дур исчадием большого, многославного откупщика с низовьев), весь город звал сестер по имени и отчеству — никак иначе, и они с глубочайшей серьезностью и за чистейшую монету принимали издевательские знаки всеобщего почитания.

Главной во всем была Катерина Ивановна. Лизавета Ивановна неизменно подражала старшей сестре, как тень расхаживала за нею, как тень приседала в ответ на поклоны насмешников и шутников.

Всю жизнь они прожили на взвозах, под мостками побережных сараев, в подворотнях ночлежек и обжорных рядах базара. Впрочем, нет, — они прожили в пышном миру шелковых одеяний, бисера и аграманта, окруженные шепотом лести, завистью, коварством и обожанием, как живет только безмерно богатая и безмерно счастливая знать.

Ни на секунду, ни на одну секунду сознания их не коснулось несчастье: так мощно озаряло его блаженство. Они были старухи, седые космы висели у них из-под шляпок, но ни одной морщинки нельзя было разглядеть на их лицах: так заплывла, опухла и проспиртовалась их кожа. Они бранились, как галахи, и благосклонная улыбка не покидала их, когда слюнявые рты выплевывали непотребные слова: так прочно было в них очарование мечты. Любая беспутница вела себя добродетельнее этих убогих творений, и всякий пьяница протянул бы ноги, если бы вздумал перепить Катерину Ивановну с сестрицей. Но когда

бы чиномачалие в небесах было отдано в руки какого-нибудь земного судьи, он возложил бы на городских этих дур венец серафимов.

Они шествовали прямо на Родьку, забравшегося под перевернутую лодку. Он даже приподнялся от изумления, завидя два пестрых вороха лохмотьев, завершенных соломенными шляпками в лентах. Он видел впервые Катерину Ивановну с сестрицей и долго не мог признать в них женщин.

С блаженными улыбками идиотов они выступали, взявшись под руку, темно-коричневые от солнечного загара, рыхлые, бесформенные в своем многокрасочном отрепье.

И, обогнув их полукольцом, живым, гогочущим амфитеатром медленно двигалась за ними пьяная, оголтелая толпа поречной голи в страшном пламени мутно-грязного охвостья и рвани. Изредка какой-нибудь галах вырывался из амфитеатра, забегал вперед, изысканно расшаркивался перед дурами и говорил что-нибудь, от чего притихшая голытьба вдруг показывалась истошным гоготом, на минуту заглушая пыхтенье пароходов.

Катерина Ивановна отвечала галаху жеманным реверансом, и Лизавета Ивановна делала точно такой же реверанс, и они шествовали дальше, и за ними, как за медведями, волочился амфитеатр голытьбы.

— Катерина Ивановна, — орал на весь берег волосатый оборванец, догоняя дур и заглядывая им в убаженные лица, — дозволейте узнать, почем платили за этот мухобель?

Он дергал Катерину Ивановну за обмызганный подол, еще громогласнее выкрикивал бесстыдные, бессмысленные слова, и толпа взывала от восторга.

Шествие поравнялось с Родькой. Расфранченные дуры стали взбираться на пригорочек, чтобы обогнуть лежавшие на пути грузы. Несколько галахов кинулись за женщинами, хватая и теребя их подола.

Тогда, забравшись наверх, стоя на самом яру, вровень с головою толпы и задом к ней, Катерина Ивановна безобразно оголилась. Лизавета Ивановна, как тень, преспокойно повторила движение сестры, и

так они простояли некоторое время, под громовой упоенный гогот толпы.

Вдруг на пригорок взбежал волосатый оборванец, игравший роль вожака, и с разбега пихнул ногой Катерину Ивановну. Она взвизгнула и поползла вниз, стараясь подняться. Но галах кинул на нее Лизавету Ивановну, и обе старухи — неуклюжие, отвратительные — завозились на земле в куче тряпья, беспомощно скатываясь по склону пригорка, а волосатый подталкивал их огромной своей ногою в опорке.

И вот тут Родька выскочил из-под лодки, юркнул сквозь ораву галахов на пригорок и в страшной злобе толкнул обеими руками оборванца. Тот качнулся, почти упал, но успел схватить Родькину руку и потянул его за собою вниз. Толпа окружила их. Родька отбивался, как пойманный хорек. Галах закрутил ему руки за спину и, приподняв одно свое колено, положил поперек него Родьку.

— Давай ремень! — крикнул он, оборачиваясь к толпе.

Тогда Родька запустил зубы в голую коленку галаха и что было мочи сжал челюсти. Оборванец взревел и, ударив Родьку кулаком по затылку, швырнул мальчугана наземь.

И он сидел на земле, окруженный пьяной ратью голи, выплевывая густую, клейкую кровь в отвращении и страхе, точно ему попала в рот какая-то падаль.

Катерина Ивановна, оправившись и распушив на себе помятое тряпье, кокетливо поднесла к Родькиному лицу грязный лоскуточек, предлагая вытереть окровавленный его рот. Но Родька отмахнулся от нее и начал ожесточенно плевать кровью в гоготающих вокруг него босяков...

Бить, бить все это подлое человеческое отребье, расстреливать его не щадя, как расстреливал Родион оголтелую толпу громил на Смурском переулке!

Разве забудешь боль, испытанную в мерзкой схватке с волосатым вожаком галахов? И разве не те же галахи, облаченные в чуйки, сапоги и шапки, помолясь у Петра и Павла, рыскали по городу

с гвоздырями и потом мчались по Смурскому переулку, унося свои животы от револьверной пули?

Смурский переулок?..

Мысли Родиона опять принимают обычную свою оболочку, и опять Никита встает перед ним.

Вот он окликнул его по имени, высунувшись из форточки на улицу и глядя пугливыми, беспокойными глазами:

— Там есть один низенький, — торопится он, — мучник, вот бы его хорошенько!

Тогда, слушая его, Родион удивленно подумал: чего это он раздражается? Пошел бы сам, да и вздул своего мучника. Сидит дома, прячется, а туда же — лезет!..

И теперь, в холодной темноте ночи, еще непонятнее стало поведение Никиты, и весь его облик еще больше удивил Родиона и стал неприязненно чужд.

Родион вспомнил о Никите еще один раз — это случилось после встречи у фортки, совсем недавно, — когда катился по обрыву на дно барака, спасаясь от казачьих берданок.

...Толпа собралась на окраине города. Большая, скучная площадь, обнесенная с двух сторон деревянными домишками, была засеяна рябыми горстками людей, как давнее порубище — кустами. И как в ветреный день кусты — раскачивались и трепетали люди, перебегая от одной горстки к другой. Все было живо, рябко и бестолково-радостно, когда вдоль домишек протянулась тонкая цепочка всадников. Они спешили, низенькие лошади их легли на дорогу и укрыли растолстевшими круглыми туловищами своих хозяев, так что из-за седел видны стали только малиновые — уральские — околыши фуражек. Горстки людей на площади скучились в плотную недвижную толпу, и по этой толпе, в самую гущу ее, в рябое месиво людей малиновые околыши, прятавшиеся за туловищами лошадок, дали огонь.

Так от внезапного удара грома шарахается овечье стадо, как ринулась прочь толпа.

Родион, пригнувшись к земле, побежал в сторону оврага и бросился с откоса вниз. Он летел, кувыр-

каясь, наскакивая на кучи мусора: барак служил городской свалкой. И так как следом за Родионом сыпались комья навоза, грязи и сор, а рядом с ним летели вниз такие же, как он, люди, — ему припомнился родной деревенский обрыв с дубовой рощей и голубыми скатами гальки. Припомнилось, как он катался по этим голубым дорогам с товарищами, как вслед за ними неслись оторванные живым падением их тел камни и как смешно вскрикивал от радости Никита — чудной городской барчук, приехавший на деревню, чтобы часами стоять в избе и скрипачить.

Мгновение длилось тогда это воспоминание, и один миг продолжался полет Родиона на дно барака. Он очутился у бледно-мутного небыстрого ручейка, распространявшего зловоние по всему бараку. Он приподнялся, и в то же время над головою его — на земле — рухнул новый залп берданок. Он нащупал в кармане револьвер, с которым не расставался с тех пор, как получил его от приятеля-матроса: револьвер был цел. Невысокий человек в каракулевой шапке, сочень дряблой кожей впалых щек, скатившийся в овраг вместе с ним, взял его за руку и произнес настойчиво, как будто поняв его жест:

— Оставь. Пойдем.

Они двинулись по оврагу, в ту сторону, куда катился зловонный ручей (это была сточная банная вода, но изумительно чисто и звонко звенел ручеек!), и долго, беспокойно шли в веренице других людей, бежавших с площади оврагом.

В тот день — да, именно в тот день, когда Родиону пришел на память Никита, — он впервые получил от человека в каракуле явку на тайное собрание, и с того дня все началось.

Никиту он больше не вспоминал. Нет. Не вспоминал до нынешнего вечера, когда понадобилось узнать точное время, чтобы не прийти раньше срока к лавочнику.

И не в лавочнике, конечно, было дело, не в часовщике, ни в ком другом. Никита, Никита стоял поперек дороги Родиона!

Неловкий, долговязый подросток со своей скрипкой все больше и больше вызывал в нем тоскливую неприязнь. За любопытством, которое Никита к нему проявил, за всем разговором о дружбе, детстве, о боевой дружине Родиону слышался вялый холодок, что-то настолько чужое и бездушное, что хотелось завывать от обиды. Где, где еще пережил он такую обиду?!

Истекшим летом встретил он одно существо, взволновавшее его необъяснимою болью.

Он подходил на пароходе к городской пристани в душный солнечный день. Как всегда, он стоял на носу, разделив смотанную кольцами легость между обеими руками, то отбавляя, то прибавляя в правую горсть одно-два лишних кольца, чтобы удобней и легче было кинуть конец на пристань.

Он слышал, как помощник дал команду в телефон: стоп! Было очень тихо, противная вода шибко умеряла движение, дувший на полном ходу ветер исчез, и серая тучка мошкеры закачалась перед лицом Родиона. Не выпуская из рук легости, он стал отмахиваться от мошек, но они налезали на него густыми табунками со всех сторон, залепляя глаза. Он начал мотать головой, как лошадь, которую проняли слепни, и тогда расслышал над собою негромкий, веселый смех.

Он поднял голову. На верхней палубе, облокотившись на балясину перил, стояла молоденькая девушка в белом, как капитанский китель, платье. Она глядела вниз, на Родиона. То, что он услышал ее и поднял голову, как будто больше развеселило девушку, и она засмеялась погромче. Смех был очень хорош — мягкий, неожиданно глубокий для такой девочки, почти женский. Родион успел приметить яркую темную краску глаз и бровей и сверкнувшую на солнце точеную полоску зубов. Потом на него опять обрушилась туча мошкеры, и он проворно шагнул в сторону: надо было давать чалку.

Все это длилось меньше минуты.

Родион привычно раскачал правую руку и бросил конец. Да, он бросил его, но было уже поздно.

Потому что в тот момент, когда, выпуская легость, он разжал пальцы, сверху озорно упал на него насмешливый грудной голос:

— А вот и не докинуть!

И уже по тому, как распускались в воздухе кольца бечевы, летевшей к пристани, Родион понял, что у него дрогнула рука. Легость, не долетев, ударилась концом о деревянный борт пристани и плюхнулась в воду.

На палубе перекатывался дразнящий веселый хохот.

Родион быстро взял запасную легость и с злобой пустил ее на пристань, так что конец перелетел через крышу конторки и загромыхал по железу.

Потом он закрепил другой конец на чалке, скинул ее за борт и стал выбирать из воды недокинутую легость. Он больше не глядел на палубу.

Но едва пассажиры схлынули с пристани, его позвали к сходям. Там он увидел поджарого бородастого человека в летнем картузике, с каким-то постным, словно с иконы, лицом. Поодаль почтительно стоял пристанный агент, и вокруг увивались боцмана. Иконописный человек молчаливо смотрел в сторону.

— Бери, неси! — командовали боцмана, раздавая матросам чемоданы, корзинки, узлы.

Багажа было много, и добрая полдюжина матросов понесла его на берег.

Возвращаясь, Родион встретил девушку, которая смеялась над ним с палубы. Она шла рядом с бородатой иконой. Родион отвел глаза.

Но на пристани он остановился и вместе с другими матросами стал смотреть, как отъезжали извозчики, нагруженные багажом. На последнюю пролетку села икона и рядом с ней — девушка.

Когда извозчик тронул, девушка обернулась, быстро нашла глазами среди матросов Родиона, весело поклонилась ему, и он опять заметил, как сверкнули ее зубы, и — заодно с матросами — пустил ей вдогонку два-три напутственных словца.

Он узнал потом от боцманов, что бородатый человек с иконы был уральский купец Михайло

Шерстобитов, и упомянул эту фамилию, потому что она показалась ему забавной.

И он не мог позабыть, как высмеяла его девушка, ни ее мягкого, глубокого, почти женского голоса, ни ее точеной полосы зубов. И он думал, что волнующая, беспокойная боль, какую оставила она в нем, — не что иное, как жестокая обида. Как смела чужая эта девчонка потешаться над ним, в то время как ему не позволено было даже смотреть на господ пассажиров первого класса? Как смела?..

...Родион вздрогнул и скинул с себя давящую тупую полудремоту.

Вокруг него что-то произошло. Темнота разжижалась серым рассветом. Рассвет стекал на пол с маленького оконца, которое было больше в ширину, чем в высоту, как будто раму перевернули и положили набок. Родион, не вставая, долго смотрел на свет: тонкие звенья решетки снаружи окна были видны уже с большой отчетливостью.

Человек, лежавший против Родиона, завозился, скинул с себя кучку одежды и встал. Выпрямившись и расправив руки, он занял страшно много места — так нескладно громоздок и высок он был.

Несколько минут подряд он молча всматривался в Родиона. Потом шагнул к нему и проговорил убежденно:

— Малец, я тебя знаю.

Он усмехнулся и покачал головой.

— Что же молчишь? Я тебя знаю прочно, по рабочей дружине.

Родион привскочил.

Тот самый Петр, слесарь Петр, о котором давеча спрашивал Никита! (И — опять, опять лезет в голову Никита!) Слесарь Петр стоял перед ним.

— Ты будто не спал? — спросил Петр. — Признаешь? Помнишь?

— Послушай, — прошептал Родион, — послушай, ты! Значит — все кончилось?!

Он схватился обеими руками за тяжелый, острый локоть Петра и глядел на него не мигая.

Это были первые слова Родиона, которые он говорил с тех пор, как с пеклеванным хлебом вышел из лавчонки.

— Кончилось? — переспросил Петр и ухмыльнулся. — Эка ты, малец! Для тебя только что начинается.

Он помолчал, присел на койку и, усадив рядом с собой Родиона, сказал с уверенностью:

— Пошел теперь гулять по острогам.

Глава третья

Варя, Варенька, Варварушка, — с засученными по локотки рукавчиками, — Варюшенька, Варечка — в шелковом платьице, в лисьей душегрейке!

Только бы и любоваться тобою приказничьей родне, угождать твоему нраву шерстобитовским прижигалочкам, смотреть не насмотреться на тебя купеческой дворне! А уж мамаша-то не нарадуется, что ни слово, то — золотко, что ни вздох, то — любушка, красота, свет души Варварушка, Варя, Варенька, Варюшечка!..

Осенью, на воздвижение, накупают Шерстобитовы зимних припасов-запасов, и задолго до праздника Шерстобитиха уговаривает всяких тетюшек-бабушек:

— Так не запамятуй, милая, на капусту прийти на здвижение. Да с тяпкой, не позабуди тяпку-то, тяпок-то не хватит. Да ты не запамятуй!

Где тут запамятовать! Не успела отойти ранняя обедня, как к Шерстобитовым тянутся бабы полчища: всякие Настеньки да Сашеньки, Ивановны, Селиверстовны, кособокие, кривые, с горбами да грыжами, в темных кацавейках, юбки — в крапинку, платки — в каемочку, что ни божье лицо — то рыло, одна другой краше, как на подбор.

Шерстобитовские ворота настежь. День не торговый — один базар шумит на площади, — но в ворота вкатываются воз за возом, полные, умятые, набитые добром.

И все вокруг набивается, ломится, трещит и поскрипывает — кадки, кадушки, жбаны, корыта, погребя, чуланчики. И весь двор кишит пестрядью, расцвеченный, размалеванный — красный, лиловый, зеленый: теснятся, цепляются колесами друг за друга возики, воза, возища с морковью, свеклой, петрушкой, и — как сапоги по снегу — хрустят в руках кочаны капусты.

Здвиженье, плодоносное солнышко, останний денек бабьего лета, терпкий капустный праздник!

Эк ведь ловко летят кочаны из телег в бабьи фартуки, ишь растут, наворачиваются у корыт листовные зеленые вороха, скрипят, похрюстывают бойкие тяпки по обчищенным белым вилочкам и, словно у хороших дровоколов — поленья, сыплются наземь гладенькие кочерыжки.

Распутались, опростались воза, покончили с морковью и свеклою, разложили все по кучам, по бунтам, по щепоткам, замкнули ворота на все болты, засовы, щеколдочки и начали, благословясь, капустное действо.

Сашеньки и Селиверстовны выстроились рядами вдоль корыт, засучили рукава, подвязавшись передниками. И пошли скрипеть тяпки по ядреному капустному листу, пошли барабанить в деревянные днища корыт, понеслась, побежала бегунами тяпочная дробь в натертое синькой небо.

Сладок дух вишневого листа, крепко горькое дыханье дуба, свербит в носу от молодого чеснока, туман и пряность в голове от укропа. Весь двор купается в огородной, садовой, лесной сентябрьской истоме: прячут на зиму в кадушки осенние ароматы.

А про капусту, про сахарный вилок, про зеленый кочан сколько натрещат бабьи языки всякой всячины!

«Стоит поп низок, на нем сто ризок».

«Латка на латке, а ниткой не сшит».

«Сидит баба на грядке, вся в заплатках».

...Варя, Варенька, Варварушка, с засученными по локотки рукавчиками, у корыта с капустой, — на плечах душегрейка, за спиной коса, в руке тяпка! И рука

белая, как очищенный вилок, и, кажется, возьми ее — как вилок, крепко хрустнет на ладони гладкая, ровная кожа. Платье на Вареньке осеннее — желтое, точно кленовый лист, и душегрейка-безрукавочка тоже как осень — красной кожи на золотелисьего меха.

Смеется Варенька, любо ей рубить душистые вилки в стоведерном корыте, хорошо слышать, как рассыпается и бежит в небо тяпочная веселая дробь, сладко покусывать крепкие, как сахар, кочерыжки, сушая потеха глядеть на старух да теток.

Что ни баба у Шерстобитовых, что ни приживалка — то сваха: косятся кривоглазые, слепые на купеческую дочку, — вот красота, вот писаная, вот удачливой свахе по гроб жизни обеспечение!

Но потешается Варенька над свахиными стараньями, высмеивает бабок и теток, отваживает от дому женихов.

В кого уродилась шерстобитовская дочка — не разобрать толком. Не то чтобы она была капризна или нехороша характером, самовластна или кичлива, нет. Только с давних пор появилась в ней маленькая, впрочем чувствительная для всего дома черточка: вот вы живете по-своему, — как будто говорила Варенька, — на свой образец, по стариночке, и я ничего против вашей жизни не имею, даже сама иной раз поеду с папашей на Деркул, в мужской монастырь, или посижу за кассой в лавке, но только, пожалуйста, дайте и мне пожить, как моей душе захочется.

И тут можно было изойти на глазах у Вареньки кровью, уговаривая, что-де не пристало ей, в девичьи годы, ходить на балы да гулять с кавалерами, не видано, мол, стоять у обедни в шляпке или кататься по улицам с казачьими офицерами.

Только рассмеется Варенька да скажет:

— Не надо было меня в гимназию отдавать, тогда я, может, носила бы вязаный повойничек, как мамаша, да сидела бы с утра до ночи с тетками на лежанке!

Скажет это без злости и не заносчиво, а рассмеется — ну, что говорить! — потом целый день на памяти ее рот, так бы и глядеть в него, не сводя глаз.

Или соберет Варенька на лбу морщинку, помолчит, подумает о чем-то, потом протянет глубоким, сочным голосом:

— Ведь ску-учно!

И так у нее это «ску-учно» получается, что только махнуть рукой: какое уж веселье, в самом деле...

Вот вышел на двор Михаил Гаврилович Шерстобитов, и сразу кругом приуныло, даже тятки потихли, и закусил языки Сашеньки и Селиверстовны.

Михаил Гаврилович — человек не суровый, безобидный и тихий, слова никому не скажет, лишний раз не взглянет и не двинется. Целый день молчит, в лавке торгует и то — молча, редко-редко выговорит тоненьким фальцетиком что-нибудь незначашее и тут же кашляет неожиданно густым басом, словно замкнет на засов проявившее себя горло. Никогда нельзя было сказать по нему — недоволен ли он чем-нибудь, или удивлен, приятно ли ему, или, может быть, он сердится. Он не одобрял никого, но и не хулил, не миловал, но и не наказывал. Он только ходил по двору, заглядывал в палатки — вместительные каменные лабазы, набитые товаром, — на конюшни, погребицы, залезал в подвалы и хлева, появлялся на кухне в разгар какой-нибудь праздничной стряпни.

И — удивительно — Михаила Гавриловича не то что боялись, а точно бы теряли при нем самообладание. Приказчики у него были отменные воры, и он не мог не знать этого, но ни разу не случилось, чтобы рассчитал какого-нибудь жулика. Заметит воровство, уличит пойманного, постоит против него молча, кашляет иногда — и делу конец. На молодых воров это действовало удручающе — нередко каялись и после воровали осторожней. Старые же, накопив под конец службы копеечку, благодарили Михаила Гавриловича за доброту и науку и открывали себе собственные лавочки.

В молчании и безразличии Михаила Гавриловича к человеческим поступкам, казалось, скрыт был неприятный, беспокоящий укор, и редко кто мог быть поблизости от Шерстобитова, не испортив своего самочувствия. Подобное испытывают суеверные люди

при виде некоторых очень старых и часто уродливых икон, преследующих воображение своим холодным беспокойством. Как должны быть вынесены вон из комнаты такие иконы, чтобы человек мог свободно дышать, так надо было ждать ухода Михаила Гавриловича, чтобы заново почувствовать себя вполне хорошо.

Из близких ему людей — родни, помощников, приказчиков, всяких няnek и бабок — только двоих как будто не стеснял он своим присутствием — дочери и жены — добрейшей, сердечной Евдокии Петровны. Впрочем, про одну дочку можно сказать это наверное. Евдокии Петровне же, вероятно, приходилось не раз смутиться сердцем, встречая холодящее молчание мужа там, где самый нелюдимый человек выльет душу...

Михаил Гаврилович прошел через весь двор узеньким, скупым шагом, осмотрел наваленные повсюду вороха овощей, покосился на корыто с капустой.

— Ну-ка, поруби, папаша! — громко крикнула ему Варенька, протягивая облепленную капустной крошкой тяпку.

Он глянул на дочь маленькими слезливыми глазами, что-то шевельнулось в его постном лице, но тотчас он отошел подальше, к открытым настежь дверям погребицы. В раздумье, почти в замешательстве, он взял на ладонь дубовый листочек и потер его в пальцах. (Дубовый лист кладут в огуречный рассол, чтобы огурец был крепче, вишневый — чтобы был душистее.)

Велико же было смущенье Михаила Гавриловича, если он, ни к кому не обращаясь, неожиданно произнес фальцетиком:

— Суховат!

Он выпустил из рук листочек, внушительно кашлянул и торопливо, как будто совсем смутившись, ушел на конюшню.

Ах, уж эта Варенька! Всегда вот так скажет что-нибудь неловкое!

Через минуту Михаилу Гавриловичу закладывали в тележку толстокрупного мерина, и подручные волокли из палаток ящики, мешки, кулечки с курагой,

сахаром, сабзой и изюмом: Шерстобитов отправлялся на Чаган, на Деркул, благодетельствовать святым обителям...

А еще через минуту появляется на дворе Евдокия Петровна — круглолицая, круглобокая, круглогрудая, отыскивает синими теплыми глазами ненаглядную свою дочку, катится к ней неслышным мягким катышкòм.

— Варюша, поди-ка, милая, съешь чего-нибудь, я там тебе приготовила.

— Ничего, мамаша, не хочу, спасибо.

— Как это ничего не хочешь? А ты ступай, золотая, съешь балычку, балычок янтарем горит, свеженький.

— Ни капельки не хочу, мамочка! По горло сыта кочерыжками, — говорит Варенька, пустив гулять по корыту тяпку так, что капуста летит во все стороны веером.

— Ну, икорочки солененькой, Варюшечка!

— Не хочу!

— Да постой ты тяпкать-то, несговорчивая! Ну поди попробуй каймачку, — сейчас принесли со льда, из погреба.

— Не хочу, не хочу, не хочу! — нараспев кричит Варенька, пристукивая изо всех сил тяпкою и жмурясь от града капустной крошки.

Тогда глаза Евдокии Петровны меркнут, вся она поникает, становится еще меньше, круглей и жалобно убивается:

— Господи помилуй, да как же так, Варюшенька, с самого раннего утрышка ничего, кроме кочерыжек, во рту не было, а теперь поди который час...

Варенька бросает тяпку, отряхивается, сильно хлопая в ладоши, и, постукивая башмаками, обнимает мать и сквозь смех поет ей на ухо, в повойничек:

— Ну, хорошо, хорошо, маменька! Пойдет твоя дочка Варенька, поест балычку янтарного, икорки солененькой, каймачку холодненького, утешит твою милую душеньку!

Она целует мать, громко чмокнув губами, смех ее бойкими коленцами бежит вверх, вдгонку за тяпоч-

ной дробью, и вот мелькнула ее красная душегрейка, вот загорелась желтком на солнце юбка, и пропал смех, исчезла со двора Варварушка, нету Вареньки, Варюшечки...

Надолго ли хватит такого развлечения — грызть холодные сладкие кочерыжки, махать рукой над корытом, слушать бабью трескотню да сказки про богатых женихов?

Куда денешься от скуки в этом городе?

Ну, выйдешь за ворота — поглядеть на толчею базара. Меж возов стоят стриженные, не успевшие обрасти верблюды, высокомерно задрав пепельные головы и лениво пережевывая жвачку. Они с презрением озирают кучащихся вокруг киргизов, изредка сочувственно откликаются на скрипучие, жалостливые вопли верблюжат, и, когда раздается их отклик, кажется, что какая-то огромная разохшаяся телега вдруг сдвинулась с места, на котором она стояла испокон веков. Казаки в парусиновых шароварах, похожих на юбки, не спеша прицениваются к бунтам верблюжьей шерсти, потом с достоинством развязывают гашники, спускают шаровары и достают из нижних штанов кисеты с деньгами. Вдалеке закручивается ветерком прозрачная воронка пыли, шире и шире охватывает своим раструбом базар, выше и выше ввинчивается в небо, густеет, уплотняется и вдруг темным смерчем, со свистом и гулом, проносится над головами. Тогда люди, лошади, верблюды закрывают глаза и ждут, пока схлынет, исчезнет пыльный смерч.

И опять, раскрыв глаза, стяхнув со щек колющие белые пылинки, Варенька видит все тех же киргизов, выглядывающих из своих стеганых халатов, как из тюфяков, все тех же казаков, которые затягивают или распускают гашники, и по-прежнему презрительно глядят сверху вниз пепельные головы верблюдов, и только все кругом стало чуть-чуть побелее от известковой пыли.

Но неожиданно лицо Вареньки вспыхивает, резкие краски его делаются так яркие, что прохожий казак, опешив, разевает рот и бормочет, почесываясь:

— Пострели ты зар-разой, как румяна...

Варенька, перехватив дыхание, глядит вдоль приземистого порядка лавок. Торгует только привоз, народ толпится посередине площади, лавки на запоре, и в смуглой их тени быстро и ровно ступает человек, опустив голову, держа за спиною руки. Оторвав от земли взгляд, он видит Вареньку, поступь его как будто сбивается, но тотчас он берется за шляпу. Тогда Варенька идет к нему и громко говорит, протягивая издалека руку:

— Здравствуйте... Никита... Карев!

Она разделяет слова, придавая каждому из них какую-то особенную значительность, и улыбка ее так хорошо летит навстречу Никите, что он тоже вспыхивает и почти обрадованно пожимает узкую цепкую руку Вареньки.

— Здравствуйте, Варвара... Михайловна.

Он спотыкается на отчестве, и, может быть, потому, что хочет загладить свою неловкость, еще больше краснеет.

Его смущенье веселит Вареньку, она не перестает улыбаться и с любопытством разглядывает Карева — его короткий, немного чудной серый пиджак, шляпу и рубашку с мягким батистовым отложным воротничком.

— Поймала я вас, — говорит она с насмешечкой.

— Поймали? — удивляется Никита.

— Конечно, поймала! Если бы не вышла на улицу, так вы и уехали бы, не повидавшись. Почему не зашли? Ведь обещали, помните?

— Хорошо помню и непременно зашел бы.

— Не верю я вам, Никита, — вдруг тихо говорит Варенька, и точно от взгляда ее улыбка Карева кривится, и он неуверенно отвечает:

— Правда, собирался все время. Но я говорил вам — нужно много работать.

— Вам всегда нужно работать. Куда теперь вас понесет?

— За границу.

— За границу?.. Надолго?.. А Москва, а Петербург?

— Мне там больше нечего делать.

— Переросли? — с лукавством спрашивает Варенька.

— Нет, — снова улыбается Никита, — но сейчас мне нужно другое.

— Гармония и контрапункт? — язвительно говорит Варенька.

— Нет, нет, гармония... — серьезно начинает Карев, но Варенька берет его за руку и настойчиво, почти торжественно произносит:

— Запомните, Никита: с вашей глупой гармонией вы прозеваете все на свете!

Он искоса взглядывает на Вареньку и секунду молчит, как будто мысленно проверяет свое впечатление от ее повелительных и пугающих слов.

Тряхнув головой, Варенька говорит:

— Что, небось испугались?! Ух, как я ненавижу вашу скрипку! — сердито вскрикивает она, топнув ногой. — Я разбила бы ее в мелкие кусочки!

— Да я давным-давно забросил скрипку! — улыбается Никита.

— Ну, все равно! Я разбила бы вашу гармонию, и ваш контрапункт, и — что еще там?

— И фугу, и инструментовку, — вторит ей Никита.

— Какие дурацкие слова — фуга, — невнятно и все еще сердито говорит Варенька.

Внезапно она спрашивает строго:

— А зачем вы бросили скрипку?

Но тут же, не дождавшись ответа, она рассыпается грудным, веселым смехом и припевает с тем озорством, с каким школьники дразнят друг друга:

— Я знаю о скрипке одну историю... такую историю, такую...

И, опять не дожидаясь, что скажет Никита, перебивая самое себя, она спохватывается:

— Что же мы стоим здесь? Пойдемте к нам, а то так и не соберетесь. У нас сегодня капуста, слышите — тяпки?..

Она берет Никиту за руку и распахивает калитку.

Сашеньки, Настеньки и Селиверстовны угомонились, присмирели и косят подслеповатыми глазенками

на хозяйскую дочку. Слыханное ли дело? Привела с улицы кавалера, обежала с ним двор, ушипнула кусочек моркови и — юрк с глаз долой, только их и види! Да хоть бы зашла с гостем в дом, а то спряталась в палатке, поди-ка, разгляди в темноте, что там делается!

В самом деле, Варенька затащила Никиту в палатку.

— Посидим, — сказала она, переворачивая вверх дном пустой ящик, — здесь хорошо.

Никита осмотрелся. Громадный заком, почти до потолка, отделял больше половины амбара. Внизу широкие выгребы стояли полные подсолнечного семени. По углам палатки валялись разбитые ящики и, как штабеля досок, были ровно сложены пустые мешки. Тусклый свет сочился из двери, воздух был прохладен и тяжел от густого запаха масла.

— Правда, приятно дышать? — спросила Варенька. Ей, кажется, нравилось, что гостю было здесь все новое.

— Что вы начали о скрипке? — спросил Никита. — Какую историю вы знаете?

— А-а, зацепило? — с удовольствием протянула Варенька. — Я знаю, как вы бросили скрипку.

— Как я бросил ее?

— Нет, лучше — когда вы ее бросили, при каких обстоятельствах...

— Это произошло не сразу. Я до сих пор иногда берусь за скрипку.

— Да нет же! Я знаю, когда началась ваша война со скрипкой.

— Я с детства не любил ее.

— Ну, перестаньте притворяться! Ведь вы отлично понимаете...

Она оборвала себя и, помолчав, сказала тихо:

— Мне рассказывала ваша сестра, и я в точности знаю, как все было... Помните, летом?

Варенька взглянула на Никиту настороженно, точно ожидая от него чего-то решающего. Но он отвернулся. Тогда, испугавшись, что ему скучно, она заговорила поспешно:

— Вам нравится здесь? Там доверху семечки (она кивнула на закром). Один раз туда упал мальчишка. Забрался на переборку, на самый верх, и полетел. А у нас как раз семена ссыпали. Туда вагона два уходит. Ну, пока мальчишка лежал на боку — ничего, а поднялся на ноги, ступил — начал тонуть. Хорошо, что...

Никита не слушал Вареньку. Что могла рассказать ей сестра? Какие-нибудь пустяки! Но лето, о котором напомнила Варенька, и те часы — сколько раз в жизни нечаянно возникали они перед Никитой, то стремительно проносясь, то проплывая тоскливыми нескончаемыми снами?

Это было после первых больших его надежд, когда он в радостном упорстве ломал, растягивал и гнул свои пальцы, счастливый тем, что мог одолеть такие трудности, о которых прежде не мечтал. Он был уверен в себе, пьян от мысли, что прикоснулся к настоящему труду, весел от чувства музыки, носившейся повсюду, — по луке, над стоячим, мертвым Чаганом, в его груди — в груди Никиты Карева, молодого и сильного человека. Этим летом бестолковый, смешной рост в вышину приостановился, мышцы налились, как зреющее яблоко, и плечи, спина, ноги стали крепче. Кровь пела в нем вместе с лукою, Чаганом, вместе с яблонями, которые раскалывались от тяжести плодов. Он быстро, опьяненно мужал, и тревожная нежность наполняла его тело.

Как-то раз Никита возвращался с котлубаней в сад. Перейдя через Чаган, он зашел в придорожную лавчонку, одиноко торчавшую у моста. Здесь он любил отдохнуть после бродяжничанья по горячей степи. Лавочник-казак вытаскивал из ледничка под полом бутылку фруктовой воды, и Никита медленно глотал холодноватую, колющую иглами газа влагу.

Едва он подошел к будке, из отворенной двери, прыгнув с крыльца, выбежала девушка. Она тут же увидела Никиту, остановилась и осмотрела его с ног до головы,

— Вы где пропадали? — неожиданно спросила она, сжав брови и начальнически вглядываясь в глаза Никиты.

Он так растерялся, что неловко, будто провинившись, забормотал:

— Я ходил на котлубани... ловить рыбу...

— Ловить рыбу? — строго переспросила она и, вдруг ухмыльнувшись, озорно и с странной укоризной покачала головой.

— А рыба-то — вот она! — сказала девушка, разводя руки и чуть-чуть кланяясь, точно приглашая осмотреть себя получше.

Никита не шевельнулся. Наверно, он был очень смешон с длинными удищами в одной руке, с вдерком и фуражкой — в другой.

Минуту девушка постояла против него, наклонив голову вбок и по-прежнему разведя руки, потом безудержно расхохоталась и, отвернувшись, пошла прочь по желтой пыльной дороге, к садам. Шла она плавно, хотя немного тяжело, по-женски, и плечи ее слегка подергивались от смеха.

Никита смотрел ей вслед, пока не расслышал позади себя тихонького хихиканья. Он обернулся: в дверях будки стоял лавочник.

От этого лавочника Никита тогда же узнал, что девушка была — Варенька, дочь купца Шерстобитова, арендовавшего соседний с Каревым сад, что она не раз уже навещала в будку и выпрашивала о скрипаче Никите.

Он отказался от лимонада, которым его усердно потчевал торговец, и побежал домой.

Он хорошо помнил, что на Вареньке было белое платье, но почему же она чудилась ему яркоцветной? Он должен был бы сгореть от стыда за смешную свою неуклюжесть, но почему же ничего, кроме восхищения, не оставила в нем эта встреча?

Он мчался домой, пересохшим ртом вдыхая накаленный степной воздух, и глубокий голос не переставал дразнить его насмешливой укоризной:

— А рыба-то — вот она!

Ни тени обиды не мог отыскать Никита в озорном смехе Вареньки, и томительная, радующая мука была в ее появлении.

Он схватился за скрипку, стал выбирать пьесы, бросил их, бросил пюпитр и, не зная что́, начал играть.

Должна же была помочь ему музыка. Недаром он поверил в нее, недаром почти целый год бережно носил в себе отголоски ликования, пережитого на мендельсоновском концерте.

Но это был ничтожный, жалкий деревянный ящик — скрипка! Она пищала и повизгивала, как побитый кутенок, она голосила по-сиротски, точно нищий-слепец. А в этот час грузно вздыхала земля, с рекою, садами, степью, и в каждой клеточке, в каждой жилке Никиты, как в грозе, разрывались и гремели песни.

Скрипка! Дощаный органишка! Разве это — *музыка?!*

Никита с размаху швырнул скрипку. Инструмент упал на постель, стукнувшись о стенку. Никита слышал, как шелкнула лопнувшая квинта и в жалобном стоне сухо треснула дека.

В это время кто-то вошел в комнату. Помнится, это была одна из его сестер.

— Что с тобой? — спросила она.

Но он завопил:

— Убирайтесь от меня, убирайтесь! — И сам выбежал вон, на волю...

В тончайших черточках и в одно мгновение вспомнил Никита эту первую свою встречу с Варенькой и вдруг задал себе недоуменный вопрос: что же было тогда и что происходило потом, в редкие встречи, отделенные друг от друга годами?

— О чем вы думаете? — расслышал он недовольный, глухой голос.

— Я слушаю, — сказал он, встряхнувшись, — мальчишка... чуть не потонул... Хорошо...

— Хорошо, что Витька оказался недалеко, услышал, как мальчишка кричал, и вытащил его...

Варенька испытующе заглянула в лицо Никите. Голос ее приглух еще больше:

— О чем вы всегда думаете? Вам что-нибудь мешает?

Никита быстро посмотрел на дверь и вздрогнул.

— Там кто-то подглядывает, — сухо сказал он.

— Легок на помине. Кому же больше: Витька!

Варенька встала, подошла к двери и крикнула во двор:

— Ну, пошел прочь, пошел! Вот дурак! — обернулась она к Никите.

— Он очень неприятен.

— Витька?

— Да.

— Послушайте, Никита.

Варенька подсела к нему совсем близко, и он ощутил прикосновение ее руки.

— Неужели вам не стыдно обращать на Витьку внимание? Он о вас не может слышать, потому что до смерти... ревнует меня к вам. Ну, а вы-то что?

— Я не понимаю, как можете вы держаться с ним запанибрата?

— Вам хорошо говорить, — с обидой сказала Варенька. — А попробуйте пожить здесь безвыездно, и Витька покажется кладом. Над ним хоть посмеяться можно.

— Вы мало знаете его...

Варенька захохотала.

— Вы можете не знать о нем самого плохого, — настойчиво сказал Никита. — Я видел...

— Ну, что вы видели?

— В прошлом году — помните? — мы ездили в сад. Я дожидался вас на дворе у ворот. Двор был забит людьми, возами. Я видел, как пробирался к воротам нагруженный воз. Когда он проезжал мимо кухни, на крыльцо вышел этот ваш Витька, осмотрелся, потом — я не мог разглядеть, — откуда-то у него взялся ящик, большой, вот с этот, и он взвалил его на телегу. Возчик прикрыл ящик парусиной и уехал.

Варенька засмеялась еще веселей:

— Вы что же, думаете, я не знаю, что Витька — вор?!

Никита продолжал с отвращением:

— Мне было противно вот что: он заметил, что я видал все это, с ящиком, и ничуть не растерялся. Посмотрел на меня, наглец, вероятно, решил, что я не скажу, и такая мерзкая ухмылочка заиграла на его роже!

Никита стукнул кулаком по ящику и замолчал. Варенька глядела на него с любопытством.

— Я тогда хотел сказать вам об этом, но было очень гадко.

— Он был прав, — серьезно проговорила Варенька.

— То есть... как?

— Он правильно решил, что вы не скажете. Он людей знает. Прохвосты вообще знают людей. А вам нужно было сказать, назло ему.

Она подумала немного и добавила с уверенностью:

— Конечно, ничего не изменилось бы. С него как с гуся вода. Он всегда вывернется. Да и все знают, что он — вор.

— Ну, а вы-то, вы! — воскликнул Никита, вскакивая с ящика. — Зачем вы не прогоните от себя этого негодяя?!

— Разве вам не все равно? — быстро спросила Варенька, прищуриваясь на Никиту.

Он не ответил.

Тогда она поднялась, положила руки на его грудь и произнесла чуть слышно, сорвавшимся, потускневшим голосом:

— Милый, если бы вы поняли... если бы поняли...

В полутьме палатки лицо ее казалось бледнее обычного (может быть, она действительно побледнела), и остро блестели глаза, крут и темен сделался росчерк бровей. В сырой прохладе, пахнувшей подсолнечным маслом, стало напряженно тихо, так что слышно было, как потрескивали в закроме сохнувшие семена, и дробный стук тяпок доносился со двора, как далекое громохание телеги по мосту.

Никита стоял лицом к свету, и Вареньке легко было видеть его. Что-то смутенное отражалось в его глазах — досада, неприязнь, стыд и восторг, точно он искал решения, как надо было поступить сейчас; готов был поступить как угодно, и лучше всего не поступил бы никак. Он колебался на кромке между желанием и волей.

Тогда, чтобы столкнуть его с этой кромки, Варенька еще больше придвинулась к нему, коснувшись его груди своею и подняв руки до его плеч.

— Если бы... — еще раз шепнула она в лицо Никите.

Но он сделал шаг назад, и она, резко сорвав с его плеч руки, вскрикнула в отчаянии:

— Если бы вы поняли, какая здесь тоска!

И опять, словно испугавшись, что вот сейчас, недовольный ее порывом, Никита непременно уйдет, она улыбнулась и сказала нараспев:

— Тощица без конца, без краешка!

Никита живо протянул ей руки.

— Милый, — с волнением повторила она, сжимая его ладони.

— Что с вами? — участливо спросил он. — Вы всегда так жизнерадостны...

Она оттолкнула его.

— Ах, перестаньте! Ну что особенного? У каждого свое. У вас музыка. Возитесь с ней... и даже поглотили. А у меня... Ведь вы опять на сто лет закатитесь?

— Года на полтора.

Варенька в упор поглядела на него и вдруг, отвернувшись к двери, запахнула душегрейку и скрестила руки.

— Можете вообще никогда не приезжать, не надо. Уходите, — проговорила она тихо.

Никита молчал.

— Уходите, говорю я.

— Станный вы человек, — глухо сказал Никита.

— Я говорю вам — уходите!

— Ну, до свиданья.

— Уходите же! — крикнула она, поворачиваясь так, чтобы не видеть двери.

Он вышел. Она не шелохнулась. Но когда на дворе оборвался и затих стук тяпок (Сашеньки, Селиверстовны разинули, наверно, рты, глядя, как уносит ноги непрошенный кавалер), Варенька бросилась в темный угол палатки и изо всех сил затопала по земляному полу каблучками.

Глава четвертая

С виду город не похож на монастырь. Но десятки, сотни тысяч келий скрыты в его раздутом чреве, и множество жизней преобразается и гаснет в вековечном городском послухе. И как монахи отбивали когда-то огнем и мечом вражеские нашествия, так город льет кипятком, смолою, варом с невидимых своих стен на головы супостатов. Прост и грозен монастырский устав: достигни цели. Так в городе: подчини дух свой началу, в которое веришь; и волю свою — ему же; и сердце твое пусть бьется не чаще и не реже положенного. Вот кладь, что ты должен сдвинуть с места; вот взвоз, на который тебе нужно поднять ее. Вези. Вези, поднимайся, достигай. Если ты упал под тяжестью клади, ты — плевел, нечисть и тебя смоеет по взвозу назад, в реку, и ты захлебнешься в половодье. Если же ты, в отчаянии, поведешь себе подобных на невидимую городскую стену, кипяток, смола, вар — твоя убогая участь. Поднимайся, достигай. Комнатенка в седьмом этаже — твоя келья, исполосованная рельсами и огнями площадь — твой собор, и труд твой — схи́ма. Не отступай, упрямствуй, иди, иди!

...В Дрездене Никита жил в квартире, которую снимали по уговору четверо студентов консерватории. Он входил в их число. Это была фабрика шума, безалаберное, ярмарочное производство звуков, позиционная война музыкальных инструментов с нервами и душами соседних жильцов. В квартире обитали

только два рояля, скрипка и виолончель. Однако соседи были убеждены, что господа студенты дали у себя приют объединенной музыкантской команде всех саксонских полков и вдобавок по меньшей мере оркестру королевской оперы. По справедливости, фабрика отличалась не столько силой звуков, сколько их длительной, безжалостной методичностью. Но капля воды частым падением долбит камень. И стоило на одну минуту нарушить расписание занятий, установленное при участии домовладельца, как с трех сторон раздавался воинственный стук квартирантов в стены и пол. Несчастный, проживавший этажом ниже музыкантов, имел на такой случай особое било, сооруженное из старой швабры, обмотанной на конце суконочкой, чтобы предохранить от повреждения штукатурку потолка.

Соседом Никиты по комнате был скрипач Верт — наполовину немец, наполовину чех. Он должен был хорошо слышать музыку, как германец, и не хуже исполнять ее, как славянин. И он верил своей смешанной крови, как может верить тепло, что оно греет.

Верт был очень сильным, мускулистым человеком, заросшим буйными волосами. Поутру он шумно мылся, разбрызгивая кругом себя воду, и потом аккуратно вытирал полы тряпками и щеткой. Перед тем как взяться за скрипку, он засучивал выше локтя рукава рубахи, обнажал грудь и становился у окна. Окно выходило в небо. Верт глядел в утреннюю его синеву, подставив туловище и руки солнцу. Казалось, что под рубахой у Верта была надета мохнатая пуховая фуфайка, — настолько густо заросло его тело волосами, и солнечный свет, распахнутое в прохладу окно делали его здоровее, мускулистей обычного.

Он подходил к скрипке, точно столяр к верстаку, легко, как перышко, брал ее в руки и начинал трудиться. Он именно трудился, — с оголенными руками, открытой грудью, с глазами, наполненными простодушием, — в священном, сосредоточенном упорстве. К полудню в комнате становилось жарко, пот лился по груди и лицу Верта, и бархатная поду-

щечка, подложенная под скрипку, прилипала к голой ключице.

Верт каждый день добивался какого-нибудь успеха, и ровная младенческая радость хорошо обращалась в нем вместе с чешско-немецкой кровью.

Выполнив намеченную работу, Верт приступал к иному священнодействию: он приводил в порядок свою жизнь. Это заключалось в неторопливом, обстоятельном подборе писем, концертных программ, каких-то счетов и расписочек, почтовых квитанций и пригласительных билетов. Клочки, оборвыши, полоски бумаг тщательно наклеивались, вшивались в альбомы, регистраторы, тетради. Верт составлял каталог своих нот, перечни и алфавиты книг, расписание занятий и прогулок, запись концертов и опер, которые ему приводилось слушать. Обширный дневник монументально венчал собою разграфленную, каталогизованную жизнь, и странно было, что вся эта величественная чепуха не могла помрачить прелестной ясности Вертова духа.

Над скрипачом потешались, он убежденно и добродушно отвечал, по-детски приподымая длинноволосые брови:

— Во всем нужна известная система. Музыка, как математика, — точная наука. Все окружающее музыканта должно звучать в одном ключе.

И он нумеровал, шнуровал, вклеивал в регистраторы свою жизнь, и ключ, в котором она звучала, наверно казался ему прекрасным.

Но однажды Верт вошел к Никите в неурочный час, и по одному взгляду товарища Никита понял, что произошло непоправимое.

— Карев, — сказал Верт, — я прошу вас уделить мне десять минут. Пойдемте в мою комнату.

Он нимало не изменился. По-прежнему здоровая краска просвечивала сквозь синеву его бритых щек, все те же кочковатые мускулы округляли его плечи и грудь, пуховая фуфайка волос виднелась за воротником рубахи. Только из глаз его исчезло простодушие, они померкли, обесцветились, как стекла погашенного фонаря.

— Вы сегодня не играли? — спросил Карев, садясь рядом с Вертом на кушетку и отодвигая к стене пустой скрипичный футляр.

— Нет, не играл, — ответил Верт. — И я не знаю... то есть, видите ли, Карев...

Он сосредоточенно уставился глазами в пустоту и с боязливой осторожностью проговорил:

— Вчера, после урока, Гюбнер предложил мне перейти на альт.

— Что? — вскрикнул Никита.

Гюбнер был профессором по классу скрипки и многолетним учителем Верта.

— Да, да, — подтвердил Верт равнодушно. — Он предложил мне перейти на альт. Он сказал: «Из вас, несомненно, получится хороший скрипач, прекрасный скрипач. Но, милый Верт, сказал он, милый Верт... прекрасных скрипачей немало. И теперь скрипачу так трудно работать, то есть зарабатывать. Получить достойное место невозможно, почти невозможно. А спрос на альтистов громадный, хороших альтистов нет. Из вас, милый Верт, сказал он, должен получиться совершенно замечательный альтист, исключительный, редкий альтист. С вашей одаренностью, сказал он, музыкальностью и с вашими пальцами, — смотрите, какие у вас пальцы, они созданы для альт... Конечно, сказал он, вы можете продолжать работать на скрипке, я ничего не говорю, вы делаете хорошие успехи. Но мой совет — перейти на альт». Он больше ничего не сказал... И это все, что я хотел сообщить вам, Карев.

Верт смущенно улыбнулся.

— Это все, — повторил он. — Я прошу вас, Карев, не говорить пока об этом. Я избрал вас потому, что вы отнесетесь к этой истории серьезно.

— Но ведь ваш Гюбнер сошел с ума! — опять закричал Никита.

Верт молча встал и подошел к столу. Взяв скрипку, он повернул ее в руках, удивленно разглядывая деки, как будто никогда прежде не видал их плавно изогнутых поверхностей.

— Коварный инструмент, — проговорил он.

— Трагический, — в беспокойстве отозвался Никита.

— Коварный и трагический, — повторил Верт и внезапно обернулся к Никите:

— Вы знаете шахматы, Карев?

— Нет.

— Хотите, я научу вас?

Так священнодействие игры на скрипке и регистрации бумажек сменилось молчаливым сиденьем за шахматной доской.

Верт тяжело обдумывал ходы, с опаской брался за фигуры, подолгу держал их в широких расплюснутых пальцах, и тогда Никите казалось, что эти пальцы действительно не годны для скрипичного грифа, и рука Верта, в пушистом покрове волос, как в перчатке, — рука обреченного неудачника. С каждой партией выигрыш давался Верту трудней, рассеянность возрастала в нем с разрушительной силой. Он садился за шахматную доску, чтобы сосредоточиться на одной мысли, но она ускользала от него, и он бесплодно разыскивал ее в хитросплетении фигур. Спустя неделю он впервые сдал партию Кареву.

— Вы делаете успехи, — сказал он, — очень хорошие успехи. Не меньше тех, которые пророчит мне Гюбнер, если я перейду на альт.

Лицо его подернулось немощной улыбкой, точно он просил извинить его, что заговорил о том, о чем лучше было бы молчать.

С ним стали обращаться бережно, он внушал гнетущее, подавляющее беспокойство, его устойчивая житейская система неожиданно рухнула, рассыпалась в пыль и вдруг из придурковатой стала жутко-зловещей.

Теперь Верт умывался не так шумно, скупо тратил воду, синева его бритых щек перешла в черный колющий панцирь, стало видно, что борода растет у него начиная от скул и за ушами сливается с шевелюрой затылка. Он зарастал волосами, как заброшенный деревенский двор — чертополохом и крапивой. И странно нежен сделался его взгляд из-под мохнатых, детски приподнятых бровей, словно он молчаливо благодарил за то, что друзья понимали его.

Наконец ночью, в совершенной тишине, Никиту Карева разбудил сожитель-виолончелист. Он бормотал в волнении:

— Там что-то упало... тяжело упало..

— Где? Что упало? — привскочив, спросил Никита.

— Там, — чуть слышно повторил товарищ, показывая на соседнюю комнату, — не знаю, что...

— Почему же вы не пошли туда?

— Не знаю. Я хотел сказать вам, чтобы вместе с вами...

— Вы думаете... Какое-нибудь несчастье? — прошептал Никита.

— Нет, не знаю. Только... я не могу один... пойдите вместе.

Никита выпрыгнул из постели и, не одеваясь, побежал к комнате Верта.

Они раскрыли дверь. На них пахнуло холодом. Дрожь охватила Никиту, и он спросил:

— Почему такой холод?

Он отчетливо помнил, как в этот миг насмешливая мысль подсказала ему, что он босиком и ему холодно потому, что холоден пол. Он взглянул на товарища, стоявшего позади.

— Не могу понять, — сказал тот, преодолевая такую же, как у Никиты, дрожь, — откуда этот холод...

У Верта горела газовая лампа, но за печью, выступавшей около двери, Никите не видно было всей комнаты.

— Это... давно случилось... упало?

— Я как услышал — пошел к вам.

Никита шагнул вперед. В комнате был беспорядок: на полу валялись раскрытый чемодан и портплед, из ящиков стола выглядывали и свешивались листы бумаги и тетрадки. Дверь веранды стояла приотворенной, и там было темно, как за окнами.

Никита кинулся туда.

В этот момент он явственно различил, как существо его раскололось надвое. Одна часть (та, что стояла где-то позади, у спины и затылка) сразу поняла и ощутила происшедшее. Другая вся собралась впереди, в том, что составляет лицо человека, и за-

трепетала в животном отчаянном неверии. Голова, грудь, руки Никиты, все его лицевое существо рвалось вперед, чтобы как можно скорее убедиться, что ничего не произошло, что ничего не могло произойти, что жизнь осталась жизнью, что страха нет, — иначе к чему бы это беспокойство рук, биение жилок на висках, заглодавшее дыхание? Лицевое существо рвалось увериться в жизни. А то, что стояло позади и где-то в спине, в затылке жестко стерегло сознание, разум, волю, все те дольки души, из которых складывается мужество, эта часть существа с неприятной решимостью, похожей на злорадство, признала: да, вероятно — кончено, но кончено не для тебя, а для другого, ты жив и должен заботиться о себе, по-прежнему о себе. Эта холодная, мужественная часть существа успела напомнить Никите, что, когда он с тремя своими товарищами снимал квартиру и осматривал веранду, Верт увидал на потолке крючок для лампы и глупо пошутил:

— Масса удобств: есть и крючок, чтобы удавиться.

Два этих голоса расколовшейся сущности расслышал Никита в кратчайший момент, пока, пробегая по комнате, пять-шесть раз переставил ноги.

Верт лежал на полу, вдоль стены, головою к двери. Он вытянулся, точно солдат в строю. Нельзя было понять, как это произошло с ним.

Тогда все, что составляло лицевую, животную сущность Никиты, отпрянуло назад: «Не может быть, не может быть», — kloкотало в нем с возмущением. «Не может быть? → быстро спрашивало то, что стояло позади. — Почему же ты шарахнулся, будто лошадь, которую привели убрать с дороги падаль? Лучше признавай, что это так, и береги, смотри, береги себя!» Но в нем все содрогалось от негодующего «не может быть!».

— Возьмем, — сказал он товарищу, заставляя себя нагнуться к Верту.

Он просунул ладони под его голову, охватил шею и поднял. Виолончелист взял Верта за ноги, в коленях.

И первое, что мелькнуло в сознании Никиты, едва он, спиною вперед, начал протискиваться в дверь:

тело Верта было чрезмерно тяжело. И сейчас же, одно за другим: как стеклянно холодна его шея! Как прямы опустившиеся руки!

И — в негодующем отчаянии: обман! ложь! омерзительное притворство! Этот несчастный притворяется!

И вот Верт не положен, а брошен, кинут на пол, подле кровати: Никита со злобой рознял свои руки, и затылок Верта глухо стукнулся о гладкую половицу. И когда Никита распрямился и легкая струйка воздуха взлетела за его лицом с пола, он поймал в этой струйке чуть уловимый тонко-пряный запах тлена.

Тогда исчезла раздвоенность его существа, и молниеносно быстро всего Никиту — от ступней до кончиков волос — поразила страх.

Верт сдержанно усмехался, поджав сузившиеся лиловые губы, чуть-чуть показывая розовый язычок, по-детски подняв волосатые брови, и желтым хвостом торчал под его подбородком оборвавшийся ремень.

Никита опустил руку, чтобы растянуть петлю ремня (это был ремень от портплекса, и петля сидела как на портплексе, только поуже: конец ремня был вдет в пряжку), но едва ощутил стеклянный холод Вертова подбородка, отдернул руку.

— Трогать нельзя, — деревянным тоном сказал виолончелист, — нужно сохранить картину для следствия.

— Картина, картина! — вскрикнул Никита.

Голос подбодрил его, ему тут же захотелось крикнуть еще что-нибудь, но Верт лежал так неподвижно, так серьезна была его неподвижность, что голос Никиты пропал в глубине горла, и он опять содрогнулся от омерзительной мысли: неужели Верт притворился?

— Доктора, — вдруг решил кто-то за Никиту, и он схватился за это слово, почувствовав, как вместе с ним освобождающе пронеслось по его жилам тепло.

— Сейчас же за доктором! Я побежал за доктором!..

Он неся в темноте улиц, с усилием припоминая, откуда взялась у него трубка (он иногда курил папиросы), и прилаживаясь удобней захватить жесткий мундштук зубами. Ему было жарко, он часто поддер-

гивал лопатками, чтобы отстала от спины приклеившаяся сорочка.

— Несчастье! — задохнувшись, пробормотал он, вбегая в участок. — Случилось несчастье! Где дежурный врач?

Шуцман, застегивая серебряные пуговицы мундира, вышел из-за ширмы и, позевывая, спокойно выслушал Никиту.

— Вы говорите — повесился, — произнес он раздельно и негромко, — значит, умер. Но если умер, тогда зачем вам врач? Ступайте домой, я приведу все в порядок.

О каком порядке могла быть речь? Надо было спешить, торопиться, бежать, попеременно в жару и холоде, раскуривая трубку десятками гаснущих спичек, пощелкивая зубами по жесткому, холодному мундштуку, чтобы удобней захватить его и крепче держать.

Но какая неподвижность! Лежать так прямо, по линейке протянув прекрасно сложенный корпус, как перед решающим смотром выпятить грудь, прижать руки к бедрам и сдержанно усмехаться — неужели вечно, вечно усмехаться, до истления, лиловыми сузившимися губами? — недвижно, абсолютно недвижно! И какая пошлая, трусливая мысль: притворился!

В оцепенении Никита дождался у себя в комнате звонка.

Пришел полицейский секретарь — низенький смуглый человечек, недовольный, что его подняли с постели. Не нагибаясь, пренебрежительно он оглядел Верта, потом вышел на веранду и посмотрел на оборванный конец ремня под потолком. Подойдя к столу, он взял двумя пальцами аккуратно обрезанный клочок бумаги, лежавший на видном месте.

Странно, что этого клочка прежде никто не заметил.

Никита заглянул через плечо полицейского.

На клочке очень ровно было написано:

«Прощайте, Карев, благодарю вас за шахматы. Вы понимаете, дело не в альте, а в скрипке.

Верг».

Какой-то душный колпак опустился на голову Никиты. Он упал бы, но позади него, у кровати, в неподвижности лежал Верт.

Полицейский, обернувшись, спросил:

— Wer ist Kareff?¹

— Я, — отозвался Никита.

— Wie war's?² — произнес сквозь зубы полицейский, бросая бумажку на стол.

Виолончелист рассказал ему главное. Он слушал, не перебивая и блуждая взглядом по стенам. Верта он не замечал больше.

— Es ist klar³, — сказал он, когда рассказ был окончен. — Но ведь профессор был прав: альтисты зарабатывают лучше скрипачей...

Он недоуменно подергал маленьким пальцем струны скрипки, лежавшей тут же, на столе, и спросил:

— Это — его?.. Квинта спустила, — добавил он, как будто ожидая комплимента.

Ему никто не ответил.

— Я пришлю людей, — сказал он, уходя.

Спустя час, на рассвете, пришли люди. Это были рассыльные, в красных фуражках, понурые существа, часами сосавшие трубки подле вокзалов и кафе. Они внесли прямоугольный длинный ящик с железными ручками, подняли Верта и попробовали уложить его в ящик. Но Верт вырос не по мерке. Тогда рассыльные согнули ему ноги. Они подсунули под сгибы колен крышку ящика ребром, и один из них навалился Верту на ступни. Ноги его сгибались медленно и туго. Он вошел в ящик, и посыльные в красных фуражках вынесли его на лестницу, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить квартирантов.

Газовый рожок в комнате Верта еще горел, когда закрывали крышку ящика. Но утренний свет был уже

¹ Кто Карев?

² Как это было?

³ Ясно,

силён и побеждал лампы. Эта борьба двух источников света отразилась на лице Верта бледно-сиреневым оттенком, тень, упавшая от крышки, придавала лицу землистость, и темнота ящика бесследно поглотила его.

Глава пятая

О, если бы бесследно! Воображенье наделено зрачками, из которых однажды виденное исчезает только со смертью или в безумии. Можно бежать из дома ранним утром, много раз кряду пройти по Pragerstrasse, купить и прочитать в кафе газету, зайти на вокзал, переменить полдюжину скамеек в тенистых кущах Bürgerwiese, и все напрасно, напрасно и тщетно! Пустыми глазами будешь смотреть вслед белым легким платьям женщин, наводнивших кружевами, перьями, оборками полированную улицу. Пустым, как будто вылуценным взглядом будешь следить за убегающим поездом. Неощутимо будешь пить все тем же пустым взором тонушую в солнце зелень газонов и желтый покой листвы — все, все пройдет мимо тебя, не тронув, не коснувшись средоточия чувств. Но с какой режущей болью выпьются зрачки в красные тулы фуражек около вокзала, — вон те, нет, вот эти! — по-нурые люди с красными головами, это они сгибали ноги Верта, подставив под них ребром крышку ящика, они унесли Верта по лестнице, стараясь тише ступать, чтобы не потревожить жильцов! Как быстро отыскивают зрачки в громоздкой выставке универсала то, что нужно отыскать, чего не отыскать нельзя: дорожный портплед, на нем — ремни чуть грубоватой желтой кожи. И вот еще быстрее, еще пронзительней: какой-то человек с лиловыми поджатыми губами. Он улыбается, он усмехается так сдержанно, так неподвижно! И снова: статуя фонтана, на ней бледно-сиреневый отсвет, холодный, вдруг переходящий в серое, землистое. Может быть, это тень качнувшегося дерева, может быть... тень падающей крышки? Может быть, все вокруг окрашено в лиловый цвет? Посмотри на

свои ногти. Разве когда-нибудь видел ты их фиолетовыми, почти серыми? Разве не струилась под ними кровь, пробиваясь сквозь белый роговой покров здоровой розовой краской? Но это от прохлады, от проведенного на воздухе целого дня, от бессонной ночи, от голода наконец! Черт побери эти детские ужасы! Не в них дело!

Что заполняло Никиту, когда он скитался по уныло-чистому городу? Портплед, серебряные пуговицы шуцманов, фуражки рассыльных, сжатые узкие губы прохожего, лиловые оттенки, лиловая окраска, переходящая в землистый цвет, всего — травы, трамваев, желтых листьев, бронзовых памятников, белых юбок женщин. Смерть есть смерть, не больше. И не в ней — о нет, — не в ней беспокойное значение этих часов! «Не в альте дело, а в скрипке». Не в том, к чему перейти, но в том, что оставить.

Оставить? Не пора ли оставить теперь же, не дожидаясь, когда какой-нибудь Гюбнер скажет, что, конечно, милый Карев, из вас выйдет очень хороший музыкант, но, милый Карев, хороших музыкантов много. Бросить, уйти, убежать, пока еще не поздно, пока есть куда убежать!

Но куда же, куда? Оцепенение одиночества охватывает Никиту, как ночью его охватило оцепенение ужаса. Весь путь, который привел его на гладенькую скамью Bürgerwiese, весь путь музыканта Никиты Карева, бездарно уткнувшийся в этот парк чопорных филистерских прогулок, разве не предопределил он собою бесплодного, одинокого конца?

И вот — последний знак, последнее предупреждение: Верт!..

За каждым препятствием, возникавшим перед Никитой, он постоянно чувствовал такое предупреждение. Но он упрямо стоял, не отступал. Как бесконечно много упущено было случаев уйти, бежать, бросить! Глупец! он увеличивал ставки, вместо того чтобы сойти с круга. Он понял, что никогда не сделается скрипачом, и решил сделаться дирижером. Понял, что раскрывать чужие души — великое искусство, и вздумал раскрыть свою! И — ничтожество, безрассудная

пустота! — вот она раскрыта, эта душа, и ничего, кроме хаоса, смятения, в ней нет!

Он был брошен в отчаяние давно, в Москве, едва очутился в переулках, изрезавших Никитскую с ее монументально-неудобной консерваторией. В каморках старых, источенных червем домишек, на чердаках нелепых многоэтажных сооружений, в лавочках инструментальных мастеров, в коридорах и вестибюлях концертных помещений, во всем великомосковском стеснении (о да, Москва звучит в своем ключе, сказал бы Верт) Никита почувствовал впервые особый музыкальный быт. Культура, — говорилось здесь, — культура, — не знание музыки, но знания о ней. Здесь слово «музыка» вливало так, как соки земли впадают сосною — непрерывно, на протяжении десятилетий. И люди говорили о себе здесь: я музыкант — ну, как сосна в бору могла бы сказать — я сосна.

О, это было насыщение знанием, подобное насыщению соснового бора смолистым запахом. И в этот бор попал Никита — сын Карева, Василь Леонтьича, уральского казака, управителя степных просторов, яблонь на Чагане, овечьих гуртов в Зауралье!

С каким смешным ожесточением Никита взялся за фортепьяно! Ему казалось, что он верно понял и определил свой путь. Тут говорилось — овладеть инструментом, чтобы уметь грамотно выражаться: изучать образцы, чтобы прочно помнить, что пройдено и чего нельзя повторять. О да, но помнить яблони, помнить, как раскалываются яблони под осень, когда нальется урожай; помнить, как плывут известковые облака пыли над гуртом скотины, которую гонят по дороге; помнить, как страшно в степи, когда она молчит! Помнить все это, хранить в сокровенной глубине сердца и — да, конечно, — изучать, изучать образцы — Баха и Гайдна, Моцарта, Листа, Россини, даже Дебюсси и даже Сен-Санса — почему не изучать Сен-Санса, ведь надо же знать, что пройдено и чего нельзя повторять!

Никита помнил, как иступленно совершил он перевал от отчаяния к негодованию, как на четвертый год работы с образцами он бросил Москву, вдруг

омертвев, вдруг странно утратив чувство воздуха и пространства, вдруг все забыв. «Фундаментальный трактат о контрапункте» показался ему обновляющим чтением, и — со словарем в руках — развалившись под яблоней, он изучал книгу, снова опаленный горячим током степи. Он берег тогда свое негодование, раздувая его, как тлеющий уголь, любовно неся в себе вражду ко всему чужому. За лето он выжег этим углем остатки интереса к тому, что было сделано не им самим, приехал в Петербург таким же дикарем, каким его увидела когда-то Москва.

Он верил, что ему не нужно десятилетиями впитывать культуру музыки, как сосна впитывает соки земли, что он усвоил знание о музыке и отбросил его, освободив свою природу, что он внедрил в музыкальный быт и, преодолев его, нашел и утвердил свою самобытность.

Легкомыслие! Ему суждено было узнать, что самое существо музыки подлежит изучению наравне с содержанием, далеким от существа, как далека наука психологии от человеческой психики. Он все еще оставался учеником, и угроза навсегда им оставаться только возросла, когда он вздумал писать музыку. Он заставил себя сделаться ревностным учеником, каким он был всегда, и точно школьник, решающий задачи по математике, гармонизировал чуждые напевы, которые давали ему в консерватории.

И он добрался до вершины, чудившейся ему желанной, он протянул руки, и они коснулись музыки, они коснулись того, что он слушал внутренним слухом, чего реально никто не слышал, что совершенно звучит только в музыканте и чему музыкант присвоил неловкое имя: абсолютная музыка. Да, он коснулся ее, он сумел уже создавать оркестры, произвольно (когда бы произвольно!) подбирать инструменты, он мог уничтожать однажды созданное, как творец.

Он взошел на вершину, протянул руку, и они коснулись — чего вождедел он. Он поднял глаза и увидел, что касается подошвы новой горы, вершина которой исчезала в высоте. Опять он был учеником!

На этот раз поиски привели его в Дрезден, и сочинение органной пьесы стало его целью...

Когда Никита вспомнил об этом, краски, линии, формы, заполнявшие его восприятие, уступили место звучаниям: в зажегшихся вечерних огнях город слышен был явственнее и полнее.

Карев поднялся со скамьи и быстро пошел. Но чем ближе подходил он к своему дому, тем неуверенней и непокойней делались его шаги.

Вдруг до сознания его дотронулась неожиданная мысль: он должен обратить взгляд на самого себя и передать то, что увидит. Ведь самый путь его, путь музыканта Никиты Карева, слагался в законченную тему.

Шаги его окрепли, пальцы опущенных рук дрогнули и разъединились, как будто приготовившись подняться на клавиатуру, но тут же он почувствовал приближение дома. Он поднял голову и увидел стекла веранды. Они переливались смутными отсветами уличных огней, а в мелком переплете рам таилась неподвижность темноты. Все окна квартиры стояли окоченными этой неподвижностью.

Он с трудом оторвал ноги от мостовой, нарочно быстро перешел дорогу, избежал по лестнице и вздохнул только у двери квартиры. Надо было перешарить все карманы, чтобы отыскать ключ. Он лежал там, где всегда носил его Никита, — в правом кармане пальто.

И вот дверь с шумом открыта настежь. Стуча башмаками и громко откашливаясь, Никита входит в переднюю и дергает цепочку газовой лампы. Молочный свет медленной волной обливает одинокое, неподвижное серое пальто на вешалке. Наверху, на полке, над самым пальто лежит широкая фетровая шляпа. Значит, дома никого нет, — это пальто и шляпа Верта.

Раздеваясь, Никита на секунду перестает шуметь. Тогда тишина холодным дуновеньем выскальзывает из-под двери Вертовой комнаты и заставляет Никиту шаркнуть ногой, закашлять и промычать себе под нос какой-то немудрящий мотив.

Он вешает свое пальто на другой конец вешалки, но тотчас перемещает его поближе к пальто Верта, вскользь прикасаясь рукой к поверхности чужой одежды. Пальто колышется обычным колыханием висящей материи и на ощупь вполне обыкновенно, слегка прохладно и шершаво.

Никита оставляет газ гореть и, плотно прикрыв за собой дверь, прислушиваясь к безмолвию, стоит в темноте посредине комнаты. Потом он привычно находит лампу над своим столом, и свет падает прежде всего на аккуратно вырезанный клочок бумаги:

«Прощайте, Карев. Благодарю вас за шахматы. Вы понимаете, дело не в альте, а в скрипке.

Верт».

Никита мгновенно оборачивается к двери. Где он? В своей ли комнате? Да, это его комната, комната Карева. Как очутилась записка у него на столе? Ее положил кто-нибудь из товарищей, наверное — виолончелист. Зачем? В ней Верт обращается к нему, Кареву. Но почему к нему, почему именно к нему? Неужели Верту нужно было связать его ответом за свою смерть? О, он должен был бы адресовать записку Губнеру: «Прощайте, Губнер, благодарю вас за альт», — должен был бы написать он. Пусть Губнер получил бы предсмертную записку самоубийцы!.. Но эта записка принадлежит Никите. Пусть помнит Никита, что перед тем, как выдернуть ремень из портплекда, самоубийца думал о нем, о Никите.

Он поворачивается к столу, берет записку и внезапно рвет ее на мельчайшие кусочки. Он кладет кусочки в пепельницу, закуривает папиросу и поджигает бумагу. Ровные клочья ее горят желтовато-синим огоньком, чуть-чуть шурша, дымя и раскаляясь докрасна, потом чернеют, оседают и обращаются в пепел. Никита осторожно несет пепельницу к печке, открывает дверцу и вытряхивает пепел в топку. Тогда что-то протяжно стонет за его спиной. Прислушиваясь, он поворачивает голову и замечает на шкафу портплед. Это его портплед, портплед Карева, но

ремни на нем не отличны от ремня Верта, от того ремня, кусок которого остался на шее Верта. Снимут ли его с Верта? Наверное, да, когда будут вскрывать труп. Снят ли другой кусок ремня с крючка, там, на веранде?

Никита подходит к шкафу и толкает портплед кулаком так, чтобы его не было видно. На мгновение после этого становится тихо, потом вдруг что-то падает со скрипом и шуршанием. Никита вздрагивает, и вместе с потоком жара, обдающим тело, отчетливая ликующая мысль приводит его в чувство: портплед завалился за шкаф.

— Довольно, — произносит громко Никита и почти со смехом идет к роялю, — довольно!

Он прислушивается, как звуки колышут тишину, и сосредоточивает все свои силы на возможной связи сочетаний, которые готов породить взятый аккорд.

Тогда в звуки рояля, едва они стихли и расплылись, в тон верхней ноты аккорда, продолжая его, вплетается прекрасно различимая скрипичная нота. Она настолько тиха, что может исходить только из дальней комнаты, из комнаты Верта. Никита вновь с силой ударяет по клавишам и рвет аккорд педалью. В какой тональности начал он игру? Фа-мажор. Да, да! И вот оттуда, из комнаты Верта, несется си-бемоль, верхнее си-бемоль! Но ведь квинта на скрипке Верта спустила! Это заметил даже полицейский!

— Довольно же! — кричит Никита, вскакивая со стула и бросаясь в переднюю комнату.

Он останавливается под лампой, вслушиваясь в отголоски своих шагов. Си-бемоль звучит над его головой ровно и сильно, хотя чистота скрипичной ноты совершенней этого хриплого, засоренного писка. Он смотрит вверх. Часть сетчатого колпачка газовой горелки истлела, отвалилась, и равномерная струя газа высвистывает на щербине колпачка ясно различимое верхнее си-бемоль.

Так, так, это уже — победа! Бодрость распрямляет Никиту, он решительно подходит к Вертовой комнате,

с размаху нажимает ручку замка и распахивает дверь. Как и прошедшей ночью, из комнаты дует холод: дверь на веранду не закрыли; осенняя ночь свежа, и воздух стынет быстро.

Никита входит в комнату. Он зажигает лампу. Беспорядок нисколько не переменялся; из стола торчат листки бумаги, на полу валяются раскрытый чемодан и портплед. Усилие, еще одно усилие — и Никита обертывается лицом к кровати. Здесь, на полу, ногами к затворенной двери веранды лежал Верт. Теперь здесь никого нет. Пол пуст. Чуть сдернут с кровати конец одеяла. Наверно, его задела, когда укладывали Верта в ящик.

Еще усилие, еще одно последнее усилие! Никита направляется к веранде. Несколько секунд он должен преодолевать взглядом темноту. Он различает очертания рам. Ему нужно посмотреть наверх, под потолок. Но взор его натывается на упавший стул. Как попал сюда стул? Наверное, пытались снять с крючка ремень. Надо только поднять взгляд, чтобы убедиться, что ремня нет. Но глаза не могут подняться, и неожиданно яркое воспоминание, мгновенно переходящее в осязательное чувство (коленка сильно ударяется о ножку стула), отбрасывает Никиту прочь от двери. Как мог он забыть об этом? Когда, подняв Верта с пола, он начал подвигаться к двери, спиной вперед, коленка его ударила о ножку стула, и он тогда же, — о да, тогда же! — подумал: этот стул Верт вышиб у себя из-под ног, едва петля была надета на шею. Внести теперь этот стул в комнату? Нет, нет!

Никита закрывает дверь и дважды резко поворачивает в замке ключ. Он старается удержать ощущение холодного металла в пальцах, которыми только что держал ключ: да, он в действительности запер дверь веранды.

Зачем он пришел в эту комнату? Нужно что-то сделать. Нужно подойти к столу и привести в порядок ящик. Кто-нибудь должен взять и пересмотреть все, что осталось после Верта. Но Никита берет только одну книжку — учебник шахматной игры. Да,

кажется, он затем и пришел сюда, чтобы взять эту книжку.

Он тушит лампу и, стараясь ступать медленнее и ровнее, мурлыча песенку, выходит в переднюю. Но дверь он закрывает стремительно, одним тяжелым и сильным движением, точно ускользая от кого-то, и так же, как в двери веранды, дважды повертывает ключ.

В своей комнате он подходит к роялю, но тотчас догадывается, что играть нельзя, потому что за музыкой ничего не слышно. Слышать же нужно все — тончайшие шорохи, потрескивания, скрипы, — боже мой, каким истребляющим разрушением исполнена каждая секунда, с какою машинною непрерывностью подкрадывается ко всему смерть, каким отчаянием проникнуты все эти вопли, стоны и жалобы умирания!

Никита отыскивает в книге шахматную задачу, берет доску и расставляет фигуры. Так, притаившись, улавливая малейшее движение воздуха, он собирает волю и мысль на одном: в три хода мат.

Постепенно осмысливаются темные деревяшки, наполняются значением квадраты полированной доски. Турю можно шаховать: раз, два, три — три хода. Впрочем, одна минута. Почему не третий ход? Тогда король защищается... Нет, защищаться он не может. Он уходит... раз, два... сюда. Конечно, третий ход. Тура как будто движется сама. Она качнулась вверх и вбок, точно приподнятая невидимой рукой. Невидимой? Рука видна прекрасно: расплуснутые широкие на концах пальцы, буйно растущие волосы, покрывающие кожу пуховой перчаткой, лоснящиеся от мыла и воды.

— Ваш ход, Карев, — тихо говорит Верт.

— А-а-а! — вскрикивает Никита, ударяя по шахматной доске снизу вверх. Грохот падающих фигур, доски и стула возвращают его к жизни. Но он стоит, прижавшись к стене, блуждая широкими, горящими глазами по комнате, и торопливые змейки пота, извиваясь, ползут по его лицу.

Стул валяется на полу точно так, как другой такой же стул, на веранде. Никита широким шагом

приближается к нему, берет его и с неистовой злобой ставит на ножки.

После этого наступает тишина.

И в совершенном беззвучии, когда, казалось, приостанавливалась навсегда жизнь, Никита различил, как осторожно и неторопливо в передней комнате, в дверном замке повертывается ключ. Вот повернулся раз, вот приостановился, не поддается... поддался, и вот — другой раз, полный оборот.

Тогда в иступлении, сгорая и содрогаясь от приступа озноба, Никита бросился к двери.

В переднюю входили его товарищи.

Он прислонился к косяку и, обессиленный, посрамленный, готовый признаться в малодушии и осмеять себя, освобожденный в то же время, пролепетал:

— Черт побери! Черт возьми! А я вздремнул, и вдруг... мне показалось... черт...

Так наступила и прошла ночь...

И вместе с утром, обновившим очертания и смысл предметов, в Никите вспыхнула решимость противиться, всей силою противиться тому, что предвещала исчезнувшая темнота.

— Думайте что хотите, — сказал он товарищам. — Слабодушие, безволие — мне все равно. Я не могу оставаться здесь. Не могу работать, не могу дышать. Это вовсе не страх, это...

— Но никто не говорит, Карев, что это — страх, — неожиданно мягко возразил виолончелист. — Мы сами думали... — и он поглядел на своего соседа.

Тогда Никиту опять передернуло испугом. Откуда такая бережность к нему у этих людей? Разве они не должны были бы высмеять его? Неужели он внушает сочувствие? Не значит ли это, что на лице его уже написана участь Верта?

Он был уверен, что все изменится, как только он бежит из этих несчастных стен. Его бегство было безоглядным, и чем лихорадочней он спешил, тем меньше его смущала постыдность отступления.

Утром была найдена квартира, в полдень Никита уже распределил по комнате последние мелочи своего

монашеского обихода, уехал за город и к вечеру вернулся, и ободренный и успокоенный сознанием, что возвращается в новое жилище, пожалуй — к новой жизни.

Но преследования его едва лишь начинались.

Поднявшись по лестнице, Никита услышал странный больничный запах — что-то холодновато-приторное, похожее на формалин или карболовую кислоту. Он позвонил и долго ожидал у двери. Никто не отзывался ни на второй, ни на третий продолжительный звонок. Бесплодное ожидание у малознакомой двери, в тишине, пропитанной тягостным запахом больницы, излучавшимся, казалось, этой дверью, как тепло — печкой, стало беспокояще-неприятно. Никита позвонил в соседнюю квартиру. Открыла молодая, очень приветливая женщина и, увидев Никиту, быстро сказала:

— Вы — новый жилец? Вам оставлен ключ от квартиры. Ваша хозяйка заболела, и ее увезли. У нее, кажется, что-то с желудком...

— Откуда такой запах?

— Была дезинфекция, приезжали санитары. Я сейчас принесу ключ.

— Позвольте, а где же прислуга?

— Прислуга? Она не захотела оставаться одна в квартире и ушла. Господин музыкант, конечно, не испугается одиночества, — улыбнулась женщина, — я сейчас дам ключ.

Вернувшись, женщина подошла к двери и показала, как отпирать замок.

— Покойной ночи, господин музыкант, — произнесла она с любезной готовностью. — Утром, если пожелаете, я приготовлю для вас кофе.

— Благодарю вас.

В квартире запах больницы был резок и удушлив. Он проник в комнату Никиты и плавал здесь, точно невидимый туман — слоями, как будто кресла, постель были залиты удушающей жидкостью и она медленно испарялась, насыщая воздух.

Никита открыл окна. Они выходили на маленькую площадь, гладко вымощенную, поблескивавшую мо-

стовой в свете немногих фонарей. Это была тихая, старая и старомодная часть города, и ночь здесь наступала внезапно, словно усталые дома сладостно погружались в сон, как только темнело.

Тишина площади сгущала безмолвие комнаты, и время — чудилось — утрачивало здесь свое течение, как река, зашедшая в пруд.

Одиночество было совершенно. Незнание того, что находилось за пределами комнаты — какие стены безмолвствовали, обступая Никиту, какую формой выражалась остановившаяся в доме чужая жизнь, — это незнание толкнуло воображение Никиты на прежнюю, горько изведенную дорогу, и комната Верта, веранда, упавший стул, оборванный ремень и лиловатые, землистые цвета, оттенки, отблески, тона, окраска снова населили его душу.

Он хотел пойти в незнакомые соседние комнаты, осмотреть закоулки чужого жилища, чтобы каким-нибудь неожиданным впечатлением вытеснить довлеющую силу прошлых ночей, чтобы оплодотворить им почву для всхода новых представлений, — пусть более мучительных, но только новых.

О, он с наслаждением и в мельчайших подробностях представил бы себе смерть квартирной хозяйки, в больнице, на узкой койке, пропахшей вот этой припорошенной смесью карболки с формалином, вот в эту тихую, беззвучную и горестную минуту, когда молчаливо стоят расставленные по уголкам стулья, комоды, полочки и диваны. Он готов был неделю мучиться, глядя на картину нечаянной, чужой этой смерти (и он не сомневался уже, что в этот час смерть мрачно-беззлочно совершает свое дело), только изгнать бы, какой угодно ценой изгнать из своего воображения гнеущую память Верта.

Судьба его сливалась с судьбой Верта. Верт шел к нему из неподвижности, все так же неподвижен, как в ту ночь. И с каждой изнуряющей долгой секундой расстояние между живым Никитой и мертвым Вертом уменьшалось, и Никита цепенел в ожидании конца.

За всю ночь он запомнил только одно живое восприятие: сторож на площади бросил палку в какого-то заблудшего пса, и палка звонко покатилась по гладким камням мостовой. В этот момент ему захотелось броситься на улицу и обменяться взглядом со сторожем или с собакой — не все ли равно? — лишь бы это был взгляд живого существа. Но бессилие Никиты было слишком велико...

Рано утром он услышал звонок.

Он встрепнулся и пошел открывать дверь.

Перед ним, в волнении и растерянности, стояла женщина, которая вечером впустила его в квартиру. Прижимая к груди руку, она начала впопыхах:

— Сегодня ночью, господин музыкант...

Но он не дал ей договорить.

— Я знаю, — сказал он спокойно. — Сегодня ночью умерла моя хозяйка.

Женщина отшатнулась от него и прошептала в ужасе:

— Но... чему же вы смеетесь?

— Смеюсь? — удивился Никита. — Простите... разве...

Весь день потом он провел в безмолвных скитаниях по улицам. В сумерки, обессиленный, он опустился на ступеньку подъезда в незнакомом квартале, далеко за старым вокзалом.

Он сидел опустив голову, пальцы его устало теребили листья сорванной ветки, заостренные плечи выпятились, он сгорбился, и обычно ленивый взгляд его совсем застыл. Почувствовав холод, он хотел встать, опершись локтями на колени, когда в доме, на крыльце которого он сидел, раздался сильный, краткий удар, похожий на выстрел.

Никита вскочил и побежал прочь. Но, сделав несколько шагов, он остановился и повернул назад. Проходя мимо дома и пристально вглядываясь в дощечку с номером над входом, он улыбнулся блуждающей улыбкой, чаще и чаще появлявшейся у него на лице.

Он твердо знал, что наступило для него. Пожары, то предчувствие пожаров, которое когда-то впервые

разрушило его самообладание и потом возвращалось вместе с сомнениями, безверием, отчаяньем.

Наутро первое, что сделал Никита, — он развернул газету. В отделе происшествий он прочитал:

«Вчера, в восьмом часу на Uhlandstrasse, 26 ..»

Он скомкал газету. Стоило ли читать дальше? Дом 26 на Uhlandstrasse — недаром Никита запомнил этот номер! И разве важно то, что там случилось, что произошло? Убит ли кто-нибудь, или кто-нибудь убится?

— Я схожу с ума, — сказал себе Никита.

Он беспомощно огляделся и вслух пробормотал:

— Одно из двух.

Вряд ли он отдавал себе отчет в том, что могло быть это «одно из двух».

Он потер горячею рукою лоб. На ум ему пришел Гресе, так же случайно, как мог прийти другой какой-нибудь знакомый. Он быстро пошел к нему.

Глава шестая

Так встретил Никита Анну.

Так, вероятно, в тундре потерявший товарищey путник, после бесплодных стараний выбраться к жилью, очнувшись от забвения, находит себя окруженным людьми. Так приготовившийся к смерти больной чувствует, что здоровье возвращается к нему и он может встать и ходить.

Гресе был из тех людей, которых никогда толком не узнаешь, которых не очень-то хочется знать, но с которыми и без того хорошо и не скучно. В каком-то заброшенном фотографическом ателье, не то на задворках человеческих жилищ, не то на пустопорожнем месте, он учредил свою мастерскую и сосал огрызыши зловонных сигар, распространяя вместе с дымом величайшее философическое спокойствие. Чтобы заработать на хлеб, Гресе одно время танцевал в шантанах, но сломал ногу, охромел и принялся за

основное свое дело: он был живописцем. Ему следовало бы жить в Мюнхене, еще лучше — в Париже. Он ни с чем не соглашался, но удовлетворение его решительно всем, что встречалось в природе, было громадно. Он говорил:

— Какая гадость! — И довольство окружало его блаженной туманностью, подобно сигарному дыму.

Он докуривал сигары до конца, и казалось, держал в самых губах ярко-оранжевый пламень горящих табачных листьев.

— Это переходит всякие пределы, даже для нас, немцев, этот Дрезден! Город так чист, что, когда пригреет солнце, хочется полежать на мостовой. Между тем земля дана человеку для того, чтобы можно было бросить окурки. Если бы не эта безвкусная чистота, я выкуривал бы не больше половины сигары.

И он почти проглатывал пышущий жар окурка. Искусство его было странно: оно не шло путем новаторства, не повторяло задов и не было серединой двух этих возможностей. Грэсе ни на что не был похож. Скорее всего он был сумасшедший. С тех пор как он сломал себе ногу, на его работу нашелся всего один покупатель.

— Сколько вы хотите получить за картину? — спросил он у Грэсе.

— Сто тысяч.

Этот чересчур краткий диалог стал известен всему Дрездену, и Грэсе гордился своей популярностью:

— Мир скоро узнает, что у меня есть полотно в сто тысяч. Ко мне начнется паломничество американцев.

Американцы не спешили, а амбаровидное ателье наводнялось чудаками, бездельниками и очень хорошими, но почти всегда несчастными людьми...

— Да, — многозначительно произнес Грэсе, когда Никита рассказал ему о том, что он пережил за последние трое суток.

— Да. Я понимаю вас, хотя ваши испытания граничат с чем-то трансцендентальным. Да. Нечто серафическое, или... как это? Я, например, читал о Сведенборге... Это случается с людьми повышенной душевной

деятельности. Впрочем, не важно. Первое, что необходимо сделать, — повернуть. Круто повернуть в другую сторону.

Грэсе поднял хромую ногу и сделал ею в воздухе неопределенное вращательное движение. Лицо его было серьезно.

— Некоторое фуэте, — поучительно объяснил он. — Нынешнюю ночь вы проведете у меня, с друзьями, настроенными совершенно реально. Я настаиваю на этом, милостивый государь! Да вот сейчас, — вдруг встрепенулся он, заковыляв к выходу...

Дни были осенние, той последней тихой поры, когда в полдень шелково греет солнце, а ночами все кругом стынет в холодном окостенении. Днем еще можно было ходить в легком платье, как летом, и вот это платье — в голубую полоску, чуть короче тех, которые тогда носили, — это платье прежде всего увидел Никита. Оно как будто еще хранило в себе остатки света, впитанного на улице, было ярко, свободно, и следы чуть уловимой небрежности, с какою носят одежду богатые люди, странно украшали его. В первый момент Никита видел только это — в голубую полоску — платье, и речь Анны — торопливая, изорванная коротким частым дыханием — показалась ему звучащей откуда-то из-за стены.

— Фарфор и стекло будет, достала. А ножей и вилок нет, — проговорила Анна, запыхавшись и сбрасывая шляпу.

Она была очень стройна, но движения ее, самый стан и особенно руки были резко угловаты.

— Превосходно, — сказал Грэсе, — будем есть с фарфора руками. Вы ничего не покупали еще? Нет? Вот вам помощник. Он подавлен, и его нужно занять. Погоняйте его за покупками. Знакомьтесь.

— Вы — художник? — спросила Анна, быстро протянув Никите руку и садясь рядом с ним.

— Нет.

— А что же вы делаете?

— Пишу...

— Писатель?

— Нет, я пишу музыку, — внезапно смутившись,

ответил Никита и, чтобы преодолеть неловкость, в упор поглядел на девушку.

В ее подбородке и губах мелькало что-то детское, мягкое и округлое, взгляд был ясен и прям, дыхание волновало все ее лицо. Много позже Никита узнал, что порывистость, частота дыхания были так же свойственны ей, как способность ее одним небрежным прикосновением обесценивать вещь. Все ее качества были неотделимы от нее и — казалось — не могли ни в ком повториться.

— Музыкант? Я приду к вам слушать вашу музыку. Хорошо? — сказала она, уверенная, что ее решение обязательно и приятно для Никиты.

Она обернулась к хозяину.

— Я поручу вашему другу купить бананов. Я решила, что главным блюдом у нас будут бананы.

— Конечно. Вместо картошки, — сказал Грэсе, — сытно и недорого.

— Только не покупайте очень желтых, переспелых, — снова обратилась она к Никите. — Вы понимаете в бананах? И потом вот еще...

Она развернула перед ним записку. Он увидел ее почерк — четкий, быстрый, похожий на мужской. Он слушал ее, стараясь запомнить, что она наказывала купить, ощущая краткое дуновение поспешных ее слов. Он заметил, как она взяла с дивана свою шляпу — непринужденно-просто, как ее жест сделал шляпу второстепенной, неважной. Это поразило его так же, как привлекающая небрежность ее платья. Она не была неряшлива, но вещи становились в ее присутствии незаметными, они служили ей, дополняли ее, как будто она в них не нуждалась.

— Ну, ступайте!

Никита вышел.

Улица показалась ему переполненной движением, которое подгоняло и тормозило его. Он шел легко и скоро. В голосе Анны, все еще звучавшем у него в памяти, он расслышал что-то хорошо знакомое, пожалуй — близкое. Он долго вспоминал женщин, которых приводилось встречать. На ум ему пришла Варвара Михайловна; ее интонации были схожи с теми, что он

слышал сейчас, но он вдруг рассмеялся, и чувство неприязни и неожиданного превосходства прогнало воспоминание.

Он усердно и увлеченно ходил по фруктовым лавкам, отыскивая бананы, потом, нагруженный пакетами, с удовольствием ощущал в руках их тяжесть. Усталость не изнуряла его, он захотел есть и, усевшись на скамью посреди площади, принялся шелушить мягкие прохладные корки бананов.

Тут, в сквере, прожевывая мясистые пахучие плоды, Никита вспомнил Bürgerwiese, опустошающее отчаяние прошедших ночей. Он пожал плечами — так чужды стали ему перенесенные терзания, так удивительно было, как — слушая Анну, припоминая на улице ее слова — он просто забыл о том, что его недавно наполняло.

Вернувшись, он не застал у Грэсе Анны. Но он уже не хотел и не мог уйти.

Покручивая в губах огонек сигары и мастера из ящиков и досок стол, Грэсе говорил:

— У нее отец — офицер. Поэтому ее семья называется хорошей. «Она из хорошей семьи». Я не из хорошей семьи, так как мой отец — булочник. В этом нечто трансцендентальное...

Грэсе пробовал свои сооружения, садясь на доски и покачиваясь, и опять болтал:

— Она очень славный зверек, эта Анна, и любит нашего брата. По моему мнению, это — достоинство. Но мое мнение не совпадает с мнением хороших семей. Вы ведь, кажется, из казаков? Это — дурная семья, Карев, у казака не может быть хорошей семьи...

Анна пришла только к вечеру — запыхавшаяся, разгоряченная — в сопровождении рассыльного, который принес тяжелые корзины с посудой и свертками.

Кажется, Никита не заметил, что на рассыльном горел красный круг фуражки и вид его был понур и безразличен, как у могильщика.

Хромой Грэсе принялся помогать Анне. Он ставил тарелки и стаканы, стараясь делать это торжественно и методично. Но обдуманность его движений была ненужной.

— Вы удручаете меня, Грэсе, — засмеялась Анна. — Из такого веселого дела устраиваете мистерию!

Посуда в ее руках, бананы, которые она обрывала и скучивала горкою на блюде; извлеченные из корзин свертки — все это неожиданно обращало внимание Никиты то на одну, то на другую черту Анны, и он смотрел на нее в счастливом чувстве равновесия, которое она принесла с собой.

Она не умела хозяйничать. В том, как она брала и ставила тарелку, сквозила все та же поразившая Никиту небрежность, с какой она взяла свою шляпу с дивана. Перетирая салфеткой посуду, она толкнула локтем стакан и хотела поймать его на лету. При этом быстром движении Анна показалась Никите очень смешной, неловкой, больше, чем с первого взгляда, угловатой. Стакан разбился, под общий хохот, и Грэсе, важно оттопырив губы с неизменным окурком, мстительно заявил:

— Неуклюжесть, друг мой, худший из пороков!

И Никита, подбирая с пола мелкие куски стекла, смеясь, вдруг почувствовал взволнованное влечение ко всему, что было в Анне смешного, неловкого, угловатого.

Когда она, приготовив стол, вымыла руки и заявила:

— Теперь я пойду переодеться, — Никита подошел к ней и сказал негромко и торопливо, точно таясь от Грэсе:

— У меня к вам просьба. Пожалуйста... не переодевайтесь. Оставайтесь в этом платье.

— Вам нравится? — просто и полным голосом спросила она. — Хорошо, я останусь в этом платье. Но мне нужно съездить за пальто.

...Вечер был путаный, несуразный, громоподобный. Бородатые мужчины по очереди вертели ручку старинной шарманки. На ее валу не хватало множества иголок, пьесы получались недосказанными, о мелодии чопорной кадрили можно было только догадываться по обрывкам попеременно писклявых и басистых нот. Ритм танца отбивали ногами, ложками, тростью, и стук и грохот особенно всех восторгал и побуждал к пляске.

Анна веселилась захлебываясь. Никита не помнил, чтобы взгляд ее потух или остыл, и волнение росло в нем, когда он смотрел, как она пляшет кадрили. В танце смешное, неловкое проявлялось в ней еще больше. Он увидел девичью худобу ее ног и подумал, что худоба эта чересчур заметна и некрасива, как у детей, которые быстро растут. Но он не в силах был оторваться от ее некрасивости.

Он восхищался всем, что окружало, что попадалось ему на глаза. Хозяин, чудачествуя и хмелея, роздал гостям пригласительные билеты на вечер, не разосланные вовремя («За полным отсутствием средств, за бедностью и нищетой!» — кричал Грэсе). Никите досталась акварель: нелепый текст был перевит невразумительным рисунком, как делывали декаденты. Он с удовольствием рассматривал фиолетовые и серые разводы рисунка, несколько раз перечитал текст, засмеялся и положил билет в карман. Может быть, он разглядел, что фиолетовый тон акварели переходил скорее в розовое, чем в синее или багровое?

Сквозь шум, сквозь бестолковую сутолоку гостей, уже прощаясь, Никита сказал Анне:

— Не забудьте, вы обещались прийти слушать мою музыку.

— Я помню. Когда к вам можно?

— Скорее! — вырвалось у Никиты. — Пожалуйста, скорее!

Анна пристально и прямо поглядела в его глаза, дыхание ее стало еще короче, чаще, и улыбка как будто совсем оборвала его:

— Непременно в этом платье?

Лучше всего Никита обнял бы ее в тот момент. Она легко отступила от него, ему показалось, что она сосредоточилась на неприятной мысли, что он был виноват в этом, и растерянно, в нерешительности он ответил:

— В каком хотите.

Засмеявшись, она протянула ему обе руки и без колебания сказала:

— Я приду завтра вечером.

...Она пришла к нему и осталась у него.

Все кругом Никиты наполнилось с этого дня бесконечным значением. Вещи в его комнате, которых он прежде не замечал, — коробка папирос, пепельница, исчерканная карандашом нотная бумага, — странно одушевлялись только потому, что Анна прикоснулась к ним. Но он уже чувствовал способность подчинить их себе, заставить служить, как они служили Анне.

Она немного знала музыку и вошла в замкнутый мир Никиты так же просто, как входила в комнату.

Нечаянно и незаметно для себя Никита рассказал ей обо всех ступеньках, по которым взбирался он, начиная с подвала Якова Моисеевича, со страшного шипения бумажных обрезков, выползавших из-под ножа переплетной машины.

И тогда — восторженный пониманием подруги, восхищенный тем, что неожиданно соорудила перед ним его память, — он снова уверился в своем призвании.

Анна помогала ему в работе. Он никогда не сказал бы, откуда знала она тайну дружбы. Но она умела слушать, молчать, и присутствие ее было так легко, что он научился тосковать о нем.

Под вечер Никита ходил по комнате, изредка подбегая к роялю, чтобы проверить записанную фразу. На крышке рояля пестрели нотные листы, тяжелая, похожая на блин чернильница была усыпана мелкими засохшими кляксами, как бумага — нотами, развернутые чистые страницы на пюпитре рябили чуть заметными карандашными точками. Все эти знакомые пустяки — линейки нот, кляксы, точки и черточки, черно-белая прямая полоса клавиатуры — медленно расплывались в сумраке, смысл их ускользал, и Никита вдруг переставал слышать.

Он бил по клавишам ладонью, чтобы оживить слух, как человек, засидевшийся у стола, вскакивает и потягивается, чтобы размяться. Закрыв глаза, он несколько минут сидел неподвижно, потом нажимал правую педаль и с внезапной силой проигрывал тему, которая час назад казалась прекрасной. Казалась! Перефразировка мелодийки, которую пустил порхать по свету кто? — может быть, Сен-Санс, может быть... и опять Никита ничего не слышал, и музыка расплыва-

лась в гаснущей пестроте нотных листов, бессмысленных точек, запятых, клякс, и одна холодная черно-белая полоса клавишей отчетливо виднелась в сумраке.

В этот час обычно приходила Анна. Мог ли Никита знать, с каким напряжением инстинкта она разгадывала его состояние, как билось ее сердце, когда она, войдя, бросала первый взгляд на его лицо?

Для Никиты ее сердце билось как всегда, частота дыхания стала привычна, и он говорил:

— Сегодня у меня ничего не выходит, — таким голосом, будто кто-то другой был виноват в неудаче, и — само собою — Анна должна была исправить ее.

И она исправляла, необъяснимо превращая его безверие в уверенность...

Наконец труд был кончен.

Органист, преподаватель консерватории — мягкий, медлительный старик, с пронизывающим бесцветным взглядом, просмотрев последний раз Никитины ноты, сказал:

— Вам надо теперь услышать все это со стороны. Приходите в два часа во Frauenkirche.

По праздникам, после богослужений, здесь происходили концерты, в будни церковь пустовала, огромное здание проветривалось через открытые накрест двери. Уличный шум докатывался сюда сквозь землю, пол гудел, и, если закрывались двери, пустота храма дрожала почвенным ворчливым гулом.

Органист пошел на хоры, стали слышны его шаги по лестнице, отдававшиеся наверху и каменно падавшие с купола на пустые ряды дубовых скамеек.

Никита выбрал дальнюю от хоров скамью.

Он услышал, как начали вздыхать мехи органа, как над ним откашлялся и что-то уронил музыкант. Потом сразу взлетели в высоту, в купол, певучие, чуть гнусавые металлические звуки дискантового регистра, и вдруг вся пустота каменной громады колыхнулась, точно от подземного толчка. Устрашающе быстро звуки заполнили все уголки храма, как будто запел камень, и деревянные скамьи, вздыбленные над головой кафедры, балюстрады соединились в послушный хор, и стекла окон звенели в нараставшем *forte*.

И только грудь Никиты опустошалась этой вращавшейся в замкнутом каменном шаре многоголосой гармонией. Боже, до чего чуждо было ему то, что он слушал.

Он облокотился на узенькую стойку, на которой прихожане перелистывают молитвенники, и стиснул голову кулаками. Он никогда не писал этой музыки! Он не мог добраться до своей мелодии в громоздившихся, наползавших друг на друга, как плавучие льдины, аккордах. Нет, он улавливал, почти улавливал какие-то фразы, сочетания фраз. Мелодия прорывалась к нему сквозь рушившиеся и скрежетавшие бесформенные льдины. Но он не верил, что это он — Карев — пытался уложить в несуразную смену ритмов отчетливую мысль своей музыки. И опять — нет! Не в ритмах, нет, не в ритмах причина катастрофы! Гнетущее разнообразие рефренов в басах, назойливо, беспомощно повторяющих лейтмотив!

Вскочить, обернуться лицом к хорам и крикнуть в стонущую пустоту: довольно, не надо больше, ради бога, не надо! Или, прикрываясь неистовым гудением органа, беззвучно прокрасться к выходу и бежать, не оглядываясь, из церкви, из консерватории, из города, навсегда!

Никита дрожащими ладонями вытирал лицо, пот лился с его лба, глаза блуждали, словно отыскивая опору. Ему стало холодно, он передернулся от озноба, выпрямился, потом встал. На мгновение он подумал, что в безлюдии церкви, над ровным строем скамеек, рост его должен казаться выше обычного. Он распрямился еще больше.

То, что он теперь слушал, было по-прежнему чуждо ему. Усилием воли он отказался от своей музыки. Тогда он отличил во многотонном разноречии звуков спокойное движение напева. Оно развивалось, переходя от регистра на регистр, как ветер перекидывается с вершины одного дерева на вершину другого. И как шелестящие шумы вершин сопровождаются мерным, созвучным стоном стволлов, когда по земле проходит ветер, так нарастающее движение напева сопровождалось величественной волною басов. О да,

она была величественна в своем мощном спокойствии, немного тормозящем развитие музыки. Она задерживала, затягивала темп, и, чтобы ускорить его, Никита поднял руки, и жест, которым дирижер понуждает оркестр ускорить темп, помимо воли Никиты выразил его желание.

Тогда случилось, что органист, не видя Никиты (он не мог видеть его с хоров, из-за органа), ускорил темп, и музыка, носившаяся в пустой церкви, вдруг совпала, соединилась, слилась с музыкой, которую хотел написать Никита. Его опять пронизал холод, и освобожденный ум его увидел маленького Никиту, в упоении водящего смычком по скрипке в пустой холодной зале, когда открылась дверь и в залу вбежал сам Мендельсон-Бартольди.

— Так, так, — прошептал Никита, — это совершенно так, как я себе представлял!

Он стоял, взобравшись на подножку сиденья, еще больше, стройнее выросши, лицо его было бледно, прижатые бровями глаза остановились, и руки отрезывали короткие, рвущие движения: темп был быстрый, порывистый, смятенный, необычный для органа.

Так продолжал Никита стоять, когда стих и улегся волновавшийся воздух и в пустоте каменного шара, ворчавшей почвенным гулом, раздался жидкий человеческий голосок.

Никита удивленно обвел глазами подавлявшую громаду церкви. Из-за балюстрады хоров ему кивала крошечная лысая голова органиста, и голосок беспомощно плескался в пространстве:

— Конец хорош, конец великолепен! Bravo!

Потом в дверях, при выходе из Frauenkirche, старичок, растеряв привычную медлительность, суетливо подергивал Никиту за лацкан пиджака, говорил:

— У вас ужасный рисунок вначале. Ведь ничего нельзя выразить, если так неясно. Ведь тема у вас пробивается с величайшим трудом, с величайшим, друг мой! Преодолевают с усилием, с величайшим усилием. Вы чувствовали, да? Вот видите! А там, где рисунок отчетливей, строже, помните — с начала *allegro con moto* и к концу, к самому концу, там...

Никите нужно было что-нибудь сказать этому старику учителю, мастеру, ставшему другом. Он сжал его сухие пальцы и начал:

— Мне казалось невозможным...

Но старик не дал ему говорить:

— Позвольте, разрешите! Попробуйте доказать на деле, на опыте доказать, что невозможное — возможно, и оно станет возможным. Ведь вот *allegro con moto* у вас...

Никита еще слушал, как ученик, но внутри у него все непокорно пело: он твердо знал не только то, что мог он сделать в музыке, но и то, что было нужно сделать.

Он сбежал по ступеням паперти, точно мальчишка, и земля понесла его, как любовнейшее свое создание — бережно, легко и с радостью.

На площади Zwinger'a его дождалась Анна. Он молча взял ее под руку и повел к набережной.

Там они шли вдоль реки, все дальше удаляясь от сутолоки мостов и пристаней. В лицо им дул ровный, сильный ветер, нужно было наклониться вперед, чтобы преодолеть непрерывный его напор. Ветер развевал платье Анны. Она была в пальто, но пальто распахивалось, и подол синего платья вырывался из-под него, туго облекая Никитино правое колено. Никита держал Анну за руку, между локтем и запястьем, где рука больше всего женственна и ровна. И вот чувство, с которым они шли против ветра, в молчании, и трепыхавшее на его колене синее платье, и ощущаемая сквозь материю тонкая округлая рука, прижатая к боку, — это огромное счастье, вдруг увенчавшее долголетний искус, Никита запомнил на всю жизнь.

В нем прожил он до первой своей поездки на родину, с ним он остался в засыпанной снегами степи, в погребенном под снегом Уральске.

...Никита въехал в город, едва начинались вьюги, и вьюги сгоняли в город со станиц, с фарфосов, со всех войсковых линий промысловое казачество, отцов и

сынов, деверей, зятей, внуков и дедов. Отцы и сыны собирались к почину исконного, именитого своего яцкого промысла — на осетровую охоту, на багренье.

По Большой Михайловской, из конца в конец, закрученные снежной вьюгой, неслись, мчались, летели сани. Лошадиные копыта вырубали из ухабов дороги снежные комья, вьюга подхватывала комья, крутила их над санями, над лошадьми, ввинчивала в белые воронки снега и швыряла назад в лошадей, в седоков, в сани.

Это был белый, кипенно-пенистый ад, и черти правили в нем великий чертов праздник.

На головах казаков кишели и змеились черные космы бараньих папах, обсыпанные серебром вьюги, опутанные инеем, замороженные сосульками. Каждая папах — в две головы вышиною, и наверху папах — малиновые донца в серебряных кантах крестиком, в снежном серебре. Под каждой папачой — чертова казачья голова, да лицо нагусто красное, как сурик, да усы и борода, как бараньи папахи — в серебре вьюги, в ледяных сосульках.

В руках у казаков багры да подбагреники, точно вилы в лапах дьяволов на кулугурской картине Страшного суда.

На ногах у казаков холстовые шаровары — на гашниках, круглые, как юбки, и кругло, упруго вросли шаровары в завихренные снегом сани, и...

ах! как крутит, летит, мчится в снежном буране чертово казачье племя в папах, с баграми, в комьях, в глыбах снега, по ухабам, по сверкающим заворотам Большой Михайловской в серебряном, белом аду!

Фарфос на фарфос, станица на станицу, отцы и сыны, деверья и зятья — кто кого? у кого удалее конь, у кого легче сани, да ловчее подрезаны полозья, да умелей подогнана сбруя? У кого не займется дух в самый жаркий бег иноходца, у кого не ослепнут глаза в самой гуще бурана да не дрогнут ноги на ледяном завороте, когда бомбой раскатятся сани и вот-вот шандарахнутся об угол дома, чтобы разорваться в картечь вместе с конем, баграми, папахами,

в искры, в снежную пыль? Да гляди, не задень чужих коней, не поломай чужого багра, не перебей ног чужому коню — несдобровать тогда тебе, не помилуют! А увернулся на повороте, удержал раскат, выпрямился — ну, лети, несись, дьяволи в ледяное, морозное белое адово пекло, и...

ах, и-их! пострели ты заразой! гикай, свисти, голоси, что есть мочи в тебе самом, в твоём отце, в деверьях, в зятях, во всем твоём роду и на всем фарфосе!

Крутись, как снежная вьюга, весь день, до сумерек, а ночью оттаивай сосульки на бороде и папахе, пей больше вина, наедайся досыта лакомых жамков, спи крепче казачьим сном, пусть тебе снится, что ты поймал осетра, которого не могло вытянуть из Урала все казачье войско!

Крутись, пей, наедайся, крепче спи, чтобы наутро стать в ряды охотников — на береговом обрыве Урала, повыше города, у первой ятови — чтобы нахлобучить папаху, затянуть гашник, — в одной руке — багор и подбагренник, — в другой пешня, а вокруг отцы, сыны, родня и соартельщики.

В сторонке, на крутизне берега, разместится кулгурское староверческое и православное судилище — наказный атаман, чины и ордена, есаулы, войсковые старшины, а еще поодаль — иногородний люд, господа и мешанские степенства, и за ними — скупщики, рыбные торговцы, мастера балычных и икорных дел, а дальше — просто толпа.

К купеческим рядам подъедет Михаил Гаврилович Шерстобитов, в бобровой шубе, поверх — полупудовый енот, на ногах — пимы.

С бочкú именитого казачества — по заслугам — станет Василь Леонтьич Карев, утолстивший свою толщину полушубком, кушаком, заячьей шапкой с наушниками.

И великое уральское войско (вместо пики — остер багор, намест шашки — пешня, за берданочку — подбагренник), ошетилившись, набекрень папахы — на обрыве, над ятовой, в буране, в белом аду вьюг будет ждать пушки.

А ударит она, ну, тогда поминай, как тебя, казак, звали! Где тут разбирать, кто отец, кто сын, где своя голова, где чужая!

С откоса, с крутизны, в снежную пропасть обрыва, как есть — с багром и пешней — бросайся, падай камнем, без креста, без оглядки.

Потому что позади тебя скалою рушится на реку войско, забеленное тучами снега, в грозе всезаглушающего гика, и тут уж ни своего, ни чужого, в этом серебряном, вихревом и вьюжном аду, тут впрямь дьяволы с кулугурской иконы!

Вот они рассыпаются по снежной, сверкающей равнине реки, вот копошатся врозь и порознь в горбатых сугробах, вот ударяют пешнями по льду, ледяной железный звон врзается в вопли, гик и крики.

Вот вся скала, все скалы обрушились в реку, вся лавина чертова войска стекла на лед, оставив позади себя черно-бурый откос берега, содрав с него пимами, холстовыми шароварами весь снег.

Вот растеклась лавина по белому покрову реки черною зернистой икрой, и дальние охотники не больше чудятся зерна икры.

И на минуту кажется — примерзла черная икра к снежной равнине, и белые воронки вьюг свирепо закружились над рекой, и только звон железа по льду раскалывает и содрогает воздух и только гул плывет над Уралом от криков, которыми горячат друг друга охотники:

— Скоро, скоро!

— Скоро, скоро!..

Потом икра приходит в движение, казаки кучатся, отыскивая деверей, сынов, и если пристально взглядеться под откос, видать, как сквозь продолбленную прорубь из ятови багром вытаскивают осетра.

Тогда охотники опять как кулугурские черти: в заиндевелых папах и бородах, крючьями багров и подбагреников они расправляются в пляске и верчении белого пекла с многопудовыми, ожиревшими грешниками — осетрами...

Обсыпанный снежной пылью, налетевшей с реки, Никита стоял у обрыва, с которого только что кинулись на лед казаки,

Он следил за суетливою, спорою работой артелей и думал о младшем брате, Ростиславе, набившемся к какому-то казаку в подручные — подбагривать пойманных осетров — и вместе с лавиною войска ринувшемся под откос, на лед.

Ему была приятна отважность пятнадцатилетнего брата. Он мерил по нему, как по мерке, свою жизнь. Но жизнь брата и весь он, с отвагой, удачью, стремительностью и весельем, были необъяснимо странны ему, как странно было то, что он теперь перед собою видел.

— Никита Васильич! — расслышал он в снежном свисте.

Повернувшись, он различил женщину, — в пимах, в меховой тяжелой шубе, в пуховом платке, завязанном толстым узлом на шее. Она мягко, неуклюже спешила к нему, неслышно и часто переставляя пимы по утопанному казаками снегу.

— Не узнали? — крикнула она, засучивая на голове платок, чтобы виднее было лицо. — Хороша матушка купчиха, а?

Было похоже, что сама она очень довольна своим нарядом — так ярко и счастливо сияло на морозе ее лицо.

— Ну, здравствуйте, бродяга! В гостях, видно, хорошо, а дома лучше? Я видела вас вчера, на улице. Какая у вас походка! Откуда это? Я подумала — где уж нам! Ведь вы почти не касаетесь земли, ха-ха!

Никита только успел сказать:

— Варвара Михайловна...

Она не дала ему продолжать, рассматривая его, поворачивая за руку, как невидаль, и без умолку говоря, как будто потоком смеха и слов можно было выразить все, что хотелось.

— Ну, вы рады, скажите? Я вижу по лицу, что рады!

Он, правда, был рад и весело глядел ей в глаза, вслушиваясь, как полно и глубоко переливался ее голос в морозных вихрях.

— Смотрите, смотрите, Карев, — показывала она вниз, схватив его за руку и поворачивая лицом к реке, — как хорошо! Ведь хорошо! а?

— Хорошо.

— Но почему, Карев, когда хорошо — хочется куда-нибудь бежать, дальше, дальше? Почему? Это всегда так?

— Да, — проговорил он, подумав, — это почти всегда.

— И вы... вы скоро уезжаете?

— Да.

Она выпустила его руку и неожиданно тихо спросила:

— Это — все, что вы имеете мне сказать?

Он обернулся к ней. Она глядела на него свысока, закинув голову, подняв брови. Губы ее подергивались точно от обиды и ненависти. Вдруг она схватила Никиту за плечи, почти обняв его, и вскрикнула в жестокой злобе:

— Неужели вы еще не понимаете? Ведь я люблю вас!

Он с беспокойством отнял ее руки от своих плеч и опустил глаза.

— Я понимаю, — медленно, тяжело пересиливая смущение и словно проверяя себя, выговорил он. — Но я люблю... не вас...

— Неправда! — иступленно крикнула Варвара Михайловна, быстро отворачиваясь от Никиты и убегая в гору. — Неправда, неправда!

Он посмотрел ей вслед. Она бежала, неловко подгибая несуразные, тупоносые пимы. Ей неудобно было сгибать колени, валенки, меховая шуба мешали, утоптаный снег был скользок, бег ее неуклюж и смешон. Нет, ничто в ней не напоминало Анны!

Никита отвернулся к реке и стал наблюдать багренье.

В конце концов — каждый поднимался по своему взвозу, и взвозом Варвары Михайловны была любовь.

КАРАВАНЫ

Глава первая

Иногда Василь Леонтьич, в разгар какого-нибудь дела, оборвав мысль, приостанавливался, с сердцем хлопал себя пухлой ладонькой по боку и бормотал:

— Ростислав, ах, что б тебе!..

К войне Василь Леонтьич сильно разрыхлел, коричневая кожа его сделалась дряблой, на скулах, под глазами, мешковато свисла и еще больше потемнела в белой оправе бороды. Но Василь Леонтьич без усталости действовал, без передышки жил. Немало дрожек было разбито и коней заезжено, а жизнь все ширилась, и степь как будто раздвигала свои края, и солнце жгло горячее. В войну стало все дорожать: поднимались в цене лошади и овцы, невиданные деньги приносило сено, сушеное яблоко наращивало банковский процент, и в сорочку чистого золота облеклось каждое пшеничное зерно. Хорошо было чувствовать в руке устойчивую державу богатства; хорошо было вести его в прочном поводу, как водили кочевые князьки неписанный жестокий домострой. Все было бы прекрасно, если б не перебивал мысли, не путался бы в памяти Ростислав!

О других детях Василь Леонтьич перестал помнить. Впрочем, нет — вспоминал, но только ненадолго, мельком, чтобы повторить навсегда решенные и прямые слова.

Про Матвея:

— Ему теперь масленица: то и делай — калекам капли прописывай!

Про Наталью:

— Так и знал, дура, за братом потянется, в докторицы. Матвей — человек, а она что? Шилохвостка!

Про Матридию:

— Ханжа была, ханжой осталась.

Тут Василь Леонтьич обыкновенно вспыхивал и восклицал:

— Что это нынче бабы воевать полезли? Что ни мокрый хвост — то сестра милосердия! И все поровят на фронт!

Эта досада означала общее воззрение Василь Леонтьича, — отнюдь не беспокойство за участь Матридии и двух младших дочерей, давно выданных замуж и тоже поступивших в госпитали сестрами.

Никита в представлении Василь Леонтьича уместился где-то по соседству с дочерьми, в бабьем разряде. Он все еще учился в Дрездене, и в начале военных действий Василь Леонтьич узнал, что сын остался у немцев.

— Казак! — ворчал папаша Карев. — Нешто казак может у неприятеля оставаться? На карачках к своим приползет! А этот что? Отца позорит, камертон говенный...

Музыкантов Василь Леонтьич любил. Изредка ему случалось бывать в войсковом собрании. Летом собрание перебиралось в городской сад и там, в деревянном павильоне, устраивало симфонические концерты. Оркестр, как и все в городе, был войсковой, настоящие казаки — с погонями, в шароварах — водили легонькие смычки по струнам. Стало быть, ничего зазорного для казака в струнной музыке не заключалось, и Василь Леонтьич мог быть спокоен за доброе свое имя. Когда Никита бросил скрипку, отец похмурился немножко, покори́л:

— Мудришь. Скрипачом думал тебя сделать, а ты в регенты захотел.

Но он скоро смирился. По его мнению, Никита давным-давно достиг своей цели: он превосходно играл на скрипке. Однако Василь Леонтьич терпимо допустил, что скрипачу нужна какая-то особая наука, вроде высшей школы верховой езды, вольтижировка. Это было ему так же малопонятно, как в свое время — ученье Матвея после университета на профессора, и он многозначительно определял такое состояние смутным словом — «дальше».

— Учится дальше...

В душе он охладел к Никите, стал думать о нем не больше, чем о дочерях, и прозвал камертоном.

Кто был бы способен утешить Василь Леонтьича, так это — Ростислав. Он один мог расшевелить мирно дремавшие остатки казачьей его гордыни, заставить трепетнее бежать кровь по жилам тучного отцовского тела. Да, да, он мог это сделать, и — к несчастью — сделал.

Конечно, он порадовал Василь Леонтьича, польстил его родительскому честолюбию. Он был казак, единственный в каревской семье, казак из тех, что из пригоршни напьются и на ладони пообедают.

Но — что таить греха — сам-то Василь Леонтьич, какой он был казак? Шарабанный, дрожечный, чуть-чуть не десяти пудов весу.

Всю свою нежность, весь отеческий застенчивый жар он приберег для Ростислава — последнего своего сына, последнего ребенка. На этом мальчугане мужская, обильная мощь Василь Леонтьича, породившая пышное потомство, собралась воедино и иссякла. Папаша Карев отныне мог становиться только дедом, да еще прадедом, но крепкой сладости отцовства ему уже не приходилось испытать. А он с любовной охотой породил бы еще двух-трех казаков! Однако нет, не казаков. Лучше уж — еще шилохвосток, еще одного камертона, только не казаков!

Конечно, Ростислав — гордость, Ростислав — каревская честь. Но ведь он — последнее, что дала Василь Леонтьичу его мужская, наилучшая пора,

он — завершение, и знак каревской силы. И вот — пухлой ладонькой по боку:

— Ростислав, ах, чтоб тебе!..

Нельзя было вслух сказать этой простой, всегда поражавшей мысли. Даже в отчетном итоговом разговоре с женой надо было держаться как на людях...

— Мои годы вышли (Василь Леонтьичу исполнилось к началу войны шестьдесят три года), да и тучен я, где мне! Матвей пульсы шупает, тоже дело. О Никите что говорить! Один Ростислав за всех Каревых долг несет, казак!

Но признаться откровенно в беспокойстве, в неотступной тоске об этом казаке, о каревской чести и гордости, признаться в бабьей, кликушеской боли об участии мальчугана, который все еще казался крошкой, дитятей, — не пришло бы на ум Василь Леонтьичу даже с похмелья. Разве не он с детства поощрял в Ростиславе все отважное, озорное? Не он любовался сыновьями околышами, лампасами, пригонял ему в подарки лучших киргизских коней с зауральской стороны? И что же осталось Василь Леонтьичу, как не похвастать сыном (вот, мол, родителям утешение!), когда Ростислав, шестнадцати лет от роду, бросил войсковое реальное училище и ушел на войну?

— Молодчина! — сказал Василь Леонтьич и впервые за всю жизнь почувствовал, как что-то дрогнуло и засосало под ложечкой...

Ростислав был боек и складен. Он постоянно куда-то мчался, спешил, весело, со вкусом втягивал воздух круглым некрасивым ртом. Смеялся он почти всегда. Стоило окликнуть его, как он поворачивал свое лицо, расцветиваясь улыбкой, и тотчас в упоении начинал о чем-то рассказывать. С ним вечно приключалось необычайное, поразительное, невероятное и до того смешное, что он паливался кровью от хохота, и красный, как маков цвет, не успевая втягивать воздух, несся в галопе рассказа.

— Понимаешь? Лежу, сплю, вдруг — бах! — в нос! Вскочил — утерся — кровища-а! Думаю, что такое? Гляжу — яблоко. Понимаешь? Во-о, в кулак, два фунта, черного дерева. Ха-ха! Вот, черт! Ха-ха!

А я, понимаешь, лег под самую яблоню! Вот черт, ха-ха!

Руки у Ростислава ходили ходуном. Он то потирал их, то засовывал в карманы, то хватался за голову, точно получив подзатыльник, то сам давал себе подзатыльник и тут же зажимал нос, смешно надувая ноздри. Одни глаза его были быстрее рук. Он не смотрел на мир, а буравил его со всех сторон горячими остриями зрачков в сером, как олово, ободке. Всегда и повсюду он что-нибудь находил, обнаруживал, открывал. И если не с ним случалось необыкновенное, то с тем, кого он встречал, или с тем, о ком ему доводилось прочитать, или с нескончаемым потоком героев, которые проносились в его стремительном воображении.

Он очень любил географию, с веселой безалаберностью глотал книжки путешественников, накопал и таскал в свой угол атласы, карты, учебники. На антресолях обширного городского дома, в конце Атаманской, за два-три года школьной жизни Ростислава выросли горы расцвеченной, накрашенной бумаги, и Африки, Азии всех масштабов простерлись от плинтусов до потолочных карнизов.

— У Петра Петровича, — захлебывался Ростислав (Петр Петрович был учителем географии), — у Петра Петровича глобус в полсажени, ей-богу! Не обхватишь! И, понимаешь, — рельеф! Монблан — во, в три пальца! Чуть тронешь — поворачивается, неслышно, как земля. Вот черт!

Василь Леонтьич с виду относился к страсти Ростислава усмешливо, но про себя думал, что это на пользу, что, выросши, сын его будет знать Бухарскую сторону, и Урал, и Николаевский уезд не хуже, чем знает он сам, и что так же, как он, поедет на дрожках за овцами или с яблоками в Гурьев, а может и с хлебом на Волгу!

Но несчетные экспедиции синих, красных, зеленых карандашей в Тибет и Алжир, отважные восхождения булавок на снеговые вершины и зимовки картонных флажков в ночных плавучих льдах — все это кончилось тем, что жарким полуднем Ростислав прискакал

из города в сад и, не снимая фуражки, захлебываясь, обливаясь потом, выпалил:

— Готово! Зачислен! Послезавтра! Разведчиком! Охотников — тьма! У наказного атамана не протолкнуться, народ — как икра, во!

Василь Леонтьич сидел за столом и аккуратно крошил складным ножиком яблоко в чайное блюдо.

— Чего понес? — спросил он, отдуваясь. — Какой разведчик? Кто зачислен?

— Я зачислен, в полк, разведчиком! Послезавтра выступаем. Он меня спрашивает: как фамилия? Я говорю. Он спрашивает: это который Карев, — Василь Леонтьича? Приходи, говорит, завтра в восемь, зачислен.

Василь Леонтьич выронил яблоко на пол, приподнялся, толкнул животом шаткий стол и опять сел, о чем-то раздумывая. Лицо его чуть-чуть посветлело, как будто с него медленно начал сходить загар. А Ростислав неся без удержу:

— Был на вокзале — третий состав нынче отправился. Давка, крик, бабы воют! И, понимаешь, какая штука: один казак заболтался, лошади погружены, поезд пошел, не догнать! Тут — я, верхом, по другую сторону. Кричу — айда! Он через пути ко мне. Раз, понимаешь, на Думку! Позади седла. Думку в шпоры — пошла! Догнали, обошли паровоз — он раз! — соскочил. Бежит по полотну, а поезд наддаёт. Из всех вагонов руки ему протягивают. Хохот, свист! Я скачу рядом. Он ухватился за дверь, закинул вверх ногу — высоко, понимаешь, товарный поезд. Не успели его подхватить, гляжу — бац! — сорвался. Ну, думаю, надо опять сажать, не догонит. А он вскочил, отряхнулся и за последним вагоном — ходу! Гляжу, уцепился за один буфер, на другой вскинул ноги, и только мне фуражкой махнул — пошел! Вот, понимаешь, штука, ха-ха!

Василь Леонтьич молча поглядел на сына и отвернулся к жене.

— Благословляй, мать, — сказал он спокойно.

Потом, ссыпая накрошенные кусочки яблока из блюда в стакан, он пробурчал, точно самому себе:

— Рановато, конечно. Да не война растет по детям, а дети по ней.

Он вдруг сурово прикрикнул на Ростислава:

— Чего стоишь? Не видишь, отец яблоко уронил?

И он шаркнул досадливо ногой под столом...

Затем у Каревых началась обычная жизнь семьи, проводившей на войну близкого человека, ждали писем, прочитывали военные известия, относили на почту старательно зашитые посылочки.

Ростислав писал редко. Попал он в Галицию, походами исчертил равнины и предгорья, и знак, которым отмечался этот первый в его жизни осуществленный маршрут, ничем не напоминал разноцветных отметок на атласах и картах. Казаки, приезжавшие на побывку в Уральск, рассказывали о Ростиславе с едва приметной усмешкой. Впочем, в один голос говорили, что он отличался храбростью, был ранен, награжден крестом. В семнадцатом году о нем не стало слышно.

И вдруг осенью до Каревых с разных сторон дошел слух, что Ростислав объявил себя большевиком и с какой-то сборной конной частью бросил фронт.

С тех пор всего единственный раз, да и то спустя год, наедине с женой, у Василь Леонтьича вырвалось против воли:

— Не верю, быть не может! Другой пойдет, Карев — нет! Не верю!

— Может, понапрасну говорят? — робко предположила жена. Но Василь Леонтьич тотчас переменял убеждение:

— Чего напрасно? Я всегда говорил — рано! Рано кровь увидел, не выдержал!

Так кончен был весь разговор.

...В тот год, в начале сентября, Евграф решил бросить столицу. Двадцать лет прожил он в своем каменном углу и вряд ли собирался когда-нибудь расстаться с ним. Но в какой-то час человек рубит или рвет причалы и идет за своей судьбой.

Это был все тот же садовый мужик Евграф, на устойчивых коротких ногах, невысокий, словно

придавленный круглой спиной. Только кудерьки бороды стали светло-пегие, расчесанные со вниманием и степенно, да от постоянного общения с доцентами и докторами много прибавилось достоинства и медлительности.

Он состоял служителем анатомического театра в Медицинской академии. За годы однообразной и неприятной службы он свыкся с волнующим запахом тления, с холодком покрашенных белилами стен, и к мертвецам относился с деловой, немного строгой пристальностью, как плотник — к доскам. Трупы у Евграфа были хорошие и плохие, он не любил, когда покойников «портили зря», и бурчал на препараторов тут же во время лекции:

— Так бы и сказали спервоначалу, что, мол, надо берцовую кость. Вон он, целый ящик с ногами, на выбор. А то: «Приготовьте, Евграф, труп!». Обкорнают покойника — и ладно, выкидывай. Раскидываетесь!

Он не жаловал студентов-естественников, находя, что анатомия для них — ни к чему, и когда — изредка — они приходили кучкой на лекцию и непривычно озирались, Евграф презрительно косился на них исподлобья. Вместе с другим служителем он стаскивал с полки труп особой, очень ловкой хваткой: согнутыми пальцами правой руки он поддевал мертвеца за подбородок, а товарищ брал покойника за пятку, и так они несли его через всю комнату. Потом, раскачав, они бросали ношу на высокий стол, и труп тяжело стучался о металлическую поверхность, прямой, негибкий, твердый, как бревно.

Евграф не спеша вынимал из жилетного кармана медную трубочку, просверливал ею отверстие в опавшем животе мертвеца и брал другой конец трубочки в рот. Дул он долго, краснея, сопя, отрываясь и медленно набирая в грудь воздух, пока брюшная полость трупа не поднималась от давления изнутри. Тогда Евграф прятал трубку, как карандаш, в жилетный карман и, хлопнув ладонью по трупу, говорил:

— Хорош! Для медиков было приберегал, да ладно, учитесь!

И он с достоинством отходил в сторонку, немного гордый тем, что на него молча таращат глаза изумленные студенты.

Работа была нехитрая, сотни студентов становились врачами, десятки получали ученые степени (Евграф говорил о молодых доцентах: «Этот из моих!»), все казалось ясным, простым. Кто мог думать, что ясности придет жалкий и страшный конец.

Но когда в огромном, чудовищно-пышном городе, где можно было достать птичье молоко, не стало ржаного хлеба, когда сопливый мальчишка, торговавший с лотка оладьями на конопляном масле, запросил девять гривен за один оладышек, Евграф начал укладывать свой сундук.

Перед отъездом он повидал Матвея Васильича.

— В свою пору вы меня пристроили к месту, Матвей Васильич, — сказал Евграф. — На том спасибо. Нынче прошу не гневаться. Корысти я не ищу, а только прожить тут нету силы.

— Куда же ты собрался?

— К себе в степь, поближе к хлебу. Чай, батюшке вашему, Василь Леонтьичу, пригожусь, коли старое не вспомнёт.

Попрощавшись, он взглянул на Ирину — узенькую остроплечую девочку — и спросил тем грубовато-ласковым баском, каким пугают маленьких:

— Деду кланяться, что ль?

Он чуть дотронулся двумя кривыми жесткими пальцами до ее голого плечика.

— Может, когда тебе калача пришлю, — сказал он, приоткрывая свой желтый дубовый оскал.

Обернувшись к отцу, он покачал головою:

— Лихо придется. Попомните, Матвей Васильич, недалеко время — дерево радо будет корнем вверх расти, да и то не пустят.

— Ты — о ней? — спросил Матвей Васильич, обняв дочь.

— Зачем о ней? Она под крылом. Я — воп о чем!

И Евграф показал за окно на улицу.

Он ушел довольный собою, как будто ловко кого-то обошел, перехитрил и теперь раскусывал сочный плод удачи.

Недели две спустя, правдами и неправдами, Евграф добрался до Волги. Хоть он и привык глядеть на мир с молчаливым превосходством, но и его взяла оторопь: так потрясающе быстро все вокруг разрушилось, расплозлось, пришло в негодность.

Хлеба здесь было еще вдосталь, народ налетел на него, как комар на болото, но странное беспокойство волновало все эти толпы, и в человеческом взгляде мелькал огонь неодолимого испуга, точно у лошади на пожаре. Приехав сюда и найдя все, что искали, люди стремились зачем-то дальше.

Река казалась страшной. Оскудевшая, в бледно-желтых песчаных островах, она уныло держала на маловодном своем рукаве скучные, приниженные остатки флотилий. Невероятно много проступило повсюду ржавчины, черными ртами зияли пробоины в облупившихся, помятых бортах, брошенные, желтые на берегу лежали цепи и якоря.

Все происходило как будто беспричинно, и Евграф никак не мог понять, почему люди внезапно скопились у пристани, в страшных усилиях прокладывали дорогу несчетным своим мешкам к буксиру, а буксир отваливал без сигнала, выходил на середину рукава, вдруг переставал работать, и его несло течением на баржу. Он проламывал барже борт, потом приставал к другому буксиру и спускал пары. Тогда водолив на барже орал в рупор, что баржа тонет, и требовал, чтобы ее отвели в затон, а с буксира отвечали, что мол, поздно, что пары спущены и зачем-то надо мыть котлы. Народ с мешками бежал к тому месту, куда причалил буксир, и через час вдруг оказывалось, что котлы мыть не будут, и снова разводили пары. Баржа к этому времени ложилась набок, водолив с семьей выгружался на дощаник, перевозил мешки на берег, шел к буксиру и пил с матросами нарды, — самогон из арбузов.

Одним надо было ехать вверх, другим — вниз, третьи ждали перевоза. В великой путанице кто-то брал

со всех деньги и хлеб, усаживал на пароход, и пароход отходил, чтобы пристать к соседнему дебаркадеру. Тут появлялись вооруженные, силой ссаживали народ с парохода, арестовывали того, кто брал за билеты деньги и хлеб, и ничего не возвращали людям. А люди волокли свои мешки к другому пароходу, который неизвестно какой давал сигнал.

По взвозу скатывался бледный от пыли броневик, ужасающе поворачивал пулеметные жерла в слепых бойницах, и с машины соскакивали обмотанные лентами краснощекие молодцы. Они закуривали, потом, бросив машину, шли в трактир пить чай. Там к ним подсаживались другие молодцы, примеряли на себя патронташи, шупали пулеметные ленты, а у реки на подножках броневика умишались торговки и куцыми ножиками взрезали арбузы.

Устало шло к закату прощальное осеннее солнце, и с пустынного острова плыл отчаянный зов, до которого никому не было дела:

— Лод-ка-у! Лод-ка-у!

Два дня Евграф терпеливо приглядывался к суматохе. На третий он понял, что терпел не понапрасну: в толчее взвозов он разглядел малиновые околыши. Было ясно, что казаки целят туда же, куда он, — на луговую сторону, в Заволжье, в степь.

Пестрые толпы пехотинцев, перемешанных с киргизами и уральцами на лошадях, скопились этим днем у пристаней. Кавалерия рыскала за фуражом, пехота — за хлебом, казалось, что начался погром. Киргизы порубили канаты косоушки, которая почему-то мешала погрузиться на баржу. Косоушка заплыла за пристань и раздавила несколько лодок. Когда из щели между бортов стали выплывать раздробленные доски и щепы, спохватились о мальчугане, сидевшем с удочкой в одной из лодок. Стали отводить косоушку в сторону. Тогда вместе с досками выплыла удочка мальчугана, а от него самого не осталось и следа.

Но за бестолочью требований, криков, приказаний и несчастий неожиданно проглянул порядок. К вечеру

обнаружилось, что фуражу и довольствия запасено вдоволь, лошади погружены на баржу, люди имеют какие-то пропуска, что неподалеку дожидается какой-то буксир под парами и на верхней его палубе, подложив под себя коврики, сидят и молятся на закат татары. Вместе же все взятое — с лошадьми, довольствием, баржею и татарами на ковриках — имело даже название, и тут Евграф наострил уши.

«Отряд товарища Карева» — звалась эта смесь кавалерии с пехотой, и в голове ее стоял уральский казак, красный атаман, товарищ командир Ростислав Васильич Карев.

Вот это имя — Ростислав, и это отчество — Васильич, только и требовались Евграфу. Он поудобней взвалил на спину свой сундук и пошел к пароходу.

Буксир стоял третьим от пристани, отделенный обшарпанным пассажирским перевозом и наливной каспийской шхуной. На пристани толпились люди, и Евграф незаметно прошел на перевоз, с перевоза на шхуну. Она была много выше буксира. Пароход привалил к ней вплотную, сходни положены не были, сплюснутые кранцы из прутьев мерно поскрипывали о железный борт шхуны. Евграф спустил с борта ноги и приготовился прыгнуть на буксир. Тут его недружелюбно окликнули:

— Ку-да лезешь, шай-тан?

Он посмотрел в сторону. Справа от него, чуть повыше, на капитанском мостике буксира стоял татарин в золоченой тюбетейке. Он лениво улыбался, как видно давно уже приметив Евграфа.

— К товарищу Кареву, с поручением, — ответил Евграф, стараясь жестковатым голосом придать достоинство неловкой своей позе.

— Давай сюда порученье, — засмеялся татарин.

— Не басурманского ума дела, — сказал Евграф, — ступай доложи.

Татарин захохотал громче. На его смех к перильцам быстро подошел казак и звонко спросил:

— От кого порученье к товарищу Кареву?

— От брата его, Матвея Васильича, из Петербурга.

Казак помолчал секунду, потом решительно крикнул:

— Айда сюда!

Евграф прыгнул на борт буксира и снял со шхуны сундук. Проходя коридорцем между горячим машинным отделением и каютами, он должен был нести сундук в руках, боком, но даже на узкой, крутой лесенке, подымавшейся на палубу, он не расстался со своей неудобной кладью. Так, с трудом держа перед собой тяжелый, обитый крашеной жестью сундук, он очутился лицом к лицу с казаком.

Казак был молод (лет двадцать можно было дать ему по виду), тороплив в движениях и особенно в речи. Он ухмыльнулся сундуку, оглядел Евграфа снизу доверху, сощурился на золотую тубетейку татарина, сделав все это в один миг и тем же мигом задав быстрый вопрос:

— Ты кто?

Евграф — наоборот — помедлил, помялся, что-то прикинул, и весь разговор сразу обратился в столкновение медлительности с нетерпеливым, уверенным напором.

— Анатом,— сказал Евграф, тонко прищурившись.

Казака взмыло смехом. Он хлопнул себя по коленям, схватился за затылок, сдвигая на лоб фуражку, и сквозь смех громко вскрикнул:

— Вот черт! То есть — как? Что такое, а?

— Вот так... А вы, видать, Ростислав Васильич сами и будете? Признаю по батюшке, по Василь Леонтьичу.

— Да ты кто? Откуда? Что тебе поручил брат Матвей?

— Матвей Васильич велели кланяться вам и сказать, что у них все, слава богу, здоровы.

— Позволь!.. Как он мог знать, что ты меня встретишь?

— Этого они знать не могли. А только, когда прощались со мной, наказывали: увидишь, говорят, кого из наших — кланяйся и скажи, что, мол, слава богу... Я у Матвей Васильича доверенное лицо был, по анатомии...

— Ха-ха, спасибо за поклон! Да ты хитер, старик!

— Какая в уме хитрость?..

— Откуда же знаешь отца?

Евграф осторожно опустил на палубу сундук и, точно собираясь отвести душу, присел.

— Я у вашего батюшки служил до того самого года, в котором вы были родиться должны. А за вашим братцем Никитой Васильичем дядькой ходил. Я у Каревых вроде...

— Постой, — перебил Ростислав, — ты... Евграф?

— Точно так, — солидно подтвердил Евграф и уселся на сундуке поплотнее.

— Что же ты хочешь от меня?

— А вот, сделай старику одолжение, перевези на тот берег, да ежели милости будет — в Уральск доставь, по железке.

— Захотел, ха-ха! За Волгу попасть не фокус, я тебя довезу. Ну, а в Уральск... Плохо, Евграф, газеты читаешь!

Карев бегло взглянул на молчаливо улыбавшегося татарина.

— Вот что. Возьмем его в степь. Там будет видно. Ты ведь от голода бежишь? — обернулся он к Евграфу. — Решай.

— А в Уральске что? — недоверчиво спросил Евграф.

— Туда бородачи ушли, отцы.

— А сыны тут?

— Как видишь.

— Борода-то и у меня есть.

— А еще что?

— Вот сундук, — ощерился Евграф, постукивая по жестяной обивке.

— Не много.

— Куда больше!

— Ну, как же? — недовольно поторопил Карев.

— А вот так, — в спокойствии отозвался Евграф. — Отцу твоему служил, брату служил, пришла пора послужить тебе.

— А что будешь делать?

— Что скажешь, то и стану делать.

Ростислав вдруг засиял, смешно оттопыривая губы круглого рта и тараща серые, круглые, как рот, глаза. Он схватил Евграфа за плечо, потрепал его, точно коня, и выговорил торжественно, подавляя хохот:

— Отлично! Будешь у меня красным ана-то-мом!

Глава вторая

Осетр ходил из Каспия по Уралу, мимо Гурьева, мимо редких станиц, хуторов, форпостов, сквозь степь, вплоть до Уральска. Тут он стаями натывался на учуг — железную решетчатую заграду, поставленную поперек реки, от берега к берегу — и ходу его наступал конец. Осетр останавливался, уткнув морды в учуг, тупо глядя вперед, поводя костистыми плавниками, держась против воды. Вода не на много относала его (вода на Урале быстра и могуча), он наддавал хвостами и снова натывался на учуг. За лето его скоплялось здесь тьмушая тьма, он оседал своим пузатым множеством в глубокую — перед учугом — ярь, в ятовь, и в ятови залегал зимовать.

На царское багренье первую ятовь, под учугом, казаки брали в почин, а потом шли вниз по Уралу, от ятови к ятови, поднимая сонную рыбу шумом и звоном ломов из глубины на поверхность, ко льду, выволакивая осетров через проруби баграми и подбагрениками.

Сквозь ячейки учуга под Уральском мелкая рыба вольно могла проходить вверх по воде, во владенья илецких оренбургских казаков. Но осетр покрупней, настоящая рыба, промысловый улов, весь оставался перед учугом, в Уральске, у малиновых, яицких околышей и к голубым, оренбургским, не попадал.

Так было испокон века: есть уральский казак, а потом — всякие другие казаки, а потом — простолюди, мужики, иногородние. Но на первом ряду — уральский казак, и в казачьей земле все для него — по святому кресту, по праву, по закону, по царевой охоте, по

казацъей вольности — и земля, и вода, и птица в небе, и хозяйское первое слово.

Вот откуда учуг под Уральском, вот откуда мосток через весь Урал, над учугом, над ятовью, и на мостке часовой казак, с берданочкой. Часовой казак стерег нерушимый до багренья покой рыбы, богатство подго-товленного улова, сторожил залегшего в ятови осетра, поплеывая от скуки с мостка в воду и глядя на чер-ные костяные пилы осетровых горбов.

Так было испокон века, и вот как случилось в восем-надцатом году, в революцию: революция уральскому казаку стала железным учугом, перекинутым через степь из края в край, и ятовью стал Уральск, и в ятови залегли осетрами старики, отцы бородачи казаки.

Осетр знал только одну дорогу — из Каспия по Уралу, против воды, и, дойдя до учуга, не поворачи-вал назад, а утыкался острыми носами в железную решетку и залегал на зиму, чтобы выждать, переле-жать, взять свое — пойти острыми носами вперед, про-тив воды.

Казак знал одну дорогу — за святой крест, за ца-реву присягу, за казацкую вольность — и, упершись в учуг революции, залег в ятови осетром, чтобы вы-ждать, перележать, взять свое.

В ятови правил Войсковой круг. С бородачами не-мало было сынов, и сыны отлеживались бок о бок с отцами. Но ячейки учуга были не очень малы, сквозь них казаки помоложе вольно могли проходить вверх по воде, в революцию, и учуг разгородил уральцев на отцов и сынов.

С сынами, по дорогам от Покровска, Николаевска, Новоузенска, из заволжской луговой стороны в степь текло, разливалось половодье. В нем вертелся ворон-ками сор и шлак, но вода стояла высоко, поток был могуч, и сор пропадал в нем.

Железная решетка учуга изредка прорывалась; тогда, у прорыва, поток воды натывался на борода-чей, вылезших из ятови, смывал их, и прорыв наскоро штопался, починался.

Над починкой трудились разнокожие, разноязыч-ные люди — оборванные великороссийские солдаты и

татары, пришлые — с севера — рабочие и покровские хохлы, казаки, урбахские, давно не бритые немцы-колонисты и запакованные в тюфяки халатов киргизы. Судьба событий в то время решалась не здесь, в уральской степи, у черты Азии, а под другим небом, и войска, батальоны, штабы наполовину создавались так, как толпа под кровлей в ливень.

Отряд Ростислава Карева создавался по-другому, потому что в голове ходил боевой казак, и боевые казаки облепили его, как пчелы матку. Каждая часть отряда была искушена и выверена — киргизов с татарами вкрапливали в конницу не больше, чем луку в окрошку, пехоту водили строевые солдаты, и отряд легко выковывался в прочную ячейку железного учуга, перекинутого через степь, из края в край...

К исходу осени в лунные ночи выдавались заморозки, серебро ковыля и полыни порастало серебром инея, пространство степи, беззвучное, как небо, блистало зимней неподвижностью, и по таким ночам лучше всего было сидеть в киргизской юрте, у огня, в едком, теплом дымку.

Ростислав скоро привязался к Евграфу, нечаянный знакомец стал для него вроде ординарца, которому иной раз можно доверить не только запечатанный пакет, но и молодой пыл вечерней болтовни, за огнем, после боя.

Бои случались редко, войска лениво меняли позиции, скучиваясь поблизости от воды, как новоселы, оседая на реках, у котлубаней, возле скудных заболоченных родников. И, может быть, от степной скудости, из боязни потерять воду, из боязни пустыни, бои — если они случались — бывали ожесточенно кровавы. Но — по правде — кровавые университеты были пройдены и окончены много раньше в Галиции, Буковине.

Очутившись среди этих людей, Евграф опешил. Он мог бы мирно ночевать с покойником на одной полке. Но кровь, которая стекала со стола препаратов во время лекций, ничем не была похожа на красные пятна, окрашивавшие в степи серебро полыни и ковыля. Смерть как состояние была Евграфу

безразлична. Но внезапно наступавшие на его глазах смерти, всегда необъяснимый и в отдельном случае всегда бессмысленный переход от жизни к смерти смутили его равнодушие.

Он стал суеверен, как рыбак. Он примечал зори, чтоб предсказать удачу или неудачу. Он приглядывался к птицам, слушал вздохи и молчание степи.

— Чтой-то тихо стало, ветер дул, дул, а потом сразу как обрезало, — говорил он, морщась. — Накладут нам завтра...

Вечером, после стычки за маленький хутор, на новой позиции, конь Ростислава, развязав путы, подошел к юрте хозяина, мордой отодвинул ковер и заржал. Евграф спокойно вывел коня, спутал ему ноги и пустил гулять. Но, вернувшись в юрту, он многозначительно тронул Карева за плечо и спросил с расстановочкой:

— Ростислав Васильич, знаешь к чему?

— Что к чему?

— А вот конь-то.

— Ну, что — конь?

— Это он тебе встречу наржал, — произнес Евграф, прикрывая глаза.

— Брось ворожить, вещун! — захохотал Ростислав. — Я тебе расскажу про встречу — ахнешь! Ты ночью свой сундук сторожил, а мы, братец, такое откололи — страшно вспомнить. Вот это — встреча!

И он понесся в обычном своем галопе рассказа, пугаясь ужасов, о которых говорил, и тут же смеясь над своим испугом.

— Понимаешь? С вечера мы выбили беляков из хутора, опрокинули за реку, расположились, притихли. Ладно. За рекой ни гу-гу. Эге, думаю, черти! Вы хитры, а я хитрее вас! Знаем вашу повадку: с вечера тихо — в полночь жди шума. Ребята, говорю, у кого мы учились? У стариков? Ну-ка, пропишем им ихнюю науку!! Идет! А тишина-а! — слышно, понимаешь, как кони хвостами машут! Начали наши, пока луна не взошла, собираться чуть слышно, налегке — винтовочки, шашки и ладно. Оставили киргизов с конями, велели через часок подшуметь, огонек раздуть,

разлеглись, мол, как следует, понимаешь? А сами поползли на четвереньках к броду, — брод видал где? — в версте отсюда, повыше. Темень — прямо гроб! Ползут, друг дружку не видят, слышат только, как зубы от холода лязгают, вот черт! Доползли, понимаешь, до брода, оружие — на шею, взялись за руки, цепями, чтобы не оступился кто, пошли в воду. А ночь, понимаешь, перед тем как луне взойти, еще гуще! Ну, идут так, держат один другого за руки, боятся водой плеснуть, ни дьявола не видно, кругом точно саж, только на ощупь, вот так, руками, слышно, что, мол, свой рядом, ха-ха!

Ростислав закрыл ладонью рот, со свистом втянул сквозь пальцы воздух и вытаращил на Евграфа глаза. В полумраке юрты они поблескивали серебряными полтинами.

— Вот так, понимаешь? — спросил он, разводя сжатые кулаки и показывая, как казаки держались за руки в воде. Потом он поежился, словно от мороза, и захохотал.

— Идут, понимаешь, в этой чертовой саже, вода по колено, выше, по пояс, выше, вот по сих пор, выше, видят — надо винтовки подбирать, вода по грудь, брод глубокий. Розняли ребята руки, подобрали оружие, подняли его над головами, идут, понимаешь, в воде, как вплавь, ни черта не видать! И вдруг, понимаешь...

Ростислав нагнулся, выпятил подбородок, на цыпочках шагнул к Евграфу и прошипел:

— Что такое? Ничего не понять! Первый ряд, по грудь в реке, наткнулся на людей! Вот черт! Кто такой? Постояли малость, а тут задние напирают, шепчут — чего, мол, стали? А передние ни с места! Поднялся тут шумок. Сзади рядов прибывает, спереди стоят, думают — запутались, мол, как розняли руки, зашел кто-нибудь вперед, сбился с броду. А тут и впереди, против первого ряда — тоже шумок. Что за черт?! И вот в эту самую минуту луна, понимаешь, во-о!

Ростислав размахнулся, подпрыгнул и свел руки внизу, очертив в воздухе огромный круг и почти усевшись на корточки.

— Ха-ха! Из-за кустика прямо вдоль реки, вот этаким малиновым подносом! И какая штука!— с того берега прут на наших бродом старики, бороды по воде распустили, в руках, над головами, шашки, сами ни гу-гу! Ах, ч-черт, ха-ха-ха! Вот тебе повстречанье! Перехитрили! Ха-ха-ха!

— Язви ты в сердце, — тихо сказал Евграф и с опаской попятился от Ростислава.

— И пошли тут наши крошить! — нараспев протянул Ростислав. — По горло в воде, шашки накрест — вали, казаки! Вот где бы-ло!

Евграф покачал головою и сказал с сомнением:

— Заливаешь ты, Ростислав Васильич...

— Чего? — вскрикнул Ростислав. — Ах ты вещун! Спроси поди у казаков! А как же мы за собой хутор оставили? Мы их до самой зари гнали, они теперь у черта на куличках, понял? Как выжали их из воды, кинулись они к лошадям, а тут...

Тут тяжелый ковер, висевший на входе, отвернулся, и в юрту, нагнувшись, вошел молодой казак. Ростислав оборвал речь.

— Ну? — спросил он кратко.

— Там человека задержали, Ростислав Васильич, — проговорил казак, — степью, что ли, шел к неприятелю.

— Что за человек?

— А кто его знает — с сумой да с подсумком. К вам велите, или как?

— Пусть приведут.

В юрте стоял полумрак, небольшой огонь костра на земле робко озарял кошму круглой стены, дымок медленно поднимался к конусу крыши.

Евграф зажег лампу с расколотым стеклом и поставил ее на маленький, единственный в юрте стол.

Казаки ввели в юрту высокого человека и тотчас вышли. Человек устало снял с плеч кожаный ранец и опустил его к ногам, на землю.

— Кто вы такой? — спросил Ростислав, рассматривая высокую сгорбившуюся фигуру.

— Я очень устал и хочу есть, — ответил человек.

Он пригляделся к свету, различил скамью, на которой сидел Евграф, и опустился на ее край.

— Я не могу понять, по какому праву спрашиваете вы о том, кто я, — сказал он брезгливо. — На моем пути меня задерживают третий раз, допытываются, куда и зачем я иду, как будто я не у себя на родине или украл что-нибудь, потом так же бестолково отпускают, как бестолково задержали.

— А что поделаешь? — примирительно вздохнул Евграф и покосился на Ростислава.

— Вы находитесь в штабе красного отряда, который ведет вооруженную борьбу с бандами контрреволюции, — торжественно и грубовато произнес Ростислав. — Вы должны ответить, кто вы такой и куда направляетесь.

— Мне говорили о каком-то отряде товарища Карева. Вы не могли бы сказать, какой это Карев?

Ростислав сел за стол и отодвинул лампу, чтобы яснее видеть.

— Я требую прежде всего ответа на мой вопрос, — жестко вглядываясь в лицо неизвестного, сказал он.

Тогда допрашиваемый человек внезапно вскочил со скамьи и, упершись кулаками в край стола, перегнулся через него к Ростиславу. В то же мгновение Ростислав с силой вырвал из кармана своей куртки револьвер и поднял его на уровень глаз незнакомца. Евграф качнулся вперед, поближе к столу.

— Кто вы такой? — крикнул Ростислав, твердо держа оружие перед бледной мишенью незнакомца.

Так все они — втроем — простояли неподвижно несколько секунд. И в тягостном, беззвучном ожидании с белых губ одного из них слетели неуверенные, тихие слова:

— Ростислав?.. Брат?

Еще секунда прошла в неподвижности. Рука Ростислава медленно опустилась, дуло револьвера стукнулось о стол. Евграф присел на скамейку и выдал с придыханием:

— Неужто может быть?!

Ростислав швырнул револьвер, откинулся назад, уронив табуретку, схватил себя за голову.

— Брат! — пробормотал он, нацеживая сквозь зубы воздуха, точно обжегшись. И вдруг выпустил из полной своей груди какой-то воинственный и детский вопль:

— Никита! Ты!

Он бросился к брату, широко взмахнув руками, обнялся с ним, скрестив у него за спиной свои ладони, похлопал Никиту по лопаткам и уже обычным голосом, вернувшись к нему, воскликнул:

— Вот черт, ха-ха! В степи! На тыщу верст! Пять лет, ведь пять лет не видались! На тыщу верст, в пустыне, брат Никита!

Никита провел рукою по голове, улыбнулся, тихо сказал:

— А ты меня вон чем встретил.

Он показал глазами на револьвер.

— Брось, к черту, ха-ха! — кричал сквозь смех Ростислав.

Он смахнул револьвер со стола наземь.

— Дай мне напиться, — попросил Никита и опять в изнеможении опустился на скамью.

— Евграф! Устрой! Давай скорее! — торопил Ростислав.

Никита обернулся к Евграфу, молча, улыбаясь, протянул ему обе руки, и тот так же молча подержал их в своих короткопалых черствых ладонях.

— Ну, вот они — дорожки да тропы, — тихо проговорил Никита.

— Помнишь? — обрадованно спросил Евграф и, подойдя к Никите, без спроса поцеловал его в щеку.

— Дай пить, — снова попросил Никита, слабо пожимая руку Евграфа.

Евграф назидательно качнул головою Ростиславу.

— Вот тебе лошадь-то наржала...

Пока он уходил за водою, Ростислав уложил Никиту на кошму и, разглядывая брата, не переставал кружиться по юрте, взмахивать и всплескивать руками, выкрикивать односложно:

— Ах, черт! Вот черт!

Никита лежал не шевелясь. Даже в полусвете разбитой лампы видно было, как грязен его костюм, избиты и стерты сапоги. Лицо его, покрытое слоем известковой пыли, было совсем безжизненно. Казалось, он вот-вот лишится чувств.

Но холодная вода скоро оживила его. Напившись, Никита умылся. Евграф бережно подавал ему из ковша воду, потом облил его голову и, ласково ошенившись, потрепал мокрые волосы.

— Я иду пятый день и с прошлого вечера не пил, — сказал Никита. — Только было добрался до реки, как твои молодцы меня взяли.

— Да откуда ты, скажи наконец? — опять заторопился Ростислав. — Как ты сюда попал?

— Скоро месяц, как я в дороге.

— От немцев! Вот это штука! Ха-ха! Но куда же ты пробираешься? Неужели...

— Как — куда? — перебил Никита. — Я вернулся на родину и иду домой, к своим.

— Постой, постой! Ах, черт! Да ты что, ничего не понимаешь, что ли? Какие свои, где свои, вот штука в чем? Что ты там делал, у немцев?

Никита не сразу ответил, в удивлении поднял плечи и пристально взгляделся в брата.

— Как — что делал? — тихо переспросил он. — Ты должен знать, что я делаю.

Он опять немного помолчал и добавил, точно в обиду:

— Я по-прежнему занимаюсь музыкой, писал симфонию...

— Писал симфонию? — простодушно воскликнул Ростислав. — Всю войну, четыре года? И больше ничего?

— Если хочешь — больше ничего, — отозвался Никита.

На мгновение в его голосе прозвучала заносчивая досада, но он почти тотчас же снисходительно и мягко улыбнулся:

— Если не считать, что я мучился, падал духом и поднимался, что я смотрел и слушал.

Он засмеялся, и вновь проскользнула в его смехе нотка горького превосходства над братом.

Черты лица Никиты, давно сложившиеся и возмужавшие, в отдельности не были резки или приметливы. Разве одни глаза легко было запомнить — малоподвижные, как будто сонные и ленивые. Но быстрые, крутые смены чувств легко передавались всем лицом, точно просвечивая сквозь него.

Никита повторил все так же горько:

— Если не считать этого...

Но вдруг он словно разглядел Ростислава.

— Боже мой! — вскрикнул он облегченно и бросился навстречу брату. — Ростислав, чудак, да ты ведь все такой же, какой был раньше!

— Ха-ха! Черт! — захохотал Ростислав. — Да ведь и ты такой же!

Он обнял Никиту и опять, потрепывая его по плечу, хватаясь за голову, стал втягивать и глотать воздух круглым, подвижным, некрасивым ртом:

— Подумай, вот штука: на тыщу верст, в пустыне! Ха-ха!

Тогда обычные нестройные вопросы и ответы, которыми осыпают друг друга при встрече, заторкались в тесной, надымленной юрте:

— Как наши?

— Да кто? С кого начать? Наталья была на фронте, я виделся с ней. Теперь у нас, у красных!

— Матвей?

— Этот в Питере, по-старому. Евграф рассказывал — большая дочь.

— Другие сестры?

— Растерял, не слышал. Мастря поди в монастыре, ха!

— А что со стариками? Как они?

— Да что им? По правде говоря, я о них мало слышал... последний год. Я им писал, ну, а насчет ответа... Тут везде фронты, а потом... Ведь я большевичу. Думаю, папаше это не по нраву, знаешь, чай, его! Ха-ха! А ты как сам?

Ростислав приостановился и неопределенно помахал рукою над головой.

— Как тебе все это, а? Здорово, а?

Никита твердо ответил:

— Я против отца не пошел бы.

Ростислав схватился за голову и радостно закричал:

— А против брата? А? Что? Против брата или против сына пошел бы?

Никита покачал головою.

— Это все равно. Ни против брата, ни против сына, ни против отца, — строго и прямо выговорил он.

— А они пошли, они пошли, отцы пошли, вот в чем дело! — еще громче и победительней прокричал Ростислав. — И ты теперь, — я тебя понимаю, очень прекрасно понимаю! — ты теперь если с нами — должен идти против отца, если с отцом — должен идти против брата, против меня, вот! А если не хочешь ни тут, ни там, то будешь болтаться в воздухе, и тебе напиться негде будет взять, вот! Как сегодня, ого!

— Ты молод, Ростислав, — сухо сказал Никита.

Ростислав перестал улыбаться и недоверчиво поглядел на брата.

— Конечно, молод! — вновь радостно и победительно вскрикнул он.

— В этом все дело, — криво улыбнулся Никита.

— Конечно, в этом, ха-ха-ха!

— Не понимаю твоего восторга. Я знаю тебя, поэтому уверен, что ты действуешь добросовестно. Но ты, кажется, хочешь обвинить меня в том, что я не избрал, как ты, никакой стороны? Ну так вот, брат. Я пришел на родину и не нашел родины. А я хочу найти ее, потому что без нее нельзя жить, понял? Мне нечем себя наполнить без родины. Я говорю — ты действуешь по совести, ты служишь, по-твоему, прекрасному делу. Отец, наверно, тоже уверен, что служит прекрасному делу. Я не хочу вас судить, ни тебя, ни отца, потому что, пока я шел по степи, на моем пути каждый день попадались трупы. Этого, вероятно, требует прекрасное дело, твое или твоих противников, все равно. Решайте сами судьбу дела. Я служу ему постоянно. Потому что служить ему можно только делом, только тем, что умеешь делать. Для меня это

давно решено. Утверждайте ваше прекрасное дело тем способом, каким вы умеете. Я ему служу тем, что смотрю и слушаю. Ты не знаешь, что такая служба возможна, поэтому я говорю: ты молод, Ростислав.

— Ты не был на войне, — словно извиняясь, сказал Ростислав, — ты не знаешь, как это все было заверчено, понимаешь, вот так черт!

— С тем же правом я могу тебе сказать, что ты не знаешь музыки, что ты ничего, кроме войны, не знаешь и хочешь решать все войной, хотя бы с родным отцом.

— Да! — упрямо и хмуро сказал Ростислав. — Хочу решать войной. Уверен, что ты — тоже будешь решать войной.

Он озабоченно стал отыскивать брошенный на землю револьвер. Револьвер лежал у ног Никиты, и Никита поднял его и протянул брату. Ростислав вырвал оружие из рук Никиты и засунул в карман.

В эту минуту взоры обоих братьев скрестились на Евграфе.

Он давно уже вскипятит на костре чайник и сидел за столом, подувая в щербатое, струившееся паром чайное блюдо. Вид его был бесстрастен.

Взоры братьев, упав на Евграфа, прояснились, но, снова встретившись, — остыли и потухли. Каждый из них — Никита и Ростислав — точно хотел найти в Евграфе союзника, и, едва поняв это, оба с неприязнью оттолкнулись друг от друга. Евграф добродушно мочил кудрявые свои усы в чайном блюде.

— У меня есть дело, — сказал Ростислав, — я пойду. Ложись, Никита, отдыхай. Покойной ночи.

Он вышел, не взглянув на брата.

Евграф налил Никите чаю, пододвинул сухие банки и темный, гладкий, долго гулявший по карманам кусок сахара. Минут пять они молча пили.

Потом Евграф негромко вымолвил:

— Я тебя хорошо помню, Никита Васильич. Ты все, бывало, сусликов жалел. Как стукну я дубинкой суслика по башке, ты кричишь: ай!

Он укоризненно качнул головой.

— Ну? — спросил Никита.

— Что меня подгоняешь?

Евграф помолчал, шумно отхлебнул чаю и проговорил, ухмыляясь:

— Смешно, говорю, кричал: ай!

— Стар ты стал, Евграф, — сказал Никита.

— Один вишь молод, другой — стар. Поди ж ты!

Он больше ничего не говорил, крепко и недовольно запрятав в усы бесцветную нижнюю губу.

Никита лег на кошму и сразу, как камень в воду, опустился в сон...

Ростислав пришел поздно, ночью, перед рассветом. Он отдернул ковер и стал у входа. Костер притух, испепелился, но лампочка еще мигала последними вспышками фитиля. Евграф спал рядом с Никитой.

Ростислав нагнулся над братом.

Никита лежал навзничь. Чуть приоткрытый его рот казался беспомощным, женственным, губы мягко и легко вздрагивали. Но в закрытых веках и прямых бровях сосредоточивалось упорное внимание, точно Никита всматривался в какое-то отчетливое и важное сновиденье. Ростислав пристально глядел в лицо брата, близко наклонившись к нему, разгадывая смысл родных и непонятно чуждых черт.

Вдруг Никита глубоко вздохнул и открыл глаза. Томительно тихую минуту он смотрел в горевшие над ним глаза брата. Испуг и мученье искривили его лицо. Он не узнавал Ростислава и вряд ли верил, что очнулся от сна. Потом он резко приподнялся на локте и шепотом спросил:

— Ты что?

— Я уже встаю, — неожиданно для себя солгал Ростислав и тотчас, вскочив на ноги, отошел к столу и погасил лампу.

— Скоро утро? — спросил Никита.

Ростислав отодвинул ковер на входе. В юрте не стало светлее, но вдалеке небо уже подернулось бледно-желтой полосой зари.

— Я хотел спросить тебя, — выговорил быстро Ростислав, — ты окончательно решил идти к белым?

— Я иду домой, — ответил Никита. — Если бы там стоял ты со своим штабом, я все равно пошел бы туда. Мне нужно работать.

— Ах, что ты говоришь! — с болью вырвалось у Ростислава.

Никита поднялся с кошмы, неуверенно ступая в темноте, приблизился к брату, нащупал его плечо и притянул к себе.

— Милый Ростислав, напрасно ты... ну, как сказать? Право, нам не следует ничего решать. Давай пойдем каждый своею дорогой. Уверяю тебя, я ничего не хочу и не могу делать, кроме своего дела. Я не могу отказаться от него. Иначе вся моя прошлая жизнь станет бессмысленной дурью! А мне сейчас кажется, что она наполнена таким значением!

— Как хочешь, — глухо сказал Ростислав и высвободил плечо из рук брата. — Только понимаешь...

— Я не осуждаю тебя, нет, нет!

— Да не в этом дело! Не все ли равно, кто кого осуждает?! — вскричал Ростислав.

Было слышно, как он, захлебываясь, набрал в грудь воздуха и выпустил его, как будто собрался горячо говорить и мгновенно раздумал.

— Ты не причинишь нам никакого вреда? — сдержанно-тихо спросил он.

— Я не понимаю...

— Ну, черт, как это? Я хочу... Ну, видишь ли, там, у белых, ты...

— Можешь быть спокоен, — сухо сказал Никита, — я ничем не буду полезен ни белым, ни вам. Можешь...

— Ладно! — коротко и громко оборвал Ростислав. — Тогда тебе нужно поскорее уходить, до рассвета.

— Ты должен распорядиться, чтобы меня отпустили.

— Я не задерживаю тебя, — отрезал Ростислав и широким, сильным шагом вышел из юрты.

Несколько минут спустя он ввел в юрту казака и велел ему подождать.

Он долго возился с фитилем лампы, стараясь разжечь его.

— Тебе посветить? — спросил Никита.

— Пожалуйста.

— Вот пропуск, — сказал он, протягивая бумажку казаку. — Только... понял? Шито-крыто!

— Индульгенция? — усмехнулся Никита.

— Что это?

— Католические попы выдавали такие свидетельства об отпущении грехов.

— Ты ни в чем не грешен, — коротко сказал Ростислав.

Никита взялся за свою поклажу. Она была невелика: к ранцу германского военного образца подвешивался подсумок с хлебом, сухарями и чайник. Никита надел ремни на плечи, попробовал, хорошо ли сидит ранец, и протянул брату руку.

— Спасибо, Ростислав. Прощай.

— Прощай, — отозвался Ростислав и пожал руку.

В молчании все вышли из юрты. Следом за ними тотчас вылез Евграф. Он поднялся с кошмы так тихо, что стало ясно: он слышал весь разговор братьев и притворялся спящим.

Казак повел Никиту вдоль берега реки, к броду. Рассвет уже давал себя знать, быстро уходявшие люди были видны отчетливо.

Тут внезапно заволновался Евграф. В растерянности он взглянул на Ростислава, потом вслед Никите и хрипло, почти безголосо вскрикнул:

— Никита Васильич, постой! Постой минутку!

Он тяжело сорвался с места, но, не добежав до Никиты, остановился, посмотрел на Ростислава, будто колеблясь — вернуться ему или догонять Никиту.

— Подсумочек-то у его слабо привязан, подтянуть надо! — закричал он не то Ростиславу, не то провожавшему Никиту казаку.

Он опять сорвался, зачем-то махнул рукою и побежал за Никитой.

Догнав его, он старательно притянул подсумок к ранцу, ощупал ремни и, дотронувшись до плеча Никиты, сказал с ласковой серьезностью:

— Теперь ладно, ступай с богом.

Никита потянулся обнять его, но Евграф огстринился и со строгим, исполненным достоинства лицом зашагал назад к юрте.

Тогда, увидев все еще стоявшего около юрты Ростислава, Никита крикнул:

— Нашим кланяться, что ли?

Ростислав быстро повернулся и скользнул в юрту, но почти в то же мгновение выскочил снова наружу и, подняв над головою руку, помахивая в такт своим словам, ответил раздельно и громко:

— Ну, какой разговор! Конечно, кланяйся отцу, и маме, и всем, кто там из наших!..

Он опять юркнул за ковер.

Евграф обернулся, приостанавливаясь, снял картуз.

— От меня Василь Леонтьичу поклон, — сказал он степенно.

Глазки его остро, по-стариковски, засветились, он высморкался и стал неподвижно смотреть вслед уходившему Никите.

Глава третья

Когда-то, от скуки, Варвара Михайловна выписала пишущую машинку «ремингтон», немного поучилась писать, потом забросила. Машинка стояла на прилавке, неподалеку от кассы, в том узеньком неудобном уголке, откуда железная дверь выводила в жилую половину шерстобитовского дома. В этом уголке вокруг кассы любил вертеться и проявлять расторопность Витька.

Изредка, по утрам или к вечеру, в часы малолудия и вялой торговли, Витька подбирался к пишущей машинке, вкладывал в ролик листок оберточной бумаги и задумчиво выстукивал указательным пальцем: «Виктор Иванович Чупрыков. Витя. Витька. Витька Чупрыков. ?§%/о...» «%/о... Варенька. Варюша Шерстобитова... В. Чупрыков: % % ?? §§» «... В. Чупрыков. Варенька. В. Чупрыкова». И так раз по сто.

Ему никто не мешал, в магазине раздавались привычные позвякивания гирек по медным чашкам весов, он погружался в мечтательность, подергивая пальцами кончик своего носа и тонкие, круто вырисован-

ные ноздри. Желтенькие глазки его, как замороженные, впивались в последние слова, отпечатанные на обертке: «Варенька. В. Чупрыкова», слеза застлала ему взор, он всхлипывал, точно во сне, и еще более задумчиво печатал: «В. и В. Чупрыковы».

Если поблизости оказывалась Варвара Михайловна, она потихоньку подходила к Витьке, заглядывала через его плечо на бумагу и, расхохотавшись, громко, на весь магазин, восклицала:

— Ах, какой ты дурак! Вот дурак!

В смехе ее, несмотря на выразительность «дурака», бывало немало добродушия, и Витька обижался только для виду, в расчете побольше развеселить хозяйскую дочку.

Он жил в долголетней и безошибочной уверенности, что главное в его отношениях с Варварой Михайловной — веселость. С ребячьей поры он изощрялся в проказах, шутовских придумках и затеях, чтобы укрепить, связать потуже свой необычный союз с Варенькой.

Тоска, тошища без конца, без краешка, отчаяние озорства, высмеянная страсть, нелепая чувствительная мечта и скрытый заветный расчет — все перепуталось в этом союзе.

Он был торжественно — о да, почти торжественно — заключен давным-давно, едва начались поездки на Чаган и Урал, пикники с офицерами, сватовство купеческих сынков, гулянья в коммерческом клубе и войсковом собрании, едва Вареньку, Варюшу, Варю приказчики называли уважительно Варварой Михайловной.

Торжество случилось летом, на луке, в путаных зарослях ежевики, в знойной полуденной истоме. Варенька захватила с собой бутылку портвейна и пачку печенья. Витька был принаряжен — в парусиновом пиджачке и с пенсне на боковом кармашке. Пенсне он незадолго до того приобрел, уверяя, что у него болят глаза от солнца. Но нос его был плохо приспособлен для такого украшения, и он накалывал пенсне английской булавочкой на кармашек.

Сначала собирали по кустам ежевику, потом, развалившись под деревом, распили портвейн. Вино было теплое, Варенька щедро наливала в стакан, и Витька быстро пьянел.

— Я вас очень обожаю, Варюша, — говорил он блаженно, растирая по лицу клейкий, блестящий пот, — не в сравнение больше других. Другие, может, подлаживаются, а я чувствую. И вы это замечаете и выделяете меня из толпы, а я опять же это чувствую, потому что не как все, а не в сравнение тоньше.

— Тонко, что говорить, — ухмыльнулась Варенька.

— Я, Варюша, отлично понимаю, что на вас редкий который может угодить. У вас желание высокое и вся вы так и рветесь.

— Ха-ха! Рвусь! Ну, на, выпей!

— Я вас понимаю, потому что не как все, — продолжал Витька.

Он выпил, лицо его покрылось малиновыми пятнами, глазки растроганно лучились.

— Я с детских лет, Варюша, был ребенок беда какой смекалистый, и ум мой был особенный. Например, я вам расскажу случай из жизни. Лет десяти от роду приходит мне мысль — а что такое фамилье? Вот там Петров, Сидоров? Я долго над этим думал. Вроде как воздух — ни пощупать, ни увидеть, а без него жить нельзя, без фамилья. У нас в городе, помню, очень меня одно фамилье удивило. Галкин-Враский. Богадельня была Галкина-Враского, я мимо ходил, читал и думал. Я уж тогда грамоте хорошо знал. Вот я и решаю — врешь! Там Петров, Сидоров, как хотят, а я свое фамилье должен держать твердо! Чупрыков! Вот я тогда беру кусок сыромятной кожи, пишу на нем мелко «Чу-пры-ков» и потом режу наскрозь ножиком. Два дня резал. Получилось тонко, как кружева: Чупрыков. Тогда я это на снурок и на шею, рядом с нательным крестом. Так всю жизнь носил и сейчас ношу, а умирать буду — сыну отдам, пусть тоже носит. Вынул, посмотрел — это я, Чупрыков, буква в букву. Воздух? — ан нет! — кожа! не сно-

сится, не пачпорт, который всякий может подделать. На груди ношу, освятил сердцем, вот...

Витька расстегнул ворот рубахи и вытащил из-за пазухи два шнурка. На одном болтался серебряный крестик, на другом — засаленный черный лоскут кожи, длиною с вершок, в мелких петлях и отверстиях. Витька подполз к Вареньке и показал талисман. Она засмеялась. Он довольно и обрадованно заворил ей беззвучным, дробным смешком.

— Я человек не как все, — опять начал он, — поэтому я вас понимаю, как вы рветесь от тоски и в поисках счастливой жизни. Я вас очень обожаю, но не всегда смею сказать о своем сердце. Если бы вы захотели, Варюша, я бы вам не то что все свое счастье, которым вы меня можете уделить и которое я сам, своими силами, располагаю отроду...

У него заплетался язык, он насилу ворочал во рту слова, но его глазки живо прыгали по лицу Вареньки, и чтобы легче выразить чувства, он изо всей силы вертел на пальцах шнурки с крестом и талисманом.

Тогда Варенька, сощурившись на Витьку, неожиданно предложила:

— Витька, давай побратаемся?

Он не сразу понял, взялся за стаканы и бутылку, пробормотал совсем пьяно:

— Брудершахт? Давно стремился, обожаемая Варюша, мечтал назвать вас «ты», но из обожания к тому, что красота и вид... хозяйский вид, и мое преданное вам сердце...

— Постой молоть, — оборвала его Варенька. — Я говорю, давай брататься. По правде, как следует, поменяемся крестами, и ты мне будешь родной брат, я тебе — сестра... Хочешь?

Она откинулась немного от Витьки, сидя на коленях и упираясь в землю кулаками, позади спины. Так ей было удобно рассматривать Витьку, и она с какой-то хищной серьезностью следила за малейшим его движением. Солнце падало ей на лицо, чуть открытый рот поблескивал ровной полосой зубов, брови лоснились глянцевою, темной краской.

Витька побледнел. Малиновые пятна исчезли с его лица, глазки замерли, остановились, он медленно поднялся на ноги.

— Крестами меняться? — глухо и точно в испуге произнес он, глядя в землю. — По правде? Большой ответ перед богом.

Он даже прикрыл пальцами рот, выдыхая последние слова.

— Боишься? — подзадоривая, строго спросила Варенька.

Он оторвал глаза от земли, глянул на нее и вдруг повалился на колени.

— Слепила! — вскрикнул он, протягивая руки к Вареньке и закрывая глаза.

Она усмехнулась и с отвращением, словно топча каблуком гада, выговорила:

— Трус! Притвора!

Но Чупрыков совсем протрезвел и, кажется, был глубоко потрясен. Стоя на коленях, он стаскивал через голову шнурок с крестом, торопясь отпутать его от талисмана, и бормотал:

— Истинный бог, — слепила, красота моя, Варенька! Готов, счастлив по гроб жизни, как преданный пес, как собака на верность, на службу, любовь, крепче кровного брата, как пес, на, на, на!

Он стянул с себя крест и совал его Вареньке, подползая к ней на коленях.

— На, на, на!

У Вареньки дрогнули уголки губ, но она сдержалась и неторопливо начала снимать с себя длинную тонкую серебряную цепочку с крестом. Цепочка зацепилась за косу, собранную в большой узел на затылке. Варенька медленно отцепляла волосы, подняв высоко локти, и, не отрываясь, прищуренно глядела на Витьку.

Он все еще стоял на коленях и на вытянутой руке держал свой крест.

— Встань! — сказала Варенька.

Витька послушался. Она надела ему на шею свой крест и взяла себе Витькин засаленный короткий шнурок.

— Фу, какая грязь! — поморщилась она.

Витька, плотно прикрыв слезившиеся глаза, усердно облобызал свой новый крест, сунул его вместе с талисманом за шиворот и осмотрелся. Словно соображая, что следовало теперь делать, он отколол от кармашка пенсне и насадил его на нос. Чтобы оно не свалилось, Витьке пришлось откинуть назад голову, и, стоя так, он произнес с внушительной, торжественной расстановкой:

— Теперь мы с тобой, Варя, кроме бога, неразлучны на всю нашу счастливую жизнь вместе.

Тогда Варенька, всплеснув руками, повалилась в ежевичную чашу, подняв упругую ее путаную рыже-зеленую постель, и хохот, режущий дальнзвучным своим звоном, хохот, повторяемый зарослями луки, вырвался из ежевики, взмыл кверху и пошел катиться по Чагану. Витька видел только ладони Вареньки да дрожащие оборки ее платья: упав, она не в силах была выпутаться из зелени, смех катал ее по земле, кусты ежевики, высвободившись из-под ее тела, распрямились и закрыли Вареньку почти наглухо. А она все хохотала, подергиваясь, вздрагивая, с шумом набирая воздух и выбрасывая его в высоком, сильном звоне смеха.

Витька отвернулся к реке, сделал обиженное лицо и стал ждать.

— Значит, это все было в насмешку? — спросил он уязвленно, когда Варенька выпуталась из ежевики и подошла к нему.

— Нет, это было серьезно, — ответила она. — Но ты непозволительно смешон, братец родимый!

И опять захохотав, в усталости, измученным смехом, она простонала:

— Ох, сделай милость, убирайся вон за кусты, ступай! Я хочу купаться.

Лениво, как человек, изнемогающий от жары, она сняла платье и пошла в реку. Берег был отлог, глиняная коса, образовавшаяся на повороте, покато уходила в воду, и, долго ступая по мягкому дну, Варенька как будто оставалась над водою во весь рост.

Она купалась не спеша, медленно опускаясь в глубину, снова показываясь над водою, и так же медленно вышла, искупавшись, на берег.

Надевая платье, она расслышала позади себя хруст кустов, спокойно обернулась на него и увидела Витьку, вылезавшего к ней из тайника. Она не сомневалась в том, что Чупрыков подглядывал за ней, но вид его изумил ее.

Витька опять покраснел, точно портвейн заново ударил в него хмелем, малиновые пятна пылали на его щеках и лбу, глазки вертко суетились, рот был растянут неподвижной улыбкой. Он приближался к Вареньке, странно приковыливая, в какой-то игривой и настойчивой присядочке, и видно было, как в приоткрытом рту у него подпрыгивал беззвучно язык.

— Ты что? — спросила Варенька.

Но он только мигнул желтыми своими глазками и продолжал двигаться все с той же присядочкой. Подойдя к Вареньке, он протянул ей руки, и она увидела, как пальцы его нервно вздрагивали, словно через них пропускали ток.

Она ударила его по рукам, потом, немного выждав, — по лицу. Удар был сильный, не женский, наотмашь, и звук его через мгновение повторило эхо, чмокнув где-то в луке.

Варенька неторопливо отвернулась от Витьки, одернула свое платье и пошла прочь, к тропинке. Сделав несколько шагов, она обернулась и сказала:

— Ведь мы побратались, Витька, а не поженились!

И, засмеявшись негромко, скрылась в деревьях.

Витька только махнул рукой, сел наземь и закрыл лицо...

Так печально окончившееся братание должно было бы сильно разочаровать Витьку, умерить его пыл, изменить планы насчет хозяйской дочки. Но он продолжал вожаделенно вздыхать и поглядывать на Вареньку с покорной, грустной мечтательностью. Смех

ее воодушевлял его. Смеется — значит, не скучно, не так скучно, как с женихами из иногородних, с ухажерами и франтами из казаков. Смеется зло, издевается? Еще лучше: злоба человека вяжет, а перенести издевку — чего проще? Главное, чтоб не было скучно с ним, с Витькой, и чтобы было поскучней без него.

Но тут он мог быть почти совершенно спокоен: скука стояла вековая, фундаментальная, кондовая.

Жизнь перекатывалась неповоротливым снежным комом по торговле, вокруг торговли, облипая, обрастая торговлей, уходя в торговлю без остатка. Ком равнялся, набухал и таял не по зимам и веснам, а по ярмаркам, по базарам, по тому, бывали ль пустые, или полные палатки, шел ли подсолнух, или вобла (казаки говорят — «лобла»), по тому, куда поехали за товаром — в Самарканд или в Нижний, куда товары повезли — в Лбищенск или в Гурьев.

В Самарканд или в Нижний ездил сам Михаил Гаврилович (брал с собой раза три Вареньку, но потом перестал: не уследишь!), привозил из Самарканда сабзу, изюм, курагу, пастилу, сушеные фрукты — вагонами, возами, тысячами пудов; из Нижнего — сахар-рафинад и сахарный песок, патоку, масло, мыло и духи — водою и степью, поездами и гужом, тысячи и еще раз тысячи пудов.

В Гурьев, на ярмарку, ездили приказчики, степью, пустыней, долгими неделями, с десятками подвод, с караванами верблюдов, везли, тянули, волокли патоку, рафинад, парфюмерию, бакалею, распропадались, набивали карманы, жирели, обрастали корою пыли, ворочали, катали неповоротливый ком своей и чужой жизни вокруг торговли, товаров, хозяйских денег.

Иногда в Уральске появлялись странствующие приказчики, которых звали вояжерами, произнося не «жор», а «жер», как Евдокия Петровна произносила не «солёненький», а «солененький», — вояжеры от Брокера и Сиу, от Жоржа Бормана и Катыка, скоро-

палительные, любезные Зайчики, Соломоны, Тютю-
ковы и Коганы. Они чуть свет оставляли в магазине
визитные карточки из бристольского картона:

Леопольд Сигизмундович Шавер

Представитель парфюмерной фабрики Ралле

приписывая чернильным карандашом:

будет в 12 часов дня и желает говорить самог●
Михаила Гавриловича.

С уважением *Шавер*.

К полудню магазин набивался покупателями. Кир-
гизы задумчиво брали с прилавка и обнюхивали тю-
бики чаю, казачка с фарфоса приценивалась к жам-
кам и боязливо смотрела на «самого», распускавшего
гашник, чтобы вынуть из кармана кошель с деньгами.

— Хозяин, — застенчиво мялась казачка, — го-
стинчику бы ребятишкам-то, жамочков...

— Чего еще? — рычал казак. — Бабу только
возьми, сейчас на гостинцы глаза пялит! Не надо.
Взвесь-ка вон сабзы.

И вот трескучим метеором пролетал по магазину
вояжер Леопольд Сигизмундович Шавер, рассекая
толщу киргизов и казачек, мимо жамков, сабзы, ку-
раги — за прилавок, к Михаилу Гавриловичу, писал
заказ, подносил Варваре Михайловне флакон наилуч-
ших духов и улетучивался, распустив позади себя
быстро тающий, пахучий, душистый, помадный, мыль-
ный хвост.

А скука по-прежнему стояла краем угла шерсто-
битовской жизни, и жизнь накатывалась комом во-
круг торговли, товаров и денег.

Но — должно же было так случиться! — несмотря
на прочность скуки, несмотря на неудачи множества
Варенькиных женихов, Витьку тревожило неумное
давнишнее беспокойство. Иной раз, постукивая на
«ремингтоне», он томно расплывается в улыбку, от-

четливо представляя себе, как Варенька, соскучившись сидеть в старых девах, из озорства иль по капризу вышла за него замуж, как он сделался доверенным Михаила Гавриловича, как потом, попозже, перекрашивают на магазине вывеску, замазывая «Шерстобитова» и выводя золотом по черному: «Чупрыков». И в этот сокровеннейший момент, за «ремингтоном», словно что-то уколает Витьку в самое сердце: Карев!

Вот откуда чудилась ему опасность, вот что одним мановением стирало начисто золотую роспись черной вывески.

Мудрено было Витьке, который знал Вареньку до кончиков волос, до ноготков, мудрено было не видеть, как преображали ее нечаянные, редкие встречи с Каревым, не чувствовать, какое волнение билось в ней, когда появлялся злосчастный музыкант.

Она не позволяла Витьке говорить о Кареве, как будто Чупрыков мог загрязнить это пустое имя тем, что его назовет. О нем никто не смел говорить. Она берегла это имя для себя одной, не произнося его на людях, она молчала о нем, точно о тайне, хотя все кособокие старухи в городе шепотом источили на этой тайне свои языки.

О Кареве боялась заикнуться Евдокия Петровна, о нем помалкивала вся дворня, а он вершил судьбу драгоценного существа, к которому тянулось, льнуло столько разных, завидных жизней.

«Может же человек напустить на себя такую блажь, — думал Витька о Вареньке, ворочаясь у себя на тюфяке. — Мало ей оравы офицеров, чинуш да купчишек, что бегают за ней по Михайловской? Понадобился, пострели его заразой, этот чистоплюй, присосалась к нему, как муха к молоку!»

Раз выдался случай заговорить с Варенькой о музыканте, да и то Витька не порадовался.

В последнее перед войной багренье Чупрыков как будто доглядел между Варварой Михайловной и Каревым непоправимый раздор. Витька был на реке, видел, как бросилась бежать от Никиты Варенька,

знал, что после того она заперлась у себя в комнате и ни с кем не говорила до вечера.

Тогда, улучив минутку, в темном закоулке, в сенях, он решился вылить всю душу.

— Зря ты извела себя, Варюша, — говорил он, дрожа от холода, страха и нетерпения. — И напрасная твоя слабость к этому человеку. Я ведь все давно вижу и понимаю. Чупрыков смышлен! Я скажу, у тебя вовсе к нему не любовь, а зависть. Вот, мол, какой, не такой, как все другие. Он там и по разным городам бывает, и за границей живет, и учен, и умен. Вот это откуда, от зависти, а выходит слабость. А потом от обиды. Ты себя пересилить не можешь, досаду свою, что все перед тобой ковриком расстилаются, а он вильнет пяткой — и нет его, а ты в обиде. Ты послушай, я тебе друг и наместо кровного брата, я тебя жалею. Брось ходить за ним. Он чистоплюй, отцовские деньги пропиликал на скрипке, это я знаю, над ним все казаки смеются. Его родной отец камертоном зовет, не считает за человека. А тебе разве такой нужен? Да ведь ты, если захочешь, найдешь себе...

Витька поперхнулся и смолк. В темноте перед ним светились большие неподвижные глаза.

— Кончил? — спросила Варвара Михайловна.

Он молчал.

— Ну, так пошел вон! — проговорила она твердым, сдержанно-ровным голосом. — Да запомни навсегда: если мне Никита Васильич скажет слово, я все сделаю. Его дырявый сапог дороже твоей целой башки! Пошел!

С тех пор Витька не поднимал о Кареве разговора, и Варенька ни разу не напомнила своему братцу отчаянного его бунта против чистоплюя.

Почти пять лет шло старым чередом, так что Евдокия Петровна выплакала реки слез, убиваясь о дочери, отвадившей от дома женихов.

Варенька словно забыла думать о Никите Васильиче. Дружба ее с Витькой еще больше упрочилась, он постепенно вошел в доверие к Михаилу Гавриловичу, ходил по-хозяйски степенный, распорядительный, упиваясь благополучием и надеждами.

Но, поистине, человек строит свою судьбу на песке.

Когда казаки залегли осетрами в Уральске, распространяя сонливую рыбью уверенность, что все обстоит великолепно, что никакого бунта в Яицком кругу не предвидится, что революция — дело иногороднее, мужицкое, не казачье, что, коснись живота, — они за себя постоят, что надо, мол, только выждать, отсидеться, — вот в это время на Варвару Михайловну напала необыкновенная радость. Все в ней ликovalo, переливалось весельем, цвело, как весной рдело. Чем туже зажимали осажденный город сетью учуга, чем круче сковывал мороз притихшие дома, тем восторженнее становилась Варвара Михайловна, точно близившаяся, наступавшая гроза восхищала ее дух.

Один Витька угадал верно, откуда дул ветер, и сразу присмирел, заскучал, поник: в городе появился Никита Васильич Карев. Витька, впрочем, не знал, что возлагала Варвара Михайловна на пребывание в Уральске Карева, и никак не мог доискаться, видела ли она его, говорила ли с ним, или узнала о его приезде стороной.

Варваре Михайловне удалось встретить Никиту, и встреча эта, как всегда, произошла случайно, мельком, на ходу.

Странно было, что, не видясь с Никитой годами, живя особой, отгороженной от него семью городьбами жизнью, Варвара Михайловна встречала его так, словно только что рассталась и продолжает прерванный разговор. Наверно, она действительно не расставалась с ним никогда, нося его с собой, в своем упрямом молчании.

На этот раз он первый окликнул ее, и, может быть, оттого она не справилась с волнением, улица поплыла перед нею, и Никита показался ей каким-то сияющим, большим и счастливым.

— Надолго? — спросила она, почти задыхаясь.

Он уплывал от нее вместе с улицей, сверкая непонятной улыбкой, и, чтобы удержать, не пустить его, чтобы поспеть услышать его голос, она протянула к нему руки.

Но Никита не торопился уходить, он стоял против нее, лицом к лицу, непонятно улыбался и медленно поднимал ее руки к губам. Он поцеловал руки по очереди, сначала одну, потом другую, туго прижимая ко рту и ласково глядя в глаза Варваре Михайловне. Это было невнятно и зыбко, как во сне, и как во сне безостановочно струилась улица, и Никита то уплывал с нею, то до боли ясно появлялся перед глазами, близко-близко к лицу. Она расслышала какие-то слова о работе, о рояле, который где-то хорошо стоит, о Чагане и луке, все это сбилось в кучу — рояль, Чаган, лука — и только одно сверкнуло в сознании: надолго, надолго!

Варвара Михайловна придвинулась к Никите и — не зная зачем, с какою целью, вряд ли понимая, что за смысл вкладывала она в свои слова — быстрым, настойчивым шепотом спросила:

— Если придут красные, останетесь?

— Останусь, теперь останусь, — ответил Никита.

— До свиданья! — крикнула она, словно в беспамятстве...

Встреча произошла в осеннюю стужу, ветер был злой, степь дула на город предзимьем, но Варваре Михайловне стужа обернулась оттепелью, день затеплился солнцем, и мартом потянуло из степи. И так пошло: ноябрь — апрелем, декабрь — маем, снега — как молодые травы, и бураны — как весенние дожди, и треск морозов — слаще пенья птиц...

По ночам стала слышна канонада, орудия звенели в морозе железом об лед; осетры похаживали по ятови, поднимались на шум; лед ломало, шум возрастал; осетры били хвостами; лед рвался, железо звенело в трещинах; осетры кучились в великое множество, пилами спин царапали лед; тогда в трещины, в проруби, в ямы просовывались багры и подбагреники и распарывали осетрам животы.

Начиналось последнее великое яйцкое багренье: сыны артельно багрили и подбагривали в яйцкой ятови кровныххотцов. А у Варвары Михайловны шла весна: и впрямь ведь ломало лед! Со звоном, скрежетом бушевал на Урале, над ятовью, неудержимый ледолом.

И вот сначала прошла молва, что город собираются сдать, потом город стал набухать казачьими полками, сотнями, обозами, как набухает каша в печке, потом начал пустеть, опустошаться, пока не наступил последний час.

В этот час у Шерстобитовых горячкою горела работа.

Ни в один торговый день не случалось на дворе такой кутерьмы из саней, долгуш, верблюдов и разномастных лошадей; ни на одну ярмарку не вывозилось таких гор товаров; ни разу на воздвижение — в капустный огуречный праздник — не выкатывалось столько кадок, кадушек, бочек и бочонков. Закручивали, вязали, забивали гвоздями, перекачивали насосами, пересыпали, перекладывали, утряхали, мяли, стягивали, зашивали; тянули, волокли, катили бочки, кадочки, мешки, рогожи, ящики, тюки, кули; громоздили, наваливали воза, вьючили обросшие шерстью верблюжьим горбы; уставляли рядком на долгих санях запертые замками сундучки, сундуки, сундучища.

За воротами выстраивали подводы в длинный обоз, верблюдов — в унылую, ровную цепь каравана.

Палатки стояли настежь, двери кухни, магазина, жилой половины мотались, взвизгивали, стучали поминутно.

Михаил Гаврилович молчаливо поглядывал на кутерьму, товары, тысячи пудов товаров привычно и послушно повиновались его молчанию, его иконописному, тишайшему бесстрастию. Он кашлял изредка, тогда от одного воза приказчики бросались к другому, а Михаил Гаврилович отворачивался в сторону, точно смущенный правильно понятым бессловесным своим приказанием.

Все меньше и меньше оставалось вокруг Евдокии Петровны мамок, теток, нянюшек. Сашеньки, Настеньки, Сильверстовны разбегались, прятались по щелочкам, норкам, от страха, от греха, от ответа, натаскав, наворовав себе по палаткам и кладовушечкам полотна, платков, шелков да тряпок, про запас, про черный бабий день. Только две-три круглых дуры — косоротые да косоглазые — топтались над сундуками,

с причитаньями вынимали из киотов иконы, завертывали их в скатерти, салфетки, полотенца.

Евдокия Петровна добрейшими своими синими глазами, сквозь слезы, жалеючи смотрела на опустевшие комнаты, в изнеможении от толщины и усталости присаживалась в кресло, но тотчас подымалась и впопыхах совала в сундуки ножи, ложки, подушки, одеяльца, драгоценности и мусор вместе, только бы побольше насовать, побольше взять с собой.

Наконец не оставалось уже ни одной минуты, медлить стало нельзя (да и не увезти было всего с собою): обозы, караваны товаров и всякого добра тронулись в путь — в снега, в пустыню, за Урал.

К подъезду подали вместительный возок, бог знает откуда вырытый, похожий на свадебную карету елизаветинских времен — с дверцами, с козухом над высокими козлами, с подножкой позади кузова, на полосьях. Поверх возка поместили иконы, увязанные в скатерти, огляделись, зашли в комнаты, присели кто на чем мог, помолчали, поднялись, и Евдокия Петровна, колыхаясь от одышки, сказала через силу:

— Ну, одевайся, Варюшенька, закутывайся лучше, храни тебя мать божия. Поди я тебя перекрещу.

Варвара Михайловна подняла к груди руки, сложив их крестом, и спросила:

— Все готово? Собрались?

Она вдруг побледнела, рванулась к матери, точно падая, и быстро, сдавленно проговорила:

— Благослови меня, мамочка. Счастливой вам дороги. А я... я остаюсь.

Евдокия Петровна вскинулась, часто затрясла руками над головой, в ужасе отмахиваясь от дочери, и, как была, с открытыми глазами, застланными слезами, не вскрикнув, упала навзничь.

Витька, все время суетившийся около сундуков, пока укладывались, кинулся первый на помощь хозяйке. За ним бросились с воплями старухи. Евдокию Петровну кое-как подняли, положили на кровать, посланную одним тюфяком. Витька крикнул:

— Зеркало, зеркало! — и вылетел за дверь.

Старухи принялись расстегивать на Евдокии Петровне воротник, кто-то побежал за водою.

Только двое оставались без движения: Михаил Гаврилович и его дочь. Она стояла одеревенелая, прямая, все еще держа на груди сложенные крестом руки. Михаил Гаврилович молча глядел на нее, мигая слезившимися, красными глазками. Так прошло с минуту.

Старухи, ворожившие над Евдокией Петровной, взвыли и рухнули на пол, ухватившись за край тюфяка.

Михаила Гавриловича передернуло, он подошел к кровати, наклонился над женою.

В этот момент вошел кучер и, стукнув ного об ногу, спросил:

— Ну, как, пора, чай бы, трогаться?

Тогда Михаил Гаврилович оторвался от кровати, густо, тяжело кашлянул, поднял кулак и пронзительным тенорком завизжал:

— Мол-чать!..

Выйдя на середину комнаты, он страшно махнул кулаком туда, где недвижно вздымалось тучное тело его жены, потом — на окна, на дочь, на кучера, и тем же визгом начал сверлить оцепенелую тишину:

— Взять! Взять! Ничего не оставлять собакам! В простыню! Завязать в простыню! Взять в степь, отвезти в степь. В простыню! Молчать! Ничего собакам!

Витька, убежавший за зеркалом, вернулся с пустыми руками, но, повертевшись, изобразив страшный испуг, тут же откуда-то раздобыл простыню.

— Завернуть! Завернуть с головой! — кричал Михаил Гаврилович, вертя указательным пальцем в воздухе и подергивая головой. — Завязать! Отнести в возок! Положить в возок! Завернуть в степь! Отнести с головой!

Крик этого человека, молчавшего чуть ли не всю свою жизнь, был настолько неожиданным и страшным, что ему повиновались и безумные распоряжения выполняли поспешно.

Евдокию Петровну обернули простыней, вынесли и усадили в возок. Михаил Гаврилович помогал на-

крывать жену шубой и подсовывал ей под ноги коврик, точно она могла замерзнуть.

— Взять, взять! Ничего собакам! — кричал он, смутно озираясь налитым кровью взглядом.

Витька забежал в комнату.

Варвара Михайловна стояла по-прежнему одеревенело.

— Ты в уме? — выпалил Витька, сжимая ее локоть.

Она вздрогнула, повела на него глазами и жалко улыбнулась.

— Ну, — махнул он рукой, — дочка батюшки стóит!

Он бросился к окну и выглянул во двор.

Из ворот выезжал возок, поворачивая следом за ушедшим караваном, и на подножке возка, держась за раскрытую дверцу, стоял Михаил Гаврилович Шерстобитов и что-то яростно выкрикивал, потряхивая бородой.

Глава четвертая

Да, день был злой, степь дула уже предзимним холодом, стужа сурово обдирала остатки сухой листвы на деревьях, сады и луга оголились.

Но в сосредоточенном теплом внимании Никита обходил каревские владения, от берега Чагана до питомника рассад, пристально, любовно осматривая знакомые тропинки, улыбаясь воспоминаниям, почти осязая их грустную бесплотную ткань. Он был один на протяжении верст, сады давно были покинуты людьми, все казалось диким, нелюдимым.

Никита подошел к дому. Двери были наглухо забиты, окна перекрещены узкими тесинами. Он заглянул через стекло в комнаты.

Вот здесь, на том столе, Василь Леонтьич церемониально раскрыл черный скрипичный футляр, и Никита в ужасе увидел большую, полированную, настоящую скрипку. Отсюда, с этого места, начался его путь, его музыкантский послух. Вот в этой комнате, за тем окном, Никита в мальчишеском исступлении

впервые пробовал выразить себя в музыке, передать, как пели вокруг него расколовшиеся от тяжести урожая яблони, как пело все в нем от первой его встречи с женщиной. Он бросил, швырнул тогда скрипку — негодный, бездушный, непокорный инструмент, — швырнул о стенку.

Он засмеялся, представив себе маленького Никиту, потрясенного неожиданным видом скрипки, на которой надо было по-настоящему учиться играть. Долговязый подросток, негодующий на инструмент за то, что он отказывался петь, как яблони, как человеческое сердце, рассмешил Никиту еще больше.

Сколько нужно было пройти, как часто и глубоко отчаиваться, чтобы легко, безболезненно и добро смеяться над своим горем? Но если бы теперь Никите сказали, хочет ли он начать жизнь сызнова, жизнь без отчаяний, без горя, без обид и потрясений, он ответил бы — нет! Он дорожил своими несчастьями, он знал, что незбылемо приходит время, когда величайшее горе прорастает доброй, безболезненной, понимающей улыбкой.

Никита пошел по аллее, в конец сада. Изба, где прежде жил Евграф, осела одним боком в землю, крыльцо прогнило, коричневая труха сыпалась из щелей. Никита вспомнил, каким было крыльцо при Евграфе, когда дядька подсчитывал вынутых из нор сусликов или сидя рассказывал о повадках какой-нибудь твари. Крепкие толстые половицы разрыхлились за два десятилетия, а эти годы вынес на себе, с непрестанным усилием отмерил собою Никита. Какой заряд разрушения должен был скопиться и вырваться в нем за это время!

На память Никите пришел последний разговор с Евграфом, в степи, встреча и расставанье с Ростиславом, и тут же мысль перескочила на отца...

Василь Леонтьич выслушал о Ростиславе насупившись, недовольно подпрыгивая коротенькими ногами, сопя и побрякивая больше, чем всегда.

— Ладно, — сказал он решительно. — Стало быть, правда.

Он подумал, посмотрел на Никиту испытующе-строгое и добавил:

— А я не верил. Для виду будто бы верил, а про себя нет. Надо было тебе воевать, а не ему.

Он опять подумал:

— Да какой из тебя воин? Вон Матвей — казак!

Уходя из комнаты и грузно дыша, Василь Лсонтых подвел итог:

— О Ростиславе чтобы больше в доме ни слова, попомни. А что это за Евграф ты помянул? Которого я прогнал, что ли? Суеславный мужичишка. Лукавый раб!

Он сердито стукнул за собою дверью...

Ну что могло быть в Евграфе суеславного? Никита припомнил его пегие кудерьки, светящийся стариковский взор. Взор был так же мягок, как двадцать лет назад, когда Евграф подсаживал Никиту на лошадь, вот здесь, около разрушенного теперь крыльца.

Никита пошел той тропинкой, по которой когда-то впервые совершил свою побегу на казачьей карей замухрышке. Он ускорял шаг, чувствуя, что сердце колотится беспокойно, сбивчиво, почти больно.

На березовой аллее, отделявшей питомник от старого сада, он дернул тогда, в страхе и восторге, веревочный повод, и лошадь перешла на грунцу. Вон там, на дороге, должна тянуться поперек аллеи канава. Да, да, она все так же круто перерезала путь. Никита видел издали ее чернеющую глубину. Нетерпенье подталкивало его вперед. Он скоро дошел до канавы. Здесь неожиданно остановилась лошадь, и маленький Никита сполз с ее спины на землю.

Он стал. Канава показалась ему очень узкой. Может быть, она заросла травой и засыпалась оползшей почвой, может быть, тогда восьмилетнему Никите все казалось больше, крупнее, чем было в действительности. Никите становилось трудно дышать. Он снова улыбнулся, подумав, что пустые, детские воспоминания способны так смешно взволновать мужчину.

Никита без разбега, с места, перепрыгнул через канаву. Он был в луке, в глухой, уже засохшей чаще хмеля, свисавшего с голых сучьев, в царапающей жесткой гуще ежевики.

Тут он расслышал в себе новое чувство, которое двигало им, наполняло его с возрастающей мучительной силой, странно перевиваясь с воспоминанием о том, как мчался маленький Никита по зарослям луки.

Тогда в ушах его шумел острый ток воздуха, рассеченного движеньем, по лицу хлестали ветви вязов и ветел, длинные, кудрявые усы хмеля заплетались вокруг ног и шеи. Он испытывал всем хрупким, незакаленным своим тельцем жестокую боль, и в то же время слепительная радость гнала его вперед, навстречу хлещущим, режущим ветвям луки.

Сейчас, быстро двигаясь узкой тропинкой, Никита слышал стон раскачиваемых деревьев, свист ветра в оголенных их сучьях, скрипы и шум трущихся друг о друга полуповаленных стволов. Он ощущал щемящее беспокойство сердца, его буйные и томительные удары, в нем стремительно нагнеталось возбуждение. Из какого-то ничтожного зерна внутри грудиросло желание подчинить все смутные впечатления одному строю: боль и беспокойство сердца, возбужденное течение крови, смешную трогательность воспоминаний. Он стал искать в себе чувство, способное уравнять всю эту помесь переживаний.

Тогда зерно в его груди, прораставшее желанием строя, равновесия, гармонии, вдруг полностью и пышно раскрылось. Должно же было жить в Никите сознание, отличавшее его от мальчугана, которого впервые посадили верхом на лошадь!

О, он не только хотел найти выражение своим чувствам! Он был исполнен силы, чтобы сделать это!

И вот ощущение избытка этой силы, восторг обладания ею толкнул Никиту с новым приливом вперед.

С того момента, как он пришел в сад, его преследовали, ни на секунду не отступая, звуки. Он приближался к ним, они обступили его плотнее, ближе, и теперь он находился в их средоточии: лука ревела, завывала, бурно неистовствовала над его головой.

Самая мощная волна звуков катилась на уровне человеческого роста. Она определяла собою ритм бурного движения. Стволы гудели, попеременно ослабляя и усиливая напор прекрасно связанных и ясных

звучаний. Где-то в вершинах деревьев, в сплетении тончайших веток гнездились струнные оркестры, согласно обменивавшиеся завершенным мотивом, повторявшие его на разной высоте, в бесконечном разнообразии тембров. И еще выше, к суровой, холодной пелене серого неба, над деревьями, над лукою плыла охватывающая, всепоглощающая звуковая ясность. Никита услышал эту верхнюю музыку лишь тогда, когда понял, что вокруг него бушевал не лесной шум, а стройное, расчлененное на тысячи инструментов единое согласие. И эта верхняя, покрывавшая собою весь хор музыка, едва уловимая, кристаллическая ясность четко выражала мысль величайшей из песен, какую мог себе представить Никита.

Он увидел все здание, вздыбленное над землею осенним ветром. Оно было совершенно. Десятки, сотни оркестров складывали его, воздвигали в единую и единственную симфонию, и последняя наивысшая часть симфонии творилась, создавалась перед лицом Никиты.

Он кинулся бежать. Как в детстве, его хлестали, били, жгли острые сучья, длинные жгуты хмеля. Ему хотелось, чтобы боль была нестерпимой, чтобы холод, опалявший его лицо, пронзил ему грудь. Он распахнулся, поднял руки, закрыл глаза. Сквозь веки просвечивали метавшиеся в нагромождении красные, огненные круги.

Вдруг он увидел себя за высоким пультом. Он шире распахнул руки, взметнув ими, как крыльями. Музыка покорно повиновалась ему, взбираясь на страшную высоту, захватывая, подчиняя себе все большее и большее пространство. Колонны зала раскачивались перед ним в учащающемся темпе. Темп рос неудержимо, переходя в пляску, в смятение огненных языков.

Никита дирижировал в колонном зале. Колонный зал сотрясается невиданным оркестром. Дирижер иступленно бил крыльями, крылья несли его. Вдруг он обернулся к слушателям и крикнул изо всей силы:

— Пожар! Пожар!

Тогда тысячи людей бросились к выходам, колонны закачались в огненных, красных кругах. А дирижер развел своими крыльями над человеческими криками, над пламенем пожара, и крики, пламень, корчившиеся в огне инструменты послушно соединились с могучей ясностью невиданного оркестра, и дирижер мчался по зарослям ревившей, бушевавшей луки дальше и дальше.

Внезапно что-то ударило Никиту в поднятые руки. Он открыл глаза. Громадный сук тянулся над его головою, поперек пути.

Никита ухватился за него, подтянувшись на руках вверх всею тяжестью тела, и всею тяжестью тела, придавленного оборвавшимся суком, рухнул на землю.

Музыка рвалась и взвивалась в высоту.

И тогда Никита испустил бесовязный, продолжительный крик, как дикарь, как мальчишка.

Он лежал на спине, прижатый тяжелым корявым суком, руки его ныли от боли, и усталая, неподвижная улыбка на лице была блаженна, как у безумца.

Дыхание становилось ровнее, биение сердца медленно приближалось к обычной неощутимой беззвучности, но боль в руках засела прочно, и в ней сосредоточилась вся музыка, собравшись в крупцу, как огромные объемы воздуха, сжатые в каплю жидкости.

Он понес эту крупцу с благоговением, точно в ней таилась живая вода и сохранить ее стало целью всей его жизни. Печальное безлюдие степи, когда он вышел из садов, показалось ему счастливым предзнаменованием: он шел своим путем в одинокой замкнутости, переполненный силой. Так он готов был идти до конца, в смерть или в новое рождение — не все ли равно? Он мог обнять весь мир — такая мощь была заложена в крупце музыки, которой он обладал, — он готов был обнять первого встречного, чтобы осчастливить его одним прикосновением.

Так встретил и окликнул он Варвару Михайловну. И, правда, довольно было услышать его голос, чтобы — так же, как Никиту, — ее охватило волнение. Он улыбался чужой улыбкой, сквозь которую все еще просвечивало безумие, он с нежностью и жаром

поцеловал Варваре Михайловне руки. О, он был щедр! Он был уверен, что обаяние его силы распространялось нерушимо.

Что мог он сказать Варваре Михайловне?

— Останусь, теперь останусь!

Может быть, потому, что он встретил ее?

Нет, он никуда не собирался уходить, ему никуда было идти, он достиг наконец возможности завершить свое дело, и с радостным нетерпением он спешил за него взяться.

Он не ошибся: источник, питавший его воображение, неиссякаемо бил на родине, там, где он впервые увидел мир, где возникали и забывались первые противоречия любви и жестокости. И он мучительно хотел вознаградить эти камни, деревья, дома, весь этот убогий и милый клочок земли, вознаградить созданием, достойным их расточительности. Он наделял бессловесный, жалкий степной оазис волей и великодушием, он чувствовал себя должником яблоневого сада, тихого, стоячего Чагана, сгнившего крыльца у избы Евграфа, путаных зарослей луки.

Он думал о родном, о повелевающей силе родного, о том, что созданное человеком создано преемством, и, если сын имеет уши, он должен слышать голос камня, положенного отцом. Это и есть родина — голос камня, положенного отцом, — и счастлив тот, кто его слышит.

Тогда Никита мечтал о будущем своей родины — крохотного клочка земли, отмеченного булавочной головкой на карте большой, великой родины. Клочок будет одушевлен воспоминаниями множества людей, прикосновением их мысли, подобно тому, как одушевлены тысячи других столь же ничтожных и великих клочков земли. Да, да, так творятся культуры.

Именно здесь, на берегу Урала, вблизи садов, чувствуя трепет их ветвей, Никите хотелось окончить работу. Он уже видел последний лист партитуры своей симфонии, с датой в конце и пометкой — Нижний Уральск. На расцвеченной большой карте Азии (Никита поселился в городском доме, в комнате, где прежде жил Ростислав, и стены комнаты по-прежнему

были украшены Африками и Азиями разных масштабов), на повороте длинной волнистой черты Урала, Никита знакомо находил одинокий кружочек и подолгу глядел на стройную надпись: Нижний Уральск. Такая надпись будет стоять в конце партитуры, когда исполненную на многих концертах симфонию награвируют в нотопечатне. Никита улыбался этой наивной мысли, но продолжал мечтать о своем труде с детским восхищением.

Важно было сохранить в себе силу недолгих и редких минут, которые наступали с такой внезапностью и потом непременно сменялись упадком. В холодной, расчетливой сдержанности выслушивать накопленные памятью впечатления, выверять их ценность, отбрасывать и снова брать: в этом заключался труд.

Многие листы, написанные Никитой раньше, теперь оказались негодными, и он выбросил их с чувством облегчения, как хлам, который сберегался из косной привычки. Другие он переигрывал по десять раз, иногда случайно заглянув в законченную часть симфонии, и с радостью прочитывал страницу за страницей, до конца.

Концертный рояль упирался острием крыла в большое окно. Никите виден был город и неподвижные пространства степи, сливавшиеся в огромном отдалении с небом. В нижнем этаже каревского дома жизнь шла как будто обычным чередом, ничто не вмешивалось в обособленный мир Никиты, и мир этот расцветал, оттачивался, как кристалл, грани которого медленно обнажает мастер.

Но ясная прозрачность степей, простиравшихся за окном комнаты, постепенно мутнела. Бураны завьюжились несметными снеговыми воронками и пеленами, степь исчезала за белой стеною, подступавшей к окну, просторы суживались до маленькой комнаты, окруженной снежной бесконечностью. Морозы сковывали город, и вместе с ним сжимались непонятные, невидимые тиски беспокойства, о которых никто не хотел или не мог говорить.

Никита заметил беспокойство позже других, может быть потому, что оно коснулось его иными

путями, чем близких ему людей: он стал утрачивать отчетливость и точность слуха. Это случилось совершенно так же, как бывало со зрением, когда Никита глядел на приближавшуюся снеговую тучу: различимое и яркое очертание небосклона угасало, меркло, серая масса застилала его, неуклонно надвигаясь и все больше захватывая небо и степь, потом вся степь и все небо заслонялись непроницаемой толщей, вдруг наваливавшейся на город и начинавшей проглатывать бесследно дом за домом, квартал за кварталом, пока не подлетала к самому окну и не задергивала его густой завесой. Так со слухом: прозрачная чистота звуков, наполнявших воображение, ясность, в которой звуки улавливались в отдельности и в любой связи, вдруг исчезала; на смену ей приходил шум, усилившийся, поглощавший последние отчетливые отголоски; звуки обезличивались, теряли окраску, окутанные заглушенным шумом; казалось, будто за пределами комнаты стоит немая пустота; наконец звуки замыкались в деревянном коробе рояля, и если Никита бил по клавише, тупой удар молотка по струне раздавался глухо, точно зажатый подушкой.

Сначала Никита объяснял свое состояние усталостью. Он бросил работать и пробовал читать. Но глухота возрастала, и предчувствие какой-то болезни томило с каждым днем больше и глубже.

В снежной бесконечности за окном, где меркнули остатки привычных для Никиты звуков, в бесформенном колебании шумов неожиданно проныли далекие, раскатистые гулы. С этого дня в доме Никиты сразу проявилось все напряжение, тщательно и щетно скрывавшееся долгие недели. Начались сборы в путь, приготовления к уходу, охватившие весь город. Чем ближе подходил час отступления, тем сдавленней и обреченней становилась людская поспешность, и, чудилось, самое дыхание людей отравлялось ядом страха: ложились спать не раздеваясь, ели и пили на ходу, наспех. Война стонами накатывалась на город.

Тогда Никита в подробностях вспомнил стоны Смурского переулкa, хрянский волчий вой потников

и анафем, киноварно-красного человека, зыбко идущего по пыльной дороге, на которой остаются черные следы ступней. Так же, как и теперь, ночи содрогались тогда в непрестанном, протяжном стоне, и стон проникал повсюду, так же, как теперь, яд страха омертвил дыхание людей, и город почти весь тронулся в обреченный свой путь. То, что происходило тогда за окном, вырвало Никиту из круга обычного его мирка, из пределов пылинки, становившейся для него миром. Смурский, смурыгий мир раскрылся перед Никитой, и он увидел зарницы пожара, обгорелые сваи домов, гвоздыри и дубье над головою человека, кладущего быстрые, страшные кресты.

Стоны и волчий вой оилились теперь снова вырвать Никиту из его пылинки, уже давно ставшей целым миром, не ограниченным ни небом, ни землей. От ужаса смурьего царства, от зарниц пожаров Никита бежал тогда в свою пылинку, и она спасла его, вознаградив неповторяемым восторгом первого прикосновения к настоящему делу, к радости дела. Разве мог бы теперь Никита отказаться от своего пути, покинуть пылинку, взрастившую его с материнской любовью?

Никита в злобе, в упрямстве опять и опять брался за работу. Но стоны глушили его, стоны наводняли комнату, точно какое-то чудовище отдирало город от почвы.

Наконец Никита впал в бесчувствие, в тягостное забытие, когда действительность не исчезает, а дополняется смутными видениями, чуждо и грузно врывающимися в сознание. Так оркестры встретившихся на улице полков врываются друг в друга маршами разных тональностей и темпов.

Никита увидел себя мальчиком на уроке музыки, в подвале у Якова Моисеевича, за пюпитром, нарочно опущенным для ученика пониже. В глазах его рябили ноты, он силился припомнить значение трех нот, связанных одной чертой, и не мог.

— Слышите? — кричал Яков Моисеевич, потряхивая кольцами кудрей и громадным пенсне. — Акцент на первой ноте! Как это называется?

Никита не знал, .

— Вот я напишу цифру, — не унимался учитель, — какая это цифра?

— Три, цифра три, — робко лепетал Никита, глядя на тройку, которую учитель вывел между нотных линий.

— Теперь я пишу... смотрите, читайте: «О-ль-ь».

— Оль, — повторял Никита.

— Как это будет вместе?

Взгляд Никиты неподвижно застывал на нотах и ширился, ширился в страшном ужасе.

Он видел три ноты, соединенные чертой. Сверху они были связаны знаком легато. Над легато стояла тройка — 3 — и хвостиком прилипнул к ней слог «оль»: 3-оль.

— Читайте же! — кричал Яков Моисеевич.

— Золь, — читал Никита.

— Да не «золь»! Ай, ве-е! Какая цифра впереди? Цифра, а не буква!

— Три, — чуть слышно повторял Никита.

— А дальше?

— Оль.

— А вместе?

— Золь, — опять бормотал ученик.

— Триоль, триоль, триоль! — взвыл Яков Моисеевич и вдруг, вырвав из рук Никиты скрипку, ударил ею по голове ученика и начал крушить в припадке злости направо и налево, по пюпитру, по стульям, по машине, выпускавшей шипучую гармонику бумажных обрезков. Отец Якова Моисеевича, такой же кудрявый, как сын, но еще больше черный, зловеще раскачивался в такт ударам и пронзительно кричал:

— Это же великолепно, Яков! Трам-та тарримта, тар-рамта-тайрамта!

Яков Моисеевич носился в вихре бумажных обрезков, бил вокруг себя оторванным грифом скрипки и злобно сотрясал воздух мрачным, таинственным, ужасающим словом: триоль, триоль, триоль! Потом весь подвал с кудрями Якова Моисеевича и с кудрями бумажных обрезков провалился в бездонную пропасть.

Никита, облитый холодным потом, летел вниз, в последнем приступе страха, слушая, как настигает его машина, изрыгающая триолями страшные удары: ррам-та-та! ррам-та-та! Никита хотел крикнуть, что ему давно известны триоли, что он прекрасно знает эти тройки связанных чертой нот, с акцентом на первой. Но машина настигала его в полете, и — рррам! — со звоном посыпались стекла, обломки, куски пюпитра, стульев, машины.

Та-та! — отдались где-то отголоски оружейного выстрела, и почти тотчас снова зазвенели и взвыли стекла.

— Рррам!

— Та-та!

Никита очнулся. Канонада слышна была грозно и ясно. Война шла за окном.

Никита ощущал совершенную, черную глухоту, и горло его было сдавлено, как в приступе слез. Он с тоскою осмотрел свою комнату. Еще недавно милая его сердцу, она опостылела ему так, что у него вылетел стон, и он зажал руками глаза.

К нему поднялась закутанная в полушубок куртка и, наполовину всунувшись в дверь, с деловитым спокойствием передала:

— Василь Леонтьич прислали сказать, что они все готовы, и спрашивают, чего вы поверх шубы наденете: тулуп альбы доху?..

Он не сразу ответил. С недоверием и опаской он поглядел на окно. Что они там вздумали, внизу? Он никуда не собирается ехать. О каком тулупе спрашивают его? Бежать? Но от кого, зачем, куда? Значит, никто не сомневался, что он поедет вместе с семьей.

Окно опять жалобно взвыло, и снова глухо, бездушно отозвалось тупое эхо:

— Та-та!

Нет, ни минуты дольше не мог Никита оставаться в такой бескрайней, бездонной глухоте!

— Тулуп! — быстро сказал он. — Тулуп и... я сейчас иду!

Он кинулся к роялю, к заброшенным, раскиданным по его крышке нотным листам и начал лихорадочно

сгребать их в кучу. На стене около двери висел германский ранец, с которым он вернулся на родину. Он снял его и набил нотами. Потом он огляделся: нет, больше нечего было брать. Рояль? Он посмотрел на клавиатуру, немного запыхавшуюся в последние дни, и, не притронувшись к ней, опустил крышку. Секунду он поспоял в раздумье. Как знать, кто подойдет теперь к роялю? Не запереть ли его? Никита торопливо замкнул крышку. Куда спрятать ключ, чтобы никто, никто не мог найти? Кого увидят теперь эти стены?

Тяжелый, прерывистый голос Василь Леонтьича взлетел по лестнице:

— Никита! Иди скорее, пора!

— Сейчас! — крикнул Никита в ответ.

Он взвалил на спину ранец, но тут же бросил его. Стены, увешанные Африками и Азиями всех масштабов, провожали его разноцветными взглядами, в которых внезапно вспыхнул почти человеческий укор.

Никита подбежал к столу, вырвал из какой-то тетради лист бумаги и написал дрожавшей рукой:

«Дорогой Ростислав! Отец, мать, сестры и я здоровы. Обнимаю тебя.

Никита».

Он сложил бумагу узенькой полоской и крупно вывел на ней: «Ростиславу». Потом, захватив ранец, пошел к двери, но на пути увидел себя в зеркале. Приблизившись к нему, он воткнул записку одним концом под зеркальную раму так, что полоска бумаги легла на стекло и надпись на ней должна была броситься в глаза всякому, кто переступил бы порог комнаты.

Спустя несколько минут Никита был на дворе, где — в санях с высокой спинкой, обтянутой темно-красным ковром в желтых цветах, — уже дожидался Василь Леонтьич.

Когда они выезжали из ворот, над городом триолями пророкотали новые залпы...

Это было утром, а вечером по Атаманской улице крался Чупрыков, стараясь держаться поближе к заборам. Он чутко прислушивался к тишине. В полдень город заняли красные, шум улегся, но повсюду рыскали разъезды, и Витька остерегался попасться кому-нибудь на глаза.

Он подошел к дому Каревых. Окна нижнего этажа были закрыты ставнями, калитка заперта. Он постучал, сначала тихо, потом громче. Стоять было холодно, безлюдие таило в себе что-то грозное, за каждым углом в темноте хоронилаась опасность. Витька приблизился к соседнему флигелю, поторкался в окошко. Через минуту чей-то голос тихо окликнул его за калиткой, Витька спросил, где Каревы, и, обрадованный, что можно было идти, двинулся назад. Ему хотелось бежать, он сдерживал себя, весь сжавшись, боязливо поднимая руку, чтобы потереть высунутое из воротника и замерзавшее ухо. Шаги его раздавались чуть слышно. Он был в валенках, но ему казалось, что снег хрустел на всю улицу, и он норовил ступать полегче, одними носками. Перед самым домом он не утерпел и побежал.

Запыхавшись, он вошел в комнату Варвары Михайловны и остановился у порога.

Целые сутки Варвара Михайловна просидела в кресле у окна, выходящего во двор. Витька думал, что ее разбил паралич — так неподвижно лежали на коленях ее руки, раскрытыми ладонями вверх, в таком отвердении стыла голова, высоко поднятая и немного повернутая к окну. Несколько раз Чупрыков пробовал заговорить, но Варвара Михайловна молчала. На другой день после отъезда Шерстобитова в степь Витька сообщил Варваре Михайловне, что казаки ушли и город занимают красные. Тогда она вдруг ожила и велела тотчас узнать, остался ли в городе Никита Васильич. Поручение было не из приятных, но отказаться выполнить его у Витьки не хватало духу. Он сразу все понял, и только недоуменная обида больно ущемила его: ради чего было оставаться ему с Варенькой? Впрочем, любопытство сильно подогрело Чупрыкова, а если Варвара Ми-

хайловна заговорила с ним о Кареве, — значит, дело дошло до развязки, и, чтобы ускорить ее, Витька бросился исполнять поручение.

Остановившись на пороге, Чупрыков почувствовал, как страх, преследовавший его по пятам на улице, сменился теплой волной удовольствия. Он осанисто расправил плечи и сощурился на Варвару Михайловну.

Едва он распахнул дверь, Варвара Михайловна приподнялась в кресле, крепко схватившись за кожаные ручки, вся вытянувшись навстречу Чупрыкову и глядя на него сухими, остановившимися глазами.

— Ну? — хрипло выговорила она.

Чупрыков шумно перевел дыхание. Он должен был произнести одно слово, но не спешил, нарочно со свистом и сопением выдувая воздух, стараясь показать, что не в силах говорить.

— Скорей! — прошептала Варвара Михайловна, всем телом перегибаясь через подлокотник кресла.

— Каревский дом...

— Ну?!

— ...в закованном виде... И на полном запоре... Так что невозможно...

— Кого ты видел?

— ...невозможно проникнуть... Однако, надо думать, на мой довольно нахальный стук отозвалась ихняя стряпка... и сказала...

Витька замолк. Взгляд его с любопытством юркнул по Варваре Михайловне, словно удивленный тем, как могла она держаться в кресле на одних руках. Кажется, братец собрался выместить на своей сестрице все одним ударом.

— Говори скорей, — простонала Варвара Михайловна.

— ...Я говорю: сказала, что, мол, господа Каревы нынче рано поутру выехали в белую эмиграцию...

— Никита? — шепотом пробормотала Варвара Михайловна.

— И Никита Васильич отправился совместно с прочими, да-с!

Витька расслышал, как заскрипела под ногтями Варвары Михайловны кожа на ручках кресла, и тотчас раздался дикий, ни на что не похожий крик:

— Врешь! Врешь!

Чупрыков прижался к косяку, ухватив скобку, готовый выскочить за дверь.

— Я вполне знаю, — опасливо сказал он, — что за такую неправду ты меня даже убить можешь, если бы под рукой предмет или что, и сохраняю полную инстанцию. Все, что я сказал, — как перед богом, — сущая правда.

— Уходи! — чуть слышно проговорила Варвара Михайловна и выпрямилась во весь рост.

Витька был не на шутку испуган и вышмыгнул из комнаты что-то очень скоро.

Оставшись одна, Варвара Михайловна упала в кресло. Плечи ее дрогнули, высоко приподнялись и вдруг бессильно упали. Вся она странно размягчилась, как будто из нее вынули кости. Прижавшись лицом к холодной коже кресла, она вздрагивала, из последних сил удерживая себя от крика, точно ее кто-нибудь мог услышать. Так прошло с полчаса. Потом она вытерла платком глаза,правила на себе платье и, подойдя к лампе, потушила ее. Когда пламя фитиля, перед тем как погаснуть, широким языком метнулось вверх, оно озарило сурово и круто опущенные углы рта на бескровном, желтом в светеогня лице.

Варвара Михайловна опять села у окна. Двор стоял черный, бесформенный, ночь поглотила очертания построек. Внезапно какие-то огни замелькали в темноте, людские голоса и звон железа донеслись со двора. Окно было затянато кудрявыми ледяными узорами, похожими на серый мох, и Варвара Михайловна долго отыскивала кусочек чистого, незамороженного стекла. Вдоль каменных стен, палаток, у железных дверей она различила горстки солдатс винтовками через плечо. Одни неловко и бестолково суетились около запоров, отдирая ломami замки, другие светили им, подняв над головами факелы из соломы.

Некоторые двери были уже настежь, и люди торопливо вбегали в палатки.

Кто-то пробежал через весь двор, распорядительно помахивая фонарем и выкрикивая короткое слово. Фонарь на секунду ударил светом своим в лицо кричавшего, и Варвара Михайловна узнала Чупрыкова. Он кинулся к воротам. Во двор рысью въезжали подводы.

Варвара Михайловна отошла от окна и прислонилась к охладевшей печке, туго скрестив за спиной руки.

Так ее застал вошедший часа через два Чупрыков. Он не сразу пригляделся к темноте и неуверенно переступал с ноги на ногу.

— Варюша, — позвал он, и в тот же миг услышал тихий, сдавленный смех.

— Ты... что? — трусливо спросил он.

— Сволочь ты, Витька! — с уничтожающим презрением сказала Варвара Михайловна, и было видно, что она давно и убежденно приготовила эти слова.

— А-а! — сразу успокоившись, протянул Чупрыков.

Он подошел к Варваре Михайловне.

— Ругаться сейчас не поможет, да и некогда: надо решать о защите своей жизни.

— Видела, как ты ее защищаешь, — с гадливостью усмехнулась Варвара Михайловна.

— На дворе? Там произошла полная реквизиция, искали крупу и вообще. Дело не в том.

Чупрыков снизил голос:

— Если ты, Варюша, можешь думать и у тебя это в порядке... понимаешь?... Словом, положение, как говорится; одно из двух. И раздумывать не приходится.

— Не финти!

— Финтить тоже не приходится, потому что...

Витька взял Варвару Михайловну за локоть и внушительно прошептал:

— Казаки этого так не оставят, и красным, надо ожидать... понимаешь?

— И что же?

— А вот то! Очень возможно, что нынешней же ночью того... Ну, только ненадолго, потому что красные...

Он помялся в нерешительности и выпустил руки Варвары Михайловны.

— Ты с ними? — резко спросила она.

— Как сказать... за ними вся Россия, а тут пойдет завируха — ног не уберешь! Коли к своим идти — думаю, что поздновато будет, а... Пока дорога на Волгу открыта, надо бы... как сказать...

— Говори прямо! — прикрикнула Варвара Михайловна.

— Надо бы, в защиту жизни, податься куда поглубже... особенно с таким фамилием, понимаешь ли...

Он промышчал что-то невнятное. Варвара Михайловна громко рассмеялась, так что Витька попятился, перепугавшись. Он боялся, в уме ли она, и пытливо все время посматривал на нее. Но в смехе Варвары Михайловны он поймал хорошо знакомую озорную, своевольную нотку и нарочно молчал, чтобы увериться, не ошибся ли.

— Хорошо, хорошо молодец, — выкрикнула Варвара Михайловна, с трудом удерживая смех, — значит, ты с красными?

— А как же? — живо отозвался Витька. — Куда же уйдешь? Куда подашься, а?

Она жестко оборвала смех и, помолчав секунду, сказала раздельно:

— Ну, нечего делать. Я тоже — с ними!

Чупрыков взвизгнул и заюлил вокруг Варвары Михайловны, потирая руки, похлопывая себя по ляжкам и по бокам.

— Вот это так! Это я понимаю! Это по-нашему! И все расчудесно: чемоданчики готовы, не зря складывались! Чуть чего — до свиданьца! поминай как звали! Главное, чтобы чемоданчики и все такое. А я живо устрою! Варенька, золотце, ведь я тебе — брат! Витька Чупрыков — живо! У меня с красными полное доверие, нас прямо в вагон и — пожалуйста, фьють! — ищи ветра в поле!

— Заручился? — перебила его Варвара Михайловна и по-прежнему гадливо, с отвращением усмехнулась.

— Нельзя, без этого нельзя! — юлил Витька. — Главное — чемоданчики! Чтобы в случае чего — сразу, хоть сейчас!

— Подлец! — вдруг устало и безразлично проговорила Варвара Михайловна и опять опустилась в кресло.

Г л а в а п я т а я

Город был с боем взят красными днем, в морозном сверкании снегов. Войска заняли новую позицию, штабы и хозяйственные части поспешно и обрадованно захватывали городские дома — с мебелью, с печами и лампами, кроватями, тюфяками. Это была настоящая победа, и плод ее был нежно-сладок: люди рвались в тепло, к живому, человечьему жилью, к печам, в горячие, прогретые стены. Тесные домишки форпостов, киргизские задымленные юрты, немудреные шалаши и землянки, ледящий душу, стойкий, как степь, мороз и снежные смерчи остались позади, хотя бы на одну ночь, на один час, на минуту, но позади, позади! Ах, какими кудрями завились тогда крыши домов! Точно по приказу, в один миг были растоплены все городские печки, и городдохнул дымным своим дыханием в небо, и трубы, весело соревнуясь, принялись выпускать голубые, серые, иссиня-черные и красно-рыжие кольца, струи и завитушки. Машина войны, сотрясаясь, продолжала в страшной инерции свою работу, полки передвигались, каптенармусы вели записи расходам, отвешивали и отсчитывали, штабы собирали трофеи и сводили в колонки цифры потерь, телефонисты карабкались по стенам и воротам, доктора втыкали тампоны в кровоточащие раны, провиантские отряды рыскали по складам в поисках продовольствия и фуража. Но трубы дымили непрестанно, и натопленные печки, грузная духота жилья, горячие котелки и чайники медленно разво-

дили пары в другой машине, в машине мира, покоя, отдыха, и инерция ее с каждым часом росла. Для города, только что взятого с боем и занятого войсками, ночь была чересчур тиха, бездейственна, ледянича.

И незадолго до того, как наступить рассвету, тишину вздыбило орудийными громами, и едва отброшенные казачьи полки врасплох кинулись назад, на убаюканный теплом город. Взбешенными толпами мчались впереди них смятые полки красных, и огонь рвал их, раскидывал в темноте, выдувал пламенными струями из города в степь. Только там в степи, за чертой недавней победы, все постепенно стало на свое место, и люди вспомнили, кем они были: штабисты, каптенармусы, доктора, рядовые. К этому часу Уральск был снова в казачьих руках.

На морозе, который пронзает мириадами игл степных буранов, с полками, состоящими из полуголых, полубосых солдат, в одном часе марша от города, решения принимаются твердо и скоро. Запахи жилого тепла еще окутывали воспоминания армии, дымки городских труб курчавились невдалеке, и ужас ночного разбойничьего набега только что начал переплавляться в злобу, когда, открыв артиллерийский огонь, красные пошли в контратаку. За полдень город опять был у них во власти...

Этот короткий обмен поражениями и победами был неверно понят теми, кто отступал из Уральска в степь, и нечаянным поворотом лег на дороге Никиты.

Остатки беглецов, замыкавших цепь последнего каравана, скучились на ночлег в небольшом форпосте. Их скоро догнала весть о том, что казаки сдали город, и они располагались на ночь без уверенности, придется ли встретить здесь утро. Однако ночь прошла спокойно, а перед тем, как тронуться в путь, неожиданно разнеслась молва, что красные разбиты наголову и казаки — полные господа положения.

Тогда беглецы осели на форпосте. Подводы, успевшие выехать в степь, возвратились в поселок, и улицы, дворы, сараи переполнились лошадьми и

верблюдами. Кажется, все кругом уверились, что наступил какой-то конец, что круг испытаний пройден, замкнут и вот-вот, с часу на час можно будет повернуть оглобли в город, отслужить благодарственный молебен, постлать по местам перины, открыть лавочки и мирно здравствовать.

Но в сумерки пришло новое известие, опрокинувшее все вверх дном: оказывалось, красные вернули себе город и теперь гнали казаков за Урал. Надежда была еще легче утрачена, чем обретена. Люди бросились спасаться. Форпост содрогался от шума, человеческие крики, ржание коней, обреченные вопли верблюдов перемешались в наступившей темноте. Караваны спутались, расстроились и бешеными стадами ринулись в степь...

Никита с трудом добрался до дома, в котором провел вместе с семьей первую после бегства ночь. Ему сказали, что Василь Леонтьич только что уехал и будет поджидать его на первом по большому тракту хуторе.

С каким-то возом, тяжело скрипевшим по заезженной дороге, Никита подвигался в морозной, безглазой темноте. Впереди и сзади, как выстрелы, лопались короткие вскрики кучеров. Подбодренные лошади обгоняли караваны верблюдов, но с каждой верстой движение замедлялось, и холод все острее хватал Никиту за ноги.

Он соскочил на дорогу и пошел рядом с возом. Ему было трудно передвигаться в тулупе, напаянном на шубу, но он с удовольствием напрягал мышцы и скоро согрелся. Он прошел версты две. Оранжевый глазок замерцал в стороне от тракта. Никита взял с воза ранец, кучер чудом рассмотрел в темноте корявую вешку, обозначавшую поворот на хуторскую дорогу, и распрошчался.

Никита неуверенно ступал по примятому полозьями снегу. Иногда, провалившись, он возвращался и долго ощупывал вокруг себя ногами, примериваясь к направлению дороги. Оранжевый глазок разрастался перед ним, скоро донесся собачий лай, — хутор был недалеко.

У завьюженной изгороди Никиту встретила неподвижность. Две собачонки надрывались где-то совсем близко, под ногами, незримые и злые. Наконец мелькнула пара ярко-зеленых жадных глаз, позади нее — другая. Никита запахнул тулуп, открыл калитку и пошел к оранжевому окну. Постучав, он направился к двери. Собаки вертелись вокруг него, осипшие, зеленоглазые, без ясных очертаний, точно бредовое видение. Двор стоял пуст, как степь.

Бабий голос окликнул Никиту из-за двери.

— У вас остановился Карев, Василь Леонтьич, — прокричал Никита, стараясь заглушить собак, — он поджидает сына, так это — я.

— Никого не было, никаких сынов не дожидают.

— Как не было? — вскрикнул Никита.

— Так и не было!

— Ну... значит — будет. Значит — я его обогнал на тракте.

— А когда будет, тогда и заявляйся.

— Тут что, поблизости еще хутора есть? — опять закричал Никита.

— Никаких хуторов нету.

— Да вы Василь Леонтьича знаете? — испуганно спросил Никита.

Собаки прислушались к бабьему голосу, присмирели, затихли, грозно и устало мурзясь.

— А кто его знает, может и знаю, — бестолково и досадливо взвизгнула баба.

— Вот что, — быстро заговорил Никита, — мне ночью в степи деваться некуда. Отец непременно должен заехать, мы условились. Пустите меня переждать.

— У меня все лавки казаками заняты, некуда пущать. Кто тут разберет — пущать всякого.

Баба с сердцем полохнула внутренней дверью, собаки поняли это как сигнал к атаке и клубками покатались под ноги Никиты.

Сначала он не трогался с места. Потом поправил за спиною ранец (он висел у него на правом плече) и повернулся назад. Оставаться на хуторе и поджидать Василь Леонтьича, не будучи уверенным, что он

заедет на этот, а не на другой хутор, — не имело смысла.

Собаки вырвались из калитки и бежали впереди Никиты. С ними было хорошо идти: они указывали дорогу. Когда они отстали, Никита опять пошел ощупью.

Справа, слева, сверху простиралась черная пустота. Снег скрипел уныло. Может быть, Никита шел по верному пути, может быть — нет. Он мог свернуть в любую сторону — всюду пустота бесстрастно и бессмысленно поглотила бы его ненужную фигуру. Он обернулся. Позади мерцал оранжевый огонек хутора. Он двинулся вперед и налетел на корявую вешку, звонко подломившуюся от толчка. Никита стоял на тракте.

Издалека до него долетел гулкий топот копыт по дороге. Он стал дожидаться и скинул ранец.

Скоро он различил в темноте окутанных инеем лошадей. Они были запряжены гуськом и дружно тянули громоздкую кибитку. Никита крикнул и махнул рукой. Возница придержал коней.

— Не подвезете ли меня до ближайшей станции? — попросил Никита. — Я отстал от своих.

— Еремей, гони, гони! — расслышал он перепуганный возглас из кибитки. — Тут друг у друга на головах сидят, а он — подвезти! Пошел!..

Никита снова остался один. Он взвалил на спину ранец и поплелся назад к форпосту. Двигаться было все труднее, тулуп бил по коленям, ранец поминутно скатывался с плеча и больно оттягивал его.

Вдруг Никита остановился. Подавляющая мысль ошеломила его: он был обманут! Разве могло случиться, чтобы Василь Леонтьич бросил его на произвол?! Разве мог родной отец, папаша Карев, уехать без Никиты? Где и зачем его обманули! На хутор Василь Леонтьич не заезжал, двор был пуст. На форпосте, откуда Никита двинулся в поиски, он не встретил ни одного человека, ни одних саней из своего обоза.

— Зачем? — громко спросил себя Никита. — Кому нужно было посмеяться надо мной?

Но тут же он почувствовал прилив холодного равнодушия ко всему.

Из черного мрака опять показалась лошадь. О бок с оглоблей выступал низенький мужичонка.

— С форпоста? — спросил Никита.

— Оттуда.

— Василь Леонтьича Карева знаете?

— А как же! Под вечер еще с ним говорили.

— На форпосте? Уехал он?

— Должен бы уехать, народу немного осталось. А возможно — зари ожидает.

Мужичок отвечал бойко и охотно, но не переставал подергивать вожжи, и Никите пришлось идти за ним вдогонку.

— Я — сын Василь Леонтьича. Мне неверно указали, что он уехал, я потерял его. Может, вы подвезете меня?

— Где, дружок! Воз-то — вона! Сам лѣхом качусь, притулиться негде.

Никита прошел с ним еще немного.

— Тогда вот что, — решительно сказал он. — Я вернусь назад. С форпоста поутру легче будет выбраться. Я вас попрошу только взять мой тулуп. В нем много не пройдешь. Отдадите, если встретите кого-нибудь из наших. Вы туда направляетесь? Как вас зовут?

— Да ты не беспокойся, дружок, — останавливая лошадь, услужливо запел мужичонка, — все будет в исправности. Давай сюда свой тулупчик, вот под передком уголочек. Вот сюда, а Василь Леонтьича кто не знает? Пхай сильней, вот так. Его, кормильца, вся степенка знает! Не беспокойся, все в исправности! Н-но, пош-ш-шла! Счастливой дороги! Василь Леонтьича, да не знать... Но-но-о!

На шубу надеть ранец было удобней и легче. Никита застегнул ремень, но некоторое время постоял в нерешительности. К сознанию, что он обманут, у него прибавилось чувство, что его ограбили. Мужичонка с возом исчез в непроглядной ночи, Никита даже не мог видеть, каков он с лица.

Расчётливо, нешироко переставляя ноги, прислушиваясь к мерному скрипу снега, Никита постепенно

одушевлял эту скупую, однозвучную музыку мороза своим холодным безразличием к тому, что с ним происходило.

Он увидел себя со стороны. Человек ходит ночью по степи, из края в край, что-то отыскивая, за спиною этого человека — ранец, набитый нотной бумагой, черновиками пьесы, которая вряд ли когда-нибудь допишется. Человек глупо дает ограбить себя продувному мужичонке. На душе у него смутно, и он не знает, ради чего нужно брести по степи, в темноте, одиночестве, под унылое, скупое поскрипывание снегов.

Никите показалось, что, если бы он застал сейчас отца на форпосте, он не поехал бы с ним дальше. Зачем? Бежать? От кого? Спасаться? Но что может угрожать человеку, которому нечего беречь, кроме стопы нотной бумаги? Неизвестно, что глупее — отдать ли проезжему хитрецу тулуп, или броситься вон из дому, в безглазую темную пустоту?

Призрак пожаров всполошил и напугал Никиту, волчьи стоны потников, анафем мнилились ему в подступившей к окну войне. Он оглох от этих криков. Он кинулся от них в бегство.

И вот теперь, в равнодушной власти уединения, один на один с пустыней, Никита пригляделся к людям, с которыми он бежал. Слепец! Как мог он раньше не признать этих смурьгих масок?!

Потники и анафемы неслись мимо него, волоча за собою груды, вороха и кучи скарба, оскаливая зубы, огрызаясь, в стадном бессердечии, в зверином стоне: спасай, спасай! спасай груды сундуков, вороха тряпья, кучи горшков — самое дорогое, единственно драгоценное, кровно любимое в анафемской этой жизни! Но ведь среди стада, спасающего драгоценный скарб, находился отец Никиты, родной папаша Карев! Да, Василь Леонтьич неся в толпе потников и анафем, навьючив возы мешками и корзинами, в которых погромыхивал серебряный, золотой, бронзовый урожай многотрудной каревской жизни. Однако не попал ли сюда Василь Леонтьич так же случайно, как Никита? И не разыскивал ли сын отца только

потому, что больше нечего было делать в скудном безбрежии пустыни?..

Однообразный скрип снега воплощал собою пустоту безразличия, наполнявшего Никиту. Он подвигался, как машина, легко и прямо, и заметил усталость только к рассвету.

Форпоста он не узнал. Поселок был забит казачьими частями. От караванов городских беглецов не осталось следа. Улицы кишели лошадьми и походными двуколками. Казаки прибывали, втискиваясь в гущу войска с бранью и криками.

Хозяйку дома, в котором останавливалась каревская семья, Никита застал у ворот. Она переругивалась с казаком, тянувшим во двор трех оседланных коней. От коней шел теплый серый пар, казак с усмешечкой подзадоривал бабу ленивыми словцами.

— Что же вы неверно сказали мне о Василь Леонтьиче? Я его не нашел, — обратился Никита к хозяйке.

— А что неверно? — огрызнулась она. — Вольно было бы знать иде шманяться! Что я, приставлена к Василь Леонтьичу?

Должно было случиться что-то небывалое, если люди говорили так о Василь Леонтьиче.

— Можно мне остановиться у вас? — спросил Никита.

— А мне что? Тут я сама постоялицей стала, язви их, иродов..

Никита вошел в дом. Духота и смрад ударили ему в голову. Он долго присматривался к раскиданным по полу штабелям человеческих тел.

Это были казаки тех частей, которые прошлой ночью отбили у красных Уральск и днем были выброшены из города контратакой. Они спали вповалку. Горница сотрясалась вздохами и храпом, и Никите в первый миг было чудесно слушать беспокойное клочкотанье звуков среди людей, насмерть поваленных сном и застывших, как мертвецы.

Он отыскал глазами свободный уголок около печи, пробрался туда, перешагивая через спины, головы и ноги, положил на пол свой ранец и лег, как был —

в шапке и шубе. Скоро удушливый смрад сделался ему приятен (казаки пахли лошадьми, овчиной и вальной шерстью), и он заснул...

Открыв тяжелые веки, он увидел себя окруженным проснувшимися казаками. Они пили чай, какой-то неповоротливый разговор шел между ними, сразу застопорившийся, едва они заметили, что Никита пошевелился.

— Казак? — спросил его погода черноглазый крепыш.

— Да, из казаков.

— Та-ак. Много ль служил?

— Я не обучен.

— Какой же бывает казак не обучен?

— Горазд чудно, — засмеялся кто-то, — вроде девки.

— Иногородний, — убежденно решил другой.

Черноглазый допрашивал:

— Братья есть?

— Есть.

— В войску?

— Старший — доктор.

— А младший — красногвардеец? — вдруг хитро подмигнул и осклабился черноглазый.

— Говорят.

— Сам быдто не знаешь?

— От Василь Леонтьича отстал, выходит? — спросил звонкий голос откуда-то сверху.

Никита поднял глаза. На печи сидел казак, очень широкий в плечах, с маленькой, наголо остриженной головой, с лицом, оплетенным путаной круглой бородой в проседи, как в плешинках. Он чем-то сразу напомнил Евграфа, но только на одно мгновение.

— Да. А вы знаете отца?

— Василь Леонтьич меня лет пять кряду обсчитывал, как я ему гурты с Бухары гонял. Небось узнаешь!

Казаки засмеялись, крепыш опять подмигнул черным глазом и спросил:

— Что теперь делать, а?

— Что дадут, то и ладно, — звонко сказал широкоплечий. — Может, мне, старику, пимы полатает, у меня пятка вывалилась, а вижу я плохо.

Он, правда, стащил с ноги разбитый валенок и прыгнул на пол. Он был очень высок, сильно горбился, голова его не шла к нему, точно ее сорвали с другого, низенького человека и посадили ему на широкие сухие плечи.

— Ну-ка, — сказал он, подавая Никите валенок, и звонкий его голос тоже был странен, как будто в неприятном, как у циркового борца, теле сидел по-настоящему веселый и простой человек.

Никита, ни слова не сказав, вышел из горницы.

— Не нравится? — расслышал он в сенях, и зычный хохот казаков встряхнул дом.

Весь день Никита ходил по форпосту, отыскивая подводу, с которой можно было бы уехать следом за Василь Леонтьичем. Но в поселке не оставалось ни одного городского человека, за ночь и поутру караваны ушли в степь, форпост обратился в военный лагерь.

Война была уже не под окном, а вот здесь, рядом, она затянула Никиту тесным поясом, и он впервые разглядел вылезавшие из орбит бесцветные ее глаза, услышал лязгающий сталью голос. Сейчас этот голос напевал о том, как провалился под ятовью лед и в прорубь попали дерзкие супостаты, с баграми и подбагренниками; о том, что настала пора осетрам посмеяться над рыболовами; что обложена ятовь казачьим вольным войском и пришел конец красным охотникам — будут их пытаться мором и голодом, пока не сдадутся они на милость. По великому казачьему войску объявлена была осада Уральска.

Вечером в горнице Никита встретил только одного знакомого — черноглазого крепыша. Тот быстро расчистил ему местечко около стола и налил кружку чаю. На полу казаки уже укладывались спать.

— Ты, видно, музыкант? — спросил черноглазый, как будто между прочим. — Я давеча твой багаж смотрел... так просто... для верности... У тебя там одна эта цифирь наложена... крючки. Я у староверов видал, только твоя быдто чуть помельче...

— Да, я музыкант.

Казак вытащил из-под стола мешок и засунул в него руку.

— На-ка, вали, — ласково и тихо пробасил он, подмигнув горячим глазом и протягивая Никите гармонь-однорядку.

— На гармони я не умею.

— Не можешь? — переспросил крепыш.

Он сокрушенно помотал головой и с боязнью пикинул на дискантовом ряду.

— И я не могу, — вздохнул он. — А гармошка просится, чтобы играли. Я ее третьёводни на улице в Уральске подобрал, когда красных гнали. Так и была в мешке. Видно, кто из коммунистов посеял, гармошка с украшением.

Он снова боязливо пикинул, потом спрятал гармонь в мешок и задумался.

— Жалко мне тебя, — вдруг сказал он, не глядя на Никиту, словно говорил сам с собою.

Он уложил Никиту подле себя. Но не успели они задремать, как в комнату ввалилась толпа казаков.

— Потеснись! Дай место! Растянулись! — кричали они, переступая через спящих и тормоша их ногами.

Спустя минуту все в доме содрогалось от гама и возни. Каждый отстаивал свое право на место руганью, криком, кулаками.

Над Никитой вырос широкоплечий казак с маленькой, точно чужой головою и звонким голосом. Он выкрикнул в ожесточенном нетерпении:

— Ты что тут, в шубе, развалился? Вставай!

Нагнувшись, казак схватил Никиту за плечо, и он увидел над собою злобные белые искры узких, как у кошки, зрачков. Маленькая дрожащая голова была готова сорваться с широких плеч и упасть на Никиту.

Он не помнил, вскочил ли сам, или его оторвала от пола сухая, длинная рука чудовища. Он был мгновенно оттиснут к двери, и тотчас широкое плечо казака, мелькнув над головами, выбросило снизу согнутую в локте руку, и ранец, завертевшись под потолком, догнал Никиту и вышиб его в сени тяжким ударом по спине.

Никита был на дворе.

Он надел ранец, застегнул шубу и вышел за ворота. Мороз был очень силен. Теплота дыхания ощу-

тимо застывала на лице, стягивая небритые губы и щеки упругой коркой.

Никита стоял неподвижно. Он точно отделился от себя и в эту минуту мог вынести себе любой приговор. Он увидел тупое бессмыслие всего, что с ним случилось. Он не знал, когда и где утрачено им самообладание. Он не признавал своих поступков, и они казались ему достойно завершёнными тем, что люди, не имевшие права ни на один его волос, вышвырнули его за порог. Он больше не дорожил собою и схватился за последнюю надежду вовсе не потому, что хотел спастись, но только по упрямой природе надежды: он двинулся с места и пошел влево по улице, туда, откуда большая дорога вела в город.

Никита скоро вышел из поселка, и степь опять поглотила его. Однажды его нагнал какой-то казачий разъезд. Но в это время навстречу подвигалась колонна пеших солдат, и они, в темноте, долго распутывались с верховыми, не желая сворачивать с дороги и загребать неумятый снег сапогами. Никита стоял тем временем в стороне, по колено в снегу, прикрытый ночью. Он не испытывал ни страха, ни колебаний. Мороз подгонял его, остановиться передохнуть было нельзя.

Когда начал брезжить рассвет, Никита вошел в бережную полосу леса, в урёму. Тут долго еще держалась по кустам темень, и под ее защитой идти было спокойно. Перед восходом солнца еще раз встретился разъезд, и Никита отсиживался в кустах, пока не смолк вдалеке топот копыт. К этому часу изредка начала мелькать сквозь лесок крутая излучина Урала — густо поросшая лука, за которой лежал город.

И вот в туманно-розовом низком солнце, курчавый, как овчина, от утренних дымков, на поверхности снега выдвинулся осажденный Уральск. Он покоился, мирен и сонлив, ничто не напоминало в нем о войне, он словно звал идти к нему безбоязненно и открыто.

Но полсуток непрерывного хода вдруг смяли Никиту приступом измождения. Он почувствовал приторную тошноту, ему захотелось сесть. Он заставил

себя пробраться сквозь урёму и выполз на открытый берег.

Снег на реке был взборонен сотнями человеческих ног, следы пестрели и мешались с глубокими колеями от санных полозьев. Здесь только что прошла война.

Наискосок через реку, в какой-нибудь версте, видны были плоские домишки пригорода. Ближе к Никите, на полпути до города, посредине реки торчали, как грибы, невысокие, в рост человека, будки. Самая ближняя, видно, была слажена и поставлена недавно, снег не успел ее запорошить.

Никита собрал остатки воли и потащился через реку. На неровных вдавливах снега он все чаще оступался, ноги отказывались служить, он почти падал, когда наконец добрался до будки.

Это была сижá — игрушечная хибарка, плетенная из тальника, с крышей, оконцем и дверью. Казаки ставили такие плетенки на льду, для зимней ловли рыбы, но Никите не приводилось прежде видеть их близко. Снег вокруг сижы был хорошо вытопан, тропа вилась по льду, к берегу, в город.

Подойдя к хибарке, Никита увидел за углом приземистого человека с жердинкою в одной руке и топором в другой. Никита дрогнул от неожиданности, он был уверен, что сижá рыболовами брошена.

Кто мог засесть тут, в этой будке, рукой подать от города, только что занятого красными?

Человек наклонился и начал обтачивать жердинку. Он был весь покрыт инеем, шапка на нем горела солнечно-снежным шаром, и серый парок дыхания колыхался вокруг него, как стайка мошкары.

Изнеможение толкнуло Никиту вперед.

«Будь что будет!»

Он подошел ближе и выговорил полувнятно:

— Здрóво!

Человек обернулся. Нельзя было узнать, стар ли он, или молод: лицо его было украшено воздушным узорчатым серебром инея. Он недолго поглядел на Никиту и опять принялся тесать жердинку.

Неужели в Никите не было ничего такого, что отмечало бы его особым знаком? Почему своим появ-

лением он не возбудил любопытства? Никита оглядел себя. Шуба на нем искрилась звездами снега, иней густо оплетал грудь и воротник, и с новой силой Никита ощутил свои губы и щеки стянутыми коркою замороженного дыхания.

Не думая ни о чем, Никита спросил:

— Что, белых далеко отогнали?

Человек осмотрел обточенную жердинку, как видно, одобрил свою работу и — снова повернувшись — сказал:

— Теперь, слава богу, не видать.

В следующую минуту они смотрели друг на друга в оцепенении. Оттенок, с каким было сказано неожиданное «слава богу», поразил Никиту. Это не было пустым присловием, голос звучал убежденно, человек произнес слова с душевной настойчивостью, как будто непременно хотел вложить в Никиту их значение. Необыкновенная, какая-то онисходительная и лукавая доброта оветилась во взгляде человека, и вдруг Никита вспомнил эти серые небольшие глаза под мохнатою заслонкой бровей и чуть не вскрикнул. Но человек уже подходил к нему с протянутой рукою.

— Да вижу, что признал! И я тебя тоже признал. Пойдем в сижу. Не замерз? Пойдем.

Никита дал себя ввести в низенькую дверцу, и сразу усталость подломила его ноги.

— Погоди валиться. Главное дело — уберечь тепло. У тебя от ходьбы тепла много. Садись, садись поглубже с ногами, клади сюда ноги, я заверну полушубком, а спину — тулупом. Эх, ты, путешественник, все ходишь! Не замерз — и то ладно. Сумку-то скидай, чего наклапал туда, денег, что ль? — не подымешь!

— Ах, Евграф! — начал было Никита.

— То-то — Евграф! Сидеть бы на одном месте надо, и тебе лучше и другим. О других тоже надо думать. А то куда иголка — туда и нитка. Путешественник! Тебе с Васильем Леонтьичем не равняться: ему капитал спасать, а тебе что? В сумке-то небось дрянь какая?

— Да откуда ты знаешь об отце?

— Я о таком знаю, что коли тебе сказать...

Евграф махнул рукою.

— Сиж-то хороша! От казаков в наследство досталась. Поштопал малость, да вот, как лиса хвостом — рыбку из проруби и потаскиваю. С вечера давеча половил — на соль выменял да на пшено. Нака поешь. Еда тоже тепло дает заместо огня.

Евграф развернул тряпицу, отломил кусок вареной рыбы и дал Никите.

Укутанный шубами, Никита сидел на деревянной кровати, занимавшей половину хибарки. На другой половине была вырублена прорубь, в которую опускалась сеть. Тонкий ледок стеклянной паутиной затягивал черную, как смоль, воду.

— Все ничего, — говорил Евграф, протыкая ледок обточенной жердинкой и отводя его к толстым краям проруби, — да вот самоварчиком не знай где разжиться. Не то бы сейчас чайку либо ушицы.

Евграф был рад незваному гостю, но многоречивость его казалась чуть-чуть наигранной, суетливой и не очень шла к нему. Он словно старался что-то заговорить. Когда Никита поел и спросил, как он добрался до Уральска и что знает о Ростиславе, Евграф начал процеживать слова с большей расстановкой.

— Как добрался? — недовольно переговорил он вопрос Никиты. — Чай, дольше тебя добирался. С прошлого лета. Всю степь истоптал.

— Что же ты будешь делать?

— Что делать? Мне делать особо нечего. За меня другие сделали. Видишь — рыбу ловлю да тебя кормлю.

— Ну, а Ростислав здесь?

— Ростислав Васильич?.. Где же ему быть?.. Да что ты все про меня? — с сердцем оборвал Евграф. — Ты про себя скажи. Что вдруг вернулся? С Василь Леонтычем не ладили? Крут твой батюшка.

— Нет. Отстал от обоза. Да и нечего мне там делать.

— Верно, что нечего. Зачем же ушел?

— Я тебя о Ростиславе спрашиваю.

Евграф быстро перекинул ноги через кровать, к проруби, и прикрикнул:

— Заладил одну! Слышишь, колоколец звонит — в сеть рыба зашла.

Он схватился за сеть, но не вытянул ее, оставшись неподвижен, спиной к Никите.

— Отошел, что ли? — спросил он, помолчав. — А то на тебе лица не было... Я уж думаю, говорить ли тебе, такому...

Голос Евграфа огрубел и приглож. Он не говорил, а бурчал отрывисто, злобно и скупно.

— Ты — о брате? — беспокойно поторопил Никита.

— А то о ком же? О Ростиславе Васильиче, о нем самом. Ростислав Васильич приказал долго жить...

— Умер?

— Кабы умер — ничего бы тут не было.

— Убит? — прошептал Никита, приподнимаясь на руках и заглядывая в лицо Евграфа.

— На то война.

— Когда? Где? Евграф!

— Не кричи. Криком дела не поправишь... Передохни малость, я скажу по порядку.

— Да когда он убит?

— Поутру ты с Василь Леонтьичем уехал, за полдень мы вошли, а ночью нас потревожили. То есть казачи, понял?

— Значит — здесь, в городе?

Никита закрыл лицо.

— Да ты слушай... Входим мы в город, обыкновенно так, от колотка к колотку, народу кругом не очень много, нужно сказать правду — не встречают. Ростислав Васильич на коне, конь у него такой — только смотри. Я, конечно, при нем, недалеко. Хотя, когда по улицам шли, я находился в обозе, потом только, на базаре, где отряд собрался, подхожу к Ростиславу Васильичу, ну, и докладываю ему по-военному, что, дескать, Ростислав Васильич, город, мол, Уральск занят Красной Армией. Он этак по-своему засмеялся. «Спасибо, говорит, тебе за рапорт, поздравляю тебя, наконец ты дошел до своего Уральска». Я тут ему отвечаю, что верно, мол, шли порядочно, и на одном месте тоже потоптались, и теперь

я желаю отдохнуть, потому что война для меня отяго-
нительна, и прошу его уволить меня в отпуск. «Вам,
говорю ему, Ростислав Васильич, тоже пора бы пере-
дохнуть», — и приглашаю его с собой прямо в роди-
тельский дом, это — к Василь Леонтьичу, — там, мол,
и на квартиру станем. Тогда он меня отпускает: «Сту-
пай, говорит, Евграф, к нашим, успокой, чтобы не
было волнений, а я, говорит, как справлюсь, прибуду».
Ну, я военное дело знаю, тут и квартиры, и доволь-
ствие, и дисциплина. «Ладно, отвечаю, справляйтесь,
а я пойду». Прихожу я в дом, застаю стряпку, волне-
ния с ней никакого нет, так что успокаивать нечего,
и узнаю про то, как вы убежали. Вот, думаю, пришло
время — друг от дружки бегает. Ну, говорю я стряп-
ке, что занимаю квартиру и что мне должно обнару-
жить полное подчинение, запираю ворота, ложусь,
и — с походной жизни — засыпаю медведем. Ночью
меня стряпка тормошит, протер я глаза, на женщину
трясучка напала, слова не может выговорить. При-
слушался и по-военному объясняю: это, мол, казаки
орудиями наших высаживают и, надо ожидать, выса-
дят, так чтобы она молчала про меня, кто я, и гово-
рила, что, мол, дворник. Дворник, дескать, Евграф.
Тут слышим мы стук в ворота. Пошел я, слышу —
Ростислав Васильич. Спрыгнул он с коня, привязал
повод за скобу на калитке и говорит мне: «Ишь, го-
ворит, как казаки нас встретили, ничего путного не
оставили, во всем городе одни подсолнухи да гнилая
вобла». Я ему отвечаю, что, мол, по барину говядина,
по говядине вилка. Он смеется и спрашивает, как,
дескать, наши, это значит — вы. Я объясняю, что все
отбыли. «А Никита?» — спрашивает. «И Никита, го-
ворю, Васильич со всеми». — «Эх, говорит, дурак!» —
и по ляжкам даже хлопнул...

Евграф приостановился и посмотрел на Никиту.
Но Никита сидел не шевелясь, по-прежнему закрыв
лицо руками в мохнатых шерстяных варежках. Ев-
граф глубоко, медленно вздохнул и повторил:

— «Эх, говорит, дурак!» Это про тебя... Ну, я ему
тут говорю: «Ростислав Васильич, вы — человек воен-

ный, слышите, — винтовки на улицах шелкают, как бы вас, говорю, тут кто не захватил». Он мне на это: «Я, говорит, потому и прискакал, хочу на свой дом взглянуть, может, говорит, долго не придется увидеть. Я сию минутку, говорит, сбегая наверх и назад. Тебе, говорит, советую в городе остаться, потому красные свое не упустят». Я объясняю, что мне, мол, теперь некуда, я до своего дошел. Отперли мы тут дом, и слышу я, как Ростислав Васильич по лесенке наверх затопал. Только самой этой минуткой подскакали к воротам конные, и слышу — осаживают. Гляжу, в калитку — казаки. «Чей, кричат, конь у ворот?» — «Я, говорю, почем знаю: конь стоит на улице, может из другого колотка, я за улицу не отвечаю, я — дворник». Стали они по двору шастать, потом на кухню пошли. Я тут — шмыг в дом. В темноте нащупал дверь, открыл — лесенка, а там огонек, вроде как от свечки, пляшет. Я на лесенку таким шепотом: «Ростислав Васильич, хоронись скорей, куда можешь! Казаки!» А он мне сверху: «Сейчас», — говорит, да громко. Я давлюсь, чтобы не закричать, хриплю: «Гаси огонь, увидят». А он опять: «Сейчас, погоди». А чего годить?! Ну, потом он с лесенки скатился, захромал, бок, говорит, отбил. Я ему: «Ростислав Васильич, на дворе — казаки, ищут!» — «Черт, говорит, с ними, прощай!» И на двор, да бегом к калитке, значит — к своему коню. Отпутывает повод, а казаки из кухни выходят, слышат — конь танцует, кинулись в калитку, но только Ростислав Васильич уж был в седле и пришилпорил. Погнались они за ним, слышу — раз, два — стреляют, потом треснуло так, словно гороховый стручок лопнул, погромче только. Это, думаю, Ростислав Васильич, у него такой револьвер, чудно стреляет. Ну, значит, полагаю, ушел: ездок он такой, что другого не найдешь. Я все, бывало, поминую, что вот, дескать, тебя, Никита Васильич, учил на коне бегать, а научился-то Ростислав Васильич.

Евграф остановился и опять поглядел на Никиту.

— Да... значит, тогда я в последний раз Ростислав Васильича и видел. Живого... Залег я на сеновал и отсидел до утра, а поутру, стало быть, наши верну-

лись. Тут я узнаю, что Ростислав Васильич лежит недалеко от дома, убитый. Бегу туда, там народ, которые из нашего отряда — тоже. Спрашивают — как случилось? Я, значит, что знаю, вот как тебе, рассказываю, а сам на Ростислав Васильича гляжу. Ну, мало похож на себя остался, разве на губах такое, словно смеется по-своему. Зарубили. Череп ему сверху откололи, вроде как у нас, в анатомии, когда мозги смотрят, а заместо мозгов в черепе снег. Это они нарочно набили, насмехались. Простился я, поцеловал Ростислав Васильича, говорю ему: «Жил ты, как охотник, все, бывало, удачи искал, на огне горел за всех за нас, из каких переделок невредим оставался, и вот, у самого родительского дома, под своей крышей кончил. Верно, говорю, Ростислав Васильич, сказано: идет линия — играет дуда глиняна, не идет линия — и медный рог не игрок...» Тут которые из отряда стали с Ростиславом Васильичем прощаться, прямо на морозе, потом повезли. А вчерашний день — похоронили под музыку...

Евграф озабоченно схватился за жердинку, потыкал ею в прорубь и примолк. Немного погодя он украдкой покосил на Никиту зашуренным глазом и добавил с укоризной:

— Вот тебе и Ростислав Васильич...

Никита скинул со своих ног полушубок, поднялся с кровати и отворил дверцу.

— Далеко ль? — спросил Евграф, нацеливаясь выскочить следом за ним.

— Мне надо... пойти туда, — медленно выговорил Никита.

— Куда туда?

— В комнату. Домой. Он был наверху, говоришь?

— Стой, стой! — крикнул Евграф, хватаясь за Никитину шубу. — Чего задумал?

Он заслонил собою выход и, навалившись на Никиту, толкая его к кровати, испуганно пробормотал:

— Чего задумал? Иль не в себе? Смерти ищешь? Не пушу, чего хочешь делай, не пушу!

— Уйди! — со злобной и брезгливой гримасой сказал Никита.

— Убьют, говорю — убьют! — закричал Евграф. — Не пущу! На что идешь? Страшней, чем его, убьют! Не пущу!

— Пусти!

Никита толкнул Евграфа на кровать и выбежал вон. Минуту Евграф лежал не двигаясь, сердито ворча себе под нос несвязные слова. Потом вскочил.

— Никита Васильич! — позвал он громко. — Послушай старика! Убьют!

Он подождал, не обернется ли Никита, и еще громче проголосил:

— Приходи назад, в сизу, тут верней!..

Никита был далеко.

Измождение, которое недавно подламывало его ноги, исчезло без следа. Все его чувства обновились, какая-то свежая кровь опалила его жилы. Он прошел через весь город быстрым, сильным шагом.

Каревский двор был занят артиллерийским обозом, но дом стоял на запоре. Перепуганная кухарка отперла замки и впустила Никиту.

Он бегом взобрался наверх и глянул на зеркало. Записки не было. Никита бросился к столу. Страничка из тетради валялась на виду и около нее — карандаш. От мороза у Никиты слезились глаза, он сорвал с пальцев варежку, вытер лицо, схватил бумагу и прочел:

«Наталя на фронте, врачом. Писала, что Матвей по-прежнему в Питере. Больше ни о ком не знаю. А я — ну, мне что! И в огне не горю, и в воде не тону!

Ростислав».

Последние слова были написаны крупнее и размашистей первых. Подпись можно было разобрать только по начальным буквам. На обороте листка Никита узнал свой почерк.

Он сунул записку в карман и, не глядя на комнату, не видя ничего перед собою, побежал к выходу.

Он опомнился только на улице, неподалеку от дома. Холодными, непослушными пальцами он развернул листок бумаги и еще раз прочитал рассыпанные на нем немногие слова.

Почему в этих словах, в этих последних словах Ростислава не было ни одного — предназначенного только ему, Никите? Впрочем, разве знал Ростислав, что он пишет свое завещанье?

Никита оторвал глаза от записки. Раскрытый больше обычного, отягощенный заиндевелыми ресницами, взор его блуждал бесцельно. Внезапно он остановился.

Никита стоял против забора, сворачивавшего с улицы в короткий пустынный тупик (ребятишки прозвали этот тупик Вахрамеевым, потому что на углу торговал когда-то мороженщик Вахрамеем). На зеленовато-серых скучных досках забора висела теперь яркая заплатка — крашеная жестянка с названием улицы. Но старого названия не было видно. Или нет, — его можно было разглядеть, оно просвечивало сквозь жидкую кирпичную краску, которая не могла засохнуть, а подмерзла. Сквозь эту свежую краску можно было еще прочесть: «Атаманская улица». Но надпись перекрещивали и дробили новые, черные, лоснившиеся маслом неуклюжие буквы:

УЛИЦА ТОВАРИЩА КАРЕВА

И когда эти буквы в сознании Никиты стали словами и он разгадал их несложное значение, — мучительный прилив свежей, какой-то чужой крови заново обжег его с ног до головы. Он почувствовал томительное оживание своего тела, как будто просыпался после долгого наркоза. Он начал обонять замороженные ароматы воздуха, увидел прозрачность солнечного дня, ощутил натекающую в мышцы силу, и вдруг около его ушей обвалилась непроницаемо-тяжкая стена, и к нему вернулся слух.

Он слышал, какою горечью отчаяния был наполнен кругом него мир, какую горечь утраты заключало в себе его сердце — сердце Никиты, и тайный, боязливый восторг глубоко содрогнул его.

Он пошел по улице, где погиб его брат, прежней своей походкой — чуть-чуть касаясь земли, — неся в себе первую отчаянную горечь утраты и первую робкую радость — радость приобретения утраты.

Глава шестая

Когда присланный из Москвы командующий речной флотилией Шеринг назначил комиссаром флагманского судна Родиона Чорбова — никто не удивился: Родион был лоцманом, большевиком, неплохим парнем — почему же не стать ему комиссаром? Ефрейторы водили дивизии, почтальоны управляли финансами, токари по металлу и портные издавали законы, и армия, банки, юстиция были необычайны, но не так плохи, — революция довольствовалась ими, и понемногу они справлялись со всем, что ей мешало.

Флагманское судно было простым буксирным пароходом, усердием Сормова переделанным в хмурую плавающую крепость — с мутно-зелеными стволами орудий, тупым взглядом бронированных бойниц, — неповоротливую и неудобную. Крепость передвигалась по коридору насупленных камских берегов, позади и впереди нее шли такие же, как она, буксиры, и на них, под сенью развешенного для просушки матросского белья, хмурились жерла орудий. Фронт откатывался на восток, и на восток шла флотилия Шеринга.

Родион встретился с Шерингом перед лицом команды, на корме, поднявшись из лодки по трапу, и видно было, что Шеринг нарочно сошел с палубы, чтобы встретить нового комиссара. Шеринг подошел к самому борту, нагнулся, спустил руку, и Родион, влезая по трапу, схватил эту руку цепко и надежно и впрыгнул на борт. Шеринг, не выпуская руки Родиона, отстранил его немного вбок, пристально, тепло всмотрелся в его лицо и сказал:

— Ты все такой же. Здравствуй.

Он притянул к себе Родиона, обнял его, и так — обнявшись — они пошли на палубу.

Родион, правда, был таким же: круглая большая голова, вросшая в плечи, как бабка — в борт пристани, глубоко вдавленные уголки крепких губ, прозрачные глаза под буграми бровей. При всей складности движений, которой научила его работа на судах, в нем все еще проглядывала застенчивая неуклю-

жесть мальчугана, отданного в ученье пароходному агенту. Идя по палубе рядом с Шерингом, Родион старался половчее ступать, но не мог приноровиться к отчетливому шагу своего товарища и грубо толкал его плечом в бок. Перед тем как войти в рубку, у самой двери, он должен был плотно прижать к себе Шеринга, чтобы помочь ему удержаться на ногах. В эту секунду смущение со странной силой колыхнуло его, и вдруг стало ясно, что неловкость шага, сдавленность всех его движений рождены простодушной молодой радостью, утаить которой он не мог. Его словно что-то сдвинуло с места.

— Какая история, — проговорил он торопливо. — Я все ждал, что мы встретимся. Что ты будешь — главный, а я — помощник!

В глазах его засветилось глубокое, веселое восхищение. Шеринг ласково улыбнулся, открыл дверь и хотел втолкнуть его в рубку, но Родион уступил дорогу и вошел последним...

Два сна чаще всего снились Родиону.

Первый: он карабкается по каким-то сваям, доскам, лесенкам на борт чудовищного судна. Он слышит возрастающий грохот железа по железу, точно его посадили внутрь парового котла и рядом с ним глухарь отбивает молотом неподатливый болт. Леса, по которым нужно Родиону взобраться, неудобны. Он цепляется за тоненькую балясинку, она подламывается, он падает, но успевает за что-то схватиться, и опять карабкается вверх. Вдруг леса исчезают, он остается в воздухе, и ему нужно лететь. Он машет руками, как птица крыльями, и легко, почти невесомо взлетает наверх. Тогда под ним открывается громадный судовой корпус, наполненный крошечными человечками, по-муравьиному бегущими в разные стороны. Он ощущает упругую толщу воздуха, и раскатать ее широким взмахом рук ему отрадно и сладко. Сверху он видит десятки доков, в каждом из них — суда. Людей уже нельзя разглядеть. Потом исчезают суда, исчезают доки, воздух белеет, Родиона кто-то охватывает кольцом тонких рук повыше пояса, сзади, он произносит довольно:

— Большой ремонт, — и слышит чужое, нетерпеливое, морозное дыхание над своим ухом.

— Успеешь, — говорит Шеринг, — гони сильней.

Но это — второй сон, слившийся с первым и продолжающий его, как вечер продолжает сумерки.

Родион гонит лошадь в бесконечность, снежная пустыня кажется хмуро-лиловой. Шеринг сжимает его грудь с щемящей болью, Родиону невозможно дышать, он леденеет, и страшная боязнь, — замерзнуть раньше срока, раньше, чем это нужно Шерингу, держит его — околоченного — в санях.

— Теперь пора, до свиданья, — тихо говорит Шеринг и сбрасывает Родиона с саней в снег.

Родион лежит в морозной лиловой пустыне, ему хочется улыбнуться, но губы отвердели и челюсти сжаты, как клещи. Его обступают люди, ненавистно заглядывают ему в глаза, кричат в озлоблении и страхе:

— Где Шеринг, отвечай? Куда ты девал Шеринга?

Тогда Родион сквозь зубы процеживает медленно и скупно:

— Разве я обязан следить за Шерингом?

— Разве я сторож брату моему? — рассказывает рыжебородый батюшка, pokrучивая в пальцах серебряный нагрудный крест...

Но нет, это — не сон! Это действительно случилось около десяти лет назад, когда Шеринг бежал из Минусинского края за границу, к своему отцу. На допросе, учиненном всем ссыльным и ссыльнопоселенцам, Родион Чорбов пожал плечами и выговорил с неохотой, подавляя в себе волну колющего холода:

— Разве я обязан следить за Шерингом?

И в ту же минуту он вспомнил школьного рыжеволосого батюшку, безразличным баюкающим тенорком повествовавшего из Книги Бытия:

— И сказал господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?

Никакого сходства с тем, что совершил Каин, не мог иметь поступок Родиона, и неожиданное воспоминание показалось Родиону глупым, и он улыбнулся едва заметной кривой улыбкой. Может быть, за эту

улыбку он поплатился годом тюрьмы, пока велось следствие о побеге из ссылки Шеринга. Но Родион ни разу не пожалел, что ему пришлось сменить тесовую конуру ссыльного на каменную клетку арестанта. Он был горд, что больше других пригодился Шерингу, больше других знал о побеге, и он молчал у следователя с упрямством, которое переходило в наслаждение.

Побег был блестящий, о нем говорила вся ссылка, Шеринг еще раз показал, что он умеет действовать, а не только читать и писать книжки. И в этом последнем его безумном и великолепном действии ему помогал Родион. Можно ли было ждать себе какой-нибудь другой награды? Ведь если бы для избавления Шеринга понадобилось замерзнуть в снежной пустыне, как замерзал Родион во сне, если бы нужно было своею смертью предотвратить или хотя бы задержать на один час погоню за ускользающим беглецом, разве Родион Чорбов не отдал бы своей жизни с чувством обретенного, наконец, счастья?

О да! Ради Шеринга — да! Две жизни, десять жизней! Он готов был вновь и вновь родиться, чтобы снова и снова умереть для спасения единственной — незаменимой, казалось ему — жизни Шеринга, Шеринга — участника восстания на Пресне, Шеринга — вдохновителя конспиративной работы, Шеринга — революционных дел мастера, ученого, агитатора, неустрашимого, безукоризненного Шеринга, — о, сколько образцовых качеств приписывалось этому имени, этому человеку!..

И вот Родион сидел с ним в крошечной рубке с глазу на глаз, спустя десять лет после того, как в последний раз пожал ему руку.

Шеринг дотрагивался до крутой, широкой коленки Родиона и неторопливо, но очень сжато, бережно выпуская слова, говорил о своем плане захода флотилии в тыл белой армии и прорыва неприятельского фронта.

Надо было собрать все самообладание, чтобы пристально следить за мыслью Шеринга, надо было за-

ставить себя не глядеть на него, чтобы не поддаться любованию его лицом — чуть желтоватым, худым, с подвижными бровями, с тонкой горбиной носа, чтобы не перебирать в памяти бесчисленных старых представлений о том, какой должна была быть встреча с Шерингом, вот с этим Шерингом, чуть теплая рука которого лежит сейчас на коленке Родиона.

И Родион диковато, угрюмо глядел в пол, и бугры его лба вздувались, как будто под кожей перебежали с места на место два ореха.

— Ты понимаешь меня? — спросил Шеринг, рассказав о плане.

— Понимаю, — ответил Родион.

— Ты как будто устал? Или ты не согласен со мной?

— Я согласен. Я старался не пропустить чего-нибудь.

Нажимая кнопку звонка на столе, Шеринг опять улыбнулся, и тогда Родион почувствовал приступ мягкого, согревающего спокойствия: он нашел Шеринга таким, каким хотел его найти, каким Шеринг постоянно появлялся перед ним в воспоминаниях и снах.

В рубку вошла женщина. Черное платье на ней было необыкновенное — таких давно уже не носили — с высоким, глухим воротничком и длинными рукавами. Но сидело оно отлично, и казалось — старомодность его была умышленно сохранена. Женщина бегло взглянула на Родиона, рассчитанно по-деловому усаживаясь за стол и придвигая к себе «ундервуд», и так же по-деловому, наскоро проговорила:

— Здравствуйте, товарищ Чорбов.

«Значит, уже знают», — решил про себя Родион.

— Пишите, — тихо сказал Шеринг и начал диктовать.

Женщина держалась прямо, лицо ее было сосредоточенно, пожалуй, — строго, но работу она выполняла легко, сильные пальцы ее без заминки находили нужный клавиш, и строки быстро погоняли размеренную однотонную диктовку.

Вдруг, в паузу, она подняла глаза и столкнулась со взглядом Родиона. Она глядела на него, как смот-

рят, задумавшись, в пустоту, но Родион с неприятной остротою почувствовал, что она видит и нарочно не сводит с него темных своих, недвижных глаз. Он нахмурился, подпер голову рукою и решил не уступать.

— Дальше! — сказал Шеринг.

Нет, Родион, конечно, ошибся. Женщина оторвала от него свой взгляд так, как отрывают его от пустоты: веки дрогнули, зрачки метнулись в сторону, и тотчас — наполнившись сознанием — глаза опустились, заслоненные синеватой тенью ресниц.

Тогда стало видно, что взор женщины, пока он был открыт, озарял все ее лицо, и сквозь деловую сосредоточенность Родион различил беспокойную, вызывающую красоту. И он смотрел в это лицо не отрываясь, как будто единоборство взглядов все еще продолжалось.

— Это все, — чуть повышая голос, закончил Шеринг. — А как работа, которую я сдал утром? — спросил он тут же.

Стоя в самых дверях рубки, женщина повернула голову к Шерингу, но глаза ее снова остановились на Родионе.

— Мне осталось только проверить, — ответила она; — я принесу ее вам через полчаса.

Нет, она опять смотрела в пустоту, она не замечала Родиона! Вместе со взором лицо ее озарила сверкнувшая на один миг полоса зубов, и — нагнувшись под притолоку — женщина вышла.

Родион глядел ей вслед, когда она переступала порожек. Она была сильна, округлые плечи и спина ее были гибки, платье хорошо облекало ее тело.

— Правильно я сочинил? — спросил Шеринг, протягивая бумагу Родиону. — Тебе надо подписаться.

Родион вспыхнул и насупился. Из-за какой-то юбки он проморгал все, что говорил Шеринг! Хорошее начало!

— Я прочитаю разок еще, — пробурчал он и с удовольствием мотнул головой на дверь: — Кто это?

— Как видишь — машинистка. Письмоводитель, счетовод — кто хочешь.

— Она давно у тебя?

— Месяца четыре. Прекрасный работник.

Родион молчал.

— Ты знаешь ее? — спросил Шеринг.

— А ты? — вскинув бугры тяжелых бровей, отозвался Родион.

— Она работала у меня в Москве, я привез ее с собою. Она из купеческой семьи, кажется. Варвара Михайловна Шерстобитова. Не слыхал?

— В штабе командующего флотилией секретарь из купеческой семьи, — прищурился Родион.

Шеринг ответил не сразу. Он внимательно осмотрел товарища, словно только сейчас нашел минуту сравнить его с тем Родионом, которого он знал много лет назад.

— Может быть, тебе следует знать, — ухмыльнулся Шеринг, — здесь на пароходе есть такой Чупрыков, вроде каптенармуса, увидишь. Когда я пригласил Шерстобитову ехать со мной, она очень просила взять его. Сейчас я вспомнил. Этот самый Чупрыков — из добровольцев, служил в полку, который я формировал. Он и привел тогда в штаб Шерстобитову. Выходит — круговая порука, — засмеялся Шеринг. — Не знаю, чем они связаны.

Родион молчал.

— Но если ты думаешь... — проговорил Шеринг, кладя на коленку Родиона теплую руку, — если думаешь насчет... верно ли я тебя понимаю? То ведь пешком по воде не уйти, жизнь здесь на ладони. Я имел это в виду и совершенно спокоен. А Варвара Михайловна — работник нужный.

Шеринг поднялся с койки и подошел к столу.

— Да ты сам в этом убедишься, — резко добавил он. — Тебе придется все время работать с ней... Давай дальше. Прочти вот...

Да, Родиону пришлось убедиться, что Варвара Михайловна — прекрасный работник...

Судовой устав на реке — не то, что на море. По Волге, Оке и Каме плавают, в сущности, жилые избы — очень большие, просторные или тесные, смотря по тому, каков пароход. Команда живет на судах семьями, особенно команда старшая — капитан, по-

мощники, механики, лоцманы, иной раз и матросы — с женами, младенцами, овеванные пахучей домашностью, в пеленках, узлах, самоварах. Домашность эта пришла на пароход с плотов и белян, с просторных барок и украшенных расшив, и ее не могли разрушить ни комфортабельные экспрессы, ни расчетливые акционеры пароходных обществ. Матрос привык на пароходе жить, а не только плавать, и бабья юбка на борту стала для него чем-то вроде сигнала о полном благополучии.

В войну шумливые буксиры стали броненосцами, и жены, младенцы с пеленками и самоварами высадились на берег. Но команда еще не позабыла привычного, веками благословенного обихода, и на борту флагманского судна Варвара Михайловна как будто случайно осталась от прошлого, не успев сойти на пристань.

Матросы военных судов, истые моряки, которые на речных флотилиях были боевой силой, за революцию легко приучились к сухопутью и еще легче к тому, что все идет не так, как шло раньше, что происходит какой-то всеобщий шиворот-навыворот и удивляться ничему не следует. Речной пароход для моряка — посуда комическая, и — правда — достоин смеха, когда — к примеру — пробирается через перекаты и сонный матрос, обмакивая гнущуюся наметку в воду, стоя на носу, заунывно кричит:

— Шесть с половина-ай... Восемь с половина-ай!.. Под-табак!.. Та-бак!..

На такой посуде только бабам и плавать! И что же чрезвычайного в том, что на флагманском судне, в кухонном помещении, скребли и полоскали котлы судомойки, а по палубе изредка прогуливалась штабная машинистка — Варвара Михайловна? С судомойками по вечерам можно было точить лясы, а с Варварой Михайловной — обмениваться шуточкой и поглядеть, как сверкнут у ней зубы, когда она рассмеется.

Матросы относились к Варваре Михайловне хорошо (это сразу увидел Родион), она держала себя просто, пришлась к дому.

Но все это было сущими пустяками, потому что команда готовилась к главному — к предстоящему

бою, ждала его каждый час, судно сделалось машиной, средоточием воли, которая вела всю флотилию на восток. Главное было — в подготовке к удару, к операции, главное было — в точности и безошибочности работы крошечных частиц машины.

И тут Варвара Михайловна обнаруживала решительно незаменимые достоинства. Родион понял это и признал отзыв Шеринга. Она работала без усталости, днем и ночью — когда находилось дело, — с такой легкостью, как будто труд для нее был игрушкой. Во время занятий она бывала серьезна, даже строга, но здоровье ее, легко осиливавшее любое напряжение, делало самую серьезность и строгость какими-то удобными и шутливыми. За судовыми приказами и хозяйственными ведомостями, дробно потрескивая клавиатурой машинки, она забавлялась, а не работала, и краски ее лица были радостно-свежи, точно она сидела в качалке на носу парохода и ветер обдувал ей щеки.

В конце концов эта неустанная легкость начала раздражать Родиона. Стало совершенно ясно, что Варвара Михайловна притворяется. Что ей тоже страшно трудно и утомительно вставать посреди ночи, садиться за стол и писать под диктовку Шеринга или Родиона. Что она измучилась от непрерывного ожидания опасности, от ожидания боя, от мысли, что, может быть, флот идет в ловушку, что ловушка поставлена в самом неожиданном месте, что вот, когда Шеринг тихо и устало скажет: «Точка, абзац», — в этот миг все полетит к черту! Конечно, Варвара Михайловна угнетена до крайности, но она с умыслом подавляет в себе изнурение и страх, чтобы показать ему, Родиону, что она сильнее его, сильнее всех. Это очевидно! Она непременно хочет как-нибудь уязвить Родиона, заставить почувствовать, что она превосходит его в настойчивости, выдержке и в образовании. Конечно, конечно! — в образовании! Это в ней самое неприятное, отталкивающее, раздражающее. Зачем, например, она молча, бесстрастно сидит, глядя черными своими остановившимися глазами в пространство, когда Родион, спотыкнувшись в диктовке, поды-

скивает нужное слово или — просто не знает, как начать бумагу? Варвара Михайловна держит наготове пальцы, ровно, незаметно дышит, взгляд ее пуст — да, черт побери! пуст! Но в губах, в губах! Словно вот сейчас сорвется нужное Родиону слово, и нет, нет! Не срывается! И как же это слово, как его?..

— Пишите! — говорит грубо Родион. — Дальше! Гм-м...

Она готова писать, совершенно готова, она даже приподняла локти, — но как же это слово?!

И хоть бы один слог сорвался с густо-красных ее, чуть вздрагивающих губ! И хоть бы один раз она пожаловалась на усталость!

Откуда у нее такое самообладание, такое чувство превосходства? Что руководит ею, чем объяснить присутствие ее здесь, на боевом судне, что понадобилось ей на фронте, на этой стороне фронта, а не на той? Зачем она пришла сюда?

Комиссар флагманского судна Родион Чорбов находит наконец минуту поговорить с машинисткой о посторонних предметах.

— М...м...м... — начинает он, — откуда у вас... этого... откуда вы запаслись... как его?.. геройством?

Варвара Михайловна подергивает бровью. Она слышала, что ее хотят оторвать от дела, и готова оторваться, только — вот сию минуту — дочитает две-три какие-то строчки.

— Не думаете вы, — продолжает Родион, — что наш пароходик напорется... это самое... на мину и мы с вами... понимаете ли...

— Да, — громко отвечает Варвара Михайловна, беззаботно встряхивая головой и вдруг уставив прямой свой взгляд в глаза Родиона. — Да, товарищ Чорбов. Вполне возможно, что наш пароходик напорется на мину и мы с вами... это самое...

Она делает неопределенный жест, показывая раскрытыми пальцами в потолок рубки, и Родиону кажется, что на ее лицо, прямо против глаз, наведена стосвечовая лампа.

— М-м, да... — хочет он сказать, — как его...

Но Варвара Михайловна еще не кончила:

— Ведь если даже вы, товарищ Чорбов, думаете о мне, на которую напорется наш пароходик, то мне тем более...

— То есть как? — грубовато перебивает он. — Почему — «даже я»? Что же я... какой-нибудь... как его?

Она не перестает глядеть на него, и лампа, озаряющая ее лицо, стремительно усиливает свет до ста пятидесяти свечей, до двухсот, до трехсот...

— Да! — спохватывается Родион. — Надо составить инструкцию об этом... о порядке отчетности... Возьмите пол-листа. Нет — лист! Полный лист, в разворот!..

У него голос командира, когда он выкрикивает — в разворот!

Иногда Варвара Михайловна бывает особенной. (Кстати, у Родиона такое чувство, что он плавает на флагманском судне давным-давно, что он не расставался с Шерингом и великолепно успел изучить Варвару Михайловну, со всеми ее хитростями.) Она как будто приоткрывает свое существо, показывает, что ей нечего таить от Родиона или бояться его, что она действительно забавляется работой.

Родион водит круглой головой из стороны в сторону, бугры на его лбу исчезают и появляются, он диктует сводку событий за истекший день.

— Отчаливая от села... как его... Воскресенского...

— «Как его» тоже писать? — невозмутимо спрашивает Варвара Михайловна.

Он смотрит на нее. Она не поднимает глаз с машинки.

— Не-ет! — нарочно помедленней, с угрожающей расстановочкой отвечает Родион. — Не-ет, дорогой товарищ, слов «как его» писать не следует.

И он круто меняет тон, продолжая важную диктовку:

— Отчаливая от села Воскресенского, на флагманское судно произошло нападение кучки неприятеля с берега...

Варвара Михайловна перестает трещать на «ундервуде» и улыбается.

— Вы что?

— Так нельзя сказать, товарищ Чорбов.

— Как?

— Нельзя сказать: отчаливая, на судно произошло нападение.

— Пишите, как вам говорят! — кричит он изо всей силы. — Я знаю, что вы образованней меня! Сейчас мне не время брать уроки!

Она пишет дальше, не произнося ни звука, пишет день, другой, как заводской раскрашенный автомат, не замечая Родиона, совершенно не замечая его, так что это становится даже... оскорбительно.

И потом — черт побери! — через два дня Родион обнаруживает, что все бумаги, продиктованные им, имеют едва уловимые исправления, хотя точно выражают его мысль. Нет, это уже невыносимо, это перешло всякие границы, это...

— Послушайте, вы, — сжав зубы, цедит Родион, — как его... вы это бросьте!

— Что?

— Делать все по-своему.

У Варвары Михайловны страшно перепуганный вид. Просто никогда нельзя было поверить, что она так испугается!

— Я что-нибудь напутала?

— Нет. У вас получается не теми словами, в другом порядке... не так, как говорил я...

— Лучше или хуже?

Варвара Михайловна испугана, это бросается в глаза, и неприятно: ведь человек не совершил ничего предосудительного, за что же с него взыскивать? Но Родиона не обманешь, он прекрасно подметил за испугом ту самую улыбочку превосходства, которая возмущает и отталкивает его.

— Может, и лучше, — язвительно говорит он, — но зачем вы себя затрудняете?

Ага, он попал в цель! Варвара Михайловна видит, что ее коварство позорно разоблачено, и она переходит на откровенность. Она чуть-чуть приближает свое лицо к Родиону, давая понять, что при желании они могут быть друзьями, и открыто, без утайки и хитрости, смеется.

— Милый товарищ Чорбов, ведь для меня не составляют никакого труда эти маленькие исправления. Я делаю их обычно во время диктовки...

Ну да, он так и знал, что она не упустит случая порисоваться перед ним своими талантами, чтобы большее унизить его, чтобы еще раз подчеркнуть свое превосходство.

— Я вам уже говорил, чтобы вы придерживали образованность при себе. А если она не дает вам покоя, то...

Родион вне себя. Он взбешен. Нужно наконец поставить эту барышню на место, заявив ей, что от комиссара ничего не скроется, что ему все известно! И он, задыхаясь, продолжает:

— ...то вы можете... как его... давать уроки по грамматике... помощнику каптенармуса Чупрыкову... по вечерам... на корме...

Тогда Варвара Михайловна оглушает Родиона взрывом хохота, так что он на секунду стоит в растерянности: что с ней? В уме ли она? Может быть, она предполагает, что комиссару флагманского судна неприятны ее глупые встречи с Чупрыковым? Подумаешь! Очень ему нужен Чупрыков! Впрочем, приглядеть за ним не мешает: что-то он чересчур расторопен и угодлив.

Но где слышал Родион этот грудной, глубокий смех? Когда видел точь-в-точь такие же сверкающие полосы зубов? Черт знает что за дрянь лезет в голову, в то время как с минуты на минуту должны наступить события решающие, громадные и удивительные!

Родион, без сомнения, с легкостью выкинул бы все это из головы, если бы не случай около нефтянки, всполошивший его и сделавший назойливое воспоминание близким и плотски-живым.

Нефтянку встретили неожиданно. Странно, что она уцелела на пути отступления белых армий, что се не сожгли рыскавшие повсюду шайки зеленых. Она стояла одиноко в дикой местности, но причалы и якоря были в порядке, как будто люди бросили баржу на часок и вот-вот должны были вернуться.

К нефтянке подошли осторожно, сначала — на лодках, осмотрели, нашли немало нефти и решили пополнить пароходные запасы. Флагманское судно брало горючее последним.

Приборы и трубы для перекачки были повреждены, команда долго возилась с насосом, перемазалась, оборвалась, но свое взяла. На радостях, пока труба пофыркивала и поплевывала черной струей нефти, матросы на носу подняли возню. Один из них потешал команду борьбой с самим собою. Он заправски, по-цирковому хватал себя за шею, ставил на четвереньки, гнул и подминал плечи под голову, перевтывал себя на спину, снова вскакивал и опять кидал сам себя на пол. Кончил он тем, что повалился на смотанный кольцами канат и запишал себя головой в середину, высунув из каната ноги торчком вверх, словно из кадушки. Команда гоготала дружно.

Родион, бывший вместе с матросами на носу, заметил, как они вскидывали глаза на палубу и, точно подбодренные, принимались хохотать еще громче. Он посмотрел наверх.

На палубе, рядом с Шерингом, стояла Варвара Михайловна, облокотившись о балясину перилец и глядя вниз, на Родиона. Он увидел, что Шеринг смеялся, и подумал — как хорошо, что командующий флотилией развлекается заодно с матросами, — но не этот смех привлек его и собрал в одну горсть все его силы.

В жарком свете дня глаза и брови Варвары Михайловны казались еще темней, полосы точеных зубов — еще ярче. Смех ее — глубокий и мягкий — был отчетливо слышен в грохотавшем гоготе мужских глоток, и весь ее облик в эту минуту, на этом пароходе, высоко над головою Родиона, где-то на синем небе (выше нее Родиону видно было только небо), весь облик Варвары Михайловны представился ему таким невероятным и далеким, что он тотчас вспомнил ее, да, ее — молоденькую девушку в белом, как капитанский китель, платье, перегнувшуюся через перила палубы, над головой Родиона, точь-в-точь как теперь. Это была она, — да, да! — это она хохотала над тем, как Родион отмахивался от надоедливой

мошкары, как он — разиня! — не докинул до пристани легости, — она, она!

Так вот откуда не дающая покоя неприязнь к самоуверенной манере ее держаться, к ее осанке, к деланной, презрительно-холодной ее речи! Вот откуда ненависть, — о! Родион злобно ненавидел Варвару Михайловну, — откуда ненависть к ее сильным пальцам, к взгляду, к невыносимо сверкающему рту, к ее спине, — нет! нельзя было без ярости подумать об ее спине, — когда она, с немного сжатыми лопатками, скрывается за дверью — а-а-а! Вот откуда неумная, беспокойная боль, поразившая Родиона еще тогда, много лет назад. Он вспомнил теперь всю встречу до последнего момента, когда взбалмошная девчонка кивнула ему с извозчика и он пустил ей вслед напутственное словцо. Жалко, что он не закричал тогда посильнее, чтобы она хорошенько расслышала, чтобы словцо прилепилось к ней площадным клеймом. Потому что, как смела она тогда насмехаться над ним, как смеет теперь, как смеет?! Ведь Родион давным-давно позабыл жестокую обиду, оставленную встречей, бередящую, волнующую боль, и вот опять, опять, а-а-а! Поскорее бы наступил час, которого ждал Родион так долго, чтобы снова ни о чем не думать, чтобы ничего не хотеть, кроме главного, единственного и все навсегда разрешающего!

Этот час настал очень скоро: он пришел в ту же ночь.

Головное судно флотилии наскочило на мину и пошло ко дну. Взрыв был слышен на флагманском судне.

Ожидая приказа, флотилия стала.

На рассвете моторный катер и высадившиеся отряды пошли на разведку.

Противник сдавал позиции. Он начал избегать столкновений, и единственным звеном, соединявшим его с красными, были пожары. Он сжигал на своем пути все.

Течение приносило сверху обгорелые, черные остовы судов. Они взгромождались на отмели, и ветер высвистывал на их железных скелетах бесконечные

песни. Местами суда скоплялись десятками, образовав на воде мрачное подобие испепеленного города — трехпалубные пароходы, дебаркадеры, буксиры и нефтянки. По ночам приплывали горящие факелами баржи. Они врезывались в исковерканный и закопченный город, освещая железные ребра пароходных корпусов, раскидывали вокруг себя горящие головни и вихри кровавых искр, потом разламывались, с шипением и треском угасая в воде.

А сверху надвигались новые плавучие факелы, или дымящие, потухшие костры, или обуглившиеся костяки — целые караваны обгорелых мертвецов, безмолвные и неслышные в ровном шуме береговых лесов.

Иногда корпус сожженного судна срывало с течения, но двинувшись, он тут же наткнулся на мину, и его остатки быстро проглатывала вода. На крутых поворотах реки фарватер перерезали цепные и бревенчатые заграждения, вылавливая и накапливая множество судовых обломков, и баррикады вырастали от берега к берегу, перегораживая путь.

Все это приходило в движение как будто без участия людей — пожары догорали и гасли, обломки летели на воздух, караваны обугленных судов плыли и перемещались, баррикады образовывались и пропадали — река сама вела свое хозяйство.

И — наконец — смертоносная лента огня выплыла из притока и разлилась по реке во всю ширину. Вода несла на себе пылающий огненный покров нефти, дымчато-синий при солнце, багровый ночами.

По флотилии был дан приказ отступить.

Флагманское судно пропустило мимо себя флот и пошло последним. Суда были готовы к бою, но они плавали только по воде, а не по огню, жертвы были бы теперь бесцельны, победа все равно была достигнута, плывавшая река позади флотилии давала сигнал об этой победе.

Тогда внезапно обнаружилась ловушка, которую все время ожидали: отступление было отрезано противником. Может быть, предстоявшее флотилии дело было простой случайностью; какие-нибудь горстки

белых частей, разбитые и загнанные в тупик, в отчаянии решили поискать удачи и выпустить уцелевшие снаряды по судам противника. Но на судах никто не знал ни нападавших сил, ни вражеских планов, все ждали боя, были уверены, что он придет, и приняли его по первому выстрелу.

Выстрел раздался за холмом, на повороте реки, когда суда проходили открытыми берегами. Противник виден не был. За холмом взлетали голубые клубочки дыма размеренно, не очень часто, появляясь на одном и том же месте и лениво исчезая. Пристреливались из одного орудия, стараясь образовать поперек реки завесу, снаряды падали сначала на правый берег, потом — на левый, затем стали разрываться в воде. Все суда, кроме флагманского, без повреждений прошли через огонь и — выстроившись за поворотом — стали отвечать.

Шеринг наблюдал за боем с левого по ходу судна мостика. На правом стоял командир парохода. Все было обыденно, как в будничном рейсе, — бородатый лоцман шурился на воду из-за стекла своей будки, матрос на носу булькал шестом в воде (шли тихим ходом, с наметкой), из рубки вышла на палубу Варвара Михайловна, похожая на пассажирку первого класса, и комиссар судна — Родион Чорбов, обойдя плутонги и проверив прислугу на орудиях, стал неподалеку от мостика.

И вот пароход грузно дрогнул, точно на полном ходу вползая на каменистую косу. Левый мостик странно вздернулся одним боком вверх, и оглушающий, какой-то визгливый треск кинул на палубу гребень лучистых пенистых брызг.

Мостик был наполовину оторван, начищенная телефонная труба одиноко торчала на нем, перильца изогнулись. Шеринга на мостике не было.

Одно мгновение длилась на палубе неподвижная тишина. Потом Родион сорвался с места, подбежал к телефону и рванул звонок.

— Стоп! — закричал он в телефон, сильно прижав рот к рупору, почти ткнувшись в его горящую медь и в то же время сдирая с себя куртку.

— Сработай назад!

— Самый тихий!

Он оторвался от телефона и бросил на пол куртку. Из рупора вылетел глухой ответ:

— Есть...

Так было в раннем детстве, на Волге, когда мальчишки и девчонки прыгали с плотов в воду, вниз головой. Они выкрикивали неизменную пустую скороговорку — шырну-мырну, где вымырну?! — наскоро, кое-как крестились (кстились — говорили они) и летели вниз, разрезая воду сложенными челночком руками.

Так случилось здесь...

Родион перешагнул через согнутые перила мостика, встал на его край, примяв ногами водосточный желобок, перекрестился и полетел в воду, держа перед собой вытянутые и сложенные вместе руки.

Если бы у него не перехватило в этот момент дыхания, он крикнул бы, наверное, памятное, детское — шырну-мырну, где вымырну?! — так быстро и бездумно кинулся он в воду, такая машинальная нечаянность была в том, что он перекрестился.

Варвара Михайловна бросилась на край мостика. Она вцепилась в перила, сжав брови, напряженно разглядывая гладкую поверхность воды. Варвара Михайловна была бледна. Она покусывала губы. Она рвала и теребила исковерканную сетку перил. Она со злобой взглянула на палубу — верхняя команда ничего не делала! Варвара Михайловна бледнела все больше и больше, куда девались слепящие свежие краски ее лица? Она насилу удержала себя от крика.

Голова Родиона появилась над водой, видно было, как он дважды глубоко вздохнул и опять скрылся.

— Лодку! Спускайте лодку! — пронзительно закричала Варвара Михайловна, отыскивая глазами командира.

Но командир уже стоял на мостике, и на корме матросы громыхали блоками, и лодка тяжело плюхнулась в воду, и круглая, блестящая голова Родиона снова медленно вынырнула на поверхность, неподалеку от кормы.

Родион лег на спину, закрыв глаза и выставив из воды широко открытый рот, и вдруг на его груди появилось белое лицо Шеринга. Родион держал Шеринга, зажав в кулак его черные волосы, и почти без движения лежал под ним, в воде.

Когда Шеринга, подняв на пароход, привели в чувство и стало известно, что он невредим, Варвара Михайловна подошла к Родиону. Он стоял точно похудевший, с него лились ручьи, неуклюжесть его стала заметней и смешнее.

Лицо его нехорошо передернулось, как будто от неожиданной боли, ему неприятна была эта боль, и он не понимал ее. Варвара Михайловна глядела на него удивленно и боязливо. Заметив ее глаза, такие же новые и пугающие, как гримаса, которая искажала его лицо, Родион отвернулся к матросам.

— Главное — обидно, — сказал он, — если бы стоящий бой. А то небось замолчали, выдохлись!

Он тряхнул головой туда, откуда велся обстрел судов: там было тихо...

В этот день Варвара Михайловна, выйдя на палубу, услышала непонятный шум в каютах команды. Она спустилась вниз.

Около провиантской толпились матросы. Кто-то жалобно причитал, кто-то неразборчиво выкрикивал ругательства, матросы гудели и лезли что-то смотреть к дверям провиантской. Варвару Михайловну пропустили вперед недружелюбно и холодно.

Она увидела Чупрыкова. Он стоял на коленках перед Родионом у порога провиантской, рядом с небольшим мешком, из которого высыпался на пол сахар.

— Перед истинным богом! — захлебываясь, причитал Витька. — Некуда было положить, провиантская, сами видите, битком, пачки полукрупки некуда сунуть, не то что! Да разве я, товарищ Чорбов, могу посметь на народное имущество? Да отсохни моя рука, да я скорей...

Родион глядел на Чупрыкова в упор, поводя, словно в раздумье, головой. В руке у него был зажат револьвер.

— Товарищ Чорбов! — вдруг громко позвала Варвара Михайловна. — Вас зовет товарищ Шеринг.

Она опустила глаза и пошла прочь. Перед ней расступились. Она слышала позади тяжелый шаг Родиона. На палубе, когда Родион подошел к рубке Шеринга, Варвара Михайловна сказала:

— Нет, нет! Ко мне.

Родион вошел в ее каюту и осмотрелся.

— Вы обманули? — глухо сказал он.

— Да.

Он молча глядел на нее. Она опять казалась ему неузнаваемой, как поутру, на корме, в ней не было ни капли возмущавшего его превосходства, она должна была о чем-то просить, умолять, и он усмехнулся:

— Ну?

— Я хочу просить вас... не трогать этого... Чупрыкова... То есть не карать его... чересчур строго.

— Он кто вам?

— Никто, — сказала она, улыбнувшись. — Но я обязана ему...

— Чем? — поторопил Родион.

— Хотя бы тем, что вот... стою теперь рядом с вами.

Ага! Она опять начинает свою игру, она все еще уверена в своем обаянии, она...

— Чупрыков — вор, — резко говорит Родион.

— Он жалок и глуп.

— Он не так глуп.

— Послушайте, если Чупрыкова подержать под арестом... — начинает Варвара Михайловна глубоким, совсем тихим голосом и приближается к Родиону. Но он обрывает ее:

— Не вмешивайтесь в мои дела!

— Я прошу...

— Что значит... как его... прошу? Вы отвечаете за него?

Родион отчеканивает последние слова и вызывающе прищуривается на Варвару Михайловну.

— Да, отвечаю, — просто говорит она.

— А кто мне ответит за вас? — с торжествующей усмешкой и еще внушительнее расставляя слова, спрашивает Родион.

Конечно, ей нечего сказать! Она понимает свое бессилие. Ей остается одно: взяться за обычное, единственное свое оружие — показать Родиону, как горят темные ее глаза, какой здоровой, свежей краской залиты щеки, как сверкает приоткрытый рот и как дыхание колеблет сильные круглые плечи. Конечно! Вот она наклоняется к Родиону, чтобы придвинуть к нему свои волосы, чтобы волнующее тепло ее лица ближе коснулось его, чтобы перед его губами выговорить бессмысленные, неожиданные, мягкие слова:

— А за меня ответите вы!

А-а! Как Родион ненавидит ее в это мгновение! С каким наслаждением он смял бы, исковеркал, уничтожил ее улыбку, чтобы никогда в жизни не видеть этого рта, этих глаз, а-а-а!

— Черт побери, — бормочет он.

Руки его нерешительно подергиваются, гримаса, впервые появившаяся утром, снова больно и нехорошо перекашивает его лицо, он забывает, о чем хотел сказать.

— Бедный, — опять слышит он мягкий голос и с натугой, злобно силится овладеть речью.

— Как его... я говорю... раз навсегда...

— Милый круглолобый человек! — шепчет ему кто-то на ухо. — Мы все время говорим не о том, о чем хочется и что нужно...

— Это — ты, ты говоришь не о том! — почти кричит Родион, и вот он что-то перешагнул, вот схватил сильное чье-то тело, и — наконец-то, наконец! — дал волю своей ненасытной злобе, своей ненависти, смертному своему безумью.

КОНЦЕРТ

Глава первая

Было хорошо жить в этом городе. Огромный и суровый, многообразный в своих частях и необъяснимо одинаковый повсюду, он холодно примирял разноречия населявших его человеческих пород. Герои и трибуны, домовладельцы и пенсионеры, рабочие, актеры, василеостровские профессора были равно терпимы его бесстрастным великолепием.

Во времена испытаний наполовину заброшенный и обветшалый город простер особую благостыню на людей чудаковатых, плохо пригодных в общежитии, людей смешных и непрактичных. Они не только не вырождались, но как будто множились, упрямо довольствуясь стойким холодом своих квартир и теми пустяками, во имя которых не хотели умирать. Почти никто из них не помнил, когда в последний раз досыта поел.

Так упорствовало в существовании племя одержимых музыкой. Раскиданное, распыленное по окраинам племя собиралось иногда в промерзлом, высоком зале, чтобы смирно разместиться на потертых стульях и слушать Скрябина. Косматые, заросшие бородами люди прилежно водили пальцами по тетрадкам клави-

раусцугов, отыскивая в нагромождении точек и штрихов на бумаге нагромождение звуков, носившихся по залу. Бледнолицые девушки, подняв головы и разглядывая незажженные люстры, вникали в козлиное блеяние фаготов, и глаза их медленно расширялись и суживались. Во время перерывов женщины и мужчины в курительной комнате делились, как солдаты, махоркой и утопали в сизом озере дыма, чтобы после звонка поодиночке выныривать из озера и опять смирно размещаться на стульях. И снова трубы и тромбоны сотрясали воздух, и ударные рвали его, и струнные — распиливали, и люди слушали оркестр с такой отрешенностью от всего мира, точно каждую минуту готовы были умереть.

Среди этих людей, которым музыка заменяла все, что они утратили, и, казалось, — все, что могли приобрести, привычной стала фигура Никиты Карева.

Кое-кто помнил его по консерватории, многие узнали о нем только теперь — в тесных комнатах музыкантов, на камерных концертах, в холодном зале Собрания. Он, впрочем, был нелюдимым, о работе его слышали немногие, о нем говорили, что он из тех музыкантов, которых недовольство собой обрекает на бесплодие.

Никита сам иногда чувствовал себя обреченным. Вся его работа была случайной, второстепенной для него, словно он расчищал дорогу от мелочей, мешавших его делу, и не мог расчистить. Он хмуро, болезненно ожидал каких-то маленьких, ничтожных неожиданностей, обладавших способностью превращаться в события неизмеримо громадной внутренней силы. Без помощи таких событий он не умел работать. Они бывали потешны, он посмеивался над своей верой в них, но дорожил ими, как дорожат безделками, доставшимися от любимых людей.

Однажды, ранней зимой, он был встревожен нечаянным чувством радости, но оно оказалось мимолетным, почти мгновенным.

На Екатерининском канале Никита увидел Банковский мостик. Он видел его десятки, сотни раз прежде, и не в том дело! Он увидел его новым, как будто

подмененным взглядом. В ночь перед тем выпал снег, дорога блистала глянцем белизны. Небо очистилось, синяя его завеса легко спускалась на город. И в этом сверкающем сочетании синего с белым горело золото четырех крылатых львов по концам подвесного моста. Добродушные чудовища золотом своих лап упирались в снег и золото крыльев поднимали к небу. Солнце по-зимнему весело светило на золотой снег и на синеву неба.

Никите захотелось крикнуть, сорваться с места и побежать. Так собачонка, выпущенная из горницы на волю, постояв секунду неподвижно и подергав носом, с лаем кидается мордой в сугроб и потом долго, не в силах остановиться, — вертится, роет пушистый снег, до хрипоты тявкает и визжит.

И в момент такой человеческой, такой животной радости Никита с томительной болью почувствовал одиночество: во всем мире не было человека, которому можно было бы сказать о Банковском мостике, о необъяснимой прелести золотых крылатых чудовищ в этот солнечный зимний день.

Он вспомнил Анну. Год назад он узнал об ее смерти, год приучал себя к мысли, что когда-то испытанной близости не суждено повториться. Множество встреч предстояло Никите, — он верил в это, — но никогда в жизни ни одна встреча не могла бы дать ему крошечной доли той полноты, которую легко, незаметно давала Анна. Потому что одной ей мог бы сказать Никита о Банковском мостике, и одна она поняла бы Никиту и поделила бы с ним смешной, беспричинный, ребяческий восторг. И тогда — оплодотворенный ее чувством — восторг превратился бы в событие, и Никита черпал бы из него силы, как воду из ключа.

Теперь Никита был один, и никогда еще он не понимал неумолимости одиночества так ясно, так жестоко, как в минуту мимолетной радости при виде залитого солнцем веселого сочетания золота, снега и воздушной синевы. И если бы он обратился теперь к музыке, — попытка выразить эту радость оказалась бы бесплодной.

Последний раз он писал свою симфонию бурной весной, когда была прорвана осада Уральска. До Никиты доносился грохот баталии, развернувшейся на мирном стоячем Чагане, где когда-то на берегах сиживали рыболовы с удочками, а теперь решался последний спор отцов с сынами, и по заводам, в чаще куги, плавали черные разводы казачьей крови.

В раскатах боя слышался голос возмездия, и опять, как в детстве, Никита испытывал покой усталости: всю неправду, казалось ему, искупила победа на Чагане, и Ростислав был отомщен ею, и какая-то неуловимая, призрачная вина Никиты перед Ростиславом была этой победой снята.

Никита мог вернуться в свой мир, в свою пылинку. Смерть Анны разрушила его покой, и Никита заблуждал среди людей, как в степи, до тех пор, пока новая весна внезапно и бурно не ворвалась в его одиночество.

...Зал был наполнен необычайной для концертов толпой, какую легче всего встретить в цирке или в окраинном театре, и пестрая разномастность людей среди холодно-строгой колоннады внушала Никите тревогу. Он пробрался в дальний угол зала, откуда хорошо был виден дирижерский пульт. Здесь, между колоннами, как и повсюду, — в проходах, на хорах, — теснились слушатели. Никита ближе присмотрелся к ним. В дневные часы он привык видеть в этом зале одних музыкантов. По вечерам, на концертах, здесь собиралось племя одержимых музыкой, — чудаковатый, благоговейный народ, пришедший сюда, как в церковь на молитву.

Теперь Никиту окружало безучастие новых, непонятных лиц, и сами стены, казалось, были непонятно новы в дневном свете, жидко падавшем из верхних окон. Никита знал, что концерт устроен для рабочих союзов, что соберется много случайных людей, но его удивило безразличие толпы к обстановке. Стоял сильный шум совсем особого оттенка, и оживление было враждебным, уличным, точно люди пришли сюда протестовать, возмущаться, искать какой-то справедливости.

Рядом с Никитой прислонились к колонне два матроса, обнявшись и приятельски болтая о каком-то вздоре. Они шелушили подсолнечные семена, аккуратно собирая в горсть кожуру. Волосы матросов были всклокочены, воротники расстегнулись и топорщились, словно по залу гулял ветер.

Никита вспомнил о Вагнере (концерт открывался увертюрой «Риенци») и пожал плечами.

Когда музыканты стали размещаться за пюпитрами, шум в зале усилился. Дирижер, подойдя к пульту, долго и терпеливо ждал тишины, и вместе с ним ждал ее Никита, чувствуя раздражение и неприязнь к неугомонной толпе.

Потом музыка отвлекла его, он стал привычно разлагать звуковые сочетания, отыскивая связь их с основным мотивом, вслушиваться в многообразно комбинированные тембры. Музыка строилась на духовых инструментах, из них преобладали медные — валторны, трубы и тромбоны, медь постепенно овладевала всеми оттенками звуков, она звенела и сотрясалась, разящая и победная, как война. Незаметно она вовлекла Никиту в свой торжествующий круговорот, вырвала его из холодного созерцания композиционных задачек и бросила в простор: он слушал музыку.

Мощь ее возрастала, но все еще была недостаточной, трубы не могли дать нужной силы, и Никита с тоской ждал, когда вздымающаяся волна звуков, достигнув вершины, разрешит напряжение.

Дирижер, обернувшись к раструбам инструментов, требовал увеличить *crescendo*, просил, приказывал скрюченными, как в судороге, пальцами, словно вытягивая из труб звуки.

Никита беспокойно огляделся и вдруг заметил матросов. Они выпятили всклокоченные головы вперед. Их отважные, грубые лица были возбуждены. Матрос, стоявший ближе к Никите, держал своего товарища за локоть, и Никита видел, как медно-красная рука сдавила этот локоть тисками. Оба приятеля не отрываясь глядели на дирижера и, когда музыка достигла предельной силы и начала стихать,

переглянулись, глубоко, облегченно вздохнув и улыбающимися, точно забрались на какую-то гору.

И вместе с ними Никита почувствовал счастливую легкость и после конца увертюры хлопал с увлечением в ладоши, заодно с матросами, во всю глотку кричавшими «браво!», заодно со всей толпой, подступившей к эстраде.

Он дослушал концерт с этим чувством легкости, почти в умилении; ему давно уже не было так хорошо.

Протискиваясь к выходу, сдавленный со всех сторон толпой, Никита столкнулся с Ириной. В темноте он взял ее за руку, притянул и прижал к себе.

— Хорошо? — спросил он.

— Чудно! — ответила Ирина.

Их вытолкнули из узенькой двери на улицу, они вылетели вон и рассмеялись. Не выпуская Ирину, Никита быстро повел ее через дорогу, в сад. Люди кругом них разбрелись по сторонам шумливыми кучками, как воробы.

— Нельзя было ждать сегодня такого концерта. И эти люди, — сказал Никита, — они так слушали. Я думал сначала, что за разговорами не будет слышно оркестра. Я не знал, что...

Он отстранил немного Ирину, посмотрел на нее мельком, хотел сказать, что она очень возмужала, выросла, и dokonчил удивленно:

— ...не знал, что вы ходите на концерты.

— Ну, вы вообще ничего не знаете! Папа говорит, что если он умрет, так вы узнаете из объявления в газете.

— Я все время хочу прийти к вам, — сказал Никита, улыбаясь.

— Ну, обещайте, обещайте! — воскликнула Ирина.

— Обещаю.

— Скоро?

— Очень скоро. На днях.

— Ну вот чудно! А то папа говорит, что вы превратились в мумию в своем дворце. Вы ведь живете во дворце?

— У меня такая конура, если бы вы видели...

— Но конура во дворце?

- Да.
- Там прежде держали ветошь? Да? Вот и вы... — Ирина запнулась и спрятала нос в воротник пальто.
- Я? Что я? — спросил Никита, заглядывая ей в глаза.
- Нет, я не то хотела сказать. Правда. Но ведь нельзя всегда сидеть в комнате. У вас, наверно...
- Ей хотелось засмеяться, она сдержала себя.
- Вы форточку открываете?
- Г-м-м, — промычал он.
- Ну, не сердитесь! Мы с папой очень часто вспоминаем вас. Он говорит, что артисту надо жить по-другому. Что вам не надо так... прятаться.
- Я не прячусь. Я стараюсь работать.
- Ах, я знаю! Ну, как ваша симфония? — словно перебила самое себя Ирина.
- В ней все дело.
- Так почему же вы не кончаете? Папа говорит, что за два года, — с тех пор, как вы переехали из Уральска, — можно было бы... И вообще — пора, как вы не понимаете? Все ждут.
- Ждут? — переспросил Никита.
- Он усадил Ирину на скамейку, сел рядом и помолчал.
- Не думаю, чтобы ждали.
- Да откуда вы знаете? Вы сами выдумываете? — сердито сказала Ирина.
- Это не знание, а чувство. Вот сегодня я чувствую, что музыка нужна не только музыкантам.
- Конечно!
- Что музыку понимают все, почти все. Как было тихо в зале. И потом такой рев! Я сам кричал.
- И я, — с восхищением сказала Ирина.
- Тогда я подумал, что непременно должен писать, скорее кончить и — пусть слушают; что я не имею права молчать, если у меня есть что сказать, и я обязан всем этим людям отдать все, что имею. И мне сейчас так хочется скорее кончить!
- Ну, конечно, конечно! Вы не имеете права молчать и сидеть у себя в комнате! Ах, я на вашем месте все бы сочиняла, сочиняла...

Теперь, на скамье, Никита лучше и ближе мог разглядеть Ирину. Она говорила с серьезным убеждением, горячо и торопливо. Он видел ее рот, — еще по-детски не сложившийся, мягко-округлый, добрый и в то же время упрямый. Он вспомнил Анну, — в ней также взрослый боролся с ребенком, когда она убеждала в чем-нибудь Никиту, и он начал быстро находить в Ирине схожие черты с Анной, одну за другой, и все больше изумлялся, как велико было сходство.

— Это нельзя так, к сожалению, — все сочинять и сочинять.

— Почему нельзя? Я не понимаю. Ведь вы — композитор? Что же вам еще делать?

— Видите ли... Вот как сегодня: какой-то внешний толчок, этот концерт. Там я видел двух таких человечков, они меня поразили. Сначала грызли семечки, а потом их даже в пот ударило от музыки. Это изумительно, что музыка может такое сделать и что такие люди так глубоко все это понимают, волнуются по правде. Я увидел это и сразу понял, то есть опять понял, что стоит писать музыку. А иногда...

— Как! Неужели вы думаете, что не стоит писать музыку? — испуганно вскрикнула Ирина.

— Иногда, — улыбнулся Никита, — мне кажется: кому это нужно сейчас?

— Но ведь вы живете сейчас, а не когда-нибудь еще! И я, и все живут сейчас!

— Да. Но временами такое чувство. А потом еще другое, — надо верить в себя.

— А вы?

Никита помолчал.

— Я, конечно, верю. Если бы не верил или у меня отняли бы веру, мне бы нечем стало жить.

— Так чего же вам не хватает? — чуть слышно, почти шепотом, выдохнула Ирина.

Она была в недоумении, во все глаза глядела на Никиту и даже подпрыгнула на скамье.

— Чего не хватает? Есть такие ключи, которые замерзают на зиму, перестают бить. Где-то в глубине вода накапливается, а на виду иссякла. Приходит теп-

ло — ключ опять бьет. Веру надо побуждать к действию, иначе она — как такой родник.

— Без... тепла?

— Без тепла или — не знаю, без чего. Да я скажу, как со мной. У меня был один человек, близкий друг. Полный, настоящий. Он меня слышал, как ночью слышишь всякий шорох. А вот, когда я говорил, что у меня все плохо и никуда я не гоюсь, потому что — какой я музыкант? — и что я — дрянь вообще, тогда этот человек все до последней пяточки чувствовал. А что же больше нужно? И не так, что переубеждал меня, тут переубедить нельзя. Но перестраивал меня всего незаметно. Я сам не понимаю, как это выходило. Просто — выслушает, или даже не выслушает, а чем-то прислушается. И у меня сразу ко всему вкус, как после тифа — к еде. Теперь я думаю, что бывало даже проще: самое существование этого человека давало мне все — и веру, и силы... У меня была уверенность, что мне нечего бояться, потому что ошибки, или провалы, катастрофы — что хотите — я всегда пересилию с этим человеком. Это и было нужно.

— А где... этот человек?

— Он умер. То есть это глупо вышло... нет, не так... одним словом, я когда расставался с ним, надеялся опять встретиться. Было такое время. Я прожил больше года, и очень хорошо все было... Ну, я не считаю плохого по-другому: смерть брата, война. Это все мне много дало, особенно как-то. Я даже больше работал. Но все рассчитывал на проверку моих дел этим человеком, на отчет. То есть не по музыке, а по всему. Музыка ведь — плод всего, и все-таки — часть. Все ждал, что вот встречу, погляжу только, обменяюсь взглядом и — все хорошо. Ты верил? — вот смотри, как я жил. И какое счастье! А вышло не так... Словом, я узнаю года полтора назад, что этот человек умер, и я даже не знаю хорошо, как и от чего. Может быть, и не умер?

Никита растерянно улыбнулся. Ирина отодвинулась от него.

— Это.. была женщина? — спросила она. Он ответил не сразу;

— Да, женщина.

Она молчала. Он пристально рассматривал ее с ног до головы и вдруг с горячностью добавил:

— И вы на нее страшно похожи, Ирина!

Она быстро отвернулась.

— Ну?

— Этого вы могли бы не говорить! — расслышал он сдавленный голос.

— Ирина! Что такое? Вы... Ну, ради бога, Ирина!

— Пожалуйста, не вздумайте, что я обиделась на ваше сравнение. Не воображайте.

Вдруг, круто обернувшись, она уставилась на него в упор. В глазах у ней блеснули слезы, голос ее обрывался, она делала страшные усилия, чтобы сдерживать себя:

— Я вовсе не обижаюсь. И не за что обижаться. Мне просто стало жалко эту вашу... вашего друга... И даже совсем не ее... не его!.. А мне жалко вас, что вы... заставляете себя жалеть... когда вы должны быть сильный, сильный, сильный!

Она выкрикнула последние слова, пристукивая кулаком по скамейке, и снова резко отвернулась от Никиты.

Подняв брови, Никита долго смотрел на нее, удивленный и точно обрадованный. Потом он притронулся к ее руке.

— Я не жаловался, Ирина. Я хотел объяснить. И вовсе не нужно жалеть. Я уже научился ценить жизнь со всеми утратами. Ведь это тоже жизнь — утраты. И я знал, что без них я не был бы тем, чем должен быть. Я принимаю их. Понимаете? Но ведь...

Он наклонился, чтобы увидеть лицо Ирины, попробовал повернуть ее к себе, крепче взяв за руку.

— Но ведь это мало — одни утраты. И нужно иметь еще что-нибудь. Все равно, как назвать это, — радость, участие, любовь. Я об этом и говорил. Такое чувство, чтобы постоянно был уверен, что ты необходим и твое дело, твой труд так же необходимы, как твоя жизнь. Вот...

— Вы точно просите о таком чувстве, — быстро перебила Ирина. — Чтобы у вас такое чувство было.

Она опять повернулась к Никите.

— А вы должны требовать! Понимаете! Требовать! — воскликнула она. — Потому что вы такой человек, такой... который... вы сами не знаете, какой вы. И вы не смеете просить! Вы сами избегаете всех, а потом говорите. А вас все любят. Не возражайте, пожалуйста, — я знаю! Вы ничего не видите и не понимаете. Папа вас ужасно любит, и... И вообще...

Она выпалила всю эту кучу слов одним духом, жарко, торопливо жестикулируя. Дыхание ее было коротко, часто. Никита снова вспомнил об Анне — Анна, совершенная Анна! — и засмеялся.

— Ничего смешного нет, — оборвала его Ирина. — Если бы вы действительно искали... ну, как это? Поддержки или... вообще то, о чем вы говорили, то давным-давно нашли бы.

— И мне не пришлось бы далеко ходить? — спросил он ласково.

Она промолчала.

— Ну, давайте подружмся, — сказал он.

— Я не хочу, чтобы вы так... И вы не должны смеяться, не должны! Я говорю совершенно серьезно, и вы не смеете издеваться. Пойдемте.

— Ирина...

Она встала и пошла прочь, по аллее. Он поглядел ей вслед: Анна перед ним шла, Анна. Он не мог удержаться, чтобы еще и еще раз не повторить это имя, и бросился за Ириной. Он взял ее под руку и прошел несколько шагов молча, огибая сад по круглой аллее вдоль решетки.

Порывом ветра распахнуло пальто Ирины, и подол ударил Никиту по коленке. Он с физической остротой припомнил далекое, счастливое чувство, с каким он шел рядом с Анной по набережной Эльбы, против ветра, в молчании, ощущая в своей руке сквозь материю тонкую округлую руку Анны. Он сильнее сжал локоть Ирины.

Она взглянула на него, и губы ее дрогнули.

— Значит — мир? — спросил тихо Никита.

— Я не думала сердиться или обижаться. На вас вообще нельзя обидеться, потому что вы... все делаете так, как надо, и просто не понимаете меня. И себя.

— Поверьте — понимаю, и вижу, что...

Она не дала ему договорить.

— Погодите. Я хотела сказать, что я знаю, как вам трудно. И это должно. И я тоже это знаю. Но, по-моему, в жизни самое приятное — достигать. Когда задумаешь и сделаешь. И вы должны скорее сделать.

— Вы мне могли бы помочь?

— А что вы думаете? Я — сильная! — убежденно воскликнула Ирина.

Он остановился от изумления. Ирина говорила как взрослый, но почему она казалась ему ребенком? И почему ребенок в ней волновал его больше, чем взрослый?

— Ну, что? — спросила она, не понимая, зачем он остановился.

— Я вижу, что вы — сильная, — проговорил он медленно. — Поэтому я и сказал...

Но она опять задорно прервала его:

— И ничего особенного нет. И вообще... вы напрасно мне говорили об этом... обо всем... Я и без сравнений поняла бы, чего вам не хватает... Не проворачивайте меня, я хочу пойти одна. Нет, нет, не провожайте, пойду одна!

Она лукаво помолчала и договорила нараспев:

— Я хочу подумать о вас, а вы мешаете. До свидания. Ступайте, я не хочу, чтобы вы смотрели на меня.

Он сжал ей руку и повернулся, но Ирина остановила его внезапным громким смехом:

— Как вы похожи на папу! Ха-ха-ха! Ну, точь-в-точь! И такой же сутулый и такой же смешной!

Она побежала через дорогу, все еще смеясь, потом обернулась и крикнула:

— Не сердитесь! Вы — милый! Приходите скорей, я жду!..

На одну секунду Никите сделалось обидно и горько. Он выпрямился. Неужели и правда он похож на брата? Возможно ли, что он так постарел? И не потому ли Ирина казалась ему ребенком?

Но в следующий момент его наполнил приток обновленного, жизнерадостного здоровья, и торжествующий звон меди, который незадолго он слышал в зале, зазвенел в его памяти.

Он вернулся в сад и сел на скамью, расстегнув пальто. Но нет, он не мог сидеть. Он встал. По пустынной аллее, между оживавших деревьев в запахе оттаявшей земли, овеванный этим свежим, жирным запахом, Никита быстро сделал два круга. Но нет, он не мог, ему не хотелось бродить бесцельно. Он вышел из сада, миновал Михайловскую и вскочил в трамвай. Он думал обогнать Ирину и еще раз взглянуть в нее. Как школьник после первого свиданья, он хотел увериться, еще один раз увериться, что свидание действительно было.

На углу Литейного он долго ждал Ирину, но напрасно.

В праздничной толпе ему попала на глаза большая круглая голова матроса, показавшаяся знакомой. Он пристально взгляделся. Тогда матрос, по случайности, встретил его взор и тоже со вниманием начал рассматривать Никиту, стараясь что-то припомнить. Шумная ватага вскоре оттеснила их друг от друга, и Никита решил, что это был один из матросов, так поразивших его на концерте. Но лицо матроса на минуту обеспокоило его и несколько раз промелькнуло в памяти, как слово, смысл которого тщетно вспоминается. Потом мимолетная встреча забылась.

Никита выбрался из толпы на Фонтанку и пошел домой, довольный, подчиненный чувству легкости, в каком протекал день.

Войдя к себе в комнату, он сбросил пальто, постоял в раздумье и вдруг улыбнулся. Он отыскал столовый нож и, забравшись на подоконник, усердно принялся отскабливать замазку от зимней оконной рамы.

Глава вторая

Нет, право же, иной раз неизвестно почему приходит грусть. Казалось бы, — все хорошо. Обычно и без волнений прошел день. Усталость не очень велика. Нет никаких особо спешных дел, а те, что есть, не требуют ни напряжения, ни сил. Уж несколько недель, — а может быть и месяцев, — не случилось ни одного несчастья, которое напомнило бы о том, что скоро твой черед — болеть, прощаться с близкими, уходить. Все хорошо. И вот...

Вот доктор Карев, Матвей Васильич. Вот в сумерки он возвратился из больницы, вошел в переднюю, спросил:

— Не ждут?

Нет, на этот раз в приемной ни души, никто не ждет. Прислуга помогает Матвею Васильичу раздеться, стащить калоши (задник снялся, но вытащить носок без помощи нельзя, — калоша гнется).

— Протекает, мокрая, — говорит прислуга, подымая калошу подошвой кверху, повыше, чтобы видел доктор.

— Разве? — удивляется он. — Надо новые.

Он вытирает платком усы, достает папиросницу, закуривает, идет к Ирине.

Комната дочери пуста. Сумерки неслышным потоком вливаются с улицы. Матвей Васильич различает постель, раскрытую книгу на столе, мохнатого белого сибирского кота, свернувшегося калачом около печки. Кот спрятал морду под хвост.

«К холоду», — думает Матвей Васильич, и ему, правда, становится прохладно. Несколько минут он глядит в окно, поглубже заложив в карманы руки, пожевывая мундштук папироски. Видно, как на противоположной стороне улицы дворник, забравшись на каменную тумбу, тянется к электрическому выключателю. Дворнику неудобно, тумба очень низка, надо бы принести лесенку, но торопиться некуда, можно долго, не спеша топтаться на тумбе, подбираясь рукою по стене к выключателю. Желтые цифры вспыхивают на фонаре, желтый снопик света падает на

дворника. Он спрыгивает с тумбы, без цели стоит неподвижно, потом вразвалку удаляется под ворота.

И Матвей Васильич так же, как дворник, неторопливо удаляется от окна. Он выкурил папиросу, совсем изжевал мундштук и, проходя по приемной, бросает мокрый окурок у камина на пол.

В столовой Матвей Васильич приостанавливается около двери жены. Из ее комнаты слышны голоса. Доктор хочет угадать по ним, кто пришел к жене, но не может и бредет дальше, коридорами, в кухню.

Там пахнет тушеной капустой, чадно кружатся над плитой спирали пара и дымков, вдохновенно трясет кухарка чугунную жаровню.

— Не знаете, куда ушла Ирина? — спрашивает Матвей Васильич.

— Заходили Никита Васильич, барышня с ними и ушли. А далеко ли — не сказали.

— Обед готов?

На секунду как будто застывают над плитой спирали пара, кухарка перестает трясти жаровню, смотрит с изумлением на доктора, но он уже отвернулся и — сгорбленный — уходит в коридор и новую закуливает папиросу.

«Сам звал его ходить почаще», — думает он о себе и Никите, и возле комнаты Софьи Андреевны опять останавливается, опять прислушивается к голосам и снова никого не узнает.

«Все новые и новые люди», — приходит ему на ум, и еще медленней, неторопливей он идет к себе.

На кожаном просторном диване, привалившись к подушке, он сидит, одинокий, большой и неясный, с закрытыми глазами, раскинув руки, позабыв о потухающей папироске.

Что-то обидное кроется в одиноком пребывании доктора, профессора Матвея Карева, у себя в кабинете. Почему он один, совсем один в своем большом семейном доме, один в этот сумеречный час? Конечно, он мог бы пойти к жене, Софье Андреевне. Она поднялась бы со стула и пошла бы навстречу Матвею Васильичу, с улыбкой говоря:

— Ты уже пришел? У нас к обеду гости. Вот познакомься, пожалуйста...

И она представила бы мужу какого-нибудь актера или певца.

Но Матвей Карев в улыбке жены заметил бы знакомую растерянность, и голос Софьи Андреевны показался бы ему чуть-чуть фальшивым. Она хотела бы сказать о другом, о том, как вот этот актер или певец хвалил ее театральное дарование, как, вместе с нею, он жалел о ее таланте, который несправедливо замолчали. Ведь еще Савина (ах, как это забыть?!) когда-то, при свидетелях, сказала: «Софья Андреевна, позвольте мне назвать вас Соней, вы — душка, Соня, и у вас такие способности!..» Но это сто раз слышал Карев, и Софья Андреевна, улыбаясь, быстро отыскала бы новую тему и с виду ласковым, непринужденным голосом спросила бы:

— Ну, как твоя больница?

Нет, лучше не ходить к жене. Лучше подождать. Подождать безболезненной, удобной минуты, когда, наконец, можно будет подойти к Софье Андреевне наедине, просто взять ее поблекшую руку и сказать:

— Ты напрасно думаешь, Соня, что у тебя погибло театральное дарование, что мое имя, мое докторское имя как-то затмило его, помешало ему развиться. У тебя не было дарования, милая Соня. И Савина была чересчур добра к тебе, потому что я ее лечил. Ведь к тебе добры все мои пациенты. Мы люди немолодые, пора перестать обманывать себя. Нам будет легче, если ты перестанешь подозревать во мне губителя или завистника твоих успехов. Вот так, Соня...

Такая удобная, безболезненная минута еще не настала, и Матвей Васильич неподвижно сидит у себя на диване, в глухом одиночестве, и ему обидно и грустно от одиночества, от сумерек, от того, что нет дома Ирины и не с кем перемолвиться словом.

Он видит себя оставленным, забытым, умирающим. В последнюю минуту он хочет, чтобы к его лицу притронулась Ирина. Но ее нет, он один, темнота за-

стилает ему взор. После Матвея Васильича остается имя профессора Карева. Спустя недолгое время имя это гаснет, позабывается, и его можно прочесть только в старых книгах и на могиле.

Матвей Васильич вдруг вспоминает надгробную плиту, которую он видел на Смоленском тракте. С трудом разобрал он на ней позеленевшую надпись:

Прохожий, стой!

Героя попираешь!

Матвей Васильич прерывисто вздыхает, слеза блестящей ниточкой обводит его прикрытые веки, он думает, что теперь уже не пишут на надгробиях эпитафий, и ему становится еще обидней.

Ирины нет. Он, доктор Карев, отлично понимает, что происходит с дочерью. Он хорошо знает этот возраст. Ирина должна, неизбежно должна куда-то уйти. Наступают сроки. Но как примириться с неизбежными сроками отцу? Не доктору Кареву, а ему — Матвею Васильичу, как примириться с тем, что от него уходит дочь? Не просто какая-нибудь семнадцатилетняя девушка, а его дочь, родная дочь, Ирина? И зачем ее уход ускоряет Никита? Брат должен был бы подумать об ответе, который он берет на себя не только перед Ириной, но и перед ее отцом. Зачем он уводит ее из дому? Зачем торопится пробудить в ней новые чувства? Сумеет ли он отозваться на них, если они возникнут? Неужели ему не пришло на ум, что он — Никита — не так молод, что он годен Ирине в отцы, что, наконец, Ирина — его племянница...

Матвей Васильич вздрагивает, когда в передней раздается звонок, решительно сбрасывает с себя дремоту и зажигает папиросу.

«Если это Никита, — думает он, направляясь к передней, — я скажу ему все. Я — старший брат, я — отец. Он обязан выслушать меня. Я самым энергичным образом...»

Он открывает дверь, и к нему бросается Ирина.

— Какая прелесть на улице, папа! — кричит она, обнимая отца, и тут же сразу расстегивает пальто,

срывает с головы шляпу, кое-как приглаживает растрепавшиеся волосы. — Какая прелесть!

Матвей Васильич дает себя поцеловать, пятится в гостиную и, нахмурившись, бурчит:

— Какая уж прелесть! Вон я притащил полные калоши грязи...

Он возвращается в кабинет. Ему кажется, что Никита нарочно не зашел с Ириной в дом. Что брат сторонится его. Что Ирина уже научилась скрывать какие-то тайны. В нем вспыхивает нелюбовь к Никите, и он с размаху кидает горящую папиросу на пол и топчет подошвой рассыпавшийся огонь.

Всего один раз и на одну минуту Матвей Васильич испытал трогательную нежность к Никите, освободился от давящего чувства нелюбви, готов был простить своему брату все, даже — Ирину.

Это случилось на первом большом концерте Никиты, почти год спустя после того, как брат начал встречаться с Ириной. О симфонии Никиты Карева музыканты говорили много и спорно; до Матвея Васильича доходили отголоски похвал, брани, и он скептически ожидал концерта. Ирина была на генеральной репетиции, вернулась домой взволнованная, усталая, ничего толком не могла рассказать, все что-то начинала, не договаривала, бросалась от одного к другому.

«Провалится», — решил про Никиту Матвей Васильич, и ему стало почему-то приятно.

Но концерт оказался неожиданностью не только для Матвея Васильича.

Начать с того, что зал был полон. Горели четыре люстры из шести, и это само по себе свидетельствовало о чем-то исключительном, как первый магазин после гражданской войны: до концерта Карева зажигалось не больше двух люстр над оркестром.

У Софьи Андреевны, очень торжественной и возбужденной, в первых рядах кресел нашлись знакомые певцы, музыканты, актеры, и она сияла. Неподалеку от Каревых сидел, не шевелясь, старый композитор, громадный, бесстрастно-тяжелый, подобный Будде.

Матвей Васильич с досадой видел, как в руках Ирины дрожал листочек с программой концерта, и старался сесть поглубже в кресло, чтобы стать незаметней: все-таки имя Карева подвергалось в этот вечер большому испытанию. Но Софья Андреевна неустанно подводила к мужу знакомых, и Матвей Васильич должен был вставать, пожимать руки и говорить, ухмыляясь:

— Спасибо. Рано еще поздравлять: вдруг провалится.

Никита выступал как композитор и дирижер. Он быстро вышел на эстраду. Он был бледен и показался Матвею Васильичу стройнее, выше ростом, моложе своих лет — в новом, неожиданно странном своем костюме.

— Смотри, как сидит на нем фрак! — шепнула Софья Андреевна, но Матвей Васильич не отозвался.

Встретили дирижера холодно. Хоры молчали, хотя из кресел видно было, что наверху народу не мало, особенно над эстрадой. Скорее обычного зал притих, и в этой преждевременной тишине Матвею Васильичу послышалось затаенное злорадство. Он еще раз мельком взглянул на дочь, увидел, как она вытянулась к эстраде и впилась остановившимися глазами в спину Никиты, и опять решил: провалится!

Оркестр вступил хорошо и сначала легко, без затяжек держал сложный темп. Но вскоре проскользнуло разногласие между игрой музыкантов и требованиями дирижера, и до конца первой части Никите не удалось совладать с оркестром. Во время паузы на хорах кто-то буйно захлопал в ладоши и сейчас же оборвался, так что еще больше увеличил неловкость, которая чувствовалась в зале.

— Не вышел бы скандал, — пробурчал Матвей Васильич, но Ирина посмотрела на него в таком испуге, что он решил молчать, что бы ни произошло.

Когда исполнялась вторая часть симфонии, Матвей Васильич незаметно для себя впал в тихую примиренность. Никита держался лучше, спокойней, уверенней. Музыка представлялась Матвею Васильичу родной, очень теплой и понятной (он никогда не

понимал музыки). Закрыв глаза, стараясь вслушаться в одни скрипки, он думал, как хорошо было бы, если бы концерт удался, если бы имя брата нисколько не умалило прославленного имени профессора, доктора Карева. А то начнут все кругом спрашивать: «Ах, это ваш брат, который... ну, музыкант?» И надо будет всякий раз улыбаться, признавая, что, мол, в семье не без урода. Вряд ли, однако, провал может быть очень конфузным. Ведь выпускали Никиту музыканты, грамотные люди, слушали поди, понимали, что делают. Да и Никита тоже не дурак, — не полезет же он срамиться перед публикой. Вон как тоненько выводят скрипки, и складно все так — одно к одному, и как будто — ново, свежо. Черт их, конечно, разберет, музыкантов. Найдут этакую заковыку, придерутся, раздуют — слышали, мол, у того и у другого. Да и публика тоже! Не всякий поди разберется, как разбирается Матвей Васильич, что вот хорошо, славно поют скрипки. Ах, как славно, покойно! Так бы и слушал Матвей Васильич, так бы и слушал...

И вдруг его встряхивает какой-то треск. Он открывает глаза, смотрит на оркестр. Дирижер опустил руки, скрипки лежат на коленях скрипачей, музыканты перелистывают на пюпитрах ноты. Неужели Матвей Васильич вздремнул? Ах, эта вечная усталость!

Но как, однако, гремят на хорах! Да и не только на хорах: в креслах, где сидят завсегдатаи концертов, музыканты. Никита должен обернуться лицом к публике, сделать поклон. Матвей Васильич едва узнает брата. «Прямо — орел!» — думает он, и сам принимается хлопать в ладоши.

Софья Андреевна, раскрасневшись, оглядывается по сторонам. Знакомые певцы и актеры оживленно переговариваются, а старый композитор пошевеливает губами, словно в раздумье жует сигару. Эти таинственные знаки Софья Андреевна понимает как одобрение и беспокойно ищет слов, чтобы выразить свои чувства. На ум ей приходит когда-то поразившее восклицание театрального рецензента, и она упоенно произносит:

— Лед сломан!

Матвей Васильич кивает в ответ жене:

— Да, да. Да, да.

Ирина сидит неподвижно, крепко держась за поручни кресла. Матвей Васильич хочет сказать ей что-нибудь, дотрагивается до ее пальцев. Они холодны, как снег, и от прикосновения теплой руки отца Ирина вздрагивает.

«Здорова ли она?» — думает Матвей Васильич и косится на дочь.

Но зал притих, скрипки снова навевают успокаивающую теплоту, и все хорошо, хорошо, хорошо! Какое благородное искусство — музыка! И почему Матвей Васильич так редко посещает концерты? Конечно, не на каждом концерте услышишь такую музыку, как эта симфония Никиты. Возвышающая, благородная, а главное — русская, настоящая русская музыка. Да и как могло быть иначе? Каревская кровь сказалась! Как он — Матвей Карев — настоящий русский доктор, так и его брат, Никита, — настоящий русский музыкант. В этом, да, в этом сказалась кровь, в этом Никита поистине — кровный брат Матвея!

Матвею Васильичу хочется кашлянуть, в горле что-то щекочет, першит. Он вытягивает из кармана сюртука за уголочек платок и вытирает глаза. Через минуту в платке опять наступает нужда, и Матвей Васильич уже не прячет его в сюртук, а держит зажатым в кулаке и изредка подносит к лицу.

Настоящая, главное, — настоящая русская музыка!

В четвертой части симфонии Матвей Васильич различает какой-то могучий бурный призыв и видит себя окруженным толпою людей, размахивающих руками. Он должен куда-то вести этих людей, и выступает бодро, молодо, уверенно. Он растроган своей силой, это — счастливейший момент его жизни, он ликует, светло и буйно на его душе, и никогда не хотелось так плакать, как сейчас.

И Матвей Васильич, правда, дает волю своему чувству, и слезы ползут по его морщинистым щекам и скромно прячутся в усах.

У эстрады, среди поднявшихся с кресел людей, Матвей Васильич не только не теряет умиленных и ликующих чувств; но ему кажется, что толпа, которую он ведет за собой, несметно выросла, и бодрость, молодая бодрость разливается во всем его теле, и он кричит сначала вместе с залом:

— Bravo! Bravo! Карев, bravo!

Потом, совсем вплотную к подмосткам, у ног дирижера, просто:

— Никита! Молодец! Никита, bravo!

Софья Андреевна, рядом с ним, нервно и бойко всплескивала ладонями. Ирина, точно опомнившись от страшного испуга, прижимала руки к горящим щекам, — он ничего не видел, он только тянулся к брату, кричал: «Никита, Никита!» — и длинные фалды его сюртука смешно взлезали на эстраду.

Оркестр поднялся, скрипачи постукивали смычками по пюпитрам и нижним декам скрипок, Никита тряс руку первому концертмейстеру, и концертмейстер снисходительно-вежливо улыбался, и служитель подносил дирижеру не слишком пышный букет цветов. Зал был тронут подношением и великодушно усилил шум.

— Нет, это уже больше чем успех! — воскликнула Софья Андреевна, увлекая за собой мужа.

Они протиснулись за колонну.

Коридором людей Никита в последний раз вышел на эстраду поклониться и возвратился в артистическую комнату. Здесь, за тяжелой занавеской, его ожидал старый композитор.

Он чуть приподнял над своим животом вялую руку и безмолвно дал ее Никите пожать. Вероятно, это означало решительную похвалу, потому что следом за композитором к Никите потянулся добрый десяток рук, и дирижер стал переходить из одних объятий в другие, пока не попал в самые горячие, сильные и неудобные руки брата.

— Ну, Никита, — вздохнул Матвей Васильич, расцеловав брата, — спасибо! Спасибо!

Не выпуская Никиту из объятий, он несколько секунд вглядывался в его глаза, потом еще раз облобызался с ним и потряс головой.

— Перевернул ты меня! — тихо сказал он.

Так они постояли немного, раскрасневшиеся и мокрые, один — от слез, другой — от пота, обильно падавшего со лба.

— Вы прямо потрясли нас! — дрогнувшим голосом пролепетала Софья Андреевна.

Никита успел сказать:

— Я как будто совсем оглох. Ничего не слышал под конец. У меня в глазах колонны мелькали снизу вверх, как смычки.

К нему подходила Ирина. Он сжал ее пальцы, они были холодны и влажны.

— Ну, что я говорила? — сказала она с торжествующей улыбкой.

— Я сам не ждал, — ответил Никита. — Это от вас?

Он показал на цветы. Букет основательно пострадал от восторженных бестолковых объятий и поздравлений.

— Нет. Но я страшно зла на себя, что не догадалась. Давайте сюда, я подержу, а то они превратятся в веник.

Она взяла у Никиты цветы. В этот момент ее почти оттеснила высокая женщина с покатыми, сильными плечами, и она услышала глубоко-певучий и полный голос:

— Вот вы где, Карев! Здравствуйте, дорогой. Не думали? Я всегда — как снег на голову! Поздравляю, прекрасно! Я сегодня простила вам и фугу, и контрапункт, и даже то, что вы меня жестоко обманули! Все, все!

Ирина видела, как смущение и растерянность промелькнули на лице Никиты, потом он овладел собой, но ей показалось, что его поразило какое-то особое, сокровенное чувство, когда он — обрадованно и неловко — здоровался с женщиной.

— Обману? — спросил он с удивлением.

— Забыли? Неужели забыли? — воскликнула женщина. — Ах, Карев, как мало вы думали обо мне! На моем месте всякий другой возненавидел бы вас.

Она громко засмеялась и весело продолжала:

— А я, как дура, все вам прощаю. Ну, припомните, припомните! Что вы мне обещали в последнюю встречу в Уральске, а? Ведь вы хотели остаться, а сами... Ну, ладно. Ради вашей музыки я готова бог знает на какое унижение, ха-ха! Право, очень хорошо, Карев!

Она говорила без передышки, голос ее сильно раздавался в высокой комнате, и все кругом притихли, стали незаметней, бледнее. Ирина мгновенно разглядела все черты этой женщины, — густой и тяжелый узел темных волос, какую-то сверкающую белизну шеи, всю яркость и здоровье лица, прямоу взгляда и надменный росчерк бровей.

— Нам пора идти, — коротко проговорила Ирина, подходя к отцу.

Но Матвей Васильич был чересчур растроган, чтобы сразу двинуться с места и покинуть окруженного восхищением Никиту. И сама Ирина, сказав, что пора уходить, ждала чего-то, глядя по очереди на Никиту и незнакомую женщину и нетерпеливо сжимая в пальцах помятый букет.

— Я не буду задерживать вас, Карев, — говорила женщина, — мы увидимся скоро, не правда ли? Я только хочу...

Она обернулась и, не замечая никого, через плечо Матвея Васильича позвала:

— Родион!

Родион оторвался от занавески. Грузно расставляя ноги, он подошел к Никите.

— Это мой муж. Вспоминаете?

Никита улыбнулся.

— Я, кажется, видел вас на улице. Давно уже. Я узнаю по голове. Родион, тот самый Родион?

— Тот самый, — баском ответил Родион и прищурился на Никиту. — И я вас узнал бы. Вы, как это... — он не нашел слова и неопределенно повертел перед собой рукой.

— Варвара Михайловна, давно ли? — спросил Никита.

— Это другой разговор. И до другого раза. Вас ждут.

Она бегло взглянула на Ирину.

— Я очень, очень рада, Карев! До свидания!

Тронув за руку Родиона, она исчезла так же стремительно, как появилась, и Родион пошел за ней поспешно, едва тряхнув головой Никите.

Матвей Васильич с удовольствием вспомнил о лососине, которую прислал знакомый пациент, о накопившихся в буфете бутылках и, — все еще растроганный, мягкий, — простовато потрепав Никиту по спине, заявил радушно:

— По такому поводу хорошо посидеть в компании. Ты бы, Соня, позвала кого-нибудь из знакомых, поедем.

— Извини меня, Матвей, — сказал Никита, — я обещал встретиться кое с кем из музыкантов, и лучше...

— Да ты тащи своих музыкантов ко мне! — перебил Матвей Васильич. — Чай, не весь оркестр, — места хватит.

— Как ты не понимаешь, папа, — вдруг вспыхнула Ирина, — что он занят? И гораздо лучше когда-нибудь еще. Занят — и занят!

Матвей Васильич посмотрел на дочь. Она стояла, отвернувшись от Никиты, брови ее были сжаты, глаза сузились, и больше, чем всегда, в ней проявилось сходство с мулаткой — ее собственная не унаследованная черта.

Матвей Васильич раскашлялся, полез в карман за портсигаром.

— Пожалуй, верно, мы не будем тебе мешать сегодня, Никита, — хрипло сказал он, с усилием преодолевая кашель. — Это надо обставить как следует. В другой раз. Пошли? — спросил он у Ирины.

Он опять обнял брата, но как-то наспех, даже небрежно, слегка прикоснувшись лацканами сюртука к Никитиному фраку, и, ссутулившийся, усталый, пошел к выходу.

Ирина дала матери проститься с Никитой, потом быстро придвинулась к нему, сунула ему в руки букет и одним духом прошептала:

— Держите ваши противные цветы!

Один момент она смотрела в его глаза, точно готовясь проговорить что-то сокрушающее и злое, у нее дрогнул и затрясся подбородок, и вдруг, сорвавшись с места, она кинулась за Софьей Андреевной, широко, с разбегу распахнув тяжелую занавеску над выходом в зал.

Никита в недоумении протянул вслед Ирине руки, но его окружили уже музыканты, и, спустя минуту, он пробирался вместе с ними по сумрачным, узким коридорам.

Два человека преградили ему дорогу на лестнице. В умиравшем свете лампочки он насилиу разглядел их. Один был низкорослый старикашка в долгополом пальто, похожий на евреев, каких Никита встречал в детстве около синагоги, на Староострожной. На другом поблескивали большие очки, за стеклами которых то разрастались, то скатывались в крошечные блестящие шарики черные глаза. Серебряные кольца кудрей сыпались из-под широкой шляпы на воротник.

— Гольдман, — произнес кудрявый.

— Гольдман, Яков Гольдман, — поторопился объяснить старик, — Яков Гольдман с отцом.

Он показал себе на грудь согнутым большим пальцем.

Никита шагнул назад.

— Боже мой, какой день! — пробормотал он. — Яков Моисеевич, неужели это вы?

Яков Моисеевич снял очки и поднял лицо к свету.

— Ну? — спросил он, расплываясь в улыбку.

Никита притянул его к себе. Пока Яков Моисеевич обнимался с ним, старик суетливо дергал его за плечи и рукава. В этот момент чуть уловимый, неясный запах клейстера напомнил Никите осеннюю ночь, порывистые слова переплетчика и его холодную, жесткую бороду. И первая бушующая радость, которую когда-то дала ему музыка, с неудержным ликованием заново разлилась по его телу. Только теперь он опомнился после концерта.

— Я с нетерпением ждал, когда вы выступите, и нарочно не показывался вам, — сказал Яков Моисеевич.

— О, Яша так волновался! — воскликнул его отец.
— Яков Моисеевич, милый, а где вы теперь?
— Я? Я в кино. Маэстро в обыкновенном кино...
— О, Яша в великолепном кинематографе! — опять заспешил старик. — Это прямо палас!

— Да что я! — восторженно воскликнул Яков Моисеевич. — Я вполне счастлив: я сделал свое дело.

Он ударил Никиту ладонью по плечу и выкрикнул прочувствованно:

— Вот мое дело!

— Вот дело Якова Гольдмана — Никита Карев! — повторил жест сына переплетчик. — Это он всегда говорил, мой Яша!

Он любовно, по-старчески горделиво поглядел на своего Яшу и на Никиту Карева и, понизив голос, добавил торжественно:

— И мы с Яшей решили: я переплету партитуру симфонии Никиты Карева в настоящий сафьян, как до войны, тисну золотом на уголках лиру и поднесу вам эту замечательную работу. О, я еще не совсем инвалид и прекрасно могу делать мое старое дело! Мы так решили!

И опять, как почти двадцать лет назад, переплетчик ткнулся жесткой бородой Никите в щеку. И опять, — расставаясь с ним, — Никита почувствовал, как он любит этого маленького, живого человека, как любит его сына — учителя, скрипача Якова Гольдмана, как любит всех людей и весь обольстительный, необъяснимо прекрасный мир.

Надо было идти: целая толпа музыкантов ждала Никиту. Может быть, он не пошел бы с ними, если бы знал, как проведет этот вечер Ирина.

...Она сидела с отцом, положив голову ему на колени. Он прислушивался к ее дыханию, изредка сурово прикрывая утомленные глаза.

— Без причины, так вот — ни с того, ни с сего — ничего не случается, — проговорил Матвей Васильич. — И ты напрасно перестала говорить мне, что тебя занимает, делиться со мной — чем ты живешь. Напрасно.

Он досадливо вздохнул.

— Рано тебе иметь тайны. Ни к чему хорошему они не приведут.

Ирина подняла голову, поправила волосы, сказала:

— Какой ты, папа... Никаких тайн у меня нет. Я просто... На меня всегда действует... музыка... Это пройдет. Надо выспаться, правда, правда!

Она попробовала засмеяться и нагнулась к Матвею Васильичу, чтобы поцеловать его, но он не поддался ласке.

— Тебя обидел кто-нибудь? — тихо и настойчиво спросил он. — Может, Никита?

— Ты ничего не понимаешь! — воскликнула Ирина, вырывая у отца свои руки. — Никита — прекрасный, прекрасный! И мне нет до него дела! Я одна виновата, что я такая... и здесь никто ни при чем! Покойной ночи!

Она вдруг закрыла лицо и вышла из кабинета, оставив открытой дверь.

— Так, — сказал Матвей Васильич, — так.

Он посидел с полчаса неподвижно, потом поднялся и начал ходить. Внезапно остановившись, он ударил себя по коленкам и с удивлением спросил у пустоты:

— А?!

В самом деле, как это случилось, что какой-то глупый приступ нежности толкнул Матвея Васильича лобызаться на концерте с Никитой? Излишняя любезность! Пора наконец объясниться с братом и указать ему место.

— Довольно! — произнес вслух Матвей Васильич и отправился на цыпочках к комнате Ирины — послушать, спит ли дочь.

Глава третья

Когда Ленке надоедало бегать по комнатам на своих непокорных кривоватых ступнях, она застревала где-нибудь в уголке, у кровати, задумывалась, воткнув пальчик в рот и притихнув. Ей шел третий год, было о чем подумать.

Мама была большая, папа тоже. Мама любила смеяться и папа тоже, но папа смеялся больше наедине с Ленкой, а при маме сопел и стучал сапогами по половичке. С папой было хорошо играть.

Ленка вздыхала и тихонечко мечтательно произносила:

— Наверно, и я скоро буду большая!

Если случалось, что эти слова долетали до мамы, громкий, сильный смех пугал Ленку, и мгновенно она оказывалась в больших горячих руках мамы. Руки теребили и мяли Ленку, вся она окуналась в пенистый, рассыпчатый мамин смех, точно в корыто с теплой мыльной водой, и тогда Ленка знала, что маму можно о чем-нибудь попросить.

— Расскажи мне что-нибудь.

Мама начинала сказку. Ленка морщила свой большой, круглый, как у Родиона, лоб, сидела притаившись, и ей чудилось, что стоит шевельнуться, как из черных маминых глаз выскочит волк.

Если при этом бывал дома папа, он входил в комнату, и тут начинался непонятный и такой длинный быстрый разговор. Ленка шла играть в починиста — починять тряпочки и бумажки в своем уголке, где жизнь была тихой, без разговоров, где лежал большой «бульом» с картинками и были спрятаны баночки из-под всяких «мазелинов».

А Родион, стуча каблуками, расхаживал из угла в угол, морщил и распрямлял брови, говорил глухо:

— Пора кончать со всякой чертовщиной — с ведьмами да водяными! Ребенок должен расти в здоровой, понимаешь, в настоящей, здоровой... в настоящих условиях... А ты...

Варвара Михайловна с улыбочкой провожала мужа глазами из угла в угол, ждала, когда оборвется глухое гудение его голоса, потом невозмутимо спрашивала:

— А тебе в деревне что рассказывали? Сказки? Или, может, насчет индустриального труда? Это когда у тебя через губу-то сопли висели. Ха-ха!

— То в деревне, — зло обрывал Родион. — Было да быльем поросло. Не для того революцию делали,

чтобы сказки рассказывать. Я не хочу, чтобы моей дочери...

— Нашей дочери, Родион, нашей.

— Все равно! Нашей! Нечего с пеленок набивать в башку всякой дряни. Надо понимать... приучать... вот с малых лет, теперь...

— Ну, а что же ты посоветуешь рассказывать? — покорным голосом вопрошала Варвара Михайловна. — Я не сомневаюсь в твоих педагогических способностях, научи.

Родион останавливался против жены и с открытым ртом глядел на нее.

— Это... это... — бормотал он.

— Ну? — улыбалась она.

— Ах, дьявол! — кричал он, взмахивая кулаками. — Не в том дело, пойми!

— А в чем же?

— Да ты пойми! Придумай сама, чему же тебя учили, зачем? Ведь ты учений меня, ну и придумай. На кой дьявол ребенка с этих лет морочить?

— Я не могу придумать, — говорила Варвара Михайловна, чуть подергивая губами, — у меня не хватает фантазии. А потом — мне нравятся сказки. И тебе нравятся, а ты притворяешься, напускаешь на себя. Ведь напускаешь, Родион, сознайся!

— Ты, ты напускаешь! Ты врешь, что не можешь! Ты не хочешь, а говоришь — не можешь!

Варвара Михайловна улыбалась в последний раз, лицо ее делалось строгим, она еще ниже опускала голос:

— Ты здоровый мужик, Родион, и к тебе не идет, когда ты кричишь словно неврастеник. Уж если кричать, ты рывкни разок, как в деревне на бабу, и ладно. Но ты себя испортил всякими брошюрками. Ведь по твоим убеждениям кричать на женщину стыдно, да? Правда?

Она глядела на него, вскинув голову, веки ее вздрагивали, было похоже, что она вот-вот захохочет. Но, выждав минуту, она продолжала чуть слышно, с тоской и затаенной какой-то злобой:

— А на меня нужно кричать. Меня нужно держать вот так. Я, может, этого и хотела, когда с тобой сошлась. А ты...

Она молчала немного, потом потягивалась, подняв над головой руки и хрустнув пальцами.

— Как мне с тобой скучно!

— Давно ли? — буркнул Родион.

— Чем дальше — тем скучней. Надоело мне слышать, как ты чужие слова повторяешь. Все вы чего-то придумываете, все норовите почудней. А вот я смотрю — за это время только и поняли, что рубль дороже копейки. Эка! Открытие! Да я это, как себя помнить стала, — знаю. А вы носитесь, точно курица с яйцом. И ты клохчешь вместе со всеми: детей надо обучать на трудовых процессах, сказки — пережиток суеверий, религия — опиум для народа, Волга впадает в Каспийское море. Господи, какая скука, а главное — не идет это к тебе, и трудно тебе ужасно. Ведь ты — здоровый мужик.

— Ты что, в это самое слово «мужик»... как это... ты хочешь что в это слово?.. ты думаешь...

— Ах, Родион, я сказала, что думаю. Скучно. Понял? И обо всем мы давно переговорили.

Родион поворачивался к двери и гудел угрожающе:

— Правильно! Переговорили! Довольно!

Он заперся в своей комнате и начинал думать наедине. Кожа на его лбу набухла шишками, от одной брови к другой перекашивался орех, гримаса — старая, оставшаяся с тех пор, как он вытащил из воды Шеринга, болезненная, что-то пересиливавшая гримаса — искривляла его лицо.

Надо было отыскать порядок, какую-то причинность. Всем в мире руководила эта причинность, закон ее был несомненен, Родион не только догадывался о нем, но, казалось, мог разглядеть его устройство, как разглядывал поверхность реки, сощутив глаза, распознавая по цвету и рельефу волн кривую фарватера.

Начать с вещей. Их делают, они изнашиваются, их починяют или выбрасывают вон. Ступени ровны,

отчетливы, прозрачны. Как на судовой службе — малый ремонт, средний, большой. Малый выполняют на ходу, в пути, у пристани, на средний ремонт судно ведут в затон, к мастерским, на большой — в доки.

Как неколебимо прочна последовательная смена этих ступеней, какая разумная, завершающая стройность в наивысшей из них — в доках! Здесь ясно назначение каждой стрелы, подпирающей судовой корпус, и ни один удар молотка не может вызвать недоумения.

Недаром снятся Родиону доки, недаром видит он протянувшиеся в небо леса и даже во сне его оглушает гулкий грохот железа. И когда этот грохот раздается где-нибудь наяву, Родион ощущает такую крепость в плечах, что, кажется, взмахни он руками — и, как во сне, руки поднимут его на воздух. О, человек — истинный владыка вещей, они повинуются ему, и он умеет заставить их служить себе.

Но человек... да, да, вот здесь начинался весь этот туман, здесь заволакивалось сознание болотной мути, и омерзительным исчадием трясины выползали в памяти городские дуры — Катерина и Лизавета Ивановны.

Их обступала поречная голь и рвань, галашье неприкаянное царство, они шествовали, с дикой зачарованной улыбкой на опухших мордах, в пламени разноцветного отрепья, и орава гоготала вокруг них, заглушая рабочую воркотню пароходов.

Тогда Родион чувствовал саднящую боль во рту, и ему хотелось плевать, как он плевался на берегу Волги, после мрачной и жалкой своей схватки с оборванцем. Это и было первым знакомством Родиона с человеком, и воспоминание о нем стало так же противно, как противен был горько-соленый вкус крови, которая сочилась тогда из разбитых десен и губ. Но это знакомство впервые толкнуло Родиона на поиски — он сам не знал — чего? — и он искал сосредоточенно и пристально, пока не понял, что ему нужно.

Чудесная земля, с таким разумным строем вещей, подчиненных человеку, с шумными доками, вечно

грохонушими большим ремонтом, эта чудесная земля безропотно носила на себе Катерину Ивановну с сестрицей. Правда, Катерина и Лизавета Ивановны — сумасшедшие дуры, правда, галашье царство, погибающее на речных взвозах, — отбросы, человеческий шлак, и, конечно, у Родиона не дрогнет рука, чтобы очистить от этих отбросов путь к докам.

Но почему Родиону мерещится во всех людях сходство с городскими дурами? Почему почти все люди очарованы каким-то бредом, почему они дорожат какими-то призраками, готовы верить своим идолам и умиляться ими, как Катерина Ивановна — цветным лоскутом? Почему они не откажутся от своих заблуждений?

Разве не ясны доводы, которые приводит Родион? Может быть, он заблуждается, он не умеет спокойно думать о людях, но тогда почему они не послушают, ну, хотя бы Шеринга, товарища Шеринга? Родион отыскал человека, нашел его, среди тысячи людей нашел человека, ум которого беспорочен. Этот человек — Шеринг. Почему не послушаться Шеринга, если заблуждается Родион?

Почему жена Родиона, Варвара Михайловна... Ах, да! Вот именно тут Родион начинает тереть себе лоб и круче сдавливает брови. В самом деле, почему же он сам, со своей верой в Шеринга, не задумался над его словами, прежде чем... да, да... дело было так.

Три года назад, на Каме, на флагманском судне, Родион зашел в рубку Шеринга и, помявшись, сказал:

— Знаешь... я это... женюсь...

Шеринг побарабанил пальцами по столу, покусал губу и ответил:

— Ну что ж... Значит, ты — счастливее меня.

— Извини, — зачем-то буркнул Родион, и Шеринг засмеялся, живо протянув ему руку.

Родион сказал:

— Я к тому, что время сейчас... как сказать...

— М-да, время, — промычал Шеринг и отвернулся.

— Что же не спросишь — на ком?

— Ясно — не на пароходной трубе, — непривычным баском быстро отозвался Шеринг.

— Ты вроде... недоволен, что ли? — спросил Родион, стараясь заглянуть в лицо Шеринга.

Но тот уже стоял прямо против него, с обычным своим прямым взглядом, и обычно, не спеша и тихо говорил:

— На Варваре Михайловне? Подойдет ли она тебе? Женщина с дурью. А дело не простое. Пойдут дети. Это, брат... у меня растет сын, я знаю. Да... Ну, смотри. Ты сам с головой...

Но Родион был без головы. Он стал похож на бочку, в которой забродило молодое вино. Словно в чад, он прожил два года, путая новые свои непокойные чувства с вереницей неотложных дел, с очередными делами. (Это Варвара Михайловна подшучивала над ним: «Очередные дела? Ха-ха! Экая длинная, бесконечная очередь дел!»)

Он захлебывался чувствами к жене, потом — к Ленке, мчался куда-то, летел, пока, наконец, Шеринг не привез его на работу в Питер. Тут Родион отрезвился.

Тут были не только доки, но громадные эллинги с десятками невиданных кранов, и весь город, как корабль, стоял на воде, умещенной в прямолинейную сеть каналов и рек. Здесь можно было не только неустанно строить и спускать на воду суда, но — казалось — все было приготовлено для того, чтобы произвести самый что ни на есть большой ремонт всему человечеству. Поистине в таком ремонте и состояло главное *очередное* дело.

И вдруг... ну да! Ведь это всегда случается вдруг. Вдруг Родион обнаружил, что у него есть жена, семья... нет, не так. Что жена отстаивает право на особую жизнь, на свое понимание жизни, что ей почему-то скучно, что она никогда ни в чем не могла согласиться с мужем и его очередные дела расцениваются ею не дороже прошлогоднего снега. И так же вдруг Родиону стало неловко перед женой за свою нежность к Ленке, и он старался приласкать ребенка втихомолку, с глазу на глаз.

Тогда все чаще приходили такие минуты, как теперь, и Родион сидел в неподвижности, поводя бровями и отыскивая в уме порядок и причинность. Но вместо причинности в голову лезли Катерина и Лизавета Ивановны, и в усмешке жены чудилось отражение самодовольной, зачарованной улыбки городских дур.

В последний раз, когда Родион после спора с женой ушел в свою комнату, он неожиданно потерял самообладание.

— Кой черт связал меня веревочкой с проклятым музыкантом? — заорал он, стукнув кулаками по столу.

Он помнил, как Варвара Михайловна вся засветилась на концерте, подходя к Никите, как потом, по дороге домой, старалась опередить Родиона, не проронив ни слова. Вечно ненавистный Никита опять откуда-то вынырнул на пути Родиона.

— Кой черт? Скучно, скучно, — бормотал Родион. — А до сих пор не было скучно? Не может найти себе места после концерта. Бабья блажь.

Родион внезапно распахнул дверь в комнату жены. Ему хотелось закричать, но он сдержал себя, круто остановившись у порога.

Варвара Михайловна глядела на него удивленно, и улыбка, которая всегда бесила Родиона, едва заметно начинала проглядывать сквозь удивленье.

— Значит, ты неверно рассказывала мне о нем? — медленно выговорил Родион.

— О ком?

— О скрипаче... об этом...

Она неслышно засмеялась.

— Ревнуешь?

— Брось болтать чепуху, — крикнул он, наливаясь кровью. — Я не хочу, чтобы ты обманывала! Больше ничего.

Она подобрала ноги на диван, уселась поудобней, неторопливо поправив на плечах пестрый платок, потом спросила тихонько:

— Ревность недостойна человека?

— Я не шучу.

— Религия — опиум для народа?

— Перестань! — почти задохнувшись, прохрипел Родион.

Он заметался по комнате, сильно потирая ладони, точно решил с чем-то разделаться навсегда.

— Чешутся руки? — подзадорила Варвара Михайловна.

— Послушай, ты, — опять закричал он, останавливаясь подле дивана, — ты говорила, что этот музыкант — твой старый друг... как его?.. а сама...

— Ну?

— Я все понимаю, я не слепой, я...

— Ну?

Она резко встала с дивана и выпрямилась рядом с Родионом.

— Я говорила, что Карев — мой друг. Я говорила об этом потому, что ты — тоже его друг.

— Неверно! Мало ли я встречал мальчишек?

— Постой. Тебе мало этого? Да? Ну, слушай.

Она плотно запахнулась платком, еще ближе подступила к Родиону и пробормотала настойчивым шепотом:

— Карева я люблю. Понял?.. Понял?.. Понял?..

Она вдалбливала в Родиона это слово. Шепот ее стал чуть слышен.

— Жила я с тобой одним. Понял? А его одного люблю. Понял? О каком же ты говоришь обмане?

Словно только теперь разглядев Родиона, она ухмыльнулась и покачала головой:

— Чудак!

Родион был бледен, всегда подвижное лицо его безжизненно застыло. Он неуклюже повернулся и ушел к себе. Но слух его оставался за дверью, у жены, как будто у нее в комнате непременно должен был произойти какой-то поворот его судьбы.

По шагам Варвары Михайловны он догадался, что она собирается уходить. В нем тотчас вспыхнуло непреодолимое, злорадное желание выследить жену, поймать ее, уличить. Он прислушивался к малейшим шорохам за стеной, притаив дыхание, не шевелясь, и, едва хлопнула в передней дверь, бросился одеваться.

На улице темнело, накрапывал реденький теплый дождь, но тротуары были оживлены, люди толклись на перекрестках, под железными зонтами подъездов, у ворот. Красться в надежной туманности сумерек, ловко и незаметно обгоняя людей, по-воровски прячась за их спинами, Родиону не составляло труда. Он был весь устремлен вперед, препятствия только заостряли его зрение, он видел одно: перед ним, шагах в двадцати, шла Варвара Михайловна.

Она не торопилась, поступь ее была непринужденна, раза два ее внимание привлекли освещенные окна. Но Родион не сомневался в том, что Варвара Михайловна приближается к цели, которая ей заранее известна.

На каком-то углу Варвара Михайловна остановилась. Это вышло внезапно, и Родион очутился совсем близко от жены.

Он юркнул за киоск, торчавший у дороги. Почти в ту же секунду он увидел Никиту Карева, и до него донесся обрадованный и удивленный возглас жены.

«Подстроено», — промелькнуло в голове Родиона.

Он ухватился за угол киоска, чтобы не броситься раньше времени на жену или на Никиту. Он не знал, кто из них был ему больше ненавистен.

Варвара Михайловна взяла Никиту под руку. Родион двинулся вперед. Он шел за ними по пятам, не хоронясь, нарочно громко шаркая подошвами по асфальту. Он сунул руки глубоко в карманы, фуражка была заломлена у него на затылок, он выступал как пьяный.

Варвара Михайловна смеялась.

— Слава, слава! — говорила она сквозь смех, покашиваясь на Никиту. — Вы как оперный тенор, Карев! Ха-ха-ха! За вами бегают женщины, в вас влюбляются школьницы. Серьезно! Что это за девочка смотрела на меня таким зверьком на концерте?

— Девочка?

— Ну, да. Такой хищный зверек. Я думала, что она выцарапает мне глаза, пока я говорила с вами.

— Наверно, Ирина? — сказал Никита.

— А вы даже знаете ее имя?

— Это дочь моего брата.

— Во-он что! Племянница? Однако!

Варвара Михайловна крепче прижалась к плечу Никиты.

— Она, наверно, всегда зябнет. Да? Эта Ирина. И у нее постоянно холодные руки, правда? Что вы хмуритесь? Вы влюблены? Ха-ха! Господи, какая я дура! Но, право же, Карев, это смешно. Она такая девчурка, как моя Ленка. Вы знаете, что у меня дочь? Прелестная! Вот бы нам с вами! Ну что? Ну, что вы все хмуритесь, Карев? Вы пугаете меня. Вы серьезно увлечены?

— Вы хотели рассказать о себе. Сколько лет вашей дочери? — спросил Никита.

— Стало быть, правда, — снизив голос, проговорила Варвара Михайловна. — Ну что ж! Моя судьба. Я все надеюсь, что придет время, когда вы поймете, что я одна, только я одна нужна Никите Кареву. Я не отчаиваюсь. Я жду, Карев. Ха-ха! Я упряма!

— Но вы должны быть счастливы! — воскликнул Никита. — У вас ребенок. У вас муж. Он очень понравился мне, и я знаю его давно. Как раз такой человек и нужен вам, как Родион.

— Это какой же человек?

— Сильный, здоровый, такой, как вы.

— Вы хотите уверить меня, что мне пора угомониться? От добра добра не ищут, да? Пора оставить вас в покое? Я вам очень надоела? Я угадала, да? Скажите, угадала? А знаете что?

Варвара Михайловна выдержала паузу, словно собираясь поразить Никиту одним словом.

— Знаете, что Родион вас ненавидит?

— Меня?

— Вас, пожалуй, больше, чем меня.

— Но за что?

— Вероятно, за то, что знает, как я...

Она потянулась к Никите, приподнявшись и наклонив к его плечу голову, может быть для того, чтобы тише и внятней выговорить какие-то слова, но неожиданная сила оторвала ее от Карева.

Между ними стоял Родион.

Помутневшими, ословелыми глазами он оглядел их по очереди. Никита отшатнулся от него. Варвара Михайловна вскинула руки к лицу, не то затем, чтобы оградиться, не то — отвести Родиона в сторону.

Остановившись посредине тротуара, они задержали движение. Кое-кто из прохожих обошел их, кое-кто зазевался и стал.

— Ты с ума сошел? — воскликнула Варвара Михайловна.

В ее голосе не было ни тени испуга. Она смотрела на мужа с необыкновенным любопытством, лицо ее сильнее, чем всегда, переливалось яркими красками.

Она бросила взгляд на Карева. Предвкушение какого-то восторга озарило ее на секунду, но тут же с отчаянием и тоской она проговорила:

— Карев, Никита! Что же вы?

Он стоял неподвижно — отчужденный, немой — безразлично и лениво разглядывая Родиона. Казалось, он не мог преодолеть томительного приступа скуки.

Родион перевел дыхание, шагнул к Никите. Рот его перекосялся, точно ему было страшно трудно разжать челюсти.

— Бар-чук! — выговорил он тихо.

И вдруг быстро повернулся, опять засунул руки в карманы и плечами растолкал толпу.

Он шел, наклонив голову, бороздя тупым взором дорогу, задевая прохожих. Он не заметил, как миновал свой дом, и спохватился в незнакомой улице.

Спустя полчаса он был дома. У него накопилось много дел — потертый мягкий портфель разбух и стал похож на ведро, в трех книгах торчали закладки, уже давно надо было прибрать на столе: записочки, вымазанные ротатором бумаги сугробами громоздились повсюду.

Родион уселся за работу. Кажется, никогда в жизни она не шла у него так гладко и споро. Ни одного лишнего поворота руки, ни колебаний, ни раздумья: бумага прочитана, карандаш делает на ней пометку, она послушно ложится в сторону, на ее место появляется другая. Портфель опустошен до самых сокровенных глубин, из ведра он делается

тряпкой, потом, начиненный отобранными бумагами, принимает вид вполне приличного, средней упитанности, делового портфеля. Ненужные бумажонки — циркуляры, приказы, протоколы, выписки из резолюций — летят в угол позади стола, сугробы тают, среди отдельных белоснежных пятен возникают проталинки зеленого сукна, проталинки постепенно сливаются в сплошное зеленое поле. Стол чист.

Родион берется за книгу. Страница, еще страница. Какая отчетливая, ясная мысль, с какой остротой различает Родион ее движение, как просты и точны слова!

Родион слышит, как возвращается Варвара Михайловна, как она проходит к себе.

Страница за страницей, страница за страницей!

Варвара Михайловна пьет чай, ложечка позвякивает в чашке, крышка сахарницы захлопнулась резко и кратко, как затвор винтовки, нож, сорвавшись с хлеба, визгливо скрипнул по тарелке.

Страница за страницей! Уж близки выводы, книга ведет к ним бесстрашно, словно лоцман вводит судно в бухту.

Варвара Михайловна ложится спать. Она подвинула к кровати стул. Она расшнуровала башмаки: жестяные наконечники шнурков отщелкали по полу похожие на тиканье маятника удары. Варвара Михайловна легла.

В тишине внимание выпрямляется, как по отвесу. Мысль — точно стекло: она существует, но сквозь ее прозрачность видна хорошо различимая даль. Еще одна глава, еще одна. Страница за страницей, страница за страницей!

Глухая, беззвучная ночь. Пора ложиться и Родиону. Он может быть доволен этим днем. Может быть доволен собой.

Каждое движение его уверенно. Он под одеялом, он закрыл глаза, он должен заснуть.

Минута за минутой.

Он крепкий и здоровый человек. Он легко управляет собой. Для него все ясно. Его отношения к Варваре Михайловне... Но зачем об этом думать? Не

лучше ли вернуться к тому, о чем Родион прочитал? Его мысль повторяет только что пройденный путь.

Минута за минутой, минута, еще минута.

Вдруг Родион вздрагивает. О чем он читал в этой толстой книге? Слова рассыпаются в памяти, как гнилушка в труху, и летят прочь, подобно пыли. Какую книгу он читал? На углу стола лежат столбиком три переплетенных тома и в каждый из них воткнута бумажная закладка. Но Родион не в силах припомнить, что за страницы перелистывал он с таким усердием полчаса назад.

Он торопливо встает, зажигает свет и бросается к столу. Раскрыв верхнюю книгу, он прочитывает несколько строк наугад. Нет, он читал что-то другое. Он берет вторую книгу, третью. Отовсюду глядят на него совершенно одинаковые строчки, он как будто узнает в них прочитанное, но слова по-прежнему расплываются в труху.

— Ясно, — говорит он.

Ясно, что он устал и ему нужен сон.

Он снова лежит, крепко закрыв веки, снова идут беззвучные минуты, и внезапно, с неуклюжей поспешностью, он опять вскакивает с кровати.

Накинув на спину одеяло, он беспокойно роется в углу, позади стола, в куче выброшенных бумаг. Как мог Родион позабыть о поручении товарища Шеринга? Еще сегодня в обед Шеринг дал Родиону бумагу, сказав:

— Посмотри, это по твоей части. Мне кажется, надо покончить.

Родион был в тот же момент совершенно убежден, что «надо покончить», но не имел никакого представления о деле и бумагу... Куда он мог девать эту бумагу?

Он угрюмо роется в протоколах, циркулярах, составляет разорванные в клочки письма, зеленое поле стола заново покрывается сугробами, портфель тощает, но бумаги Шеринга нет.

Через час Родион лежа старательно перебирает в уме каждую бумажонку, побывавшую в его руках

за день, и все они чудятся ему точь-в-точь такими, какую в обед ему вручил Шеринг.

— Надо покончить, — твердит он, как в бреду, тяжело засыпая. — Покончить...

Поутру его разбудил какой-то стук.

Одеваясь, он прислушивался к тому, что делалось в соседней комнате. Ленка уже топала и бормотала сама с собой. Варвара Михайловна надела башмаки, а не туфли, как всегда по утрам. Шаги ее были чуть-чуть торопливей обычного.

Родион пошел умываться. В передней он встретился с женой: Варвара Михайловна выносила из своей комнаты небольшой чемодан.

— Хорошо, что ты встал, я хотела повидать тебя.

Она поправила шляпу, застегнула большую, в пяттак, пуговицу на воротнике пальто.

— Я ухожу от тебя, Родион, — сказала она так, как раньше говорила «с добрым утром». — Ленка пока останется здесь. Комната, где я поселюсь, совсем не годна для нее. Мне обещали хорошую няню, я пришла сегодня...

Она протянула Родиону руку.

— Прощай... Ну?..

Она улыбнулась.

— Ты — умный человек, Родион. Зачем эта комедия? Простимся.

— К музыканту? — невнятно спросил он.

— Нет. Я ему пока не нужна. Просто решила отдохнуть.

Она нахмурилась.

— Ты хочешь заставить меня оправдываться? Я нахожу это недостойным себя... Сегодня за Ленкой может присмотреть хозяйка. Я договорилась. Ну? Прощай.

Родион молчал.

Она опять улыбнулась. Невозмутимо-хорошо было ее лицо, и спокоен, глубок низкий голос.

— Как хочешь.

Она легко подняла чемодан, левой рукой открыла замок, толкнула коленкой дверь и вышла не обернувшись.

Глава четвертая

Васильевский остров после гражданской войны стал очень тих, особенно в глубине, за Тринадцатой линией и дальше. С домами, наполовину обветшалыми, с мостовыми в ползучей ярко-зеленой травке, которую зовут муравой, все еще величественные, но опростившиеся проспекты сделались наивны.

Если бы вздумалось снять крыши с построек, многое в домах предстало бы неприкосновенным: так могло быть, так было и полвека назад — кабинеты, шкафы, темные просторные переходы и коридоры с ветошью и давно ненужным скарбом. Люди, населявшие остров, — неизменные и все же как будто изменившиеся, — стали так же трогательны, величественны и наивны, как проспекты.

И может быть, самым внушительным выражением странной перемены, происшедшей с островом в революцию, был ученый биолог и публицист — Арсений Арсеньевич Бах.

Его журнальные статьи стали не по времени, он знал это и прекратил писать их. Воззрения его оставались прежними, он не поколебался ни в чем, но с покровительственной улыбкой и достоинством признал, что они могли устареть. К тому же у Арсения Арсеньевича была в запасе биология, он мог читать лекции школьникам, милиционерам, металлистам, кому хотел, — и он готов был допустить, что еще не все в мире пропало, если поощряется знакомство с дарвинизмом.

Он был одинок и занимал во втором этаже три комнаты. Из года в год, каждый день он приходил домой с двумя-тремя книгами, которые откапывались в подвалах Литейного проспекта. Книг набралось так много, что давным-давно в квартире не хватало шкафов и полок, и книги, как сталагмиты, поднимались к потолку, выглядывали горбатыми штабелями из-за дверей — запыленные, серые, обросшие паутиной.

За революцию Арсений Арсеньевич накопил в сарае лесу для полок и — после долголетних сборов —

приступил к делу. Сосед-старикашка, слывший, за уменье держать пилу, плотником, нарезал доски, шаркнул по ним рубанком и помог Арсению Арсеньевичу втащить их наверх. Это были короткие продольные доски, предназначенные для книг, а поперечные — высокие стояки — оказались чересчур длинны, чтобы протащить их по узкой, крутой лестнице на второй этаж. Решено было поднять стояки через окно, с улицы.

И вот с десятков прохожих однажды утром были остановлены неожиданным зрелищем. На тоненькой веревочке, спущенной из открытого окна, раскачивалась привязанная за верхний конец увесистая доска, высотой чуть ли не в целый этаж. Сморщенный, всклокоченный человек, высунувшись из окна, одной рукой упирался изо всей силы в подоконник, а другой тянул вверх веревочку. Изредка он пугливо осматривался по сторонам и предупреждал василе-островцев:

— Перейдите на мостовую! Остерегитесь!

Доска поднималась очень туго. По-видимому, тот, кто составлял главную силу в этой работе и кого не было видно из окна, мало чем превосходил худосочного сморщенного человека, который помогал тянуть доску.

— Остерегитесь! Остерегитесь! — кричал человек.

Веревочка растягивалась в струнку, доска медленно вертелась на ней, подползая к окну коротенькими скачками, и вдруг уперлась углом в выступ карниза и стала.

Сморщенный человек озабоченно подергал веревочку. Доска не шелохнулась. Он засуетился еще больше и что-то крикнул себе за спину, в комнату. Веревочка подалась, доска сползла пониже, потом снова скакнула вверх, и опять карниз не пустил ее дальше.

Тогда коренастый матрос, стоявший в кучке ротозеев на другой стороне улицы, перебежал дорогу и подхватил доску с нижнего конца. Он повернул ее, уложил плашмя на фасад и поднял над головой. Верхний конец доски вошел в окно, подхваченный невидимыми до сих пор руками, а нижний — грузно

отделился от фасада, начав описывать широкую дугу. Но сил было явно мало, рычаг — велик, и через секунду доска неподвижно застряла в воздухе.

Из окна выглянул сморщенный человек и, потрясывая пальцем, закричал матросу:

— Будьте любезны! В ворота налево, квартира шесть, черный ход!

Матрос, не раздумывая, побежал. Дверь в шестую квартиру была уже открыта. Он вошел в комнату.

На доске, торчавшей коротким концом из окна, висел старикашка, с засученными по локоть руками. Он кряхтел, тяжесть пересиливала его, того и гляди он должен был взлететь на воздух.

Матрос схватил доску, приподнял ее выше к потолку и всем телом навалился на конец. Спустя минуту доска была втянута в комнату.

Матрос огляделся. Раскрасневшийся от усилий и хмурый, он был похож на человека, который выведен из терпенья и готов обругать первого подвернувшегося под руку.

Но под руку подвернулся сморщенный человек — существо, по-видимому, изумившее матроса своей необычностью. Человек был одет в фуфайку и жилет, старомодная гладкая крахмальная манишка блестящим шитом прикрывала узенькую грудь, просторные брюки немного сползли с талии и пышными складками прикрывали башмаки. Но осанка этого маленького, слегка смешного человека была уверенно-величественной, пожалуй — гордой, и лицо, вдоль и поперек исчищенное обильными морщинами, было исполнено покойного достоинства. Он показал матросу свой выразительный профиль и произнес, вытягивая сухую руку:

— Арсений Арсеньевич Бах.

Матрос помолчал в растерянности, потом застенчиво улыбнулся.

— Родион Чорбов, — сказал он, осторожно прикасаясь к руке Арсения Арсеньевича.

— Как? — переспросил тот.

Это уже напоминало допрос, однако протестовать показалось Родиону невозможным. Он повторил:

— Родион Чорбов. Меня чаще зовут просто — Родион, товарищ Родион.

— Родион? Это хорошо. Родион.

Арсений Арсеньевич прислушался к имени нового знакомого и, одобрительно тряхнув головой, проговорил:

— Может быть, вы будете любезны помочь нам поднять еще одну доску?

Вопрос был задан совершенно обходительно, даже с изысканностью, но жест и поза Арсения Арсеньевича давали понять, что он своей просьбой делает немалую честь Родиону.

— Да зачем вам понадобились доски? — просто-душно воскликнул Родион.

— Я сооружаю полки для этих книг, — объявил Арсений Арсеньевич, торжественно показывая на открытую дверь смежной комнаты.

Родион заглянул туда и притих.

— Да-а, — прогудел он, точно в раздумье. — Ну, ладно. Где ваша доска? Нужно бы потолще конец... эту самую... веревку. Есть?

Так состоялось знакомство Родиона с Арсением Арсеньевичем Бахом, и отсюда пошла взаимная приязнь этих вовсе не похожих друг на друга людей.

Когда вторая доска была поднята в комнату, Арсений Арсеньевич снова протянул Родиону руку.

— Не знаю, каким наилучшим образом я могу отблагодарить вас за помощь.

— Пустяки, — сказал Родион. — Вот вы, может, знаете, где комната сдается? А то мне указали здесь — не подходит, бегаю без толку, ничего не найти.

— Да, — согласился Арсений Арсеньевич, — жилищный вопрос...

Это у него вышло так значительно, словно он сказал в каком-нибудь ученом заседании: да, знаете ли, селекционная теория...

Вдруг ромбики и трапеции его морщин пришли в озорное движение, и он заявил:

— Но позвольте! Когда я уберу эти книги на полки, одна из моих комнат окажется свободной. Вы одинокий?

— У меня дочь двух лет.

— И жена?

— Нет.

— Но какая-нибудь женщина должна ходить за ребенком?

— Я найду.

— Тогда как вы отнесетесь к моему предложению поселиться в комнате, которую я освобожу от книг?

Он положительно вел государственной важности переговоры! Родион расплылся в улыбку...

Кончилось тем, что неделю спустя за стеной у Арсения Арсеньевича Баха копошилась со своими тряпочками Ленка, и Родион иногда заглядывал к хозяину квартиры — в кабинет, утопавший в холодно-новом, таинственном аромате отсырелых книг.

При свете мерклой лампы здесь велись странные, немного путанные беседы, и возникавшие споры непонятно увеличивали тяготение Родиона к Арсению Арсеньевичу Баху.

По утрам и целым дням Родион пропадал на делах (очередные дела, очередные вопросы), но к вечеру, иной раз много позже, чем засыпала Ленка, придя домой, он вдруг чувствовал, как у него пустели руки. Надо было что-то делать, а дел не было, или их было очень много, но ни одно из них не могло вытеснить из груди тупую тягость, заполнить холодную пустоту рук. Родион подходил к спящей Ленке, поправлял на ней одеяло, дотрагивался до ее ручонки — все это было тяжело и пусто. Если бы Ленка не спала, с ней можно было бы повозиться, пощекотать ее, послушать ее хохот — захлебывающийся, визгливый.

— А ну-ка, где тут у Леночки пупочек? — грозно басил Родион, чуть-чуть пощупывая Ленкины бока твердыми пальцами и подбираясь потихоньку к животу.

— А-ай! — взвизгивала Ленка и потом зажмурилась, ежилась, кряхтела и, повалившись на пол, хохотала до икоты.

Но молча глядеть на Ленку, когда она спит, и через силу, против желания гнать из своей головы

назойливо неотступную мысль все о том же, об одном и том же — нет, Родион не хотел этого терпеть. Он улавливал какой-нибудь шелест за дверью, выходил в переднюю и, если наталкивался на Арсения Арсеньевича, ждал, чтобы он пригласил его к себе, и с радостью к нему шел.

В разгадывании этого человека, в его чудаковатых речах, сплетении веры с безверием, восторженности с насмешкой Родион находил усладу, которая на один час заглушала в нем все, и он заново чувствовал в своих руках какую-то сопротивляющуюся массу, и ему хотелось ее преодолеть.

Он нарочно торопился вставить в разговор взбудораживающее словцо, чтобы разбедерить Арсения Арсеньевича и нащупать в нем новое противоречие или услышать новый афоризм.

— Идеализм, все это — идеализм, — бурчал недовольно Родион, и Арсений Арсеньевич, взметнув профиль и высоко закинув брови, поднимал руку с растопыренными пальцами, как Пилат на картине Ге «Что есть истина?».

— Прекрасно, когда Рембрандта бранит зрячий. Но как быть, если за это дело берется слепец от рождения? Потрудились ли вы, мой молодой друг, познакомиться с идеалистическими воззрениями на мир, на историю?

— Не я, так другой. Наши взгляды проверены. И подтверждены. И согласованы, — рубил Родион, — согласованы с научными данными. И ваша наука сама нам дала выводы. Мы на них опираемся и... это... строим.

— Наука! — восклицал Арсений Арсеньевич. — Наука! Многовековой опыт человечества, поднесенный дикарю на подносе! Кто делает выбор? Как? Перед вами колоссальное книгохранилище. Оживите на мгновение мысли, высказанные мудрецами, и проповеди, которыми когда-то философы осчастливили мир. Представьте себе, что великие тени снова воплотились, и в полуночной тишине библиотеки попробуйте столкнуть их друг с другом. Боже! Какое бесподобное кровопролитие! Битва, от которой му-

тится рассудок и содрогаются сердце. Все эти Юмы и Лавуазье, Дарвины и Шопенгауэры — вот они пожирают друг друга, и Прудон обращается в бегство от Маркса, и Спенсер уже грызет горло Фейербаху, и Бакунин неистово размахивает головой Гегеля. А позади вырастают Аввакумы и Гусы, Бисмарки, Кампанеллы, Толстые. И все это уже уничтожено, взаимно истреблено, и перед вами — один прах ничтожных страстей, и шкафы блестящей библиотеки пусты. Наука! Нескончаемая цепь противоречий, эфемерное самопожирание мысли.

— Ну, а вывод, вывод? — уже в раздражении кричал Родион.

Арсений Арсеньевич вдруг словно осекался, подходил ближе к Родиону, заглядывал в его глаза, говорил тише и проще:

— Вы всегда торопитесь, Родион. Я не устану говорить вам: наибольшая опасность для мысли — это привычка основывать суждения на готовых выводах. Нужно стремиться познавать мышление в его процессе, в его...

— Ладно, ладно, — перебил Родион. — Стало быть, вы сидите на пустом месте?

Вопрос поражал Арсения Арсеньевича неожиданной конкретной прозаичностью. Секунду он не понимал его.

— Ну, в вашей библиотеке, там... пожрало, значит, все само себя и... что же, на чем вы остались?

Родион с испытующей усмешкой ждал ответа. Но Арсений Арсеньевич недолго колебался. От неловкого резкого поворота у него выскакивала из-под жилета манишка, он пробовал наскоро засунуть ее назад, но она топорщилась еще больше, и так он стоял, вскинув голову, с одной рукой, поднятой вверх, и с другой, заложенной за спину, в белой крахмальной манишке, которая круглой лопатой торчала под кадыком.

Арсений Арсеньевич рассуждал:

— После побоища, представленного сейчас мной, несомненно кое-что уцелеет. Это кое-что прежде всего будет пошлость. В то время как возвышенные умы

взаимно уничтожаются в противоречиях, подобно тому, как уничтожаются разноименные электричества, какие-нибудь мизерности попрячутся по углам библиотечной полки. Но я надеюсь, что уцелеет также крупница здорового рассудка и даже, может быть, — мудрости. Таким путем алгебраического сложения мы, при удаче, можем получить известный экстракт мысли, который с вероятностью может быть принят нами как непреложность. Это мы, Родион, мы, стремящиеся изучить историю жизни. Но мир? О, мир не складывает и не вычитает, не систематизирует знаний, а смотрит, что удобней и выгодней для него в данный момент. А вы преподносите ему весь опыт человечества: наука, — говорите вы, — наука! Но она разодрана непримиримой враждой взглядов!

— Мы делаем отбор! — восклицал Родион.

— Вам кажется, что вы делаете его. В действительности вы творите новую религию, вы создаете фетишизм. Вы добиваетесь того, чтобы при слове «наука» люди обнажали головы.

— Это совсем неверно, это черт знает... — горячился Родион.

— Позвольте, позвольте, — наступал Арсений Арсеньевич. — Я прошу вас выслушать сейчас историю, которая раскрыла мне значение всего, что совершается вокруг нас. Недавно в Академии меня приглашают к телефону. «Это вы, Арсений Арсеньевич? Говорят из кружка, в котором вы на днях читали лекцию. Вот хорошо, что я вас захватил».

Арсений Арсеньевич ухмыльнулся снисходительно и заметил:

— Он именно так выразился, этот искатель истины из рабочего кружка: «захватил», — я стараюсь передать все дословно. «Хорошо, что я вас захватил. Мне ребята-кружковцы велели узнать, в кружке у нас разговор вышел. Насчет бога мы по вашей лекции все усвоили и согласны, как он произошел и что его нет. А вот у нас в кружке находятся такие, которые говорят, будто есть душа. Так я обещал узнать у вас, как вы на этот счет по науке. Алло, алло! Вы слышите? — кричит. — Есть душа или нет?»

Нет, говорю ему в телефон, успокойтесь, ничего нет. «Значит, так ребятам и передать?» Так, говорю, и передайте. «Ну, спасибо, — отзывается он, теперь много понятней и легче. Простите, что оторвал вас от научной вашей работы. Пока». И повесил трубку.

— Очень хорошо, — серьезно сказал Родион.

— Очень плохо, что вы так думаете. Наука для массы людей начинает заменять религию. А вы сознательно хотите способствовать такой замене?

— Правильно!

— Вы хотите, чтобы массы так же беспрекословно верили приват-доценту или притворялись, что верят, как они верили протопопу? Родион, Родион!

Голос Арсения Арсеньевича содрогался укоризной и состраданием. Морщинки его лица приходили в смятение.

— Ваша задача благодарней и грандиозней. Вы должны пробудить в человечестве любознание (Арсений Арсеньевич шевелил пальцами, точно нащупывая что-то в пространстве), заставить людей искать (он делал руками такое движение, как будто кидался вплавь через реку), толкнуть их спящий ум в поиски истины (и он толкал сухим желтым кулачком невидимого бездельного, сонного человека).

— Беспокойство, внедрить в человека беспокойство, это чувство, которому мы обязаны всем, что нам известно: огнем, книгопечатанием, телеграфом. Человек ищет, потому что сомневается. Сомнение не дает покоя.

— Веру в себя должны мы... как его... внедрять, уверенность, а не сомненья, — перебивает Родион.

— Постойте. Вера? Я верю в восход солнца. Это все равно что знание. Я знаю, что завтра взойдет солнце. Но... земной рай, учрежденный по единодушному решению приват-доцентов... позвольте!

Арсений Арсеньевич беззвучно приближался к Родиону, выпячивая глаза, сжав кулачки, и шептал:

— Поверьте, друг мой, все, что вы думаете, мне известно. Поверьте, я знаю бесконечно больше вас, и мои знания устойчивы, как храм, фундамент которого уходит глубоко в почву. То, чем убеждают сей-

час искателей правды из рабочих кружков, все эти амебы и туфельки, палеозойские периоды и обезьяны — все это приведено в моем представлении в сложнейшую и тончайшую гармонию, которая столь проста, что, положив на сердце руку, я могу ответить по телефону моим ученикам: успокойтесь, ничего нет. Но (Арсений Арсеньевич снижал свой шепот до вкрадчивого, еле слышного придыханья)... поверьте, Родион! Некоей сокровенной минутой, когда ясность моих мыслей достигает предельной чистоты, я отвертываюсь в уголок моей библиотеки (Арсений Арсеньевич быстро подбегал к шкафу и прикладывался ухом к стеклу, как будто там, за стеклом, должно было прозвучать нечто таинственное), осеняю себя давно осмеянным христианским крестом и твержу: «Ничего не понимаю, ничего не понимаю!»

Арсений Арсеньевич часто помахивал у своего лица кистью правой руки, жесткие ногти прищелкивали по крахмальной манишке, профиль заострялся, какая-то мученическая — восхищенная и убогая — улыбочка блуждала в путаной сети его морщин, он крестился все испуганней и быстрее.

Тогда Родион начинал хохотать. Углы его губ глубоко западали в рот, голова становилась круглей, как будто тверже и красным массивным шаром показывалась на больших плечах.

Хохот его сначала поражал Арсения Арсеньевича. Ученый биолог стоял в совершенной растерянности, и даже ромбик, квадратики его пергаментного лица разглаживались, как у покойника. Неуверенно, в раздумье он возвращался к жизни и неловко поправлял на себе манишку.

Сквозь хохот Родион сотрясал комнату обрывками слов:

— Юрод... юродство! Юрод-ство! Городские... дуры... юродивые... Все то же, ха-ха-ха! Одно и то же... дуры! Катерина Ивановна... в Академии наук... ха-ха-ха!

— Какие дуры? — вопрошал Арсений Арсеньевич, понемногу обретая свое достоинство и глядя на Родиона как на безумца.

— Это я так, про себя,— все еще хохотал Родион.

Он шумно поднимался со стула, подходил к Арсению Арсеньевичу и неожиданно строго, сосредоточив всю силу взгляда на его выпяченных глазах, говорил:

— Унизительно, Арсений Арсеньевич, для человека. Понимаете?

— Что?

— Малодушие ваше унизительно. Юродивость унизительна.

Арсений Арсеньевич брался за воротник Родионовой куртки, собираясь одним проникновенным словом передать собеседнику всю возвышенность своей мысли. Но Родион осторожно снимал худую руку Арсения Арсеньевича со своей груди и говорил:

— Как вы, с вашими знаниями, с таким богатством... ну, как вы до такого смешного договариваться можете? Ведь я бы на вашем месте владыкой себя во всем чувствовал. Владыкой!

Он расправлял перед Арсением Арсеньевичем руки и медленно, крепко, так, что похрустывали суставы пальцев, сжимал кулаки.

— Вот вы смеетесь,— величаво и покровительственно произносил Арсений Арсеньевич,— и ваш смех мне понятен. Но понимаете ли вы смысл моего признания, так развеселившего вас? Вы взялись перестроить человечество и проглядели величайшую силу, которая неустанно работает против вас: человеческую слабость. Своим признанием я только хотел обратить ваш взор на явление, вами не замеченное и грозное, как всякая скрытая сила. Да, я слаб, говорю я. Но весь мир болен этой великой немощью.

— Проглядели? — словно с угрозой гудел Родион. — Нет, не проглядели. И ежели угодно вам, так мы эту самую слабость на мушку взяли! Да! И, может, вся наша задача — против слабости борьбу вести. Чувствуете? Да? Ну так вот! Баста!

Он решительно уходил, круто подергивая большими своими плечами, в которых плотно и глубоко сидела голова, и уже из дверей досказывал:

— Вы, Арсений Арсеньевич, нас разжалобить думаете? Не выйдет. Старо! Жалостью ничего не добьешься, только так, юродство, а мы жизнь строим, да.

— Весь вопрос, Родион, в этом, — порывался Арсений Арсеньевич. — Как строить жизнь, как?

— Ну, уж как умеем, — охлаживающе замечал Родион. — Не прогневайтесь.

Он притворял за собой дверь осторожно, чтобы не стукнуть, как осторожно и уважительно прикасался к Арсению Арсеньевичу, чтобы не повредить его шуплому телу, и приходил к себе, полный желанья за что-то взяться и снова осиливать и устранять преграды.

В такие минуты он в своей комнате и Арсений Арсеньевич у себя за столом думали друг о друге с досадливым сожалением («Где же понять меня такому человеку?» — казалось Баху. «Почему такой человек не хочет понять меня?» — доискивался Родион), но обоюдная привязанность их возрастала.

Однажды Арсений Арсеньевич сам заглянул к жильцу.

Раза два-три в год ученому биологу случалось посидеть в гостях у старых своих знакомых, с которыми прошла вся его жизнь. Чаше всего это бывали Каревы. Он посмеивался над восторженной наивностью Софьи Андреевны, но ему льстило почитание, окружающее его за каревским столом. Там он выпивал рюмку водки, иногда произносил отвлеченную речь и возвращался домой с повышенным пульсом, добродушный от трогательных мечтаний, обуреваемый их юношеским жаром. Он сам себе казался счастливым, и ему хотелось осчастливить других.

— Как часто люблюсь я такими людьми, Родион, как вы! Такая устойчивость, такая прямота!

Арсений Арсеньевич одобрительно потрогал Родиона по плечу и руке.

— Такая сила!

Он вспомнил свою речь у Каревых, ему стало приятно, что она получилась пышной и поразила всех, и он собрался продолжить свой триумф,

— О, я глубочайше убежден, что такие люди призваны создать нечто невиданное и громадное (Арсений Арсеньевич снова пощупал Родиона). И я со жгучей жаждой желал бы иногда перевоплотиться, чтобы ощутить в себе вашу физическую веру. Да, разве ваша вера не разлита у вас по всему телу?

Родион с любопытством слушал Арсения Арсеньевича, и ему казалось, что все соки мышц этого шупленького человека высосаны его головой, неизменно повернутой в профиль.

— Но сейчас, вечером, — продолжал Арсений Арсеньевич, смягчив голос ноткой вкрадчивости, — проходя через Неву, я опять почувствовал, что мир, обреченно уходящий из жизни, этот мир не менее достоин преклонения, чем новый человек. Мы не знаем красоты, которую создадите вы. Не знаем, как будете чувствовать вы вашу новую красоту. Но никогда уже не повторятся наши чувства, потому что никогда не повторится человек нашей эпохи. А мы умели чувствовать, Родион, мы умели создавать прекрасное и оболящаться им! И мне грустно, Родион, что новое человечество безжалостно выбрасывает нас из жизни. Грустно, потому что бесследное исчезновение нашего типа людей нанесет урон будущему, подобный тому, какой наука испытывает в исчезнувших зоологических видах. Мы носим в себе такие чувства, против которых вы ополчились не потому, что они вредны, а потому, что вы не обладаете ими, не хотите видеть их значения. Мы бережно храним чувство прошлого, а вы вытравляете в себе самый зародыш этого чувства. Я останавливаюсь возле дома, построенного Ринальди, и мое сердце бьется. Вы же мечтаете только о квадратных площадях и шарообразных зданиях неизвестного назначения. Нас всегда вдохновляло желание кинуть мост в будущее, и для этого мы старались крепче стоять в прошлом. О Родион! (Арсений Арсеньевич окончательно нащупал патетическую форму для своей речи, выбросил одну ногу вперед и вскинул над головой руку.) О, для нас не существует времени! Мы современны всем эпохам, мы поистине бессмертны! В Рим и Калькутту, на восток и запад,

отсюда, с грязных улиц Васильевского острова, на тысячелетия вперед и назад мы протягиваем руки, и нас встречают всегда понимающие пожатия то мертво-холодных костяшек, то жарких и влажных ладоней.

Арсений Арсеньевич приостановился, соображая, найдется ли для конца эффект более внушительный, чем понимающие пожатия костяшек и ладоней, но Родион воспользовался перерывом и негромко спросил:

— Вы сказали, Арсений Арсеньевич, что бессмертны? Тогда чего жаловаться, что вас новые люди выбрасывают?

Арсений Арсеньевич сменил поэтическую речь на разговорную, чтобы доступней объяснить свою мысль.

— Я говорю о том, каким способом передать будущему поколению подлинную окраску наших переживаний. Как сделать, чтобы они сохранились? Неужели навсегда, навсегда новое человечество потеряет представление о нашем... ну, поймите меня, Родион, — вот тут (Арсений Арсеньевич ударил себя в грудь), неужели тут не заложено ничего прекрасного? Возможно ли, что это пройдет мимо вас на вечные времена, и ваши потомки... Нет! Мы вправе сохранить и передать вам великие движения нашей души. К счастью, попытки сделать это увеличиваются. Не только научная мысль, но также искусство приходит к нам на помощь. Например — музыка. Слышали ли вы симфонию Никиты Карева? Непременно послушайте, Родион. Скоро его концерт будет исполнен второй раз. Возвышенный героизм наших дней Карев сочетает с проникновенным...

Арсений Арсеньевич внезапно оборвал себя и спросил в испуге:

— Что с вами?.. Что с вами, Родион?

Родион медленно поднимался со стула и, вдруг схватив его за спинку, словно готовясь размахнуться, с неистовой силой стукнул им об пол.

— Проклятый концерт!

Арсений Арсеньевич попятился к двери. Но Родион, помолчав секунду, сдержанно проговорил:

— Я должен, к сожалению, прервать вас, Арсений Арсеньевич. У меня много очередной работы.

Щеки его передернулись, он криво усмехнулся.

— А что до этого Карева... то есть до музыки... Так это — не наша музыка. Плохая музыка. Плохая музыка, — повторил он, упирая на каждый слог.

Арсений Арсеньевич пожал плечами.

По его мнению, концерт Никиты Карева был просто великолепен.

...В самом деле, концерт был великолепен.

Никогда Никита не ощущал вокруг себя такой безоблачной чистоты, как в эти дни, после концерта.

Он попал к Ирине только на третьи сутки, нагруженный веселой и легкой кладью толков, пересудов, восхищения, приветствий. Помолодевший и живой, он перебирал в памяти все свои встречи с музыкантами, чтобы подробнее, живей рассказать о них Ирине. Даже нелепое столкновение на улице с Родионом смутило Никиту всего на один миг. Мало ли бывает глупых, беспочвенных и — в сущности — курьезных столкновений?

Никита вбежал по лестнице, нетерпеливо дернул звонок. Уже раздеваясь, он впопыхах спросил прислугу:

— Ирина Матвеевна дома?

Если бы ему ответили — нет, он, кажется, все равно побежал бы к ней в комнату.

Но он увидел Ирину раньше, чем ожидал: она шла через приемную.

Никита бросился ей навстречу с протянутыми руками.

— Ирина, здравствуйте! — крикнул он.

Почти не замедляя шага, она подала ему руку и тотчас вырвала ее.

— Проходите ко мне, я сейчас вернусь, — сказала она.

Никита остановился посредине пустой комнаты. Не в первый ли раз он попал сюда? Золотые рамы картин строго поблескивали на стенах, рояль отражал черным кузовом кривые спинки стульев, чинно расставленных у подоконников. Было очень тихо, и

тишину подчеркивало солнце, неохотно, в полтона светившее в окна.

Никита медленно прошел в комнату Ирины. Через минуту она вернулась.

— Я так рад, что наконец с вами, — сказал Никита.

Ирина ответила не сразу. Войдя, она не взглянула на Никиту и остановилась вполоборота к окну. Солнце падало ей в лицо, Никите видны были ничтожные движения ее прямых, низко опущенных над глазами ресниц, ее тонких прозрачно-розовых ноздрей.

— По всему видно, что рады, — произнесла она, скупно приоткрывая губы.

— Я был счастлив, когда к вам шел, и только теперь... Что случилось, Ирина? Почему вы...

— Ничего не случилось, все очень хорошо. Вы так спешили ко мне, что я имею счастье видеть вас ровно через неделю после концерта.

— Ирина, всего три дня...

— Все равно, три дня. Папа тоже говорит, что это очень мило с вашей стороны.

— Послушайте, Ирина. За это время было столько встреч. Меня просто закружили. Я хотел накопить и передать вам решительно...

— Каких встреч? — резко оборвала Ирина. — О каких встречах собираетесь вы говорить?

Она обернулась к Никите и жестко, вызывающе глядела ему в глаза.

— Что произошло с вами? — спросил он, стараясь отыскать в ее лице какую-нибудь тень шутливости или насмешки.

— Извольте сказать, о каких встречах намерены вы говорить? Ну, отвечайте же, говорите!

— Я хотел рассказать обо всем, что... Но вы не даете мне раскрыть рта.

— Пожалуйста. Вы хотите рассказать об этой женщине, которая преподнесла вам цветы? Но мне нет до нее дела. Не трудитесь. Я не собираюсь выслушивать все эти истории.

— Ирина!

— Вы, конечно, всю неделю были окружены... разными этими...

— Что же это наконец, Ирина? — горячо перебил Никита.

Она шагнула к нему, теребя свои пальцы, смуглость ее лица как будто исчезла, нетерпеливое ожидание выражал весь ее хрупкий, узенький стан, чуть наклоненный вперед.

— Скажите мне правду, — торопясь, проговорила она, — вы виделись с ней после того?

— Я столкнулся случайно, на улице.

— Так я и знала! — воскликнула она. — И, разумеется, — случайно.

Она стремительно отошла в дальний угол комнаты, став к Никите спиной.

Он не мог бы решить, что волновало его в эту минуту больше — изумление или радость. Он хотел кинуться к Ирине, чтобы схватить ее, повернуть к себе лицом, но вдруг до него долетел всхлипывающий, задущенный и слабый голос:

— Зачем вы мне солгали?

— Солгал? — громко вырвалось у него, и он поднял голову, повернув ее вбок, точно прислушиваясь к незнакомому и пугающему звуку.

— Зачем вы сказали мне... тогда, год назад... в саду, что она умерла?

Плечи Ирины подпрыгивали, как у плачущего ребенка — угловато и неровно, локти как будто еще больше заострились.

— Я сказал вам чистую правду! — воскликнул Никита. — Анна действительно умерла!

— Значит, это — другая?! — быстро спросила Ирина.

Обернувшись, она опять взглянула на Никиту в упор. Испуг и обида неузнаваемо изменили ее лицо, и слезы, как очки — от солнца, стеклянно поблескивали на глазах.

— Другая? — повторила она шепотом.

— Разумеется, другая! — нарочно грубо выговорил Никита. — Но выслушайте наконец, Ирина. Ведь все это страшно просто. И глупо. Вы сами будете смеяться, когда узнаете.

Он подошел к ней ближе, протянув руки, но словно боясь испугать ее своим прикосновением.

— Это — моя давняя, совсем давняя знакомая. Я встречался с ней раз в три-четыре года. Матвей должен знать ее, по крайней мере — должен был слышать ее фамилию. Это неважно. Словом, в детстве, почти в детстве, я действительно... Она мне тогда понравилась, понимаете? А потом... Она мне совсем чужой человек. И даже... Хотя нас, конечно, связывает, что тогда, в юности, мы так встретились. Она меня тогда очень поразила. Да и сейчас поражает... Но не в том смысле, нет! Даже как-то отталкивает. Ее преследования...

— Она преследует вас?

— Я, может быть, не так говорю. У нее странная, очень настойчивая мысль, что она как-то создана для меня, предназначена мне, понимаете? Поэтому, при каждой встрече с ней, мне кажется, что она преследует меня.

— Бедный, — вставила Ирина.

— Здесь нет ничего достойного сожаления. Я сам себе часто хочу объяснить, как случилось, что она всегда в наши встречи говорит об одном и том же. Я не понимаю ее. Удивляюсь ей. Она чужой мне человек, а вот может же случиться такое впечатление, как у вас, будто... Это просто... не знаю...

— Неужели так просто? — подхватила Ирина. — И вы никогда не давали повода?

— К чему?

— Ну... она не имеет оснований так себя держать с вами?

— Ирина!

Он взял наконец ее руки.

— Зачем вы тогда говорили о своем одиночестве? — спросила она, уткнув подбородок себе в плечо. — Я думала, что моя поддержка была нужна вам, а вы...

— Пойдите, Ирина, пойдите! Разве этот год не показал вам... Да нет, что говорить! Я вам обязан всей моей удачей, всем моим трудом, радостью моих...

Она вырвала у него свои руки.

— Мне становится тяжело с вами. Все одно и то же: труд, труд, труд! Скажите мне, а я, что же я? Неужели вы не видите, что быть только средством... что я... ну, я не знаю, как сказать!.. Я начинаю чувствовать, что нужна была для ваших симфоний, а когда вы их написали, пришли другие, и я...

— Ирина, милый друг! — с мольбою выкрикнул Никита.

Он бросился к ней, но она, вздрогнув и смутившись, посмотрела на дверь. Никита оглянулся.

На пороге стоял Матвей Васильич.

Он был в пальто, которое горбило его, отягощало и как будто старило больше, чем другая одежда.

— Помешал? — спросил он, сипло и медленно вздохнув.

— Нет, — поспешно отозвалась Ирина. — Мы говорили о концерте.

— Вижу, какой концерт, — тяжело сказал Матвей Васильич.

— Заходи, — пригласила Ирина, но тут же поправилась: — или мы придем к тебе, потом. Хочешь?

— Нет, — сказал Матвей Васильич, — зачем же? Я проходил мимо, вздумал заглянуть. Да.

Он опять вздохнул, мутным, усталым взором поглядел на брата и, не прибавив ни слова, грузно повернувшись, ушел, сутулый и большой.

УТРАТЫ

Глава первая

Итак, умер Шеринг.

Почему не десяток других людей, которых можно было бы легко заменить?

Пустой вопрос. Человек беспомощен перед смертью. Он отвоевывает у нее шаг за шагом (вот именно, именно так Родион выражает свою мысль — отвоевывает шаг за шагом), но смерть все еще полновластна над человеком. Придет время — он умерит ее аппетит и будет даже регулировать ее.

— Ясно, — говорит Родион вслух, — урегулирует. Но пока такие случаи неизбежны? Конечно.

Тогда почему смерть Шеринга причиняет страдания, почему с ней нельзя примириться?

Потому что она неожиданна, потому что она бессмысленна, потому что, черт знает...

Стоп, стоп, Родион! О каком смысле может быть речь? Смерть Шеринга неожиданна? Да. Значит, это — несчастный случай?

— Ясно.

Так ли? Ведь в каждом несчастии всегда отыскивают и почти всегда находят виноватых. Ну, скажем, рабочему оторвало руку. Может быть, виноват он сам,

неосторожно обращаясь с машиной, может быть, администрация, которая...

— Да, да, администрация, — бормочет Родион, тебѣ взлохмаченную копну волос на затылке, — какая, к дьяволу, администрация? Что за чушь!

Но был же, в самом деле, человек, от которого больше всего зависела жизнь Шеринга?

— А-а!

Десятки раз передумал все это Родион и — попусту, безрезультатно!

— Жертва, — решил он, — Шеринг — жертва, неизбежная в большом деле. Умирали же люди на войне.

Нельзя, конечно, относиться к человеку так, как на войне. Долг требует от нас особой бережливости, а мы как будто ленимся доискаться, кто виноват в такой огромной потере, как Шеринг.

Но кто же, кто?

Не проверить ли еще раз обстоятельства смерти? Бесплодно! Они все памятливы и так обыкновенны, и так... необъяснимы.

Почему, например, мужественный, непоколебимый Шеринг обнаружил в последнюю минуту такой испуг? Чего он испугался? Разве прежде ему не приходилось глядеть в глаза смерти? Что он хотел сказать своему сыну? Зачем он звал его? Может быть, здесь искать разгадку?

Родион хорошо помнил, как однажды, поспорив со своим сыном, Шеринг отвернулся и сказал, словно самому себе:

— Отец был революционером, а сын будет остолоп.

Шеринг посмотрел на Родиона и засмеялся, но Родиону стало неловко, потому что смех Шеринга был фальшивым и как будто виноватым.

Зачем же понадобился ему перед самой смертью этот остолоп?

Родион, прикрыв глаза, вызвал в памяти находившуюся головенку восемнадцатилетнего мальчугана и заново видел, как он оттопыривает губы и, стараясь говорить баском, горячится.

— Товарищ, вы устарели! — наступает он на отца. — Ни одного житейского факта вы не можете разрешить без сусальничанья: революционная этика в традициях старой гвардии и прочая! Мы — люди нового, практического века, а вы становитесь музейным экспонатом. Мы приняли от вас ваше завещание и приступаем к работе. Позвольте нам знать, как лучше строить описанную в ваших книжках жизнь. Мы прежде всего хотим уметь работать, то есть быть специалистами! Из вас же никакого толку не выйдет, вы ни одного дела не знаете. Что, я не прав, не прав?

Он хохлился еще больше, грыз ногти, краснел и несясь дальше:

— Пошлют вас в банк — вы в банке. Пошлют в тюрьму — вы в тюрьме. Потом — в сорабисе, потом — не знаю где. Вы думаете, при помощи политики можно все сделать? Детская болезнь левизны!

Тогда, поймав этого мальчугана в уголке, Родион сказал назидательно:

— Много ты умных слов говоришь. Мы таким словам сколько лет учились, да и то редко их говорим, а ты сыплешь почему зря. Этак тебе веры не будет.

— Вы, кажется, пользуетесь знакомством с моим отцом, чтобы говорить мне грубости? — напыжившись, ответил мальчуган.

Родион махнул рукою.

Он машет рукою и сейчас, в безнадежности, почти в отчаянии, не умея справиться с разбегающимися во все стороны воспоминаниями, сбитый с толку путаницей чувств, которые взбаламутили его в эту проклятую ночь.

— Я тоже хорош! — бормочет он и с нетерпением барабанит пальцами по оконной раме, трет ладонью холодное, вспотевшее стекло и прижимает мокрую ладонь к широкому своему лбу.

Ведь если в гибели Шеринга виноват его сын, то виноваты все, кто был Шерингу близок, виноват Родион. Он обязан был подумать о том, как устроена личная жизнь Шеринга (о своей жизни Родион находит время подумать, он думает о ней слишком много!), обязан был заметить, как подкрадывается к Ше-

рингу смерть. А он только брал от Шеринга все, что мог, и ничего, ничего ему не дал.

— А что я мог сделать, когда даже Карев...

И в сотый раз перед Родионом появляется профессор Карев, — медлительный, с тяжеловесными, уверенными движениями, в долгополом мешковатом сюртуке, — профессор Карев, который должен был спасти Шеринга и не спас его...

— Как она могла очутиться у Карева? Он ждал ее там, Никита ждал ее, — шепчет Родион, расхаживая по комнате. — Если бы не ждал, не растерялся бы, когда увидел меня. Все было подстроено. И Варвара лгала. всегда лгала...

Родион круто обрывает размашистые свои шаги, точно спохватившись.

О чем он? Кажется — о Кареве, на котором лежит ответственность за гибель Шеринга. Да, о Кареве. О Никите Кареве, о музыканте. На нем лежит ответственность? Да, вся ответственность на нем!

— Что за черт!

Родион подходит к кровати, стягивает с вешалки полотенце и, словно после умывания, вытирает лицо.

Потом он слышит осторожный, как будто неуверенный стук в наружную дверь. Родиону не хочется выходить из комнаты, он садится и смотрит на дочь.

Ленка тихонько примеряет один к другому раскрашенные деревянные каравайчики. Она уже много раз добивалась у отца:

— Что ты говоришь такое?

Но отец не отвечал, Ленка решила, что значит, так нужно — шагать по комнате, бормоча с самим собой, — и давно занялась каравайчиками.

Стук в дверь раздался громче, настойчивее. Родион с неохотой встал и пошел отпирать.

В передней он зажег лампу, и, когда открыл дверь, на темную площадку лестницы выпал густой желтый угол света. В нем Родион увидел девушку.

Он не успел спросить, что ей надо, как она, быстро взглядевшись в него, отступила к самому краю площадки.

— Как... Разве вы... здесь? — в каком-то страхе пролепетала она.

Родион не понял ее. Ему показалось, что девушка хотела броситься назад по лестнице, но, схватившись за перила, насильно удержала себя.

— Разве... здесь не живет Арсений Арсеньевич Бах? — спросила она все с тем же непонятным страхом.

— Вы к Арсению Арсеньичу?

— Да... Нет... То есть — да! Я хотела к нему... но я вижу, вы живете вместе с ним.

Она оттолкнулась от перил таким отчаянным движением, как будто для этого была нужна особенная решимость.

— Я отыскивала Арсения Арсеньича, чтобы узнать о вас. Мне нужно вас.

— Меня?

— Я вас не знаю, и вы — меня, — торопилась она, — и это, конечно, странно, что я пришла. Хотя я знаю, как вас зовут. Родион... простите, я дальше не знаю.

— Что же вам нужно?

— Мне необходимо с вами говорить. Очень важно. Я вас видела четыре дня назад. Вы были у нас ночью, помните?

— Четыре дня назад? — насупившись, спросил Родион.

— Да, помните? Я дочь профессора Карева.

Родион приподнял голову.

— Ага! — промычал он, свысока разглядывая Ирину.

Он чуть-чуть не сказал: чует кошка, чье мясо съела! — и ухмыльнулся.

— У вас сейчас... вы можете сейчас поговорить со мной, недолго? Мне, правда, очень необходимо.

Она опять говорила неуверенно.

— Пойдемте.

Первую минуту в комнате они оба молчали. Родион испытующе ждал, что скажет Ирина, она глядела на Ленку остановившимися, немигающими глазами.

— Это ваша дочь? — спросила она тихо.

— Да.

— От вашей жены?

Родион засмеялся. Ирина перебросила взгляд с Ленки на Родиона, вдруг поняла глупость своего вопроса и заспешила:

— Я хотела... я говорю... мать этой девочки — та женщина... которая приходила ночью... встретила с вами у нас?..

Она совсем сбилась, вспыхнула и замолчала.

— Я думал, вы будете говорить о своем отце, — хмуро сказал Родион.

— Об отце? Почему?

— Ну, может, о Шеринге.

— Почему... о Шеринге? — еще больше удивилась Ирина.

— Что же, вы собирались говорить про мою жену, что ли? — насмешливо спросил Родион.

Ирина громко перевела дыхание, лицо ее вытянулось и дрогнуло, точно от обиды, она ответила резко:

— Да.

— Что-о?.. — протянул Родион.

— О вашей жене.

Он сорвался с места и зашагал из угла в угол. Ирина пододвинула к себе стул, села. Родион остановился перед нею, пожал плечами: нельзя было понять, чего добивается эта худенькая упрямая девочка.

— Я, знаете, считаю, что это мое личное дело — жена, — грубо сказал он.

— Ведь я понимаю, что это нехорошо... что я говорю. Но и вы поймите, что ведь я хочу тоже о своем личном деле!

Родиону послышалась в этих словах жалоба, он насторожился на мгновение, но тут же подозрительно и вкрадчиво спросил:

— Стало быть, этот музыкант Никита Карев вам — родным дядей?

— Почему вы спрашиваете... о нем?

— Чего же он от меня желает?

— Он... от вас?

— Ну да. Ведь это он прислал вас ко мне с поручением?

Он глядел на Ирину, угрюмо опустив брови, лоб его казался от этого еще круглее, выпуклее, и замкнут, черств был пристальный взгляд.

— Мне никто ничего не поручал. Я говорю, что вы нужны мне по личному делу.

— Тогда, может, вы начнете?

Ирина привстала, вновь села, потерявила на столе угол клеенки, отвернулась.

— Я, наверное, не так начну... то есть я не хочу, чтобы вам было обидно, или... ну, я не могу!.. Словом, я должна прежде всего знать: ваша жена... она от вас ушла?

— Как это моя жена стала ни с того ни с сего вашим личным делом?

— Она бросила вас? — настойчиво продолжала Ирина. — Да? Иначе за что же вы... называли ее так... тогда, у нас? У меня нет права спрашивать, я знаю, но я прошу...

Она почти задыхалась. Опять привскочив на стуле и крепко ухватившись за край стола, она твердила:

— Я прошу вас, пожалуйста, ответьте! Значит — правда, вы называли ее так, потому что она...

Родион оборвал ее:

— Зачем вам нужно это?

Но, тотчас догадавшись, он смутился, и так неожиданно для него было это смущение, что в голосе его появилась чужая ему боязливая предупредительность:

— Тогда, уж если расспрашиваете меня, так позвольте тоже...

Он неловко помялся.

— Вы что, этого музыканта, дядюшку вашего... он что, видно, тоже как-нибудь... обманул вас?

— Значит, правда? — быстро шагнув к Родиону, спросила Ирина.

— Что?

— Почему вы сказали — тоже?

— Ну, нет, — усмехнулся Родион. — Нет, конечно. Он-то меня не обманывал, я не имел с ним дела, да и не буду.

— А про жену вы знаете?

— Что про нее знать, — вдруг доверчиво и просто сказал Родион. — Знаю, что вот, как видите, ее нет.

Он обвел глазами комнату и, словно извиняясь, улыбнулся.

— Это ее дело. Не захотела жить — ушла. Только зачем вот...

Он грубо и с отвращением, торопясь выговаривать слова, досказал:

— Зачем надо было изолгаться, как не знаю кто? Что, я тиранить бы стал ее за правду?

— Она лгала вам, — убежденно тряхнула головой Ирина.

— Говорит — нет.

— А вы?

— Что я, слепой, что ли? Я, как увидел вашего музыканта, сразу понял.

— Ну, конечно! — горячо и точно обрадовавшись, подхватила Ирина. — Я тоже сразу увидела! Я это прекрасно все обдумала и все теперь понимаю. Когда вы вошли, он страшно испугался, я его никогда таким не видала. И потом, когда ворвалась она, ваша жена, он просто не знал, что ему делать, потому что вы и потом — я, ведь я была тут же, рядом!

— Ха! А как же она могла очутиться у вас? Искала меня, говорит, а попала к музыканту!

— Нет, сговориться они не могли. Это невозможно. Он просто не посмел бы!

— Ого! Еще как возможно! Да вы вот сами откуда знаете, что они...

— Я ничего не знаю! — перебила Ирина. — Я только теперь окончательно убедилась. Я для этого и пришла. Он мне тоже сказал, еще давно, после концерта, что неправда. Говорил, что они — друзья. Я тогда поверила, я думала... А вот этой ночью...

Ирина безудержно мчалась вперед. Она убеждала себя в том, что не ошиблась, что все ее предположения о Никите подтвердились, что они были верны,

и она чувствовала это давным-давно. Негодование ее пылало каким-то костром, и Родион подбрасывал в него сухого хвороста.

Два человека, полчаса назад не знавшие о существовании друг друга, внезапно оказались союзниками и в исступлении изобличали вероломство своего врага.

Они были правы, они совершенно убедились в своей правоте, и пришел момент, когда нужно было поглядеть на себя новыми, правыми глазами.

Тогда Родион увидел очень юную, хрупкую девушку, рассерженную и уже не сомневавшуюся в сочувствии, уверенно требовавшую его от Родиона. Это показалось ему дерзостью, но не оттолкнуло, а только заново наполнило его смущением. Ему стало почти стыдно бесцельной откровенности разговора, и вдруг он, уже совсем бесцельно и откровенно, спросил:

— А видно, здорово вы любите своего музыканта?

— Ничуть, — ответила она решительно и спокойно, как будто больше всего ждала этого вопроса и больше всего приготовилась к нему.

— Ни ка-пель-ки, — добавила она по слогам. — Мы были просто друзья, и он нуждался в дружбе больше, чем я.

Надо было заглушить возраставшее смущенье. Родион быстро отыскал в Ирине смешное (она все тербила и дергала на столе клеенку) и с улыбочкой сказал:

— Тогда, может, и с моей женой они были просто друзья?

— Вы же сами говорите, что нет! — испуганно воскликнула Ирина. — И я вовсе не хочу, чтобы у него были друзья! То есть женщины! То есть я не хочу, чтобы он мне не говорил, если у него есть... Он не смеет меня обманывать! Вы же сами сказали... И вообще вы меня совсем не так поняли. Я теперь вижу!

Она отвернулась и, облокотившись на стол, закрыла рукою лицо.

Родион ходил из угла в угол. Потом остановился у окна, опять, как недавно, потер пальцами по стеклу и сказал:

— Самое противное, что здесь все на обмане, изогались зачем-то...

Ирина могла быть удовлетворена: этот человек серьезно и окончательно признал ее правоту. Она облегченно вздохнула и посмотрела на Родиона.

Он стоял к ней спиной. Большая голова его, глубоко сидевшая в плечах, недовольно подергивалась. Он был простовато, грубо сложен, но в осанке его Ирина нашла что-то добродушно-застенчивое, привлекательное и потешное, как в игрушечном медведе. На концерте, где Ирина в первый раз увидела Родиона, и — особенно — ночью, когда он своим появлением взорвал каревскую именинную пирушку, он показался ей страшным.

Они молчали, оставаясь неподвижными, выжидая друг от друга какого-то решения. И это молчание связывало больше, чем откровенная речь, словно из него вырастало право Ирины находиться в этом доме и говорить с чужим человеком о том, о чем она ни с кем не говорила.

Тогда Ленка, заскучавшая в своем уголке, подошла к отцу и потрогала его за рукав.

— Папуленька, — сказала она, — давай со мной немножко поиграем.

Родион положил руку на ее всклокоченную голову.

— Как же поиграть? — улыбнулся он. — Погоди.

— Ну давай со мной поиграем в поезды, — нараспев протянула Ленка. — Ты будешь пассажир, а я — пассажирница.

Ирина рассмеялась и, вдруг подбежав к Ленке, начала тормозить ее за плечи, как умеют тормозить детей одни женщины.

— Как ты сказала? Как? Пассажирница? Ну, хочешь, я буду с тобой играть? Хочешь? Ну, покажи мне свои игрушки. Пойдем.

Она повела Ленку к игрушкам, присела около нее на корточки, но тотчас обернулась к Родиону.

— Вам, может быть, неприятно... что я с ней? — спросила она.

Он посмотрел на нее исподлобья.

— Нет, что же, если хочется, — пробурчал он.

Ирина поднялась.

— Я пойду.

— Что же вы? Если вам забавно, так пожалуйста, — кивнул он на дочь.

— Нет, я пойду, — повторила Ирина.

Наступила минута, когда нужно было платить за все, о чем было умолчено, и за все, что было сказано в этот вечер.

Ирина подала Родиону руку. Он взял ее осторожно. Решительно нельзя было найти ни одного подходящего слова, и все посещение Ирины с каждой новой секундой все больше теряло свой настоящий смысл.

— Простите, что я помешала вам.

— Да вы не помешали. Давайте кончим об этом.

— Да, правда. И потом все это очень глупо, — вспыхнула Ирина. — С моей стороны...

— Ну, как сказать... я понимаю.

Родион потерял свои руки. Визит был окончен.

В передней, открыв дверь, Родион спросил:

— Что же, кланяться Арсению Арсеньичу?

— Нет, зачем? А впрочем, пожалуй.

— Нашим знакомством мы ведь обязаны ему, — улыбнулся Родион.

— Вы с ним дружны?

— Он старик хороший.

— Очень.

Неожиданно была найдена приемлемая тема, и с облегчением, поспешно, Родион сказал:

— Погодите, я зажгу спичку, здесь темновато. Или, стойте, я провожу вас.

— А как же дочь? Одна?

— Ничего, это — в два счета.

Родион вернулся в комнату, потом выбежал, натягивая на плечи куртку. Он чиркнул спичкой и пошел вперед.

И вот разговор, тянувшийся несколько минут и разделенный длинными паузами:

— Осторожно, ступенька.

— Я вижу.

.

- До свиданья.
- Я доведу вас до трамвая, а то вам поди жутко.
- Я не боюсь.
-
- Куда же вы полетели? Мне за вами не угнаться, вы вон как шагаете!
- Привычка, понимаете ли.
-
- А теперь уж очень тихо.
- Не приноровишься.
- Зачем же вызывать провожать?
-
- Вы часто видите с Арсением Арсеньевичем?
- Случается.
- О чем же вы говорите?
- Спорим.
- Вы с ним?
- Ну да.
-
- Кто же из вас побеждает?
- Я, конечно.
- Скажите, какая самоуверенность!
-
- Вы большевик?
- Да.
-
- Вон мой трамвай. Спасибо.
- До свиданья... А — здорово, знаете ли, я на вашего отца сержусь.
- Это почему?
- Да вот история с Шерингом.
- При чем тут мой отец? Ведь вы не медик. Как же вы можете судить? А мой отец замечательный, и вам должно быть это известно. До свиданья.
- Осторожно...

Трамвай мчал по бессветным прямым линиям, ветер ломил ему наперерез, было холодно и бодро. То, что Родион пошел провожать Ирину, и то, что они говорили не о главном, наполнило ее спокойствием. Все было ясно, и решение, которое она приняла, было принято по совести, раз навсегда.

Исполнить это решение Ирине привелось раньше, чем она ждала.

Почти у самого дома она увидела Никиту.

За ним только что захлопнулась дверь, он огляделся по сторонам и пошел навстречу Ирине. Она невольно остановилась, но тут же заставила себя идти дальше очень уверенной и очень строгой ровной поступью.

Когда Никита узнал Ирину, он немного свернул со своего пути, направляясь прямо на нее и загораживая ей дорогу.

— Вот хорошо, — сказал он. — А я сидел у вас добрых полчаса.

Он остановился лицом к лицу с Ириной и вынул из карманов руки.

Она обошла его так, как обходят случайное препятствие — столб, тележку, неудобно поставленную развозчиком, или ребятишек, затеявших игру, — не подняв глаз, не изменяя шага, как будто не заметив, что именно пришлось обойти: столб, тележку или ребятишек.

С тем же равнодушием и тою же походкой Ирина прошла несколько шагов до двери. Но, когда открыла ее и очутилась в фонаре — между дверей, она с страшной силой втянула в себя воздух и схватилась руками за грудь: надо было не только пройти эти несколько шагов от Никиты до дома уверенной и строгой походкой, надо было еще дышать, как всегда, а на это не хватило воли. И тотчас Ирину потянуло взглянуть на улицу, посмотреть, как там стоит в неподвижности (о да! непременно так: в неподвижности) Никита, и на мгновение защемило в горле, как щемит, когда сделаешь что-нибудь злое и не хочешь признаться в этом.

И она не взглянула на улицу, а побежала по лестнице, шепча на ходу:

— И наконец имею же я право поступать плохо... не должна же я поступать хорошо... если я не хочу, не хочу, не хочу!

И она дернула звонок.

Ей захотелось поделиться с кем-нибудь своим радостным волнением от этого неиспытанного, щемящего чувства. И когда она подумала, кому могла бы сказать о том, как наказан Никита (теперь он наказан за все, за все!), ей пришло в голову единственное имя:

Родион.

Глава вторая

Витька Чупрыков вертел в короткопалых руках свой помятый картузик, ерзал глазками по стенкам, ежился и говорил:

— Погодка, черт-е-что! То даже снежку поднасыпало, то будто лето, а сейчас стужа, смерть!

Он запихал картузик под мышку, сложил ладони трубкой и подул в них.

— У-ух! Продрог... Что же плохо принимаешь? Не соскучилась? — спросил он.

Варвара Михайловна показала на стул.

— Садись. Страшно соскучилась.

— Смеешься? Надо мной смеяться легко, я беззащитный.

Он вздохнул и опять бойко оглядел комнату.

— Бедненько ты живешь. Это после такого-то сытья! Эх, ну и сытье было, ну и сытье! Помнишь, чай? Палатки-то ломились от добра.

— Ты что опустился? Пьешь, что ли?

— Когда подносят — не отказываюсь, а подрабotaю — и сам найду. Ты ведь тоже против прошедшего времени сдала.

Он всмотрелся в Варвару Михайловну и покрутил головой.

— Хотя нет, сбrehнул: ты все еще краля. Эх, Варюша!

Витька мечтательно прикрыл глаза и посидел молча.

— Что же твой комиссар бедно тебя содержит, а? Или, может, поиграли, да будет? Да? Так я и знал. Сволочи все они... А жалко. Я, говоря по правде, рассчитывал, вот, мол, у тебя — рука, глядишь — и под-

держка какая произойдет. Все-таки вместе кровь проливали, за общее, как говорится, за святое дело.

Он подмигнул Варваре Михайловне.

— Это ты в провиантской, что ли, кровь проливал? — усмехнулась она. — Когда сахар развешивал?

— Других героев пощупать — мало ли чего откроешь. Я таких знаю: ходят — не подступись. А у меня, как-никак, контузия. Инвалид славной гражданской войны.

— Значит, ты на Родиона надеялся?

Витька сказал внушительно:

— Надеялся я больше на тебя, Варюша. Ты Витьку Чупрыкова никогда не оставляла, в уважение к прошлому времени. А через тебя, конечно и обязательно, имел вид на твоего комиссара. Но, как теперь я понимаю... — Он снова оглядел комнату, и на этот раз — с пренебрежением, — ...что ты сама в крайности... чего с тебя взять? Рукомойничек у тебя заржавленный, кровать средняя, а от старого — один чемоданчик...

Он посвистел и врасстяжечку спросил:

— Хотя, может, скрываешь? Может, еще чего от старого сохранила? Не таись, Варюша. Я тебе большую пользу могу оказать. Витька — человек верный.

Глазки его спрятались в мешочках распухших сиреневых век. Он постарался загадочно улыбнуться.

— Ты все еще в прежних чувствах?

— Не суй носа, куда не нужно, — жестко сказала Варвара Михайловна.

— Я — что же, — безразлично заметил Витька.

Он посидел молча, с таким видом, как будто отыскивал какой-нибудь новый предмет для беседы, вынул из кармана спички, отломил от коробочки щепочку и принялся старательно чистить ногти.

— Знакомого одного нашего видел, — сказал он невинно.

Варвара Михайловна не отозвалась.

— Известным стал человеком, прямо знаменитость. Анонсы клеют по заборам, буквы в аршин.

Варвара Михайловна молчала.

— Везет которым людям, черт-е-что, — просто-душно вздохнул Витька.

Щепочка сломалась у пего под ногтем и упала, Витька нагнулся поднять ее и, между делом, справился:

— Представления его не смотрели? Симфонией называется. Нет? Интересно знать, музыка это одна или также действие с чем-нибудь? Не слышали?

Варвара Михайловна скрестила руки и прислонилась к стене.

— Не могу я, Витька, взять в толк: к чему ты клонишь?

— А что? Я ничего. Я так, для разговора.

— Нет, лучше скажи прямо, брось свои фигли-мигли.

Витька развел руками.

— И я тебя, Варюша, не могу понять. Прямо-таки удивлен. Не узнаю, не верю, что возможно!

— Ну, говори! — прикрикнула она.

Витька ударил себя по ляжкам, подпрыгнул на стуле и захихикал, с присвистом, сквозь зубы, всасывая воздух.

— Попал, попал в точку! При старом интересе! Угадал! Все, как было, на месте. В прежних чувствах. В прежних чувствах, Варюшенька!

— В отношении кого?

— Ах, как это ты тонко говоришь, — восхитился Витька. — В отношении! У нас с тобой, Варюша, никакого отношения не было. Отношение было у тебя с другим человеком. И, как я ожидал, отношение ваше, конечно и обязательно, вполне сохранилось.

— К чему ты все это? — резко оборвала Варвара Михайловна.

Чупрыков сразу осекся. Сощуренными, прыгающими глазками он изучал Варвару Михайловну пристально и упорно, прикусывая губы и вертя в пальцах изломанную в крошки щепочку от коробка.

— Ну? — поторопила его Варвара Михайловна.

Он спросил тихонькой хрипотцой:

— А он к тебе тоже по-старому, да? Знай наших? Не подступись? Чай, поди — на козе не подъедешь, знаменитость, а?

Варвара Михайловна не ответила.

— А-ах! — крикнул Витька, ударив себя кулаком по коленке. — Стало быть, тоже угадал! Эх, Витька, смекалист, да смекалка зазря пропадает! У-у-у! — со злобой прогудел он. — Смерть как я его не терплю!

Он опять суетливо задержал сиреневыми мешками век, с усилием вглядываясь в лицо Варвары Михайловны.

Но оно было сосредоточенно-неподвижно.

Тогда Витька вскочил со стула и подбежал к Варваре Михайловне.

— Хочешь, — хрипло сказал он, выпятив подбородок и стараясь поглубже заглянуть в глаза Варвары Михайловны, — хочешь, я за тебя посчитаюсь с Никитой Васильичем? Хочешь? Молчишь? Хочешь?

Беглый, неуловимый оттенок улыбки мелькнул на губах Варвары Михайловны. Она смотрела Витьке в глаза не мигая. Он вертелся перед нею то справа, то слева, рассматривая каждую черточку ее лица.

— Ну, скажи мне: Витька, сделай с ним вот что! Я готов! Придумай что хочешь, — все сделаю. Мне терять нечего, я для тебя на все пойду. Ты только скажи! Скажи слово!

Варвара Михайловна не шелохнулась.

Витька умоляюще сложил руки.

— Согласись! Никогда не найдешь такого человека, как Витька. Думаешь — хвастаюсь? Хочешь, я тебе скажу адрес Никиты Васильича? Знаешь? Иль нет? Хочешь? Ну, ладно!

Он быстро назвал адрес Карева и, отстранившись, посмотрел, какое впечатление произвел на Варвару Михайловну. Она как будто ухмыльнулась, но все еще стояла неподвижно, скрестив руки и прислонившись к стене.

— Ну, хочешь, — захлебываясь, в каком-то отчаянии забормotal Витька, — хочешь, он нынче же, вот сейчас, прибежит сюда, хочешь? Я могу сделать, что он у твоих ног будет валяться! Я его заставлю все обиды отмолить у тебя, Варюшенька! Все до единой! Он у меня вот где! Я только захочу — с него весь гор, как пыль со шляпы. Мне стоит про него словечко сказать в одном месте, и вон он — со своими анон-

сами! Сам прибежит, и звать не надо. Ну, согласись, Варюша, захоти, накажи Витьке, и Никита Васильич при тебе будет и Чупрыков по гроб-дос...

Он вдруг сильно откачнулся от Варвары Михайловны и попятился к двери, зажав обеими руками рот.

Варвара Михайловна не спеша отряхнула руки.

— Верно я тебя поняла? — спокойно проговорила она.

Витька косился на нее, разозленно, но с опаской, и осторожно, одним пальцем пощупывал верхнюю губу.

— Привычка у тебя прежняя осталась, — прогундел он, — чуть чего — сейчас это... по-купчески. Крепкий ты человек!

— Крепкий, — сказала Варвара Михайловна. — Я тебя выручила, но — смотри! Надо будет — не пощажу!

Витька примолк, желтые глазки его сновали, он решал — свести ли все к шутке и как-нибудь иначе попытать счастья, или отступить?

Вдруг он весь искривился и, оттопыривая распухшую губу, зашипел:

— Не хочешь с Чупрыковым по-хорошему? Не хочешь? Ну, тогда пеняй на себя! Не видать тебе...

Он высоко поднял руку, как для клятвы, но в тот же миг неожиданно юрко шмыгнул вон из комнаты, просунул в приоткрытую дверь голову и, оградив себя от опасности, закончил:

— Не видать тебе твоего Никитки!

Он захлопнул дверь.

Варвара Михайловна послушала, как гроыхали в коридоре Витькины сапоги, и расхохоталась.

Смех ее был громок, весел и так заполнил собою комнату, что Варваре Михайловне показалось, будто подались, раздвинулись стены. Впервые с тех пор, как она приехала сюда, звучал здесь такой смех, и впервые в этих стенах она ощутила приток радостной, волнующей силы.

Варвара Михайловна опять захохотала, теплая, беспокойная, и в то же время ласковая бодрость все

больше и глубже переполняла ее и вдруг заставила закрыть глаза.

В убогой, невзрачной комнатухе, обезобразившей жизнь Варвары Михайловны, ей захотелось сейчас же и со всеми подробностями совершить самое нежное и трогательное священнодействие, которое было ей доступно. Зачем это было нужно? Ни за чем. К чему собиралась приготовить себя Варвара Михайловна? Ни к чему. О чем она могла думать в этот торжественный и беспамятный час? Ни о чем.

Она была настолько счастлива, что ей даже не приходил на ум естественный в такие минуты и веселый вопрос: счастлива ли она? Каждое движение ее удесят�еряло счастье, каждый поворот тела насыщал ее избыточной плодоносной силой.

И все, что Варвара Михайловна делала, было тем слаще и полноценней, что кругом сияла черная бедность — оббитая эмаль таза под умывальником, простое железное ведро и щербатый кувшин, выгнутые облезлые спинки кровати и тесный низенький стол туалета. И чем бесцельней были процедуры странного, восхитительного и пустого священнодействия, чем меньше вязались они с жалкой неприглядностью обстановки, тем радостней было их совершать.

Самая негодность вещей для дела, к которому их нужно было применить, доставляла Варваре Михайловне наслаждение, и неудобства приносили удовлетворение, и вода наливалась из неуклюжего ведра в неуклюжий кувшин с таким же трепетным предвкушением приятного, с каким открывается кран теплого, многоводного душа.

Большое счастье дробилось в руках Варвары Михайловны на маленькие дольки и казалось бесконечным.

Воды было много — целое ведро, и таз вмещал ее всю, без остатка. Каучуковая губка сохранила всю свою упругую, пористую крепость. Мохнатое полотенце было широко и мягко, большие флаконы с туалетной водой опорожнились еще не до дна.

И велика ли беда, что кровать узка и горбата? Не нужно много места, чтобы раскидать вынутые из

чемодана вещи — гладкие, как хорошо сложенные листы папиросной бумаги, — выбрать и неторопливо надеть то, что покажется лучше.

Потом скрутить в тугий жгут волосы, намотать его на пальцы левой руки и придавить узел к затылку. И вот — долго, одну за другой, — подцеплять с фарфоровой тарелочки около зеркала скользкие, холодные шпильки; затупленные в шарики концы шпилек крепко втыкать в волосяной узел, ощущая их холодящее царапанье по затылку, внимательно рассматривать каждую частичку лица в отдельности и убеждаться, что еще много, много долек счастья впереди.

Варвара Михайловна начала мурлыкать, песенка сама приноровилась к ее движениям и то готова была совсем оборваться, то вдруг галопом неслась в веселье.

Жесткая щетка плотно придавила волосы к темени, они выпрямились и блеснули сплошной ровной полосой глянца. Кусочек ваты, намоченный из пузырька, быстро задвигался по щекам, по лбу и подбородку, мгновенно насыщая кожу сверкающей яркостью.

Эту яркость надо было смягчить, и мохнатым белым пушком Варвара Михайловна накладывает на лицо пудру, и она разлетается вокруг голубой пылью и оседает на зеленоватой поверхности зеркала.

Варвара Михайловна промывает веки розовой водой, смотрит в углубившуюся темноту глаз, потом берет щеточку и расчесывает ею ресницы.

Почти все сделано, но счастье еще велико, и с ним не хочется скоро расстаться.

Тогда проверяются все звенья обвораживающей цепи, и пройденный милый, глупый путь вновь восстановлен последним, мимолетным прикосновением к каждому клочку ваты, к пузырькам, расческам, ко всем обласканным частицам лица и ровному гляncу волос. Остается надеть платье, расправить и одернуть на нем складки, еще раз наклониться к зеркалу и щеточкой скользнуть по бровям.

Потом наступает заключительный акт священнодействия. Он так кропотлив и тих, что песенка Варвары

Михайловны постепенно угасает, и она молча, подолгу разглядывает свои ногти в отдельности, попарно и все вместе. И когда густо-розовые овалы ногтей — ножницами, напильниками и замшей — приведены к однородности формы и блеска, тогда...

Вот тогда в комнате проступает все неприглядное убожество, тогда некуда спрятать взгляд от переполненного мутной водою таза под умывальником, от потертого пола, от кривоногого стула и горбатой кровати.

Но неужели ради этого жалкого скарба Варвара Михайловна по глоточку пила томительную, беспокойную и веселую радость? Неужели здоровье и сила переполнили Варвару Михайловну для того, чтобы исчезнуть, задохнувшись в серой, беззвучной духоте убогих стен? Нет, Варвара Михайловна только на одно мгновение задумалась: не забыто ли что-нибудь из самых глупых и самых необходимых пустяков? Еще один взгляд на разложенные перед зеркалом мелочи — и все.

Можно надеть пальто, навесить на дверь маленький медный замочек, пройти темным коридором и вырваться на волю.

И тут каждый шаг — новая долька продолжающегося счастья, тут стужа согревает тело, и ветер, вылетающий из-за угла, ждет, чтобы пошли ему навстречу, тут подмороженный асфальт звóнок, как стекло, и каменный город не может скрыть за своею суровостью, как он — старик — доволен, что по нему ходят такие красивые, такие бодрые люди.

Мимо огней, в перемежающемся их свете, — молочно-голубом, оранжевом и красном, — нескончаемыми галереями проспектов идти, не умеряя шага, идти без цели, и только слышать, как нагнетается, растет и крепнет сила. Не все ли равно, куда приведут проспекты? Нужно ли знать, как называется вот эта улица, вот этот мост, и набережная, бегущая покато книзу, и дом, глубоко отступивший за чугунную крутую вязь решетки?

Не все ли равно, куда идти? В тяжелые ворота, наполовину приотворенные, во двор, который обнят

приземистыми оштукатуренными флигелями дворца, направо или налево, под какие-то грузные своды, в какой-то темный сад, и дальше — по дорожке, засыпанной звенящими мерзлыми листьями, и потом наискось, в подъезд, на старомодную пологую лестницу, ведущую не все ль равно — куда?

— Ха-ха!

Тут Варвара Михайловна вспоминает одутловатую рожу,двигающиеся сиреневые мешки под глазами, торопливое лопотанье не то скомороха, не то обезьяны.

— Дурак! — говорит Варвара Михайловна и дает волю снова приступившему смеху.

Она с любопытством и удивлением разглядывает громадную дверь, отыскивает звонок и, нажимая кнопку, все еще смеется, все еще удивляется, как это она — Варвара Михайловна — очутилась перед этой дверью, и может ли быть, что именно за этой дверью (такая толстая, такая колоссальная, — как в назначестве!) живет Никита Карев...

Было уже поздно — часов одиннадцать. Уличный шум доносился сюда только летом — при открытых окнах. Вечерами здесь наступала особенная тишина, и массивы стен настороженно, ревниво берегли ее.

Жилище для себя Никита долго отыскивал. Он дорожил им, оно было как будто приготовлено для него — замкнутое, скрытое от чужого взора. Можно было в любое время уйти из города и по-прежнему оставаться в двух шагах от самых людных, живых его перекрестков.

Но в этот вечер настороженная замкнутость дома становилась Никите в тягость. Тишина сгущалась и готова была вот-вот переступить какой-то предел и обратиться в тоскливое беззвучие, гнет которого давно испытал Никита.

Он привалился на диване, неумело, часто попыхивал папирсой и поминутно сдувал с нее пепел. Раза два Никита подходил к нотам, разложенным на рояле, потом — к столу, помешивал в стакане остывший чай, но забывал выпить его и опять шел к дивану.

В течение целой недели ноты передвигались с одного конца рояля на другой. За последние два дня Никита перестал даже притрагиваться к ним, а только изредка лениво всматривался в исчерпанные линейки бумаги.

То, что он не мог ни за что взяться, что его дело казалось ему ненужным и скучным, а он сам себе — бездарным и тупым, все это почти не беспокоило Никиту. Опыт успел научить его, что подлинная вера, как самка плодового животного, так же легко пожирает сомнения и безверие, как легко их плодит. И если бы в припадке отчаяния Никита не нашел в себе даже остатков веры, то и тогда он не мог бы бросить своего ремесла иль своего искусства — не безразлично ли, как будет названа болезнь, которой он страдал?

Он мог часами смотреть на рояль, без страха, без опасений за свою судьбу, за *эту* свою судьбу, и в то же время другая судьба наполняла его тоскою.

Эту другую судьбу надо было так же делать, как первую. И здесь, как в музыке, надо было одолеть препятствия, пройти скорбный послух, и здесь каждая крупница удовлетворения окупалась все тем же отрезанным метанием по аду.

Ничтожное и как будто понятное право иметь вот тут, рядом с собою, вот на этом диване, человека, — это право надо было завоевывать, брать в упрямой и — пожалуй — унижительной схватке.

И опять снова и снова перед Никитой раскрывался путаный простор земли, когда-то поразивший своею многоликостью. И среди бесчисленных обличей, среди враждебных тягостных людей нужно было найти одно лицо, на котором всегда, во всю жизнь и в каждую минуту хотелось бы остановить взгляд.

Но если устройство простых человеческих дел несло с собою новый искус, то откуда было взять новые силы? Ведь все они безраздельно уходили на главное, единственное дело, наделявшее смыслом существование Никиты.

В унылом круге взаимно уничтожающих чувств напрасно было искать примирения. Но Никита против

воли возвращался к воспоминаниям, недавняя ночь засасывала его в воронку мокрого, тающего на лету снега, и Анна сливалась в суматохе белых пятен с Ириной, и чьи-то темные горячие глаза с жадностью и насмешкой пронизывали пелену метели.

Тогда Никите приходило на ум, что вся его тоска по Анне живет в нем только потому, что близость ушедшего друга была легко достигнута, и никаких усилий не нужно было делать, чтобы поддерживать в памяти эту близость. Не потому ли Никита с такой надеждою срашивал в своем воображении два образа в один — Анну с Ириной? Ему хотелось, чтобы Ирина продолжила счастливую, удобную судьбу его с далекой Анной. Он думал — от Ирины получит все, что сохранилось в его представлении об Анне, и он надеялся, что это так же просто, как получить наследство. И правда, он нашел в Ирине то же частое, торпливое дыхание, ту же привлекающую, немного детскую остроту движений (он не мог позабыть, как стояла Ирина на стуле, как туго платье обтягивало ее тело, когда она, вместе с каревскими гостями, хлопала в ладоши). Конечно, это была Анна, все та же юная, навсегда близкая Анна. И что же могло помешать простому продолжению привычной и вечно желанной общности Никиты с Анной, которая только случайно стала носить другое имя?

Тогда Никита заново видел, как Ирина проходит мимо него, чуть-чуть свернув с тротуара, не изменяя шага, ни выражения лица, ни напряженного поворота головы.

Его изумило вовсе не то, что Ирина прошла мимо него, как мимо столба. В нем не нашлось воли пойти следом за ней, убедить ее в том, что она заблуждалась, наконец сказать, что она не имеет права обходиться с ним так жестоко. Вместо того Никита поймал себя на мысли, которая до боли поразила его: сколько было лет Ирине, когда он встретил Анну?

И, сгорбившись, странно похожий на Матвея, Никита пошел своей дорогой.

Конечно, Ирину нетрудно было убедить, что Никита ни в чем и никогда не провинился перед ней

(о, он был прав и чист, он мог действительно показать на ладони всю свою жизнь!), но можно ли было и дальше молчать о том, что уже подкрадывались новые чувства, изведано стало новое беспокойство, что усталые вздохи Матвея были не меньше близки, чем близок был ребячий смех Ирины?

Она была девочкой! — каким несчастьем теперь казалось это Никите!

Он понимал, что можно распутать узлы, затянутые пустым сплетением случайностей. Но желание сделать это все больше блекло и ломалось, как сухая куга. И, чтобы не признаться в слабости, он уверял себя, что во всем прав, и, стало быть, для него унижительно что-то объяснять, доказывать, о чем-то просить. Надо было бы начинать с брата, который чуждался Никиты, безмолвно винил его в чем-то, не хотел или не мог понять, как сам Никита не понимал когда-то Ростислава. И разве Ростислав мог бы добиться от Никиты понимания? Зачем же искать заведомо бесславных объяснений с Матвеем?

Да и с одним ли Матвеем пришлось бы говорить Никите?

Ирина! Она опять кружится в воронке снежных хлопьев, Никита хочет поймать ее взгляд, она проходит мимо, он кричит ей вслед, она не оборачивается, она кажется ему еще моложе, милее и притягательней. Анны, он зовет ее, но голос падает в туман, и туман поглощает Ирину.

Тогда, сквозь туман, он слышит почти телесное прикосновение жадных, насмешливых глаз, и уже не в силах освободиться от них, и видит, как постепенно жадность их сменяется мольбою и насмешка — нежностью. Он дополняет влекущую, горячую темноту этих глаз улыбкой, черты лица — яркого и открыто-прямого — чудятся ему смягченными изжитой и безропотной болью, и Никите жалко, что он причинил эту боль, и — может быть — чувство жалости делает образ, занявший воображение, осязаемо-близким.

Никита хорошо различает, как на знакомом лице разглаживается тонкая морщина между бровей, как вздрагивают губы, медленно касаясь одна другой и

приоткрывая две ровных полосы зубов. Он улавливает глубокий голос, он может определить его высоту и слышит, как рояльная струна отзывается на его тон. Из тысячи других голосов мог бы Никита распознать этот единственный голос, и — странно — что, как живой, звук его колышется плавной своей певучестью по комнате, все больше и больше насыщая ее, и вдруг — вдруг звонко рассекает тишину:

— Можно к вам?

Никита вскочил с дивана и оперся на рояль.

— Можно! — ответил он нарочно громко, чтобы убедиться, что не спит.

По-видимому, он не спал: Варвара Михайловна стояла в дверях его комнаты.

Нет, нет! В дверях его комнаты стояла не Варвара Михайловна!

Такой, какой, она явилась перед Никитой, она бывала разве только в самые счастливые, самые праздничные свои часы. Словно скинув с себя десяток лет, а заодно и память о них, она обернулась Варей, Варенькой, Варварушкой и глядела на Никиту из какого-то нарядного, слепящего мира. В ней не было ни тени жадности или насмешки, которым минуту назад наделил ее вымысел Никиты. Но все яркое, нежное и женственное приобрело в ней вызывающую силу.

— Не испугались? Я все боюсь вас испугать! — сказала она, сверкая своей улыбкой.

Опомниться от полусна Никите было легче, чем от ослепления, внесенного с собою Варварой Михайловной.

Наконец он подошел к ней, взял и поднял ее руку к своим губам.

Варвара Михайловна, чуть отклонив голову, внимательно рассматривала лицо Никиты.

— Вы второй раз целуете мне руку, — тихо сказала она. — В первый раз после этого вы предали меня.

— Предал! — вскрикнул Никита.

— Ну, ну, ну! Не горячитесь. И не надо вовсе о таких серьезных предметах.

— Я ведь рассказывал вам о своем тогдашнем состоянии.

— Я признала вас правым, милый, — проговорила она ласково. — Мне просто чуточку стало страшно, что и теперь... Ну, не буду, не буду!

— ...Значит, не испугались? — спросила она, немного помолчав и оглядываясь по сторонам.

— Я вас ждал...

— Ждали?..

— Вы ведь сказали, что придете. Тогда, в клубе.

— Только поэтому? А так не ждали бы?

Варвара Михайловна посмотрела на Никиту испытующе, но тотчас начала медленно ходить по комнате, притрагиваться к вещам и говорить нараспев, с шутливым изумлением:

— Вот это, значит, стол, за которым Никита Карев пьет холодный чай. Ух, какой холодный! С утра, да?.. А это — ноты. Бо-же, какая сумятица заковычек и хвостов! Что это — партитура? Нет? А что же? Как вы не запутаетесь, Карев, в этой китайщине? А это книги... Так-так... А это диван, на котором Никита Карев скучает. Правда?

Варвара Михайловна быстро опустилась на диван, погладила вокруг себя ковровое сиденье и сказала:

— Идите сю-да, Карев. Правда, здесь вы скучаете?

— Вот скучал перед вашим приходом, — ответил он, садясь рядом с ней.

— О ком?

— Вы же знаете.

— Почему вы к ней не пошли?

Никита улыбнулся и хотел что-то сказать, но Варвара Михайловна, как заговорщица, поспешно и вкрадчиво добавила:

— Вы не могли к ней пойти, да? Вы поссорились после той ночи, правда?

Он взглянул на нее и слегка отшатнулся.

Не то торжествующая, не то хищная усмешка мелькнула по ее лицу и, словно подавленная, мгновенно пропала.

— Что вы так смотрите на меня? — просто засмеялась Варвара Михайловна. — Вы даже вздрогнули, Карев. Я, вероятно, не сумела скрыть своего злорадства? Простите мне мою слабость.

Ист, конечно, Никите привиделось что-то несуразное. Улыбка Варвары Михайловны была по-прежнему нежна, прямодушна, лицо переливалось сияющими красками.

— А вам все-таки хочется пойти к ней? — слыкала Варвара Михайловна.

— Стоит ли? — сказал Никита, заражаясь ее притворством.

— Тогда зачем же вы себя понапрасну терзаете, Карев? — смеялась она. — Смотрите, на кого вы похожи. Ведь все из-за нее!

— Откуда вы взяли? — почти обиженно проговорил Никита.

Варвара Михайловна откинулась к спинке дивана и рассмеялась громче.

— Карев! Ведь не из-за меня же вы заморозили в стакане чай и взлохматили себе волосы! Вы только посмотрите, какой вы!

— А как знать, может и из-за вас! Я и о вас тоже думал, — произнес он с улыбкой, приглаживая волосы.

— Тоже? Браво, Карев! Удружил!.. Перестаньте, и так хорошо, — сказала Варвара Михайловна и оторвала его руки от головы.

В этом прикосновении было что-то покоряющее и трогательное. Никита удержал руку Варвары Михайловны в своих.

— Я все эти дни вас вспоминал, — заговорил он. — Обыкновенно, когда вас нет, вы как-то...

— С глаз долой — из сердца вон, — серьезно под- сказала она.

— Я не понимаю, почему это происходило, — сказал он, немного смешавшись. Но вдруг, быстро сжав ее руку, с волнением договорил:

— Со мной всегда бывало, как сейчас: стоит мне увидеть вас, как вы... как все вокруг кажется иным. Я после встреч с вами совсем по-другому все понимаю. Удивляюсь, как я никогда не сознавал этого. Теперь мне совершенно ясно, совершенно!

Варвара Михайловна слушала его, подавшись вперед. Ни один палец ее не дрогнул, точно она боялась,

что малейшее движение оборвет слова Никиты и он бросит ее руку.

— Я теперь думаю, что вы правы, когда за меня говорите о настоящем моем чувстве.

Он попытался улыбнуться, но замешательство надломило улыбку, и тут же, очертя голову, отчаявшись поправить непоправимое, Никита выпалил:

— Я говорю о своих чувствах к вам.

Оба они замолчали, словно не узнавая друг друга, подавленные ростом какого-то неуловимого, настойчивого ощущения.

Потом Варвара Михайловна наклонилась, приложила щеку к Никитиным рукам и чуть слышно сказала:

— Если бы когда-нибудь вы претворили свои чувства в жизнь!

Никита отозвался не сразу.

— Не знаю, музыка, что ли, сделала меня таким? — усмехнулся он. — Ведь это — искусство женственное.

— Карев! — воскликнула Варвара Михайловна, оторвавшись от его рук. — Как вам не стыдно, Карев? Ну, назовите мне хоть одну женщину-композитора? Ну?

Он и правда начал перебирать в памяти музыкантов. Но Варвара Михайловна опять расхохоталась и подзадорила весело:

— Вот и не знаете!

И Никита увидел Варвару Михайловну тою девочкою, какою он встретил ее в первый раз, когда она, чуть кланяясь, точно приглашая осмотреть себя получше, озорно проговорила:

— А рыба-то — вот она!

И, как тогда, его подхватили песни, вдруг загремевшие в каждой жилке, в каждой клеточке тела, вырвавшегося из повиновения. Он еще мог пробормотать:

— Музыка выходит из строя, из согласия, в сущности значит — из подчинения, безволия.

Но это была его последняя дань рассудку, и последнее, что добралось до его сознания, были слова Варвары Михайловны.

— Да бросите ли вы в конце концов вашу музыку? Вы какой-то одержимый!

Никиту наводнила ликующая боль, он что-то сказал и не понял ответа, и опять услышал свой голос, и бессмысленная речь, которая услаждала, мучила и все еще услаждает и мучит миллионы людей, ветхо и обновленно заторкалась в комнате.

Никита крепко взял руку Варвары Михайловны.

Тогда вся нежность и все восхищение, час назад вложенные Варварой Михайловной в радостное торжественное колдование над своим телом, начали изливаться на Никиту. И все ничтожные кусочки ваты, флаконы, губки и щеточки, заброшенные на узком туалетном столе, вдруг разоблачили сокровенную свою силу в сверкающей свежести лица, в темном глянце волос, в мягкой теплоте кожи.

— Карев! — сказала Варвара Михайловна, кладя на его плечи тяжелые, пышные руки. — Вы не были таким никогда, никогда!

Но он отвел ее руки, привстал на одно колено, обхватил ее лицо ладонями и, нагибаясь над ним, — сразу всем телом ощутил теплую влажность ее зубов.

Глава третья

СИМФОНИЯ НИКИТЫ КАРЕВА

(Статья композитора Ю. А. Шапорина)

Первые авторские выступления Н. Карева были встречены критикой сдержанно. Москвичи не видели в молодом композиторе достаточно ярко проявленной творческой индивидуальности и упрекали в скудости новаторских устремлений, в Петербурге же считали его сухим за обилие контрапунктической ткани, зачастую шедшей в ущерб так ценившейся в те годы фактуре гармонии.

Начальные опыты творчества совпали с консерваторскими годами в Москве, куда Н. Карев приехал для занятий по фортепьяно.

С. И. Танеев, ознакомившись с первыми сочинениями Карева, посоветовал ему серьезно заняться композицией. У Танеева Карев прошел контрапункт и фугу.

Окончив Московскую консерваторию по классу фортепьяно, Карев переехал в Петербург, где продолжал занятия по композиции, проходя класс форм у А. К. Лядова и инструментовку у М. О. Штейнберга. К этому же времени относятся оставшиеся незавершенными занятия по дирижерству под руководством Н. И. Черепнина.

Технически окрепший, Карев тем не менее не удовлетворился односторонними настроениями и запросами петербургского музыкального мира и в 1912 году уехал в Германию, вызвав многочисленные пересуды среди своих друзей-музыкантов, которые уже тогда считали Карева определившимся художником.

Между тем Карев чувствовал необходимость проверить себя и свою работу в свете иной музыкальной культуры. Он обосновался в Дрездене, где увлекся изучением органа и его литературы, следствием чего явился ряд органных сочинений. Попутно Карев занимался дирижерством у знаменитого Шуха. Во время войны он оставался в Дрездене, занимаясь сочинением симфонии, и жил там до революции, в начале которой вернулся на родину.

Здесь он упорно продолжал работу над своей симфонией и другими сочинениями. Тягостность общих условий того времени усугублялась полной оторванностью не только от западноевропейского музыкального мира, но и от музыкальной жизни вообще. Многие друзья Карева в течение долгого времени (что-то около двух лет) не знали даже о его возвращении.

Первым соприкосновением Карева с широкими музыкальными кругами явилась его симфония, которая была исполнена на концерте, организованном Филармонией.

Все было необычайно в этом концерте. Впервые за революционные годы современный русский композитор с исчерпывающей полнотой демонстрировал

свое искусство, впервые петербургские музыкальные круги познакомились с новым и неизвестным для них творческим лицом Карева, и наконец впервые Карев выступил на крупной симфонической эстраде в качестве дирижера. Естественно, что концерту предшествовали обильные толки самого разноречивого характера, создавшие к моменту появления композитора на эстраде атмосферу крайнего напряжения, и зал встретил дирижера недоверчивым молчанием.

Необходимо сказать, что самая программа концерта была составлена необычно: она состояла из одной, теперь уже широко известной, симфонии *e-moll*, *op. 17*.

С первых же ее тактов ощутилась тесная связь музыки с тяжелыми годами ломки общественного и личного. Драматическая коллизия, насквозь пронизывающая первую часть симфонии, в разработке достигла высот подлинного трагизма.

Широкая весенняя мелодия, передаваемая из голоса в голос, создавала своеобразный полифонический стиль, быть может идущий от увлечения Карева органом и связанной с этим увлечением работы над контрапунктической музыкой. Лишенная каких-нибудь местных черт, мелодика Карева в основе своей глубоко национальна. Европейская школа способствовала лишь раскрытию заложенной в природе композитора славянской песенности, сообщив письму Карева четкость и экономность в пользовании материалом. В инструментовке, несмотря на пройденную школу Римского-Корсакова, чувствуется близость к свободным от выверенных рецептов краскам Чайковского. Это особенно заметно в пользовании струнной группой, и здесь, несомненно, сказались скрипичные познания Карева, приобретенные им на первых шагах изучения музыки.

Вторая часть симфонии сразу переключала настраивание зала, замыкая его в более узкий круг личных переживаний автора. На фоне идиллического рисунка флейт вырастала певучая тема виолончелей, временами приобретающая начальное направление, и,

через небольшой эпизод (реминисценцию из первой части), выливалась в стремительное движение *scherzo* (III часть).

Написанное в приемах токкатообразного письма, *scherzo* предъявляет громадные требования к исполнителям каждой партии в отдельности. Особенно ответственные партии флейт и труб, наполненные репетиционным рисунком (двойной язык). Несмотря на исключительную трудность этой части, оркестр справился с ней прекрасно, чему в значительной степени был обязан выразительному и организованному управлению автора.

Грандиозный финал симфонии занимает полностью ее последнюю часть. Открывающая его двойная пятиголосная политональная fuga в медленном темпе приводит наконец к тональной устойчивости, с момента водворения которой последовательно повторяются в форме *gondo* отголоски предыдущих частей симфонии. Непосредственно перед кодой ложный каданс уводит музыку в область политональных наслоений, основанных на темах fugи, причем ускорение медленных темпов начала части придает музыке нестерпимо-неразрешенный характер, и только врывающееся фанфарами заключительное шествие устанавливает ритмическое, тональное (*E-dur*) и архитектурное равновесие симфонии.

Основным и, пожалуй, единственным недостатком симфонии является несоответствие между замыслом композитора и реальными возможностями концертного исполнения. Симфония, за вычетом коротких пауз между частями, длится час сорок минут. Давать ее без антракта затруднительно, а в особенности — если принять во внимание чрезвычайную эмоциональную насыщенность музыки. Делать же, как это было на повторном концерте, перерыв между первыми тремя частями и финалом, значит в очень большой степени нарушать единство концепции.

Если пренебречь этим крупным недостатком, то можно и нужно говорить только о достоинствах этого громадного и во многом замечательного произведения. Начатое в Германии в предреволюционную эпоху,

оно создавалось параллельно стихийным событиям, свидетелем которых был Карев в России. Нельзя не отметить стойкость композитора, пронесшего и укрепившего свое творчество в условиях физических лишений. В обстановке, почти исключавшей возможность занятий на рояле, Карев создал эту «симфонию — роман», запечатлевшую на себе все то великое, что принесла нам революция. Нужно иметь самообладание настоящего художника, чтобы, отрешившись от обывательского приятия жизни, в таких условиях увидеть высокий смысл совершающихся событий и творчески их отразить.

Есть произведения, которые, несмотря на сложность их языка, сразу впечатляют слушателя своей сущностью, быть может потому, что в основе их лежит ясность и убеждающая искренность.

К таким произведениям следует отнести и симфонию Н. Карева. Ей свойственна та высшая простота, простота не от бедности, а от щедрости мысли, до которой, по словам Гоголя, нужно дорасти.

В ряду современных композиторов Карев занимает особое место.

Вопреки утверждениям критики, полагавшей за последние годы, что пути русской национальной музыки до конца исчерпаны творчеством представителей «кучки», а в продолжении своем обречены на неизбежное эпигонство, Карев доказал обратное. Возродив в своем творчестве русскую песенную стихию на основе глубокого и всестороннего изучения стиля западных полифонистов, он как бы осуществил прогноз С. И. Танеева, всегда утверждавшего, что только таким путем может пойти развитие русской музыки. Именно этим Карев глубоко отличен от крупных своих современников, одних — решавших преимущественно формальные задачи, других — оторвавшихся в своем творчестве от родной почвы и начавших говорить чуждым нам языком.

Говоря о влияниях на творчество Карева, можно было бы отметить родство последнего с Хиндемитом; с чисто, конечно, формальной стороны (контрапунктический склад мышления). Из наших русских совре-

менников ближе остальных Карев стоит к В. Щербачеву, мастеру полифонической песенности. На инструментовке Карева не могли не сказаться те громадные открытия и приобретения, которые сделаны в этой области нашей новой музыкой.

Симфония Н. Карева при всей характерности своей фактуры не может тем не менее вполне исчерпать его творческий облик. Для уяснения этого облика нужно было бы подробно остановиться и на других крупных работах композитора, по времени сочинения отчасти предшествующих симфонии, отчасти совпадающих с ней. Здесь мы упомянем только фортепьянный концерт, сочиненный Каревым в 1920 году, носящий отпечаток большой зрелости и мастерства. Концерт написан в чрезвычайно лаконических и экономных формах. Главное достоинство его в отхождении от тех обычных канонов большого фортепьянного стиля, которые стали обязательными еще со времен Листа.

Живой и широкий интерес, вызванный несколько неожиданным появлением в современной музыке большого симфонического произведения Н. Карева, несомненно, послужит толчком к пристальному изучению всего творчества этого замечательного композитора.

Глава четвертая

В человеческом, семейном своем хозяйстве Василь Леонтыч не досчитывался многого. Не досчитывался прежде всего жены, так что не с кем стало подытожить убытки и надо было в одном себе носить всю горечь потерь. Не досчитывался дочерей, внуков, и сокровенную свою, ни разу не высказанную надежду на возвращение Ростислава должен был оставить навсегда.

Где-то за Кубанью, в просторах, напоминавших родные края, страшным годом Василь Леонтыч встретил своего петербургского владыку и господина, еще раз сел на дрожки и еще раз засеял несметные

десятины золотом пшеничного зерна. Но хлеб собрал за Василь Леонтьича кто-то другой.

Пришла пора искать пристанище, и только один Матвей — молодчина, казак! — мог дать его отцу.

В караванах, по вагонам поездов, на путях и перепутьях Василь Леонтьич растерял свою многопудовую тучность. Прежде он видел носки башмаков, только сильно нагнувшись. Теперь сбереженные пиджаки пришлось ушить, худоба сделала Василь Леонтьича крохотным, утлым старикашкой, его голова словно выросла, долголетняя бронза-загар сменилась бесцветностью дряблой кожи. Но он все еще верил, все еще пестовал в себе по-давнему широкие планы, и у него осталась старая привычка говорить задыхаясь.

Евграф, придя к Василь Леонтьичу и увидев его впервые после ссоры из-за Никиты, долго и раздумчиво мотал головою.

— Усох ты шибко, Василь Леонтьич, — сказал он как будто одобрительно. — Легко будет тебя в гробу нести.

— Откуда нелегкая принесла, старый раб? — сердито отозвался Карев.

— У меня к тебе обиды быть не может, Василь Леонтьич. Ты — человек прошлый. Годов поди семьдесят стукнуло ай поболе?

— А тебе сколько стукнуло, старый болтун? Что я тебя к своим годам счетчиком приставил?

— Да и мне тоже порядком, хотя помене будет, чем тебе, — усмехнулся Евграф и присел на табуретку.

С этих пор начались постоянные свидания двух стариков и постоянные их перебранки, ворчня, извод и обиды. Но чем дальше, тем крепче они привязывались друг к другу, и когда Василь Леонтьича настиг последний недуг, он уже не мог обходиться без Евграфа.

— Лежишь? Молчишь? Все думаешь? — спрашивал Евграф, стаскивая с себя ватное пальто и аккуратно укладывая его в уголок. — Думаешь? — подсаживался он на краешек кровати, — Все одно всего

не передумаешь. Думки — что вареные раки: больше ешь — больше на тарелке остается.

Он доставал из-за пазухи сверточек и протягивал его больному.

— На-ка тебе помадки к чаю, с чаем хорошо. Куда положил? Зачем на виду класть? Спрячь под голову. Подальше положишь — поближе возьмешь.

— Скуп ты, Евграф, — тихонько говорил Василь Леонтьич, — с виду добрый, а в душе скуп. Гостинцы носишь, а самому жалко.

— А тебе не жалко? Ну, давай назад помадку! Ну? Что же не даешь? Ишь сквалыга! Небось в матрац-то золото упрятано, а? Дай-ка пощупаю.

И Евграф совал руку под одеяло.

— Не тронь, не тронь, стервец! — взвизгивал Василь Леонтьич, слабо дергая ногами и приподымаясь.

— То-то! Вот оно и выходит, кто из нас жадный. Ишь задохнулся! Ладно, не трону. Отдышись маленько, полежи.

Некоторое время они молчали, слышно было только прихлипывавшее дыхание Василь Леонтьича да ворчливый гул матрачных пружин.

Потом Евграф опять начинал:

— Чего надумал? Умирать надо, а ты думаешь.

Василь Леонтьич, отделяя слово от слова короткими неглубокими вздохами, говорил:

— Всех нынче суета поедом съела. И ты, бес, вприпрыжку, тоже поспеть хочешь. Куда скачешь, вертихвост? Я на Кубани старика одного узнал. Справный. Захотел, говорил он, мужик напрямки ехать, надоела дорога — вертит, крутит туда, сюда, из ямы в яму. Он и свернул на целину, так, мол, скорей. Смотрит — у лошади на шее жилы проступили, нога за ногу, топчется, того гляди — станет. Мужик назад, а дорога-то вон она — не прыгнешь!

— Так, — поддакивал Евграф.

— Вот тебе и так. Стало, дорога плоха-плоха, а вернее.

— Нынче народ больше напрямки, — невинно замечал Евграф.

— И ты туда же?

— Я от народа не отстатчик.

— Вижу! Тебе чего сделается? И дом и лом с собой в шапке носишь. Семьи и той у тебя нет. Что с тебя спросишь? Раньше семья за кого держалась? Пока отец жив — за отца. Умер — за старшего брата. Старший всему начало. А нынче? Слыхал, чего Аришка-то у Матвея выкинула? Семья!

— Заладила сорока — семья, семья, — щерился Евграф. — Три головешки горят — костер, а одна — накоса, выкуси!

И он показывал Василь Леонтьичу кукиш.

Тогда и Василь Леонтьич молча отвечал ему тем же и отворачивал лицо к стене.

— Вот те твоя и семья! — подумав, добавлял Евграф, и снова наступало безмолвие в комнате Василь Леонтьича.

Он полусидел, не шевелясь, на высоких подушках, как будто в забытии, отстранив ноги от Евграфа, чтобы не касаться его. Но стоило Евграфу подвинуться, как Василь Леонтьич приоткрывал глаза, либо покашливая, либо шепча что-нибудь себе в усы. Иногда тоска и боль бросали его в беспокойство, он начинал перекачивать на подушке из стороны в сторону свою изжелта-седую голову.

— Больно тихо, — стонал он, — будто весь свет вымер, а? Евграф, ты слышишь чего иль и тебе тихо?

— Где тихо, а где, может, и буря. Выдумывай больше!

И опять приходила тишина. Василь Леонтьич вслушивался, отыскивая за ее пределами шум и дыхание жизни, но тишина ширилась, захватывала безмерные пространства самарских полей и Приуралья, заречную, бухарскую сторону, каревские сады и дома, все, все кругом, во всем мире, было охвачено мертвящим сном тишины.

Тогда Василь Леонтьич старался вспомнить что-нибудь грозное, наполненное гулом и грохотом. Но в памяти возникали почему-то внушка Ариша и Матвей — сгорбленный, тихий, не похожий на родного

сына, почти такой же старый, как Василь Леонтьич. Матвей жаловался, что от него ушла Ирина, утирал большой ладонью лицо — ото лба книзу, а Ирина мелькала где-то за окном, прозрачная и словно невесомая.

Если бы Василь Леонтьич увидел Ирину этим часом такой, какою она была в действительности, он, наверное, благодарно простил бы ее, потому что она принесла бы с собою тот шум, который искало его воображение, удрученное тишиной.

Ирину в этот час окружал бушующий зимний шторм, и штормом чудились ей последние месяцы жизни, с тех пор как она в первый раз пришла к Родиону. Она как будто забыла об отце и доме, о Никите, обо всем, что еще недавно ее наполняло пугающим ожиданием. Теперь нечего было ждать, теперь каждая минута была лучше той, которая прошла, и той, которая наступала. И никогда, конечно, никогда не думала Ирина, что счастье — самое высокое и самое простое человеческое счастье — это вот так: стоять рядом с этим сильным и немного неуклюжим человеком, крепко обхватив его спину, ощущая тяжелую его руку на своих плечах, стоять так в ветреном, водном, пенистом реве, когда шторм готов поглотить корабль, когда шторм безопасен, как на музейной картине, когда вокруг нет ни одной крупинки, которая не звенела бы, не содрогалась от смертного вопля разрушения, и когда так легко, как безветренным росным утром в саду. Потому что вот он рядом — спокойный, большой, вот его грудь, вот руки, вот он повернул голову, улыбнулся, и улыбка его говорит, что опасности нет и что бури бывают сильнее.

Пароход держал курс в порт Потти, куда Родиона назначили на работу. Берегов не было видно. Пена неслась кривыми горами валов, соединяясь вдалеке с лохмотьями туч, кидая на палубу свою разорванную, белую, быстро тающую сеть. Качка была переменной, путаной, пароход поочередно то кренил на борты, то взмывал носом кверху, глубоко зарываясь

кормой. На минуту судно находило равновесие, чтобы тотчас медленно и высоко взбросить корму. Тогда из воды со свистом вырывался винт, павлиньим хвостом раскидывая позади парохода пушистый веер брызг, и буря отвеивала брызги на палубу мельчайшим ледяным дождем. В этот миг слышно было, как учащался под ногами стук машины и как потом ее бег постепенно задерживался винтом, снова окунувшимся в воду и опять одолевавшим сопротивление.

При входе в порт, около длинного мола из камней, похожих на выкинутые товарные ящики, встретился огромный пароход. Он уходил в море, мрачный и тяжелый, как военный корабль. Рядом с ним торопился крохотный таможенный катер, ныряя под его тупую черную корму с золотой надписью.

Родион долго старался разобрать надпись.

— Прочитай, — попросил он Ирину.

Она прочла.

— «Fredericus Rex».

Родион мотнул головой и сказал:

— Немец.

Он пристально вглядывался в корпус и оснастку удалявшегося парохода. Потом еще раз кивнул ему вслед и с удовлетворением прибавил:

— Торгуем малость.

Лицо его было облеплено блестящею рябизною свежих капель, взгляд показался Ирине дерзким и хитрым. Она крепче обняла Родиона, посмотрела на него с ликованием, и ей захотелось, чтобы он сжал ее до боли.

Конечно, Родион не понял этого Rex'a! Конечно, он и по-русски говорил не всегда хорошо, и у него срывалось какое-нибудь «встренул» вместо «встретил». Конечно, он вообще был немножко необточен, сиволап.

Но почему же так влекла Ирину его неказистость, так непреклонно подчиняли неточные его слова, и почему он весь стал ей смертельно люб, и с ним одним бесстрашно и весело идти сквозь холод шторма,

в свисте и реве поднятой бурей воды? Хорошо, просто, легко и такой шум вокруг, такой безостановочный, дыбом поднявший весь мир, рокошующий и громыхающий шум!..

О, если бы его ничтожный отголосок хотя бы на один прощальный миг прорвался в тишину, которая томила Василь Леонтьича!

Но безмолвие разрасталось вокруг Василь Леонтьича с настойчивой быстротой.

Когда он — упрямый, не желавший ничем поступиться — внезапно слег, его пришел осмотреть Матвей.

— Ну, шупай, лекарь. На версту не подпускал к себе вашего брата. Знахарей и тех не любил, — сказал Василь Леонтьич.

— Сколько тебе лет-то? — спросил сын.

— А что? — вдруг подозрительно покосился отец. — Иль думаешь — пора?

— Знаешь, — сказал Матвей Васильич, пораздумав, — лучше я привезу к тебе другого доктора. Мне самому не с руки.

— Понимаю. Значит — каюк?

— Нет, зачем же? Я говорю...

— Ты не юли! Каюк — так и говори, что, мол, каюк. Чай, казак, не спугаюсь!

— Да ведь я тебя еще не смотрел!

— Смотри! А то — не с руки! Это родного-то отца не с руки? Я, кроме тебя, никому не дамся...

Матвей Васильич подчинился и начал лечить отца, но тут же неожиданно почувствовал, как теряет над собою власть — и вместе с нею — привычную власть над больным. Матвей Васильич видел, куда и с какою поспешностью клонилась болезнь. Он знал, что на его месте другой врач оттянул бы конец на два-три дня и что сам он сделал бы то же, если бы лечил другого больного. Матвею Васильичу было не по себе. Он даже попрекнул себя в жестокости, потому что все его существо было заполнено чувством к единственному человеку, и этого человека не было рядом с ним.

Но когда последний раз, почти в полночь, Матвей Васильич пришел к отцу и бросил на него беглый взгляд, на одно короткое мгновение он стал прежним Матвеем Каревым — профессором, доктором, настоящим казаком, старшим сыном Василь Леонтьича.

— Ты что же молчишь? — прикрикнул он на Евграфа, бесстрастно сидевшего рядом с больным.

— А что мне не молчать? Мы с Василь Леонтьичем люди не молодые, наговорились.

Евграф потрогал кудерьки своей бороды и вздохнул.

— Почему ты не позвал меня? — говорил Матвей Васильич, перебирая на столе лекарства и ощупывая свои карманы. — Давно это с ним?

— А что тебязвать? Доктор смерти не помощник.

Евграф внимательно присмотрелся к тому, что делал Матвей Васильич, и, напыжившись, солидно спросил:

— Впускать, что ль, чего под кожу будешь?

— Давно, я говорю, это с ним?

— С полчаса, видно, будет.

Матвей Васильич на минуту замешкался.

В это время в комнату вошел Никита.

Он начал снимать с себя шубу, но тотчас услышал сильную и какую-то певучую икоту Василь Леонтьича. Она странно распиливала тишину равномерными всхлипами и гулко отдавалась где-то в пружинах матраца.

Никита остановился. Шуба медленно сползла с него и упала. Евграф поднял ее, аккуратно встряхнул и повесил на гвоздик.

— Сердце сердцу весть дает. Прощаться пришел? — сказал он.

— Матвей! Разве нельзя помочь? — испуганно спросил Никита.

Он бросился к кровати отца, нагнулся над ним.

Василь Леонтьич глубоким почерневшим ртом набирал воздух, вздрагивал, быстро захватывал губою усы, облизывал их и снова открывал рот.

— Матвей! — вполголоса позвал Никита. — Что же ты? Помоги, Матвей.

— Помоги, коли умеешь, — сквозь зубы ответил Матвей.

Никита взглянул на него.

Матвей смотрел на брата неподвижными, налитыми кровью глазами. Он бросил на стол какую-то склянку, криво усмехнулся и по-прежнему, не разжимая зубов, проговорил:

— Это не так просто, как, скажем... вскрутить голову какой-нибудь девчонке, вроде Ирины.

— Что с тобою? — прошептал Никита. — Я слышал об Ирине, но...

Матвей с угрозой перебил брата:

— Надо бы не слышать! Конечно, слышал!

— Я понимаю, Матвей, понимаю, какое у тебя несчастье, и у меня тоже, у нас, но нельзя же говорить сейчас, здесь. Ты посмотри!

— Что же, мне нарочно разыскивать тебя прикажешь, чтобы сказать, чего ты заслужил?

— Я? Почему я? Что я заслужил?

Матвей Васильич тяжело шагнул к Никите и хрипло, обрывисто закричал:

— Ты еще прикидываешься? Хочешь придумать себе оправдание? Где Ирина? Отвечай! Не виноват? Нет? Ты не виноват? Тогда кто? Отвечай, кто?

— Матвей! — воскликнул Никита.

Но Матвей Васильич наступал на него, поднимая кулаки, дрожа и все громче выкрикивая:

— Не виноват? Говори, кто виноват?

Он остановился в двух шагах от брата и вдруг, высоко замахнувшись обеими руками — тяжелый и какой-то нескладный, — вдавливая все свое иступление в одно слово, прохрипел:

— Подлец!

Никита отступил, но тотчас услышал, как его пальцы сдавило что-то судорожное и горячее. Он оглянулся на отца.

Василь Леонтьич лежал покойно, глаза его были плотно закрыты, довольная улыбка шевелила спутанное серебро усов. Он произнес очень ясно, тихо и ласково:

— Ростислав... Славушка... Приехал?..

Евграф прижмурился, потряс своими кудерьками, с сокрушением сказал:

— Забыл...

Он подошел к Василь Леонтьичу, серьезно, по-докторски, пощупал его правую руку около запястья и глянул на Матвея.

Василь Леонтьич опять раскрыл рот, левая рука его не выпускала пальцев Никиты, но улыбка и спокойствие исчезли с лица. Потом он стал набирать в грудь воздуху, продолжительно и так громко, что в матрасе начали звенеть пружины, словно рояльные струны — сначала тихо, затем, когда вздох оборвался, — сильнее. Василь Леонтьич наполовину поднял веки.

В комнате стало необыкновенно тихо, как будто все беззвучие, томившее Василь Леонтьича и раскинутое по свету, собралось в четырех стенах.

— Кончился, — буркнул Евграф.

Никита разжал пальцы отца. Они легко подались.

Матвей стоял поодаль, спрятав руки за спину. Лицо его посерело, обрюзгло, щеки были мокры от слез, но взгляд мутился злобой.

— Матвей, — с усилием проговорил Никита, — я готов... я хочу простить... Я понимаю, что ты заблуждаешься, брат, и давай здесь сейчас...

Никита показал на отца.

— Ты мне не брат, — чуть внятно, косноязычно пробормотал Матвей.

Все еще держа руки за спиною, он раскачивался, точно его толкало что-то вперед, а он принуждал себя оставаться на месте.

Евграф суетливо, услужливо закашлял и, зачем-то пролезая между Матвеем Васильичем и Никитой, примиряюще заметил:

— Померем — все братьями станем, все как есть!

Матвей сказал погромче:

— Уходи, Никита, отсюда.

Передохнув на секунду, он с каким-то натужным стоном договорил:

— Или... я уйду!

Слезы еще обильней заструились по его щекам, и еще больше глаза потемнели от крови.

Евграф подтолкнул Никиту к кровати отца и, наклоня его над головою Василь Леонтьича, зашептал:

— Простись, простись. Да и ступай. Ступай от греха.

Никита поцеловал отца в лоб. Василь Леонтьич был теплый. Никита обнял его лицо ладонями.

Он обнимал труп, но не испытывал ни страха, ни отвращения. Он вспомнил Верта, ему показался необъяснимым давно забытый, притупившийся ужас. В прикосновении к голове отца было даже что-то облегчающее, нежное, как в ласке. Никита погладил Василь Леонтьича по щекам.

Евграф стоял с шубой наготове. Он помог одеться Никите и проводил его за дверь. Никита вышел, не взглянув на брата.

Евграф вернулся к покойнику. Без раздумья, поделовому, он захлопнул его отвисшую нижнюю челюсть и указательным пальцем придавил веки. Так он стоял, немного навалившись на голову Василь Леонтьича, у ног которого неподвижно высился профессор, доктор Матвей Карев — сутулый, седой, с мокрым лицом и опущенными большими жилистыми руками...

На улицах было глухо, снег молодо покрывал дороги, сучья деревьев топорщились пятернями, затянутыми в белые перчатки.

Никита осмотрелся по сторонам. Куда было ему идти? Впрочем, один путь оставался для него верным, и Никита пошел этим путем, как человек, идущий домой. Варвара Михайловна открыла дверь, укутавшись в пальто и платок, и убежала к себе, крикнув Никите:

— Запри!

Он застал ее на кровати, она пожималась от холода, завертывая в одеяло ноги и наполовину спрятав лицо в воротник пальто.

— Что так поздно? — спросила она. — Я уже спала.

Никита начал расстегивать шубу.

— Не раздевайся, — сказала Варвара Михайловна, — замерзнешь. Что-нибудь случилось?

— Я сейчас от отца, — медленно проговорил Никита.

— Ну?

— Он умер при мне.

— Да? — произнесла Варвара Михайловна кратко и невозмутимо, точно услышала не слишком любопытную газетную новость.

Никита вздрогнул и сделал неуверенный, зыбкий шаг к кровати.

— Ты что? — слегка удивилась Варвара Михайловна. — Ведь его смерти надо было ожидать. Ты сам говорил.

— Все-таки... — проворчал он, всматриваясь в лицо Варвары Михайловны.

Оно показалось ему померкшим, хотя — чуть-чуть, и он спросил:

— Ты нездорова?

— Нет, ничего, — отозвалась она стою безразличною живостью, как будто, по обыкновению, собиралась добавить: спасибо.

Никита сел и долго, опустив голову, молчал.

— Ужасно было с братом сегодня, — сказал он наконец. — Мы, правда, никогда не были особенно связаны. Но тут — отец в агонии, а он... ужасно!

— А что?

— Все кончено с Матвеем, — проговорил он глухо.

Но тут же до него долетел нервный сдавленный смех, и он резко откинулся на стуле.

Плотно закутавшись в пальто, так что видны были одни глаза, Варвара Михайловна с озорным любопытством разглядывала Никиту.

— Он тебе мстит за свою дочку? — сквозь смех пробормотала она в воротник.

— Ты с ума сошла!..

— Нет, почему? Разве не правда?

— Но что же в этом смешного? — воскликнул Никита.

— Помилуй! Ведь ты отдуваешься за Родиона!

Она совсем весело рассмеялась, высвободила голову из-под пальто и села удобнее. Мерклость исчезла с ее лица, кровь прилила к нему, оно стало даже ярче, светлее обычного.

— Ты... не понимаешь, что смех не к месту сейчас, или ты... нарочно? — озадаченно проговорил Никита. — Что с тобой происходит?

— Ну что поделаешь, если мне смешно?..

Все ее черты — и правда — подергивались и дрожали с каким-то неудержимым беспокойством. Она все чаще натягивала на плечи пальто, но пальто скатывалось с плеч на постель, непослушно обнажая шею и руки Варвары Михайловны.

— Ты извини, — угрюмо сказал Никита, — что я побеспокоил тебя. Я думаю, лучше мне уйти.

Он взялся за шапку.

— Постой, — остановила его Варвара Михайловна.

Голос ее внезапно упал, от веселости не осталось следа, не то горечь, не то злоба сжала рот, и неприятен сделался взгляд.

— Не знаю, что лучше: отпустить тебя с этой обидой на мой смех или... Какое из двух зол меньше? Я что-то начинаю с тобой хитрить, — сказала Варвара Михайловна словно в раздумье и отвела глаза от Никиты.

Быстро присев на кровати, он в испуге спросил:

— Что с тобой?

— Ах! — с болью вырвалось у нее. — Это уже не в первый раз!

Все еще отвернувшись от Никиты, сдерживая дыхание, как будто хотелось кричать, а нужно было говорить тихо, Варвара Михайловна сказала:

— Помнишь свои слова насчет прошлого? Недавно ведь было, всего три месяца. Помнишь? Насчет того, что каждый наш шаг оставляет след прошлого, а не только того, что случается вот теперь.

— Ну?

— Не забыл? Так вот, когда ты вошел и потом сказал, что умер отец... ну, все равно! — оборвала самое себя Варвара Михайловна.

Она вскинула глаза на Никиту, но всем корпусом отстранилась от него, отгораживая себя своим пальто.

— Мне сразу тогда захотелось сказать тебе... о чем я никогда никому не говорила. И главное...

Варвара Михайловна дала волю своему дыханию.

— Неужели ты не понимаешь? Ведь ты пришел ко мне с уверенностью, с убеждением, что я обязана тебе сочувствовать. Ты даже, наверно, и не думал об этом. У тебя это уже в кровь перешло, за такой короткий срок. Ты пришел за сочувствием? Да? Само собой понятно, что ты должен его получить, должен, конечно!

Она порывисто приблизилась к Никите и почти шепотом с нетерпением выдохнула:

— Я хочу напомнить тебе прошлое не в шутку, а как следует. Ты знаешь, как умерла моя мать? Знаешь, кто виноват в ее смерти?

Она опять откинулась от Никиты и глядела на него с каким-то злобещим ожиданием. Потом тихо и жестко произнесла:

— Ты!

Никита вскочил с кровати.

— Ты бредишь?

Она молчала, по-прежнему злорадно разглядывая его, стараясь не упустить ни одного движения на его лице.

— Не пугайся, я в своем уме, — отдельно и настойчиво сказала Варвара Михайловна. — Я говорю чистую правду. Мать умерла потому, что я осталась в Уральске. А осталась я... ты знаешь из-за кого. Откуда я тогда могла ждать сочувствия себе? И кто должен был бы мне его дать?

Никита опустился на стул и закрыл глаза рукою. Он сидел в оцепенении, плечи его обвисли, одна рука бессильно лежала на коленке.

— Ты что же, мстишь? — спросил он невнятно.

Тогда неожиданно лицо Варвары Михайловны исказилось болью, она всем телом потянулась к Никите и с мучительным напряжением, торопясь, перебивая себя, заговорила:

— Нет, Никита, нет! Я не могу винить тебя в этом. Я не раскаиваюсь, потому что сама не виновата. Ты же понимаешь. Насчет моей матери мне, правда, пришло в голову, когда ты сказал, что у тебя умер отец. Не в этом дело. *Как ты пришел, как ты сказал...* думая об одном себе, только о себе... вот в этом все! Что вот тебе само собою понятно, что твоя жизнь и твои дела должны быть для меня самым главным, что ты у меня — начало и конец. Что тебе тяжело, а я должна это знать. Тебе плохо, — я обязана сочувствовать. Никита, милый, ты неспособен узнать это! Вот за короткое время, как мы сошлись, в тебе выросло это несносное сознание, что самый близкий тебе человек — только твое подспорье, твое житейское удобство, не больше, что он, естественно, обязан тебе служить, правда? Но неужели ты...

Варвара Михайловна остановилась, помолчала и решительным движением поправила на себе скатившееся пальто. Снова закуталась получше, и снова улыбка тронула ее губы насмешкой и обидой.

— Должен же ты хоть раз подумать, что для меня оскорбительна эта моя... второстепенность в твоей жизни.

Никита поднял голову. Взгляд его был усталым, отягощенным неповоротливой мыслью, которая как будто через силу волочилась за словами Варвары Михайловны.

— Я не понимаю тебя, — произнес он надорванным голосом.

— Да? — улыбнулась Варвара Михайловна. — Так трудно? Ведь ты сам не отрицаешь, что всегда жил одной музыкой, живешь и сейчас, и вперед думаешь жить. Чего же здесь не понять? Это у тебя стало манией, и все твои чувства до последней крошки ушли на нее... а на жизнь, ну, хотя бы на жизнь со мною, у тебя ничего не осталось.

— Ты предъявляешь иск к музыке? — изумился Никита. — Но... почему именно сегодня? Чтобы сделать это чувствительней, да? Неужели из жестокости?

— Тебе больно? — почти весело и с удовольствием спросила Варвара Михайловна, но тотчас в глазах

у ней мелькнула черствая усмешка, и она быстро досказала:

— А думал ли ты хоть один раз, как больно мне?

Прищурившись, она подождала ответа и с видимым спокойствием продолжала:

— Ты поражен моим иском к музыке, да? Такая ревность была бы не столько удивительна, сколько смешна. Нет, не об одной музыке разговор. В сущности, тебе безразлично, какой человек живет с тобой рядом. Важно только, чтобы жил, чтобы эта вторая жизнь облегчала твою первую, главную... как это сказать? — чтобы тебя здесь заряжали, а там ты стрелял бы. А у меня нет ни первой, ни второй жизни, у меня — единственная, вот эта, в которой я живу и чувствую, что начинаю исполнять для тебя какую-то служебную роль.

— Варя!

— Ну что? — подхватила она. — Разве не так? Разве я не понимаю, что ты пришел ко мне только потому, что тебе некуда больше идти? Нет, нет, стой! Я говорю не о том, что ты пришел сейчас...

— О чем же, о чем? — в изнеможении воскликнул Никита. — Зачем ты все это?

Варвара Михайловна соскользнула с постели и, кое-как прикрыв одеялом ноги, пересела ближе к Никите. Наклоняясь к нему, заглядывая в его глаза, она горячо прошептала:

— Я никогда не забуду, что ты стал моим только потому, что тебя оттолкнула Ирина! Ты для меня — как подачка из рук этой девчонки!

Она чуть-чуть ухмыльнулась и добавила:

— Я не настолько бедна...

— Что с тобой сегодня, Варвара? Что это за суд?

Варвара Михайловна уселась в кровати по-старому и заботливо укутывала ноги, поправляя на плечах непокорное пальто. Когда сидеть стало удобно и тепло, она опять наполовину спрятала в воротник лицо и улыбнулась.

— Ну, пожалуй, я сказала все, что хотела. Впрочем... Знаешь, Никита, кажется, со мной случилось, как бывает с очень упрямыми людьми, они бьются,

бьются, а когда достигнут цели — оказывается, что она уже вовсе не так нужна. Когда я добилась своего...

— Добилась? — прервал ее Никита.

— Когда добилась тебя, добилась того, что буду иметь от тебя ребенка. — перечисляла Варвара Михайловна, словно разговаривая сама с собой, — мне стало так, будто прежде, когда ты был недостижимым Никитой Каревым, все было обольстительно-хорошо, все...

— Что ты сказала о ребенке? — снова перебил Никита.

— Что у меня будет ребенок, — просто, почти мельком ответила Варвара Михайловна.

— Ты знаешь это?

— Конечно, знаю.

— Почему ты мне не сказала? — чуть слышно выговорил Никита.

— Разве ты хочешь иметь ребенка? — удивилась Варвара Михайловна, немного приподняв брови и высовывая из воротника подбородок.

Тогда Никита с силой ухватил железную спинку кровати и крикнул:

— А разве ты спрашивала меня когда-нибудь, хочу я или не хочу...

— Чш-ш! Тише, не разбуди соседей, — улыбнулась Варвара Михайловна. — Ты сердисься. Я не ждала от тебя.

— Перестань шутить!

— Я не шучу. Я на самом деле не ожидала, что ты можешь рассердиться.

— Варя! — вдруг, надломившись, простонал Никита.

И, точно перехватив его тоску, Варвара Михайловна осекшимся голосом разочарованно проговорила:

— Вот, ты уже и остыл. Милый мой, если бы ты разгневался, возмутился! А ты и умен для этого, и добродетелен...

Никита отошел в сторону и стоял молча, спиной к Варваре Михайловне. Она сбросила с себя пальто,

легла и закрылась одеялом. Спустя минуту она позвала:

— Никита!

Он не откликнулся.

— Никита, — сказала она примиряющим, мягким тоном, — неужели ты мог бы связать себя со мною надолго?

— Я вижу, тебе нет дела до моих желаний, — отозвался Никита.

— Разве у тебя есть какие-нибудь желания?

Он промолчал, потом обернулся и спросил:

— Что ты думаешь о ребенке?

— Что о нем думать? Пока я буду его ждать. А там...

Она живо приподнялась на локоть и засмеялась так, как будто до сих пор весь разговор был очень игривой и легкой болтовней:

— Знаешь, Никита, я недавно проходила мимо Смольного и встретила замечательную женщину: справа у нее под мышкой — портфель, а слева — младенец, ей-богу! Через плечо вот такой лямкой — платок, и в нем младенец. Я бы тоже так могла, честное слово, ха-ха! Мне кажется, что за эти годы я страшно пристрастилась к необыкновенному. И мне до такой степени скучна всякая добродетель, что просто ужас!

— Это можно считать приговором? — глухо спросил Никита.

— Ну зачем такие слова, Карев! — воскликнула Варвара Михайловна, все еще сверкая своей улыбкой. — Мне просто кажется сейчас, что наша близость вряд ли долговечна... Подожди, куда ты? Куда ты? Куда ты, Никита?.. Никита!..

Но он уже не слышал ее зова.

Он не слышал ничего. Беззвучие окружало его непроницаемой массой, он двигался сквозь массу, не ощущая сопротивления, ни тяжести своих шагов, ни своего дыхания. Оно оведало его легко исчезающими серыми клубочками пара, которые цеплялись за воротник и скоро посеребрили черную поверхность меха снежной белизною. Безжизненный ночной час прохо-

дил над городом. Темнота и туман уравнивали улицы, и строения безлично отступали куда-то вглубь.

Не город, а пустыня развертывалась по земле, и пустыней, повсюду одинаково принимающей человека, шел Никита.

Все его лицо запорошилось инеем, снежная крошка повисла на мельчайших шерстинках шубы, белым пуховым платком покрылись плечи.

Он шел, не зная места, времени и цели, в той равнодушной власти одиночества, в какой возвращался из степи, потеряв отца, возвращался домой, чтобы продолжать жизнь, от которой бежал.

К нему вернулись чувства только на рассвете. Он осмотрелся. Какой-то мост был перекинут костровку, накрытому белым плетением деревьев. Набережные раскосо бежали по сторонам. Снеговая равнина реки покоилась мирно. Ни живой души не было видно кругом.

Никита перешел мост. По островку тянулись решетки и заборы дворов. Тротуары были расчищены, сугробы лежали ровной высокой грядой, и мертвая неслышность простиралась над холодным покоем земли.

Но вдруг в этой неслышности Никита уловил мерные вздохи. Они плавно приближались, возрастая, усиливая свою тяжелую полноту.

Никита остановился. Какая-то птица с утренней, сонливой медлительностью пролетела невысоко над его головой.

Он улыбнулся. Мерные вздохи полета напомнили ему первый его детский испуг, когда в смирной и такой же беззвучной, как этот остров, степи маленький Никита прикоснулся к громадному, непонятно-суровому миру.

Никита вспомнил последнее свое счастливое лето, зеленый облачком проплывшее над ним, и стужа закрепила на его лице горькую, усталую улыбку.

Так, с этой улыбкой, он перебрал в памяти все утраты, понесенные за ночь. И так же, как на этом унылом островке, Никита не увидел вокруг себя ни живой души.

Он повернулся, чтобы идти куда-нибудь дальше, но взгляд его упал на громадные черные буквы:

НИКИТЫ КАРЕВА

Он снова стал. На одинокой, покосившейся витрине была наклеена свежая афиша.

в третий раз симфония ор. 17

НИКИТЫ КАРЕВА

под управлением автора

— Опусы, еще раз опусы, — пробормотал Никита, отрываясь от витрины.

Да, может быть, только опусы становятся его уделом на всю жизнь.

Мир отвергал Никиту Карева, чтобы принять. Обогащал одну его судьбу опытом несчастья и утрат в другой.

Ничто не повторится.

Но к Никите снова возвращается слух, и все становится как будто по-прежнему: деревья в инее, хрустит снег, и кровь еще наполняет сердце.

Пусть так.

Октябрь 1926 — март 1928

ПОВЕСТИ

НАРОВЧАТСКАЯ ХРОНИКА

Во имя отца, и сына, и святого духа.

Я мог бы начать без обычного для духовных лиц вступления, потому что владею светской речью, даже обладаю некоторым даром слова, отмеченным много раз моим драгоценным учителем и настоятелем нашего во имя святого апостола Симона Канонита монастыря — отцом Рафаилом. Но именно из уважения к нему я и почел недостойным скрывать свое послушническое звание. Образованностью духовной, как равно и знакомством со светскими сочинениями, я обязан исключительно заботливой приязни ко мне отца Рафаила, и да будет совесть моя чиста упоминанием его благочестивого имени в начале этой хроники — мало искусной, но правдивой в меру моего добросердечного намерения. Аминь.

Во мне, несомненно, заложен некий дар слога. Например, я почувствовал, что последняя фраза вступления получилась витиеватой, не говоря уже об ее длине. Это я объясняю тем, что начал с божественных слов, которые и обозначили собою дальнейшие обороты. В самом деле, если со вниманием присмотреться к духовной речи, то она всегда сложна в своих фигурах. Я же — повторяю — имею склонность к светскому стилю и в писаниях это постоянно с охотой обнаруживаю. Отец Рафаил, прочитав однажды

письмо, составленное мною по его поручению, сказал мне буквально:

— Игнатий, письмо хорошо, но послать его невозможно: таких взволнованных речей иеромонах подписать не должен. Тебе, видно, очень понравился Федор Михайлович Достоевский?

Я тогда только потупился и ничего не ответил. Действительно, Федор Михайлович Достоевский мне очень нравится.

К слову, запишу сейчас один случай, который может дать представление о нашем городе и о культурной степени наиболее образованных его жителей. Этим случаем я воспользуюсь также, чтобы сказать о причинах, толкнувших меня писать настоящую хронику.

Не так давно поутру ко мне прибежал поэт Антип Грустный, очень растрепанный и осиянный. Не в силах от бега выговорить ни слова, лишь заикаясь, он развернул дрожащими руками пакетик и бросил на подоконник, где я чай пил, книжку.

— Вот, — превозмог он наконец волнение, — вот какие теперь на Руси книги печатают! Всю ночь читал напролет, не попив чаю, бросился к тебе. Смотри, Игнатий, велика талантами сила народная, верю, верю, распутится теперь Россия, как шиповная роза, говорил тебе! Читай скорей эту книгу, здесь все, как про нас, написано: истинная правда, униженные мы и оскорбленные! Я даже критическую статейку черкнул, обязательно нужно отметить. Послушай-ка...

— Обожди, — говорю я, — ведь это — старая книга...

— С ума ты спятил! — восклицает Антип Грустный. — Гляди: Народный комиссариат по просвещению, тысяча девятьсот девятнадцатый год.

— Что же из того, книга все-таки известная...

— Это, — кричит, — сочинитель, автор известен, что ты меня учишь, я знаю, а «Униженные и оскорбленные» — его новое произведение, я и статейку черкнул для газеты. Народный комиссариат по просвещению не станет...

Я дал Антипу Грустному успокоиться, потом обещал отыскать в книгохранилище описание смерти и отпевания покойного замечательного писателя. Антип Грустный ушел рассерженный, даже не прикоснувшись к чаю, который я налил для него в кружку. Думаю, что он в тот день так ничего и не поел.

Все-таки, несмотря на описанный случай, Антип Грустный — один из просвещенных людей нашего города. Но о нем, может быть, придется сказать впоследствии.

Размышляя о причинах, побудивших меня вести хронику, я прежде всего вижу, сколь худосочна образованность наша, чтобы уразуметь значение ежечасно свершающихся событий. Кто в нашем городе достоин был бы звания летописца? Разве один только человек мог бы передать поколению свидетельство дней наших грозных, подобных Страшному суду господню, — фельетонный писатель Симфориан Беспольный. Но этот человек обуян жестокой страстью к вину и не может явить прилежания, необходимого летописцу. Все же, что он печатает в газете, подвержено тлению, ввиду негодного качества печатной бумаги. Вообще, когда я задумываюсь о судьбе отечественного нашего печатания, мне вчуже становится ужасно за нее, и вновь я укрепляюсь во мнении, что временно история будет запечатлеваться рукописно. Здесь уместно сказать о недавнем происшествии в нашем монастырском книгохранилище, которое со смертью отца Антония передано временно моему наблюдению.

В новом нашем корпусе светские власти разместили детскую больницу, приют, называемый интернатом, и другие культурные заведения. Ввиду большой нужды в помещениях, монастырю было приказано очистить книгохранилище. Будучи очень стесненной, братия перенесла книги на чердак старого корпуса. Там они лежат до сего дня в беспорядочном виде, так что проникнуть на чердак затруднительно. Не могу умолчать о замечательном составе нашего книгохранилища как в отношении подбора сочинений духовных, по истории церквей и расколов, так и некоторых светских, национально-русских писателей, и особенно

рукописных древних книг — прихода-расходных нашего монастыря от начала семнадцатого века, челобитных рукописей, грамот, указов и крепостей. Эти исторические драгоценности, по совету отца Рафаила, я укрыв книгами менее редкими, поверх которых наложил «Епархиальные ведомости» и прочие газеты. Ныне монастырь выписывает «Наровчатскую правду» для осведомленности в делах духовных, столь усложненных в наше время. Газету я клал на «Епархиальные ведомости», у самого входа на чердак, чтобы постоянно иметь под рукой. И вот недели полторы назад разразился над Наровчатом ливень такой силы, что вышла из берегов речка Гордата и поник на полях хлеб. Когда на другой день я зашел на чердак, чтобы присоединить к газетам новый выпуск, я обнаружил, что через незаметное для глаза отверстие в крыше, как раз над пачкою «Наровчатской правды», налилась изрядная лужа дождевой воды. Я тут же извлек с чердака промокшие газеты и — так как стояла тихая солнечная погода — разложил их со тщанием на крыше, устлав ее всю, от куполка придела во имя св. первоапостольных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы до малой звонницы.

В этот день понадобилось отцу Рафаилу послать меня по важному делу в город. Монастырь наш расположен в трех верстах от городской заставы, так что — за мирскими хлопотами — обернулся я только часа через два. Возвращаясь, на полпути заметил я позади себя тучку, и сейчас же потянуло из города ветерком. Тут меня пронизала мысль о разложенных на крыше газетах. Стал я торопиться; прибавлю шагу, а ветер мне в спину все сильнее и сильнее. Со всем на виду у монастырских ворот сорвало с меня скуфейку, покатилась она по дороге, догнал я ее, остановился передохнуть, взглянул на монастырь, а над его куполами крутятся, подобно белым голубям, газетные листы. Кинулся я со всех ног. Вбежал во двор — двор пустой; бросился в корпус — там точно все вымерло. Тогда, припомнив направление ветра, помчался я к задней дворовой калитке, ведущей из монастыря на луговину перед речкой. Но едва я до-

бежал до стены, как остановился в недоумении и страхе: у калитки стоял отец Рафаил, приоткрыв ее немного и глядя в щель. Вероятно, настоятель слышал шум, поднятый моим бегом, потому что оторвался от щели и, осмотрев меня, поманил пальцем. Я подошел к благословению ни жив ни мертв. Он стукнул меня чувствительно костяшками пальцев по лбу и сказал:

— Смотри, Игнатий, в какое недостойное положение поверг ты братию своим недомыслием.

Я в трепете наклонился и припал к щели пониже бороды отца Рафаила. На луговине, еще не скошенной, по колена в запутанных дождем травах, кидалась из стороны в сторону почти вся наша братия, стараясь изловить носимые ветром газеты. Многие были в подрясниках, подоткнутых за пояса, другие не успели одеться и сигали по лугу в штанах и с непокрытыми головами. Газеты сдувало к речке, догонять их по траве было делом нелегким, братия же наша к быстроте движений не привыкла и обнаруживала ловкость куда как невеликую.

Смотреть на картину эту становилось воистину соблазном, и едва я различил над своей головою учащенное сопение отца Рафаила, как покатился в бессовестном смехе, присев на корточки. Отец настоятель вторил мне баском, что еще больше разжигало мою веселость; когда же я, от рези в животе, начал стихать, он опять стукнул меня по лбу и проговорил:

— Дурак ты, Игнатий, прости господи!

И благословил меня.

К сожалению, смех мой сменился скорбью тотчас, как братия принесла изловленные на лугу газеты: все листки оказались совершенно белыми, как будто на бумаге ничего и никогда не было напечатано. Одно слово можно было кое-как разобрать — слово «правда», крупными буквами, а от текста оставалась лишь смутная сероватость: пока газеты сушились на крыше — солнце выжгло на них все без остатка. Сим-фориан Беспольный объяснил такое явление плохим составом употребляемых для печатания красок, в монастыре же усматривали в событии некое знамение,

и мне приказано хранить «Наровчатскую правду» отдельно от духовных книг. Действительно, статьи в газете богохульны...

Известная склонность моя к миру и умение обращаться среди разных лиц побуждают отца Рафаила прибегать постоянно к моему посредству в сношении с городскими властями и сведущими людьми. Вследствие этого мне доводится многое наблюдать из нравов нашего города и нередко приносить полезное монастырю. Так, узнав недавно от земельного комиссара Роктова о намерении изъять из нашего хозяйства племенного быка для национализации, я успел уведомить об этом отца эконома. На городском пожарном дворе опростали нашему бычку подходящий хлевок, но к тому времени, с благословенья отца Рафаила, мясо бычка мы частью продали, а частью обратили в солонину. Новое разорение пострадавшего монастыря нашего было предотвращено, после чего у братии за мною укрепилось звание «предотвратителя», в котором я продолжаю состоять донныне.

...Думаю, что вступительное к хронике объяснение вполне достаточно. Если рукописи моей суждено попасть в руки историка, ему ничего не нужно будет от меня, кроме фактов. К фактам я и перехожу, сделав еще одно краткое напутствие: имена города и реки, на которой лежит монастырь, а равно — некоторых должностных лиц мною измышлены. Город я назвал Наровчатом в память родины моей покойной матушки. Остальное переменил из желания беспристрастности, требуемой от летописца, а также ради верности писательскому обычаю.

Сегодня явился в детский интернат бывший кладбищенский дьякон Истукарий, состоящий на службе в отделе записей актов гражданского состояния. Страшен вид этого человека! Остригся, в курточке, портсигар из карельской березы. Зашел к отцу Рафаилу.

— Худо, — говорит, — вам, отец, без специально-ети. У белого духовенства в наше время есть выход:

рождения и браки совершаются помимо революции, смертей даже прибавилось. Закроют монастыри — куда денетесь? Клобук-то небось давит?

— Ничего, — смиренно возразил отец Рафаил, — привычка.

— Не одобряю. Косность, — сказал Истукарий.

Из губернии прибыли новый председатель и секретарь Наровчатского совета. Видел их переходящими улицу около Народного сада (бывший увеселительный сад «Эльдорадо»). Председатель необычайной худобы и как бы прозрачен. Покашливает, щурит глаза, вероятно по близорукости, а очень может быть — притворяется. Но в матросской форме и шагает с бойкостью. Рядом с ним — секретарь, невелик, довольно упитан, с лица бел, приятен и весьма юн. Картуз студенческий, полинялый. Походка не строгая.

Я размышлял над словом отца игумена — привычка. Кроткое, но роковое слово! До чего сильна над человеком власть привычки! И тут я невольно подумал о нашем Пушкине. Пережив все потрясения эпохи, он по-прежнему свершает предначертания своей таинственной судьбы. Может ли он отказаться от иллюзии, руководящей его жизнью? Но, впрочем, опишу эту примечательную жизнь подробнее.

Вот уже много лет в нашем городе проживает некий Афанасий Сергеевич Пушкин, родом из крестьян, окончивший городское четырехклассное училище. Более обстоятельно об его биографии ничего не известно. Прибыл он в Наровчат бог знает откуда, уже со свидетельством об окончании училища и не в очень молодых годах, после чего получил место в конторе товарной станции, где писал накладные на железнодорожные грузы. Всю жизнь Афанасий Сергеевич отличался аккуратностью по службе, занимаясь в маленьком чуланчике с окошечком, рядом со станционным весовщиком. В служебное время, с утра до вечера, Афанасий Сергеевич оставался в своем чуланчике для постороннего глаза невидим, разве только просунет кто-нибудь в окошечко руку, чтобы

показать, что вот, мол, на дубликате накладной не разберешь: четыре копейки городского сбора или семь? Между тем поглядеть на Афанасия Сергеевича прямо поучительно, и это вполне всем доступно, но только в другой час дня.

Если бывают на свете так называемые шутки природы, то надо подивиться жестокости, с какой иной раз такие шутки природой совершаются. Для чего понадобилось природе воспроизвести в лице описанного крестьянина с городским четырехклассным образованием с полной близостью покойного поэта Александра Сергеевича Пушкина? Какому неразумному случаю обязан этот человек тем, что, помимо точного сходства с знаменитым писателем, он по законной выписи из метрической книги оказался обладателем и самого прославленного имени? Но натура вступила в заговор со слепым случаем, и шутка свершена: в городе Наровчате, почти век спустя после смерти А. С. Пушкина, живет новый А. С. Пушкин.

Похож он на настоящего Пушкина воистину разительно. Невысокого росту, плотного сложения, курчав и темно-рус, почти черен, носит бакенбарды, рябоват, особенно на носу в крупных оспинах, но не безобразных, нос немного приплюснут, и губы оттопырены. Кто хоть плохо вспоминает портрет поэта Пушкина, тот не может не содрогнуться при взгляде на его наровчатское повторение.

Однако вся особенность такого случая прошла бы, вероятно, мало замеченной, когда сам Афанасий Сергеевич не обнаруживал бы ее со рвением и неослабным постоянством.

Живет он в доме Вакурова в полном уединении. Вакуров — помещик нашего уезда, — будучи воодушевлен идеей о том, что Наровчату предначертано стать своего рода российским Чикаго, вознамерился положить начало новому градостроительству. Для этой цели он соорудил на полдороге от города к товарной станции великую громаду в четыре этажа — высота, невиданная в наших местах. Планы писали к этому дому отечественные строители, почему лестницы были приложены по завершении постройки со сто-

роны заднего фасада, снаружи. В длину всего дома тянутся широкие чугунные площадки, на которые выходит множество дверей. Окон с этой стороны строения вовсе нет, отчего оно напоминает хлебный амбар. Любопытно наблюдать, как по чугунным лестницам и площадкам взбираются и ползают жители редкостного здания. Избрав для строения пустырь между городом и товарной станцией, помещик Вакуров доказывал неизбежность распространения Наровчата к железной дороге, где и должно было возникнуть российское Чикаго. Но за десять лет никаких построек здесь не появилось, а пустырь был отдан в аренду под бахчу. Помещик Вакуров объявил себя несостоятельным должником, после чего скончался, а сооружение его возвышается по сей день в величественном одиночестве, вызывая изумление приезжих людей.

Именно в доме Вакурова, на верхнем этаже, с краю, и здравствует Афанасий Сергеевич. Пребывая, кроме служебных часов, почти в затворе, этот человек еженедельно по воскресным дням, в сумерки, когда главная улица Наровчата кишит гуляющими молодыми людьми из реального училища, из почтовой конторы, из женской гимназии и различных магазинов, появляется в центре города. Он проносится стремительно из одного конца улицы в другой, идя по мостовой вблизи тротуара, наклонясь верхней частью корпуса значительно вперед и заложив руки за спину. Надо видеть в такие минуты Афанасия Сергеевича! Взгляд его черных глаз горит, черты благородного лица исполнены твердости, поступь как бы надземна, вся фигура его замечательна. Одет он в этот час совершенно так же, как одевался поэт Александр Сергеевич — в шинели николаевской моды, с крылатою накидкой до пояса, в твердой высокой шляпе. Проходит он всего один раз мимо гуляющей публики в трепещущей от быстроты движений черной крылатке, развеваемой иногда ветром, и всем своим образом напоминает прославленного поэта, если позволительно так выразиться — прямо мистично. И тогда навстречу ему и следом за ним из сотен, а может быть и тысяч уст несется слово:

— Пушкин, Пушкін, Пушкин!

Одни произносят это имя насмешливо, другие с озорством, третьи даже восторженно, что легко объяснить тем, что город наш невелик и достопримечательностей в нем мало, почему многие, выросшие здесь, очень гордятся Афанасием Сергеевичем. Нередко позади него, едва успевая за скоростью его шагов, бегут мальчишки, оглашая улицу все теми же криками:

— Пушкин, Пушкин!

Афанасий Сергеевич мчится своей дорогой, не обращая ни на что внимания. Случалось, что какой-нибудь сослуживец Афанасия Сергеевича по конторе товарной станции, из желания поиздеваться над своим товарищем, закричит ему вдогонку: «Афоня, пойдем раздавим пару пива!» — или что-нибудь подобное. Но Афанасий Сергеевич уже исчез в конце главной улицы и пробирается к дому Вакурова окольными, нимало не освещенными путями.

От своего правила показываться в таком виде в городе каждое воскресенье в один и тот же час Афанасий Сергеевич не отступал и после революции. Гуляний на главной улице за последние два года совсем не стало, вид ее уныл и пустынен, юношество рассеяно по республике войною и прочими бедствиями, появление в городе молодых девушек уже не доставляет никому развлечения, и они прекратили это занятие. Вообще, мирская жизнь приблизилась по внешности к монашеской, хотя монастыри не пользуются у мирян прежним благоволением. Но, несмотря на упадок городской жизни, как бы не замечая его, Афанасий Сергеевич Пушкин, все так же чудесно похожий на славного своего двойника, продолжает совершать по воскресным дням мечтательные прогулки по главной улице.

Вчера вечером, пробираясь к земельному комиссару Роктову, чтобы осведомиться о городских новостях, я повстречался с Антипом Грустным. Безлюдие в городе было полное, и я узнал нашего поэта изда-

лека. Очертание его было более примечательно, чем обыкновенно, словно бы он падал ничком и торопился подставить под наклоненное вперед туловище короткие ножки, которые за ним не поспевали.

— Здравствуй, Игнатий, — сказал он, тряся мне руку, — что поделываешь?

— По-старому, — ответил я.

— А я погружен в творчество! — воскликнул Антип Грустный, не выпуская моей руки. — Написал нынче ночью торжественный гимн, очень удалось. Под утро я чуть не разрыдался. Вот послушай, как кончается:

А мы идем.
Мы все идем,
Идем, идем,
Идем, идем!

Напоминает колокольный призыв, набат такой, понял? Бегу сейчас в редакцию, хочу поместить воззвание ко всем композиторам республики, чтобы, знаешь ли, изобразили мой гимн в музыке.

Антип Грустный передохнул, вытер губы и воскликнул с новой силой:

— Ах, Игнатий! Творчество! Что за упоительная и бескрайняя...

Но тут произошло обстоятельство, которое прервало течение нашего разговора. Антип Грустный вдруг содрогнулся и вперил свои глаза куда-то через мое плечо, привстав на цыпочки. Я обернулся и увидел стремительно шагавшего Афанасия Сергеевича. Он мчался прямо на нас, не в пример своему обычаю — по пустынному тротуару, а не по мостовой. Вид его был вполне обыкновенен для воскресного дня. Но этот вид подействовал на Антипа Грустного, как красный плащ на разъяренного быка. Всегда довольно медлительный, Антип Грустный рванулся в сторону и преградил Афанасию Сергеевичу дорогу.

— Стой, стой, — крикнул он, хватая его за крылатку, — стой!

Волнение Антипа Грустного, его жестокий окрик и вся неожиданность сцены, вероятно, испугали Афанасия Сергеевича, и я видел, как его лицо покры-

лось смертной бледностью. Он стоял неподвижно. Боже, до чего велико было в эту минуту роковое сходство нашего Пушкина с его усопшим однофамильцем! Я не мог оторваться от его лица. Между тем Антип Грустный вцепился крепко в крылатку Афанасия Сергеевича и, не в силах выговорить ни слова от необъяснимого гнева, рычал, подобно дикому зверю.

— Наконец-то ты мне попался, презренный авантюрист! — расслышал я чуть внятные сквозь рычание слова Антипа Грустного.

Он приблизил свое искаженное лицо к лицу Афанасия Сергеевича и вытарашил глаза.

— Молчи! — крикнул он на всю улицу, хотя жертва его непонятого исступления не думала что-либо произнести.

— Да знаешь ли ты, кто с тобой говорит, несчастный? — дрожа и потопывая ножками, спросил Антип. — С тобой говорит народный поэт Антип Грустный, который написал много разных стихов и большой неувядаемый гимн! Меня на музыку будут перекладывать! Моими словами великий народ выскажет свои думы и заветные мечты! А ты что? Ты за всю жизнь ни одного стишка не написал, ничтожность! Как же ты вправе трепать по улицам облик знаменитости Пушкина? Как ты смеешь напоминать своей мерзкой рожей всеми уважаемое лицо стихотворца? Стыд и позор тебе!

Антип Грустный, опять зарывав малопонятное, начал трясти Афанасия Сергеевича так сильно, что у того запрыгала шляпа. Я же всматривался с болью в страдальческое выражение незабываемых черт Афанасия Сергеевича, не находя в себе сил побороть растерянность. И вдруг я заметил на глазах несчастного две крупных, готовых упасть слезы. Он как бы отсутствовал из действительности, созерцая нечто несказанно печальное и только телом своим отзываясь на тряску, которой подвергал его исступленный Антип. Сердце мое сжалось. Я поднял руку, чтобы вмешаться в бессмысленное дело, но Афанасий Сергеевич нежданно вырвался из рук мучителя, повернулся и побежал туда, откуда шел.

Вскоре сумерки скрыли развевавшуюся от быстрого бега черную крылатку. Я подумал, что, может быть, впервые за всю жизнь Афанасий Сергеевич Пушкин изменил свой маршрут и не дошел до конца главной улицы.

Не взглянув на Антипа Грустного, дышавшего тяжело, и не сказав ему ничего, я пошел за угол своей дорогой.

Я застал земельного комиссара Роктова на грядках около дома, в котором он проживает с давних лет. В вечерней темноте он собирал на ощупь огурцы. Я разглядел его, когда мы вошли в горницу и он зажег лампу. Комиссар был в ситцевой рубашке, заправленной в штаны. Живот его стал еще больше, глаза... но что я могу сказать о глазах земельного комиссара Роктова? В прежние времена по престольным праздникам у нас в монастыре случалось великое скопление уродов, и я повидал множество человекопротивных глаз. Однако столь омерзительного взгляда, как у Роктова, не запомню. Глаза у него не больше, думаю, чем у вороны, и такого же непроницаемого цвета, обведенные на самую малость кружочком белка. И это в то время, как другие части лица его более нежели крупны, а нос — так тот даже огромен. С тех пор как я имел с комиссаром свидание по поводу монастырского бычка, он потучнел весьма значительно.

— Ну что, блаженный? — спросил он, между тем как глаза его смотрели как будто на меня, а как будто и не на меня: совершенно как у птицы.

— Скоро бросишь обитель? Брось. Все одно — рясник да не монах, терять тебе нечего. А монастырь разгонят. Полегоньку, помаленьку.

— Слухи разве какие есть? — спросил я.

— Слухов нет. Известно, что вас скоро уплотнят. Лазарет у вас будет.

— Как так — лазарет?

— Не каркай, — отвечивал комиссар, — ты где живешь, в чьем государстве? Разве тебе неизвестно,

что вокруг деется? Почему ты до сего часу не в Красной Армии, лодырь?

— По причине плоской ступни, — возразил я, — освобожден за негодностью. Однако верно ли вы говорите насчет лазарета?

— А тебе какое дело? На-ка, выпей, — сказал комиссар, наливая темной жидкости из четверти в стакан. — Не хочешь? Зря дорожишься, все одно к этому придешь.

Он перелил в рот, точно в воронку, содержимое стакана так, что я не заметил, чтобы он хоть раз глотнул, затем покачался немного, закусил огурцом и осипшим голосом продолжал:

— Не могу взять в толк, что за напиток? Прислали из губернии для борьбы с вредителем. Крепкий. Хотя по ночам сильно блюешь, но голову держит в тумане. Ты вот что, приходи завтра к Симфориану, поговорим. Я тебе и про лазарет скажу и про председателя — лютый! А теперь — пошел! Мне надо ложиться, сейчас рвать начнет. Ступай, ступай!

Он вытолкал меня, и я очутился на огороде.

Ввиду наступившего ночного часа я пошел не прямым путем, а по главной улице. Проходя мимо флигеля, в котором жительствоет новый председатель совета, я остановился у окна. Оно было завешено белой материей, сквозь занавесь светилась лампа, и я различил неподвижную человеческую тень в комнате. Наровчат наполовину уже опочил. Только в тоске подвывали собаки, и хотя я по природе не боязлив, мне стало не по себе пред лицом тени неизвестного человека на занавеси окна. Тут чей-то голос придуренно раздался за моей спиной:

— То-ва-рищ Игна-тий!

Я оглянулся. Никого подле меня или где-либо поодаль не было. Я почувствовал трясение в коленях и побежал, творя молитву.

Сообщив отцу Рафаилу о намерении властей разместить в монастыре военный лазарет, я поверг его в тягчайшую заботу. Он опустил пред аналоем и

прочитал благоговейно псалом Давидов: «Господи! долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов — одинокую мою...»

Я положил три земных поклона и ждал, что скажет настоятель.

— И один волос не упадет с главы без его воли, — произнес он, вздохнув. — А ты, Игнатий, свершай назначенное тебе: ступай и не возвращайся, доколе не узнаешь с точностью, какая беда ожидает нашу обитель.

После того я собрал в узелок пищу и отправился в город.

Там повстречал я мать-казначею наровчатского женского монастыря. И тут я с ясностью уразумел всю необходимость постоянного прикосновения к мирским событиям текущего смутного времени. Оказывается, вот уже третий день благочестивые миряне Наровчата и причты городских церквей взволнованы несправедливостью, содеянной над нашими христолюбивыми сестрами. По рассказу матери-казначей, обстоятельства происшествия рисуются следующим образом.

В городском сосновом парке, что возле спиртового склада, военные власти соорудили летний открытый театр для воинов Красной Армии и простого народа. Парк очень велик пространством, и в театральные перемены зрители расходятся по отдаленным дорожкам и даже по глухим местам, преимущественно парно, то есть мужчины с женщинами, что — по словам матери-казначей — особенно усугубляет трудность собрать народ к продолжению театра. Приходилось посылать людей во все концы парка с колокольцами, трещотками или просто крикунов, чтобы они созывали отвлекшуюся от представления публику. Из такого положения проистекало много неудобств для хода зрелища, и актеры придумали водрузить на особом столбе перед театром громкозвучный колокол.

Начальник наровчатского красного войска, в просторечии — военком, к которому актеры обратились за таким колоколом, не думая долго, приказал национализировать один колокол с колокольни женского

монастыря. Так как в монастыре квартирует гарнизонная полурота, то дело за исполнением приказа начальника не стало. Четвертого дня, явившись в монастырь как бы по служебному делу, воины Красной Армии сняли со звонницы альтовый колокол весом в два с половиною пуда и отвезли на двуколке в парк.

Этим неслыханным деянием не только причинено разорение монастырской казне, но нанесен вред самой нетленной красоте, гармонии колокольной гаммы, нарушенной изъятием неизъемлемого тона.

В день национализации колокола мать-казначей поспешила к новому секретарю совета с прошением о возврате монастырю его собственности. Тогда разразилась великая пря между начальствующими Наровчата, нисколько не утихшая по сей день.

Секретарь совета отправил военкому бумагу с требованием возвратить монастырю колокол, ибо по смыслу декрета об отделении церкви от государства первая в своих обрядах не утесняется. На эту бумагу военком ответил, что секретарь, обеспокоенный неутеснением церкви, запаматовал-де трудящихся города Наровчата, интересы которых он призван соблюдать и коим надобен громкозвучный колокол для сигнализации в театре. Секретарь возразил на это, что военком обязан был для достижения совершенства в театральной сигнализации согласовать свои действия с отделом юстиции и тогда не получилось бы беззакония, волнующего граждан. Тогда военком ответил, что он и подчиненные ему воины Красной Армии не волнуются, что волнуется секретарь, как видно, потому, что ему — секретарю совета — близки идеалы попов и буржуев. После этого секретарь доложил переписку самому председателю, который приказал позвать к себе военкома для личного объяснения.

Чем дело окончится, сказать невозможно, но в городе только и разговору, что о колоколе, и даже о том, что скоро все колокола снимут и препроводят в Москву, где будто бы так много театров и увеселений, что своих колоколов не хватило и туда везут со всей России. И еще говорят, что военком в полной

силе и никогда не пойдет к председателю, хотя все же малая надежда есть, потому что председатель — матрос.

Выслушав рассказ матери-казначей, я значительно оробел. Страшно стало подумать, от каких случайностей зависит религиозная жизнь православных христиан и, может быть, сама история нашей церкви! От робости я не нашел ничего сказать в утешение матери-казначей.

— Вот вам, матушка, довелось по колокольному случаю бывать в присутствиях совета. Не слыхали ли вы там об уплотнении нашего монастыря военным лазаретом? — спросил я.

— Не слыхала.

— Не можете ли вы тогда сказать, каков по обращению секретарь, с которым вы говорили, и доступен ли он жалости?

— По обращению, — ответила мать-казначей, — он вполне деликатный, но жалости вряд ли доступен. Все, говорит, будет введено в рамки. В какие-такие рамки, я — прости господи! — не посмела спросить, но слезы у меня словно рукой сняло.

Я поклонился матери-казначей в пояс, и мы расстались.

Как ни старался я разузнать что-нибудь о занимавшем меня деле, никто в городе ничего не мог мне сказать. Так что я уже начал подумывать, не подшутил ли надо мной земельный комиссар Роктов. Но к вечеру я добрался до Симфориана Бесплезного, и у него пришлось удостовериться в печальной истине и сверх того пережить чувства, многопамятные на всю мою жизнь.

Едва я приблизился к собственному дому Симфориана, что в Затоне, как до меня донесся шум голосов. Я замедлил шаги, но продолжал подвигаться вперед, уже различая, что шум исходит из сеней Симфорианова дома. Вскоре дверь распахнулась, и я признал в кричавших самого хозяина и бывшего диакона Истукария.

— Я эти твои увертки знаю! — кричал Истукарий. — Ты к чему назвался Бесполезным? Кого ты этим уязвить хотел? На что намекаешь, когда каждому сознательному гражданину известно, что Симфориан — имя означает как раз наоборот — полезный?

— А тебе досадно, досадно, — старался перекричать Симфориан, — досадно, что имя Истукарий вообще ничего не означает, дегенерат ты этакий!

— От деренегада слышу!

Именно такое искаженное слово прокричал Истукарий, когда Симфориан вытолкал его на волю, взяв за плечи. Я собирался укрыться, чувствуя, что пришел не ко времени, но хозяин заметил меня и втащил в дом, хлопнув сенной дверью перед самым носом бранившегося Истукария.

Еще будучи в сенях, я почуял благовоние, подобное мироуханию плащаницы. Но как только я переступил порог горницы, благовоние это затуманило мою голову едва не до беспамятства. Причина такого явления была неясна, однако в горнице благовоние напомнило мне скорее душистое мыло для туалета, чем мироуханные масти. На столе я увидел стаканы с молоком и очищенный вареный картофель в тарелке. В комнате, кроме хозяина, находился земельный комиссар Роктов. Он сидел, выпятив поверх брюк свое чрево, прикрытое ситцем, и зажмурил глаза. В соседней комнате, проходя, я различил в уголке супругу Симфориана — бывшую матушку Авдотью Ивановну. Больше в доме никого не было.

— Выгнал? — спросил Роктов, отчего живот его дрогнул.

— Прогнал, — сказал Симфориан, пододвигая мне стул и садясь сам. Лицо его блестело от поту, взор был мутен и блуждал мрачно. Он обратился ко мне: — Истукарий пришел меня нравственной чистоте обучать, видишь ли. Зачем, говорит, я в «Эльдорадо» девочек гулять вожу, это, говорит, оскорбляет раскрепощенное сознание моей жены. А та, дура, конечно, в рев — обидно! Мне, говорит Истукарий, следует с женой развестись, а не угнетать ее своим распутством. У него по столу разводов безработица, боится

начальства, каналья! Потянут за бездеятельность! А может, и впрямь развестись, а? Дуня, — закричал Симфориан, — Дуняша, хочешь завтра развод? Не реви, распустила нюни!

— Я пришел за справочкой, — начал я, опасаясь возможных неприятностей.

— Насчет лазарета, — сказал Роктов, — и пускай уходит: я хочу одиночества.

Мне показалось, что земельный комиссар говорил во сне, потому что глаз его вовсе не стало видно и голова валилась на плечо. Я встал, но Симфориан усадил меня снова.

— Ну, пускай остается, — сквозь сон пробормотал Роктов, — я общество люблю.

Вдруг он дернулся, открыл глаза и стукнул обеими руками по столу, так что картошка посыпалась с тарелки в разные стороны.

— Давай! — прохрипел он, наваливаясь на стол.

— Давай! — отозвался Симфориан.

Тут я сделался свидетелем человеческого умопомрачения. Симфориан и Роктов поднялись и взяли стаканы с молоком. Потом они крепко зажали пальцами носы, зажмурились и мигом опрокинули содержимое стаканов в широко раскрытые рты. После того поспешно выдохнули из себя воздух, набрали заново, опять выдохнули и так раз до пяти. Видно, напиток был очень крепок, потому что Симфориан корчился, точно проглотив пригоршню живых червей и ощущая во внутренностях шевеленье, а у Роктова запало чрево, как от удара. Наконец оба они отошли и принялись за картошку.

Симфориан вспомнил Истукария:

— Поди когда надо было поступать на службу, в ноги кланялся, чтобы я его преданность удостоверил. Как прикажете быть, если в человеке нет благодарности?

— Никакой, — согласился Роктов и продолжал: — Обидно проявлять активность. В прежнее время, когда я в управе городским садоводом состоял, вот были люди! Как сейчас помню, вращил я в полбутылочку огурец. Получилось, будто положен в полбу-

тылочку огурец, а как положен — неизвестно, вынуть его ни-ни! Чудо! Преподнес его офицерскому собранию. Мне за это благодарность приказом объявили. А нынче что? Ну, обсадил я резедою могилу нашей жертвы на бульваре, вензелями пустил, с серпом с молотом, с лозунгами. И хоть бы кто икнул! Ни мур-мур! Руки опускаются!

— Ты насчет лазарета? — спросил меня Симфориан. — Лазарет у вас будет, верно.

— Неужели не окажут снисхождения? — воскликнул я. — И к какому начальству следует обратиться, посоветуйте, ради господя!

Симфориан взглянул на меня столь мрачно, что я прикусил язык.

— Обращайся куда знаешь. Я для вашего брата пальцем о палец не ударю. Нету мне на земле спокойной жизни, покуда не перевелись святые! Не люблю святых!

Он вдруг рванул себя за ворот и прокричал страшно:

— Ой, тоска, тоска! Целый город людей и ни единой живой души! Куда ни глянь — все рыла! Может, один человек, один-единственный на весь Наровчат, да и тому нет места, затравили!

— О ком говоришь? — спросил Роктов.

— Не о тебе, ты тоже — рыло!

— Согласен, — сказал Роктов.

— Единственный человек в Наровчате — Пушкин, — прочувственно объявил Симфориан.

— Этот — просто дурак, — отвечал Роктов.

— Дурак? — Симфориан вскочил от негодования. — Дурак? Эх, что с тобой говорить! Игнатий, разве Пушкин — дурак?

— Я не считаю Афанасия Сергеевича глупым человеком, — сказал я, — мне кажется, в нем сильная игра воображения.

— Вот — слово: воображение! Единственный в Наровчате человек с воображением, человек, а не рыло!

— Что же Афанасию Сергеевичу угрожает, что вы говорите, будто бы ему нет места? — спросил я.

— А вот что, — сказал Симфориан и достал из кармана записную книжечку. — Я, братец, газетчик, у меня здесь все есть, — показал он на книжечку. — Я в человеческом общежитии, как губка в воде. Вчера я копию с одной бумаги записал, слушай:

«Гражданину Афанасию Сергеевичу Пушкину,
в дом бывший Вакурова.

Предписываю вам с получением сего немедленно оставить появление в городе в несвойственном виде, т. е. в одежде писателя Пушкина, и тем вводить в злостное заблуждение честных граждан и вообще прекратить обман пролетариата. В случае неподчинения, приму зависящие меры.

Начальник Наровчатской гормилиции

Макарушкин»,

Прочитав, Симфориан с рычанием забежал по комнате, грозя кулаками. Потом хлопнул по спине Роктова, успевшего задремать, и кинулся к комоду. Оттуда он вынул флакон и показал его Роктову со словами:

— Ну, тройного, что ли?

— Давай, — всколыхнулся Роктов и опять ударил обеими руками по столу.

И тут открылся для меня секрет непонятного напитка. Флакон, который был вынут из комода, оказался наполненным цветочным одеколоном. Симфориан налил стаканы наполовину, добавил воды. Жидкость сделалась молочно-белой.

Я не мог смотреть на то, как пили приятели, зажав носы. Я только слышал страшное кряхтенье и, закрывая лицо руками, ждал, когда все кончится. Как только стихло, я осмелился взглянуть на Симфориана и опять закрылся от страха. На лбу его взбухли синие жилы, рот исказился, глаза налились кровью. Вдруг раздался шум и стук; Симфориан в гневе отметнул от себя стул.

— Что ты корчишься? — закричал он на меня. — Точно от дьяволова наваждения! Небось не сгину! У-ух, не люблю святых, жизни мне нет, покуда они не вывелись! Сам был святым, сам попа ломал, не

люблю! Роктыч, Роктыч, — завопил он, — давай выводить святых, давай стрелять!

Я вскочил и, осенив себя крестом, отбежал к печке.

Симфориан подошел к кровати, достал из-под матраца револьвер, поднял стул, сел посреди комнаты. Я взглянул с последней надеждой на Роктова; он спал сидя. Я заткнул уши и ожидал. Тогда только я уразумел, на какое дело поднималась рука ослепленного безумца. В переднем углу висела икона десяти мучеников критских — известный образ греческого письма. В святые лики мучеников и целил Симфориан. Боже мой, господи, за какое злодейство наказал ты меня, окаянного раба твоего, ниспослав такое испытание недостойному моему духу? Я хотел крикнуть, но голос отняло у меня; я попытался двинуться, чтобы отвести руку святотатца, но ноги мои не повиновались мне.

Между тем Симфориан, ухватив левой рукою запястье правой и держа в последней оружие, прищурился и возгласил по-церковному, что у него, как бывшего иерея, получилось внушительно:

— Иже во святых отец наших мученика Агафопуса...

Весь дом вздрогнул. Я видел, как от сотрясения воздуха погасла и опять зажглась лампа, потом дерзнул поднять глаза на поруганную святыню. Один из десяти мученических ликов был пробит пулею, и вокруг того места лак на иконе обсыпался.

Тогда я, как бы вырванный невидимой силой из неподвижности, бросился к выходу. Но в дверях стояла бывшая матушка Авдотья Ивановна. Бледная, как плат, она протягивала дрожащие руки к мужу, безмолвно взывая к его благоразумию. Взглянув на меня, она умоляюще прошептала:

— Машеньку испугает он до смерти, Машенька — дочка — спит на печи.

Я обернулся к Симфориану, но свирепость его отшатнула меня.

— Уйди! — крикнул он и, поднимая оружие, возгласил: — Иже во святых отец...

Авдотья Ивановна всплеснула руками и закачалась. У меня перевернулось сердце от жалости. Я взял Авдотью Ивановну под руку и отвел к кровати, на кухню. Там она, плача, опустилась на постель. Я в растерянности смотрел на нее, не зная, чем помочь. Она же убивалась горько, ломая руки. Волосы ее развязались и скатывались по спине, шаль упала до пояса, и я увидел, что Авдотья Ивановна была вполне готова ко сну, но от горя совершенно забыла о виде своей одежды. Тут смешались мои чувства, потому что сострадание толкало меня утешить несчастную, но в подобном положении и столь близко видел я женщину в первый раз от своего младенчества. Не только белые плечи ее, накрытые волосом, но и самые груди находились перед моими глазами. Не помню, какую молитву совершил я про себя. Только почудилось мне, что господь пощадит непорочную мою юность, и в тот же краткий миг обрел я в себе новую силу для христианского участия в Авдотье Ивановне. Я положил руки на ее плечи и приготовился сказать утешение, когда из горницы слышался голос Симфориана:

— ...отец наших мученика Помпия...

Выстрел был оглушителен. От страшного испуга у меня подогнулись ноги и лицо мое само собой очутилось на груди Авдотьи Ивановны, а руки, положенные ранее на ее плечи, крепко держались за них, противу моей воле. Господи, смилуйся надо мной, многогрешным! Не помня себя, я лобызал грудь Авдотьи Ивановны, и в памяти моей ничего, кроме великого жара, не сохранилось.

Как я выбежал из Симфорианова дома — неизвестно. В голове моей стоял звон, от оглушения ли стрельбой, или от чего другого — перед истинным богом, — не знаю.

Предшествующее описание я закончил рано поутру, когда рассвело. Дыхание мое теснила непонятная тяжесть. Я раскрыл окно. День začínался обычной своей торжественной утреньей. Пели птицы,

ветерок раскачивал деревья, за стеною от речки Гордоты подымался туман. Я готов был разрыдаться — так тяжело было мне видеть спокойствие природы, когда душа моя мучилась греховным волнением. Вдруг до слуха моего донесся сострадающий голос:

— Мятешься, Игнатий?

Я выглянул в окно. Отец Рафаил, совершая утреннюю прогулку, остановился у моей келии. Я опустил голову и проговорил с трудом:

— Мятусь, отец Рафаил.

Он ничего не сказал, глубоко вздохнул и удалился. А я упал на свою койку и плакал.

Нынче в городе большое смятение, как бы случилось что-нибудь государственной важности. Действительно, убедившись в слухах, я понял, что произошло событие, а именно: исчез неизвестно куда Афанасий Сергеевич Пушкин. Исчезновение обнаружено было жителями вакуровского дома и подтвердилось на товарной станции служебным начальством конторы. Шел третий день с тех пор, как последний раз видели Афанасия Сергеевича. Я поспешил к дому Вакурова. Народ стекался туда в большом числе, несмотря на будний день, так что образовалась толпа. Скоро прибыли чины городской милиции во главе с начальником Макарушкиным. Должны были произвести вскрытие жилища Афанасия Сергеевича. И вот народ затаил дыхание, глядя, как начальство, в сопровождении понятых, взбиралось по навесным лесенкам и площадкам громадного строения. Наконец Макарушкин достиг последней двери верхнего этажа, и другие чины обступили своего начальника. Через минуту раздался стук падения сорванного замка на чугунную площадку. Дверь открылась и поглотила людей. Все, стоявшие вокруг меня, ожидали самого ужасного, и минуты тянулись для нас бесконечно долго. Но вот начальство опять появилось на площадке, и погода мы узнали, что в жилище Афанасия Сергеевича ничего не обнаружено. Макарушкин дал распоряжение опечатать дверь, но печати и сургуча

не оказалось, и все начальство отбыло в город, поручив наблюдение за имуществом Афанасия Сергеевича понятым. Последние по мягкосердечию и бессознательности, а вероятно и просто со скуки, начали допускать любопытных в охраняемое помещение, и таким путем я имел случай осмотреть жилище Афанасия Сергеевича.

Чувство, какое я испытывал при этом осмотре, не могу назвать иначе, как умилением, хотя многие из бывших со мною горожан смеялись. Жилище Афанасия Сергеевича состоит всего из одной комнаты, заполненной вещественными напоминаниями о жизни и творениях Александра Сергеевича Пушкина. Стены увешаны снимками с известных изображений прославленного поэта, картинами к его сочинениям, полкою со всевозможными о нем книгами.

Не говоря о нашем монастырском книгохранилище, даже в светской библиотеке Наровчата не найдется такого тщательного подбора произведений о Пушкине. На всякой мелочи в этой комнате лежит отпечаток любовной руки почитателя поэта. Из других предметов скромного обиталища внимание мое остановило большое, в пышной раме зеркало, в котором Афанасий Сергеевич мог видеть себя во весь рост.

Я покинул опустевшее жилище с такой грустью, как если бы бросил на произвол сироту. Моя личная печаль уступила место тревоге за судьбу Афанасия Сергеевича, и я молил господа оградить его от греха.

Пока я находился с толпою около дома Вакурова, меня разыскивали в монастыре. В самом деле, уйти, не сказавшись, в такое время, когда с минуты на минуту могло разразиться над монастырем несчастье, было легкомыслием немалым! Войдя в келию отца Рафаила, я застал его готовым к походу.

— Пойдем, — строго сказал он и вышел, не удостоив меня благословения.

Лошадей у нас давно отобрали, и это был первый после революции поход отца Рафаила в город. Он

шествовал молча, опираясь на посох и по уставу не подымая глаз от земли. Я следовал за ним в трех шагах и чем более вглядывался в его величественную и одновременно смиренную поступь, тем явственнее чувствовал, что этим человеком руководит некая бескорыстная решимость. И тогда внезапно меня обуял стыд за свою суетность и за все свое ничтожное существо. Но непонятность намерений отца Рафаила и его безмолвие беспокоили меня выше меры, так что боль стыда скоро во мне утихла и я осмелился спросить:

— Куда направляете, отец Рафаил, ваши стопы? Но настоятель продолжал молчать.

И так дошли мы до главной улицы и до бывшей управы, где ныне помещался совет. Тут отец Рафаил остановился, осенил себя крестом, как перед входом во храм, и знаком руки велел мне открыть дверь.

Я повиновался с замиранием сердца, не предвидя ничего доброго в последующем. Между тем отец Рафаил с прежней покойной решимостью проследовал по лестнице и коридору и, встретив служителя, спросил, где можно говорить с товарищем секретарем совета. Тот отвечал, что надлежит подождать, пока секретарь придет, и отвел нас в его приемную. Там никого не было. Отец Рафаил опустился посреди комнаты на колени, лицом ко входу, и велел сделать мне то же, указав место рядом с собою. Я исполнил приказание. Тогда отец Рафаил сказал:

— Ложись, — и сам пал ниц.

Я лег, и так мы лежали короткое время в тишине, головами к открытой двери, как бы в покаянии. Потом раздались поспешные и громкие шаги, кто-то вошел в приемную и сразу остановился.

— Что это? — расслышали мы недоуменный возглас. — Что это такое?

Затем наступила пауза, после которой тот же голос, но заметно повысившись, опять спросил:

— Кто это? Зачем вы здесь?! Что за...

Тогда отец Рафаил, не шевельнувшись, с мольбою произнес:

— Не подыемся, доколе не внемлешь.

На что опять тот же голос, подкрепленный ударом ноги об пол, отвечал грозно:

— Встать, встать, немедленно встать!

— Не подыдемся, доколе...

— Встать, говорю, встать!

И так пошло: отец Рафаил, не двигаясь, настаивал, чтоб его выслушали, а неизвестный, топавший у наших голов башмаками, не унимался и кричал, чтобы мы встали. Потом он заявил решительно:

— Я не скажу с вами ни слова, пока вы валяетесь на полу, — и выбежал, крича на весь дом: — Кто их пустил сюда, черт подери! (Да простится мне это черное слово, записанное лишь ради одной истины.)

Отец Рафаил и я продолжали неподвижно лежать, когда кто-то подошел к нам и толкнул по очереди сапогом довольно чувствительно:

— Ладно прикидываться, подымайтесь, не то подыдем силком!..

Делать было нечего, и отец Рафаил, поднявшись, велел мне встать. Тогда в приемную возвратился секретарь совета, и я по голосу узнал, что это он на нас кричал и топал ногами. Однако в лице его я не только не приметил свирепости или гнева, но даже показалось мне, что он легонько улыбается, хотя чему приписать улыбку в таком серьезном положении, я не мог понять и подумал, что это у него от природы.

Отец Рафаил рассказал секретарю, что, по частным сведениям, власти предполагают поместить в монастыре лазарет и что такое действие равнозначит полному закрытию обители, так как монастырь и без того стеснен до предела детской больницей с приютом, называемым интернатом. Секретарь выслушал доводы отца настоятеля со вниманием и отвечал кратко:

— Отправляйтесь к себе, я у вас буду и сам осматриваю помещения.

Мы поклонились в пояс и покинули совет обнадеженные, так что отец Рафаил сказал мне:

— Сразу видно человека по обращению: кричал он на нас из совестливости и хорошего воспитания. Бог не без милости...

Напрасны были наши надежды. День, начавшийся с беспокойства, готовил новые испытания. Для меня они были горьки и непосильны, ибо теперь, когда я веду свою запись, неведомые доселе чувства раздирают меня и малодушие мое так велико, что я не в силах даже помолиться. Я призываю все свое мужество, чтобы правдиво описать срам, испытанный мною.

Дело в том, что не успел я с отцом Рафаилом войти в монастырский двор, как нас догнала коляска, из которой выскочил секретарь совета. Полная неожиданность приезда ошеломила даже отца настоятеля, и он, как бы приняв секретаря за наваждение, осенил его крестом. На лице того я опять заметил улыбку, и он сказал:

— Ну, покажите мне ваши помещения.

Но у нас ничего не было приготовлено к встрече такого посетителя, и следовало бы предотвратить возможные нечаянности, хотя бы простым упреждением братии. Поэтому отец Рафаил, показав рукою на новый корпус, предложил:

— А вот, пожалуй, начнемте с тех строений, которые у нас уже отобраны властями под детский приют, называемый интернатом, и под больницу.

Говоря это, отец настоятель взглядом дал мне понять, чтобы я уведомил братию о прибывшем. Но секретарь вдруг заявил:

— Нет, чего же смотреть на то, что отобрано, давайте посмотрим, что еще не отобрано...

И здесь началось! Только-только мы поднялись на крыльцо, как из корпуса вывалился брат Порфирий с лукошком, полным жареных пирожков, от которых шел пар.

— Это вы, что же, на базар? — спросил секретарь.

— Так точно, гражданин, в толкучку, — словно обрадовавшись, рявкнул брат Порфирий, — не желаете ли свеженьких — с яйцами, с пшеном, с ливерочком?..

Отец настоятель отстранил Порфирия с дороги и дал секретарю посильное объяснение.

— Доходов в монастыре почти не стало, братии же нужно поддерживать существование, хотя бы самое нищенское. Отсюда — необычные для монашеских занятия...

Я поглядел на секретаря, и недоброе предчувствие вселилось в мою душу: быть беде, — подумал я, — у секретаря улыбочка-то не от природы, а от других качеств.

Отец Рафаил повел его по коридору, открывая по очереди двери и объясняя:

— Вот тут у нас кладовая для хозяйственных предметов, тут келарня, тут орудия для полевых работ — у нас ведь трудовое общество, коммуна, как говорится. А вот тут начинаются келии для братии нашего монастыря...

Он отворил дверь. Келия была пуста, койки не прибраны. Отец Рафаил открыл другую дверь. Здесь тоже было пусто и непорядку — пуще, чем в первой.

— А братия торговать ушла? — спросил секретарь.

— В трудах братия, на разной работе, — отвечал отец Рафаил, подводя секретаря к следующей келии.

Три человека вскочили из-за стола, едва мы показали в дверях. Только одного из них я знал, других видел впервые. Все они были без подрясников и почему-то прятали руки за спины и в карманы. В келии стоял табачный чад. На столе я различил картуз табаку Бостанжогло. Секретарь быстро подошел к одному из этих людей.

— Вы чем занимаетесь? — спросил он.

— Безработный, — ответил тот.

— Что вы тут делаете? — вмешался отец настоятель.

— Истинный бог, мы не на деньги, отец Рафаил!

— Нет, нет, вы меня верно поняли. Раньше чем занимались? — допытывался секретарь.

— Бакалеей.

— То есть торговали?

— Лавочку держал ни бог весть какую. После разорения не имею средств, стеснен...

Я не мог более глядеть ни на отца Рафаила, поверженного в уныние, ни на картежников и убежал в свою келию.

— Боже мой, господи! Что стало из нашей обители? Пристанищем какому люду сделались ее святые стены? И неужели я ослеплен настолько, что не вижу, как на благолепии и святости произросли тлен и нечестие бесовское? Горе мне, горе!

По скором отъезде секретаря совета отец Рафаил замкнулся и прислал ко мне келаря сказать, чтобы я отправился в женский монастырь и узнал, как обернулось дело с колоколом. Я понял, что наши монастырские обстоятельства после нечаянного визита очень ухудшились, и, как ни подавлен был случившимся, однако превозмог себя и пошел в город.

У матери-казначей меня ожидали утешительные вести. Пря между начальствующими закончилась на вящее посрамление военкома: колокол возвратили монастырю и подвесили на прежнее место силами воинов Красной Армии.

Преисполненные благодарности к секретарю совета, христолюбивые сестры пожелали ознаменовать одержание победы над беззаконием каким-либо вещественным актом. Посему мать-казначей обратилась к секретарю с просьбой принять от монастыря для совета красное знамя, расшитое золотом и позументами, работы благодарных монахинь, послушниц и учениц. На такую просьбу секретарь отвечал, что никаких подношений совет от монахинь не примет, так как это противно духу новейших законов, но что ежели в монастырских мастерских на красное знамя может быть принят заказ, то совет заплатит, сколько будет стоить работа. Заказ был, разумеется, принят тотчас же, и мать-казначей водила меня в мастерскую, где трудятся над знаменем рукодельницы. Я осмотрел полотнище, растянутое на пяльцах, и пришел в восхищение от искусности вышивки и подбора позументных украшений. Посреди знамени парчовым галуном из золота, каким делают оторочку на

дорогом церковном облачении, расшиты слова, полученные на особой бумажечке от секретаря при заказе: «Мы свой, мы новый мир построим!». Кругом этих слов воздушными фигурами идет золототканый газ, по краям же знамени спускается бахрома, и на углах — кисти. Вообще весь вид богатой гражданской хоругви порадовал меня отменно, и я ушел от богоспасаемых сестер растроганный.

Идя по улице и размышляя о том, что сестры избрали благой путь для установления хороших обычаев в общении с мирской властью, я придумывал, что предпринять нашему монастырю, чтобы достичь столь же благоприятных результатов. Следовало бы, — думал я, — проявить какую-либо услужливость, принести помощь в некотором трудном предприятии власти и вообще показать, что замкнутость наша отнюдь не злонамеренна, а лишь по уставу. Занятый подобными мыслями, я был кем-то окликнут по имени. Я поднял глаза, и они тотчас опустились опять сами собою: впереди меня стояла бывшая матушка Авдотья Ивановна.

— Что не зайдешь? — спросила она, подвигаясь ко мне совсем близко.

— Много хлопот, — ответил я, сгорая от боязни, что Авдотья Ивановна попрекнет меня за недостойное мое поведение в памятный вечер.

— Мой пьет, — продолжала она, и голос ее упал, — а я все одна...

Авдотья Ивановна взяла меня за руку, и лица моего коснулось ее дыхание.

— Зашел бы, — сказала она, — посидеть...

Я решился взглянуть на нее. Стан ее был округл и крепок, тонкое платье на груди колебалось, во взгляде ее мне почудилась насмешка и как бы ласковость.

— Благодарствуйте на приглашение, — проговорил я, раскашлявшись, так как в горле моем образовалась сухость. — Мне пора...

Авдотья Ивановна необыкновенно сжала мне руку и крикнула вслед, когда я уже отошел на много шагов:

— Так ты приходи!..

Достигнув монастыря почти бегом, я стал искать себе успокоения, чтобы хоть кратко доложить отцу Рафаилу о деле с колоколом и о том, что из него проистекло. Я прохаживался и сидел на берегу Гордаты в надежде на целебное свойство природы, беседовал с приютскими детьми, чтобы развлечься, тщетно начинал молиться. Спокойствие не возвращалось мне. К великому моему счастью, отец Рафаил не пожелал меня видеть, и я остался наедине с собой в тихой своей келии.

Мысли мои мешались, и я не знал, чего хочу. Присшествия дня заново предстали пред моими глазами: таинственное и бесследное исчезновение Афанасия Сергеевича Пушкина; решимость отца Рафаила, поведшая его на унижение игумнова сана; прибытие в монастырь светской власти, могущее иметь необозримые последствия; наконец беседа с бывшей матушкой Авдотьей Ивановной, которая нисколько на меня не разгневалась, чего я пуще всего боялся. Так, терзая себя этими мыслями, я втайне чувствовал, что одна из них превосходней и неотступнее других. Авдотья Ивановна стояла живой подле меня в тишине келии, и я, облитый потом, смотрел на ее платье и видел ее, какую запечатлелась она в моей памяти с незабвенного вечера у Симфориана!

Сейчас, пиша эти строки, я преоборевая свое томленье. Тогда же я бросил с ожесточением тетрадь с хроникой и оплакивал себя, несчастного, и смеялся неведомо чему. Потом схватил лист бумаги и неожиданно, без всякой мысли и без единой пометки, написал впервые в жизни стих. Прочитав его, плакал еще больше и решил непременно показать его Симфориану.

С этой целью, после бессонной ночи, я пошел в редакцию «Наровчатской правды». Там я застал Антипа Грустного, сидевшего на краешке скамьи. Я открыл было рот, чтобы поздороваться, но он по-

грозил мне пальцем. Я подсел к нему, и он шепнул мне в ухо, показывая на закрытую дверь:

— Тише: там читают мое новое сочинение.

— Кто? — спросил я шепотом.

— Симфориан! Тш-ш-ш!

Мы посидели в неподвижности несколько минут. Потом дверь шумно раскрылась, и к нам вышел Симфориан. Он протянул Антипу рукопись и сказал кратко:

— Хлам.

Антип бережно сложил потрепанные листки бумаги, спрятал их за пазуху и робко проговорил:

— У меня есть еще одно произведение...

Но Симфориан не дал ему договорить:

— Не надо мне твоих произведений, сделай милость!

После этих слов Антип беззвучно удалился, а Симфориан спросил меня:

— Ну, а ты что? Тоже навараксал какое-нибудь произведение?

Услышав это, я тотчас решил ни за что не показывать своего стиха; к тому же страшная мысль пришла мне на ум: Симфориан непременно должен догадаться, что это его супруга, Авдотья Ивановна, вдохновила меня на сочинение.

— Стихи, что ли, написал? — спросил Симфориан.

— Да, действительно, но только мне стыдно показать, потому что это со мной первый раз...

— Брось ты это дело, — присоветовал Симфориан, кладя на мое плечо руку, — пиши, брат, по специальности.

— Как же так? — не понимая, спросил я.

— Да ты кто по профессии? — сказал он. — Чернец? Стало, твоя специальность — божественное бытие. Вот и пиши нам в газету для безбожного отдела...

Я перекрестился и не знал что сказать. Между тем Симфориан засмеялся и, как видно, нечаянно посмотрел под скамью, на то место, где сидел Антип Грустный. Потом он плюнул и убежал в другую комнату.

Довольный прекращением тягостного для меня разговора, я пошел к выходу, полагая, что Симфориан плюнул с досады, что я перекрестился. Но при этом я сам взглянул под скамью. В том месте, где до того сидел Антип, на полу стояла невеликая лужица. Пожалуй, лужицу оставил Антип от волнения или по болезни, и это, наверно, на нее плюнул Симфориан.

Сегодня, в воскресное утро, когда заблаговестили к обедне, выглянув в окно, я увидел всеобщее беспокойство. Люди выбегали из корпусов, направляясь к задним воротам, приютские дети что-то голосили, пробежал кое-кто из нашей братии. Я вышел на крыльцо узнать, что происходит.

Оказалось, неизвестный труп утопшего человека был за ночь вынесен рекою Гордатою на берег к нашему монастырю.

Вместе с другими братьями и незнакомыми людьми, пришедшими к обедне, я поспешил на берег. Пробираясь к месту происшествия и прислушиваясь к тому, что кругом говорили, я понял, что утопленник никем не может быть опознан. Наконец я растолкал людей и подошел к покойнику. Сердце у меня билось тревожно, и, хотя я творил про себя молитву, мысли мои были неясны. Человек лежал ногами вверх по скату берега, головою к реке, так что вода омывала длинные волосы утопшего. На его шею намоталась плавучая трава, лицо весьма приметно вспухло.

Как ни приучаем мы себя к мысли о бренности всего сущего, но даже постриженные чернецы и монахи великого подвига не могут видеть смерть с совершенным спокойствием. Я отвел глаза от головы мертвеца и стал осматривать его одежду. Тогда меня бросило в страшную дрожь, и холодный пот выступил на моем лбу. Одежда, прикрывавшая тело несчастного, была известною крылаткою Афанасия Сергеевича Пушкина. Я опять взглянул в лицо усопшего. Не

оставалось сомнения: утопленник был не кто иной, как таинственно исчезнувший Афанасий Сергеевич.

Обезображенный насильственной смертью, он все же сохранил черты своего образа, и оспины были видны на его лице, и губы и нос могли принадлежать только ему. Единственно, что помешало скорому опознанию покойного, это волосы. Темно-русых курчавых волос Афанасия Сергеевича как не бывало. С головы Афанасия Сергеевича, вымоченные и распрямленные водою, спускались желтоватые пряди волос, и знаменитые бакенбарды были совершенно рыжи и нимало не курчавы. Подумать только, что этот человек всю жизнь красил волосы, и это должно было обнаружиться столь трагически!

Я закрыл свое лицо руками и побрел в монастырь. Господи сил, помилуй нас!

Три дня я не мог прийти в себя. Образ Афанасия Сергеевича, лежащего на берегу головою к реке, его потерявшие краску волосы, омываемые водою, не отступали от моего мысленного взора. Удел покойника страшил меня.

На четвертый день я вышел из монастыря, чтобы, не дойдя до города, опрометью броситься назад и замкнуться у себя в келии. То, что я узнал, потрясло меня не менее, нежели смерть Афанасия Сергеевича. Именно эта несчастная смерть, однако, вызвала другое великое несчастье: скончался вследствие отравления неизвестным напитком Симфориан Беспольный. Мне не удалось узнать в подробностях, как это случилось, и я записываю только слышанное от других лиц. Известно, что Симфориан приходил в мертвецкую городской больницы проститься с телом Афанасия Сергеевича. После того он пожелал непременно напечатать в газете некролог об усопшем и действительно написал замечательную статью о личности покойного Пушкина. Но в газете над ним насмеялись и поместить статью не захотели, так что Симфориан, в раздражении, поклялся никогда в жизни не брать в руки пера. Потом его видели в нетрезвом состоянии на

улице, а затем стало известно, что, придя домой, он много выпил неизвестной жидкости и скончался без покаяния и причастия.

Я чувствую, что не в силах продолжать ведение хроники с тем тщанием, какое подобает этому полезному делу. Однако я запишу и о других событиях, которые стали мне известны со стороны. По приказу председателя совета отстранен от обязанностей начальник городской милиции Макарушкин, как рассказывают, за писание бумаг, не имеющих смысла. Неизвестно, разумелась ли тут бумага, отправленная Макарушкиным покойному Афанасию Сергеевичу Пушкину, или еще какие-нибудь документы.

Вторая новость: по такому же приказу поведено судебное следствие по делу о неправильном употреблении комиссаром Роктовым жидкости, присланной из губернии для борьбы с вредителями. Опять же не знаю, имеет ли следствие связь с отравлением Симфориана Бесплезного неизвестной жидкостью, или нет.

Я заканчиваю свою хронику, когда много успокоился, и в моей жизни намечается некий знаменательный поворот. В те памятные потрясениями дни я был не в состоянии что-либо делать, не говоря о писании хроники. Я день за днем просиживал в своей келии, в замкнутости совершенной и подавленный скорбью. Наконец ко мне постучался и вошел отец Рафаил.

Я испугался не столько его посещения, сколько изменившегося его вида. Он сказал, что строго постился все прошедшие дни, неустанно мысля о предстоящей участи братии и моля господу упасти обитель от всякие скверны. Потом отец Рафаил сказал мне:

— И твоя печаль не укрылась от меня, Игнатий. В рассуждении о будущем я пришел к решению не мешать тебе выбрать путь по своей воле. У тебя всегда были склонности к мирской деятельности. И на нас лежит грех за твою душу: посылая тебя в мир, мы обрекли ее на испытание, непосильное в твои

годы. Я вижу, как ты томишься. Если есть на то твоя воля — ступай в мир с миром.

Я поклонился отцу Рафаилу в ноги. Христианская доброта этого человека — источник сил моих до конца дней.

Вскоре я ходил с утешением к бывшей матушке Авдотье Ивановне. Но тут я ничего не могу записать, потому что и подходящих слов подобрать не смею.

Скажу лишь кратко, что, возвращаясь от Авдотьи Ивановны, я приостановился у дома председателя и, как прежде, посмотрел в окно. В комнате горела лампа, но занавесь не была опущена. Председатель сидел, наклонившись над столом, и рассматривал бумаги. Лицо его было худо, но в худобе своей твердо и решительно.

На этот раз я не испытал никакого страха и пошел своей дорогой, думая, что мне предстоит в дальнейшем. На душе у меня пели небесные птицы.

На будущей неделе в среду я с бывшей матушкой Авдотьей Ивановной отправляюсь к бывшему диакону Истукарию в отдел записей актов гражданского состояния.

1924—1925

ТРАНСВААЛЬ

1

Солнце взошло недавно. Поднявшись над ольшаником, первый луч упал на крышу мельницы и пополз книзу. Вдоль берегов, куда еще не проникало солнце, пруд лежал исчерна-зеленый, и камыши на нем щетинились неподвижно. Посредине он был гладко-розов, и только круглый островок хоронил в своих ветлах холодную ночную тень.

Возле бетонного мельничного става на широком камне одиноко высился человек. Он стоял, сложив на груди руки и приподняв голову в огромной, как у ковбоя, шляпе. Вероятно, он казался себе очень высоким: поблизости ничего не было, кроме перил на ставе. Человек был недвижим, как все вокруг, в этот ранний безветренный час. Не отрываясь, он смотрел прямо перед собой, на поверхность пруда, на островок, камыши, ольшаник. По лицу его нельзя было угадать, о чем он думал. В одном его глазу, широко открытом и мертво обтянутом веками, застыло изображение островка и блекло-голубого пятнышка неба. Другой глаз — поменьше и помутней — оживлялся вздрагиванием рыжеватых реденьких ресниц. Желтые бритые щеки свисали на подбородок, и нижняя часть лица была похожа на мешочек, набитый не слишком туго мякиной.

Однако зыбкие черты одутловатого лица странно сочетались с уверенной осанкой человека. В ней было

что-то отчетливое и упрямое. Человек стоял на камне с таким видом, как будто для этого требовалась громадная решимость. Он высился назло всем силам природы, он бросал им вызов. Может быть, перед его необыкновенными глазами простирались прерии, может быть, он видел себя окруженным песками средней Африки, может быть, проще — он старался охватить воображением бесконечную череду российских полей, деревушек и хуторков. Как знать? По его лицу не угадать было, о чем он думал. Несомненно одно: он чувствовал себя в центре мира, он стоял у мельницы, около бетонного става, над прудом, и прерии, пустыни, поля, деревни, послушные ему, как богу, безмолвно расстилались под его ногами в беспредельности.

Но, странно, в осанке человека сквозили не только вызов и решимость. В ней чудилось также нечто возвышенное, почти молитвенное. Человек растворялся в природе, сливаясь с беззвучием утра, гладью и неподвижностью воды, с застылостью деревьев.

Луч солнца, осветивший мельницу, дополз наконец до человека на камне и озарил его лицо. Стало видно, что человек умилен, что он молится, что в душе он поет.

И правда. Вот дрогнул мешочек, набитый мякиной, вот отвалилась нижняя губа, раскрылся рот — и тоненький тенорок возник в тишине и постлался над поверхностью пруда. Человек, как настоящий певец, снял с груди руки, и они непринужденно легли по швам. Тенорок понемногу крепнул, начинал дрожать, в тембре его появлялся скулящий оттенок жалобы. Напев был печально-торжествен, подобно мотиву псалмов английских исповедников света. Еще минута, и привыкшее к безмолвию ухо уловило бы отдельные слова песнопения.

Но в это время на плотину скатилась с горы чья-то телега, громыхая и дребезжа колесами, и здоровый осипший голос испуганно провопил:

— Тпрр-ру, тр-рру, тпрррр, стой, сто-о-о!

Человек на камне вновь сложил руки на груди, плотно зажал рот и остался по-прежнему неподвижен.

На плотину выехала крестьянская телега, нагруженная мешками хлеба. Мужичонка, перебирая вожжи, враскачку шел рядом с возом. Въехав на став, он крикнул:

— Здорово, Свёкор!

Человек на камне не шевельнулся и не ответил. Мужик отвел лошадь по берегу к длинной колоде, увязшей наполовину в размятой копытами грязи, и воротился к ставу.

— Здорово, Свёкор! Что же ты смотришь?..

Человек на камне не отзывался. Тогда мужик подошел к нему и произнес почтительно:

— Вильян Иваныч, здравствуй!

Вильям Иваныч спрыгнул с камня и снял шляпу. Сделал он это не совсем обыкновенно: спрыгнув, он присел на корточки и тотчас потихоньку поднялся, как гимнаст, шляпу же не снял, скорее сорвал назад, на спину, придерживая спереди за поля. Он был совершенно лыс, и с его загорелой головы на мужика брызнули отблески солнца.

— Аль не признал? — спросил мужик.

— Сваакер не признал? — удивленно вскрикнул Вильям Иваныч и протянул мужику короткопалую руку.

— Здравствуй, Фрол Петров из Веселуха, который мне должен два пуда хлеб!

Фрол Петров обрадованно рассмеялся и захватил в кулак бороду.

— Так ты ж мне больше двух должон, Вильян Иваныч!..

Вильям Иваныч укоризненно взглянул на него мутным глазом:

— Ты — бедный мужик, у тебя нет хозяйства, тебе легко отдавать! У Сваакер — целый богатство, целый несчастье, у Сваакер все вот так вертится, вертится, Сваакер не может отрывать такой маленький кусочек!

И Вильям Иваныч показал заголенными по локоть руками, как вертится колесом его хозяйство и как трудно оторвать от него кусочек даже в мизинец величиной. Мужик готовно согласился,

— Уж это так!

Вильям Иваныч расправил засученные пиджачные рукава и взялся за голову.

— Ах, бедный Сваакер! Сваакер только мечтал, как хорошо иметь один лошадь, один маленький домик, один кусочек земля! Но Сваакер наказался такой большой хозяйства! Трансвааль отнимал у Сваакер последний сил!

— Как пить дать, отнимет, обязательно! — подтвердил мужик и, чтобы поддержать понравившийся разговор, спросил:

— Чего же ты допреж на камень-то взлез?

Вильям Иваныч хлопнул трижды указательным пальцем по правой ноздре, причем раздался краткий хлюпающий звук, точно от удара по воде.

— Сваакер нюхал, какой будет погода. Сваакер нужно вода и пруд!

Мужик захохотал, присев и стуча кулаками по узким, острым коленям. Но Вильям Иваныч внезапно рассвирепел. Он пододвинулся к мужику вплотную, один глаз у него сощурился, другой наполовину вылез наружу, и, упершись в бок, окаменел. Мешок с мякиною затрясся, и из него посыпались брызги.

— Ты привез молоть новь? Ты думал — Сваакер будет пускать мельница для одного тебя? Ты — глупый мужик без хозяйства, ты — Фрол Петров из Веселуха!

Он схватил мужика за руку повыше локтя и принялся ее мять.

— Это — твой сил? Твой сил? Это — гороховый суп, а не мускуль! Мужчин должен иметь крепкий мускуль! Чтобы делать большой хозяйство, надо иметь большой сил!

Мужик пятился, Вильям Иваныч наседали на него. Вдруг он быстро скинул свой пиджак, бросил его наземь, расстегнул брюки, и они неслышно соскользнули к его ступням. Он стоял бронзовый, с жирной грудью в рыжих волосах вокруг темных, матовых сосков, с золотистым животом, немного свисавшим на мохнатые красные ноги. Коротенькие спортивные

розовые трусики держались на резиночке, врезавшейся в плотно податливую складку живота.

Вильям Иваныч выкинул вперед руки и, держа их горизонтально, начал медленно приседать.

— Ра-а-аз, — затянул он по-солдатски. — Два-а-а!.. Вот так. Каждый утро так. Хочешь иметь Трансвааль — надо иметь мускуль!

— Да уж это не иначе! — сказал Фрол и, опять зажав в кулак бороду, спросил: — А брюхо ж не мешает?

Сваакер выпрямился, стряхнул со ступней штаны и погладил себя под мышками.

— Ты карауль моя одежда, пока я побежал кругом пруд. Здоровье тело — здоровье дух!..

Он прижал локти к мясистым бокам, наклонился и, выбросившись на добрую сажень вперед, побежал размеренно и не спеша вдоль берега. Кожа на его лопатках было густо-коричневой, как вязовое лыко, и лоснилась на солнце, точно плюш. Икры и ляжки сливались в мелькании с розовыми трусиками. Он забежал в кусты, и видно было, как они раздвигались его животом и затем подолгу раскачивались. Скоро заросли скрыли все его тело, и только сверкающая лысиной голова выпрыгивала из черно-зеленой камышовой чаши.

Мужик следил за Вильямом Сваакером с удовольствием. Когда тот скрылся в камышах, он засмеялся и проговорил:

— Ах, укроп твоё масло!

Он поднял с земли шляпу Сваакера, раздумчиво осмотрел ее изнутри и снаружи, осторожно положил на брюки и, тряся головой, вбирая в себя воздух, изумленно протянул:

— А-а-а!..

Потом он подошел к лошади, распряг ее, вывел из оглобель, привязал за недоуздок к грядке телеги и сунул под лошадиную морду мешок с травой. Конь шумно дыхнул на корм, втянул в раздвинутые ноздри сыровато-сладкий запах и тотчас начал мягко набирать траву теплыми бархатными губами.

Мужик еще раз потряс головою и опять протянул:

— А-а-а!..

Он двинулся к одежде Сваакера, загребая лаптями мелкий камень и засохшие комья грязи.

На мельнице начинался обычный день. По воде, горевшей блестками, как жемчуг — солнечными отсветами, плыли с ночлега стада уток и гусей. На крыше мельницы чистились и расправляли крылья голуби. Две легавые потягивались у крыльца дома в полусотне шагов от мельницы — вытряхивали задними лапами блох из длинных пятнистых ушей, беспокойно ерзали по земле задом. Батрачка несла из дома в хлев ушат помоев, и, обступая ее, кидаясь под ее голые круглые ноги, катились за нею с визгом изжелта-розовые обнатованные поросята.

Спустя минут десять к мельнице подъехали еще двое помольщиков-крестьян, отвели воза к колоде, пошли к Фролу. Заложив руки назад, они потоптывались круг одежды Сваакера, и Фрол с усмешкой повествовал о Вильяме Иваныче, раздевшемся догола и побежавшем на озеро.

— Не плакал? — спросил моложавый испитой мужик.

— Трошки всплакнул. Бедный, говорит, Сваакер, — сказал Фрол.

— Бедный... бес...

Мужики отошли к мельнице, сели под навесом на землю, поделились газеткой и табачком.

Солнце начинало пригревать, кусты легко волновались от мягкого ветра, около островка пруд подернулся рябью, и ветлы бесшумно расчерчивали воду бледными гибкими ветвями.

За выросшим шумом, за гоготаньем, визгом, собачьим лаем мужики не расслышали шагов бежавшего по плотине Сваакера. Они увидели его, когда он взлетел на став — с головы до ног посеребренный потом, в прилипших к бедрам мокрых трусиках. Он подбежал к одежде, быстро, как после холодного купанья, стер с себя ладонями пот, оделся и поднял шляпу. Потом направился к помольщикам, шагах в десяти от них остановился и вдруг, слегка присев,

описал своей громадной шляпой полукруг, отвесил поклон и отрекомендовался:

— Вильям Сваакер — владелец Трансвааль!

Мужики захохотали. Но Сваакер был серьезен. Он решительно направился к дому и крикнул громко:

— Дарья, ключи!

Спустя минуту он вышел из дома переодетым — в ситцевой, выпачканной мукою рубашке, облегавшей складки жира на груди и животе, в каком-то куцем уборе на голове, похожем сразу на ермолку и на картузик. Он отпер и распахнул верхние ворота мельницы, и оттуда дунуло затхло-пряным ароматом ржаной пыли, лузги и смазочного масла. Мужики бросились к возам и занукали на коней. Фрол тащил на горбу длинный, узкий мешок зерна, торопливо переставляя согнутые сухопарые ноги.

— Поворачивайся! — кричал мужикам Сваакер. — Время дорог!

Один за другим он взвесил мешки, ссыпал в кузов десятину за помол, поставил мужиков засыпать в ковш зерно, живо спустился по крутой лесенке вниз, выскреб из сусека остатки муки и распахнул нижние ворота. Потом он пошел к стану, вдвинул в раму затвора длинный брус, подкатил под него чурбан и поднял затвор.

Вода тяжким черным валом ринулась по ларю на колесо, но сейчас же отпрянула назад, брызжа снежною пеной и бурливо кружась. Не останавливаясь ни на миг, вода валила из пруда по дну ларя, подымая пенистую поверхность выше и выше. И вот ларь полон, kloкочущие коловороты почти выплескиваются через края, но тут глухо сотрясаются мельничные стены, налитое водой колесо, дрогнув, грузно поворачивает свою стонущую громаду, и, пробив дорогу, вода низвергается с высоты в буковище.

К этому времени Сваакер был уже на мельнице, и к шуму колеса, к плеску и звону воды прибавились вздохи жерновов и мерное поскрипыванье деревянных шестерен...

Весь день до вечерней зари на мельнице не оставливалась работа. Помольщиков было много: везли

новъ — наспех провеянную сыроватую рожь, хорошего умолота. В полдень телеги стояли в длину всей плотины, сцепляясь осями, и мужики с трудом распутывали их, когда кому-нибудь надо было уезжать. Лопнувший тяж, соскочивший со шкворня передок — маленькие несчастья, которые на городском базаре не обошлись бы без ругани и крика, улаживались мирно и тихо. Мужики спокойно ждали очереди, в десятый, сотый раз слушая необыкновенные истории из жизни Вильяма Сваакера, довольные погожим днем, добрым урожаем.

И только собаки, лежавшие на возах, мурзились друг на дружку, щерили зубы и притворялись спящими, чтобы — при случае — больше напугать чужого.

Об этих собаках, к вечеру, в кучке ожидавшихся последнего помола крестьян шел спор. Легонький, верткий мужичонка из кожи лез, доказывал, что злее его черного кобеля нет кобелей на свете.

— Подь-ка, сунься! — кричал мужичонка, одергивая рубаху и поминутно нахлобучивая картуз, словно перед кулачками.

— Ну-ка, сунься! Вона мой воз-то стоит, у краю! Вона оглобля торчит, ну-ка кто? Никто вишь? В клочки разорвет, как перед истинным! Он у меня у зимнего Миколы...

Мужики не давали ему кончить, кричали наперебой о своих кобелях. Вдруг сразу все смолкли.

— Почему шум, а нету драка? — спросил Сваакер, медленно надвигаясь на спорщиков.

Ермолочка на нем была почти неприметна: густо покрытая мучной пылью, она сливалась с вымазанным лицом. Один глаз мельника, засоренный мукой, зажмурился, другой был странно прозрачен и велик. Сваакер смотрел боком, как кривой...

Легонький мужичонка замахал руками.

— Кобель у меня, Вильян Иваныч, черный... я и говорю мужикам — ни за что не подпускает!..

— Где твой черный кобель? — спросил Сваакер.

— На возу, армяк под им, под кобелем. Я и говорю — что хошь делай, чтобы кобель армяк отдал!..

— Где твой кобель? — повторил Сваакер.

Мужики, точно сговорившись, загудели вразброд:

— Не-е-е, Вильян Иваныч, где тебе!

— Кобель зло-о-й, не допустит!

— Вали, Свёкор, дерьмо собачонка!

— Ты глазом на нее своим, глазом!

— Ку-да-а! Кобель люта-ай!

Сваакер зашагал к возам. По пути он поднял брус, которым открывал затвор, и мужики одобрительно заорали и двинулись гурьбой следом за ним. Когда Сваакер стал пробираться возами, подняв над головою брус, на телегах повскакали собаки, и разноголосый лай врезался в мужичьи крики.

— Который? — провизжал тенорком Вильям Иваныч, забравшись в самую гущу возов.

Хозяин кобеля торопился поспеть за ним, ныряя под лошадей и перепрыгивая с колеса на колесо.

— На возу, черный, свернулся, видишь? — кричал он.

Небольшой кудлатый песик лежал на армяке, подобрав под себя лапы и вытянув широколобую морду. Черными, как угольки, глазами он напряженно следил за Сваакером.

— Крой его, крой, Вильян Иваныч! — орали мужики.

— Узы, Полкан, уз-зы! — потравил хозяин.

Не дойдя до воза, Сваакер стал опускать брус.

Собачонка вскочила, изготовилась к прыжку. Шерсть дыбом поднялась на ее затылке, верхняя губа оттопырилась и задрожала. Кобель вдруг пронзительно завизжал с такой злобой, что все собаки поперхнулись от неожиданности и перестали брехать.

Сваакер спокойно придавил собаку брусом к телеге. Кобель задергал лапами, силясь выкарабкаться из-под бруса, но брус подался не вверх, а вперед, и кудлатое, корчившееся тело кобеля перевалилось под ним со спины на брюхо. Тогда собака яростно впилась оскаленными зубами в брус и забила по нему лапами.

Зажав брус под мышкой и нажимая на него рукой, Сваакер подобрался к телеге, ухватил пятернею

армяк и вытянул его из-под собаки. Кобель только пучил налитые кровью глаза и в беспамятстве сжимал брус омертвевшими челюстями. Его хозяин бестолково махал рукой, напяливая на уши картуз, бил себя по ляжкам и хрипло травил:

— Узы, уз-зы его, узы!

Помольщики глядели на Сваакера с гордостью, одобрительно гоготали и, чтобы продлить зрелище, лукаво подзадоривали верткого мужичонка напустить кобеля на мельника.

Сваакер кинул армяк мужикам под ноги и поучительно произнес:

— Где надо применять уменье, не надо применять сил!..

Он страшно вытарашил прозрачный большой глаз, обвел им помольщиков и, грузно расставляя ноги, ушел на мельницу.

А мужики к вечеру, разъезжая по домам, везли с собою новую историю про Свёкора и обесславленного черного кобеля.

2

Вильям Сваакер появился в уезде незадолго до революции. Никто толком не знал, откуда он пришел и что понадобилось ему в этой не очень пышной округе, среди остатков помещичьих лесов и в деревнях, упрямо и дико отвоевывавших землю у бесконечных болот. Слух о странном человеке, говорившем смешно по-русски, обширно и легко распространился. Сказывали, что примечательный человек знает какой-то секрет жизни и вознамерился раскрыть его именно в этом уезде, нигде больше. Если бы Сваакер исчез тогда бесследно, люди пережили бы разочарование: уход картавого, лысого, необычного человека, от которого все чего-то ждали, показался бы горьким обманом.

В то время калеки начали приползать с далекого фронта к отцам и женам. Все более неясно и хмуро ожидали какого-то *пришествия*, и, пожалуй, ничего

мудреного не было в том, что толки о нем в нелепых головах перепутались с чудесными рассказами о Вильяме Сваакере.

Он вел непонятную, почти таинственную жизнь, примериваясь ко всему и словно что-то высчитывая. Внезапно он приходил в деревню и прицелялся к какой-нибудь собаке или производил смотр всем деревенским клячам и, выбрав самую негодную, начинал расхваливать ее на своем потешном языке.

— У твой хозяин плохой голова, — тоненько ворковал он кляче, пощипывая ее отвислую мягкую губу, — он угощал тебя соломой? Бедный лошады! Твой порода совсем другой! Тебе надо кушать один овес! Хочешь идти к другой хозяин? Хочешь? Ну, ну, хорошо, я тебя возьму, и ты будешь высший сорт. А! Сколько ценил тебя твой хозяин?

Хозяин долго мялся, отшучивался, хитрил, наконец назначал цену:

— Четыре красных конь стоит!..

Тогда Вильям Сваакер обнимал лошадиную морду, и из громадного, бессмысленного его глаза быстро вытекала слеза:

— Я говорил! У твой хозяин плохой голова! Тебе цена — два четвертных! Бедный лошады!..

Это было целое представление. Не у всякого раешника на базаре получишь такое удовольствие. Мужики обступали чудака стеною и глядели в его обрюзглый, мягкий, поплевывавший рот с таким видом, как будто оттуда вылетали не брызги, а пророчества. Чуднее всего было то, что Сваакер действительно отсчитывал больше назначенной цены — на трешницу, на пятерку — и уводил с собою печального коня за недоуздок, ласково приговаривая:

— Пойдем, бедный! Я буду подпирать тебя колышек, и ты проживешь еще одна неделька!..

Не проходило месяца, как молва о купленной Сваакером лошади добиралась до самых забытых углов уезда и там вырастала в чудесную феерию. Рассказывали, что мужичья кляча, отъевшись у нового хозяина на овсе и каких-то немецких лепешках, за-

служила награду в воронежском заводе и за несметную цену уведена к американцам. Мужик же получил от Сваакера «до тыщи одними деньгами и нынче скупает землю».

Из других углов о кляче приходила иная молва. Оказывалось, что Сваакер перепродал лошаденку кубраку в городе за полцены и что затеял он все дело, чтобы вызволить из беды погибавшего от недоимок и долгов хозяина клячи.

Разноречивость слухов никому не мешала признать Сваакера существом совершенно невиданным, и множество человеческих чаяний скрестилось на этом невнятном имени. Правдоподобная история о том, что Сваакер поставлял военному ведомству ружейные ложки, нажился на казенных заказах и вовремя закрыл свою мастерскую, не успев выполнить всех обязательств,—эта история не имела в уезде успеха, может быть потому, что она скучна. Кругом были убеждены в поражающем блеске жизненной карьеры Вильяма Сваакера¹ и ждали, как он себя покажет на новом месте. А он продолжал чудить.

Какой-то крестьянин, идучи с поля домой, приметил на меже человека, усердно колотившего камень о камень. Перепугавшись, мужик дал было тягу, но любопытство взяло верх, и, обойдя кругом, он подобрался к меже.

На пенечке сидел Сваакер. Зажав в коленях большой камень, он мерно бил по нему остробоким побелевшим от ударов кремнем. Осколки разбитых камней желтели у Сваакера под ногами. Он вспотел, на виске его туго набухла синяя жила, и громадное левое глазное яблоко, казалось, вот-вот выпадет из тонких век. Он бросил камни наземь и поднялся.

Мужик опять заробел и, пока не было поздно, решил объясниться.

— Бог помочь, — сказал он, покашляв.

Сваакер повернулся к нему, обнажил свою лысину, стряхнул с нее ладонью пот и, словно догадавшись о чем-то, протянул:

— А-а...

— Кремешки пытаете? — спросил мужик.

Сваакер подошел к нему, прищурил большой глаз и внушительно промолчал. Потом он ткнул пальцем в бороду мужика:

— Ты — рыжий?

Мужик действительно переливал медью, как сухая луковица.

— Я — тоже, — сказал Сваакер.

Отогнув галстук, он раздвинул ворот рубахи и показал свою курчавую золотистую грудь.

— На мне нельзя судить, — он снова провел ладонью по лысине, — давно-давно здесь был хороший, золотой кваффюр, теперь остался один брильянтовый голова...

Лицо его стало мечтательным, он вздохнул и промурлыкал.

— Безвозвратно прошло эт-то время!.. Я уважаю рыжий человек, — сказал он, пододвигаясь к мужику, — поэтому я хочу говорить тебе секрет вот этот камень!

Сваакер вынул из кармана продолговатый круглый кремешок и поднес его на ладони мужику под бороду.

— Чертов палец, видишь? Если он разбит совсем мелко и потом еще мельче, совсем на порошок, тогда он хорошо лечит ран. Немного присыпать, и все готово. Понял? На!

Он сунул чертов палец мужику в руку, сильно ударил его по спине, расхохотался, скорчил рожу и, отвернувшись, твердо зашагал по рыхлому взмету.

— Прощай, рыжий, — крикнул он, не оборачиваясь. — Лечи кремешок свой телесный ран! Сваакер будет лечить свой душевный!..

Мужик стоял средь поля, с чертовым пальцем в кулаке, ослепленный хитрою нелепостью речи, неожиданным сплетением озорства с загадочностью. Потом разжал кулак, посмотрел на камешек и, хотя он ничем не отличался от других чертовых пальцев, в обилии рассыпанных на полях, — спрятал его в карман.

Вскоре после этой истории Сваакера видали на мельнице, известной в округе тем, что она больше починялась, чем работала. Это была старая водяная мельница, когда-то сооруженная небогатым помещиком, вконец разорившимся на двух весенних прорывах плотины. Новый мельник был разночинцем, человеком чужим в деревне, неопытным и ленивым. Он вколотил свои деньги в плотину, привел в порядок пруд, но поднять всей мельницы не сумел, да так и состарился, починяя и штопая один изъяз за другим.

Когда Сваакер пришел на мельницу, она шла в одном мукомольном поставе, крупорушка стояла в забросе, млива было не много, потому что мельница размолом не славилась.

Сваакер вместе с хозяином спустился в буковище, прошел под мост, прислушался, как застучали под ногами жерди сланья, и осмотрелся. Сквозь черные доски ларя, сквозь щели заслонов в прокоробленном ставе, снизу, из-под сланья, отовсюду выбивались веселые струйки воды, рассыпая прохладную серебряную пыльцу, колыхавшуюся в воздухе, подобно рою толкунов.

— У вас роскошный жизнь! — воскликнул Сваакер, показывая на журчавшие фонтаны промывин. — Это прямо великолепный Петергоф...

Он захохотал и обнял смущенного мельника.

— Это все надо затыкать, затыкать, затыкать! — прогавкал он, тыкая кулаками в разные стороны. Потом нежно похлопал мельника по животу и добавил: — Но сперва надо затыкать это, вот это, что?

Довольный своей шуткой, он увел мельника в его дом и самолично запер дверь на щеколду.

Никому не известно, о чем толковал Сваакер с мельником, сидя взаперти добрый час. Видели, как Сваакер вышел на крыльцо, обмахнулся шляпой, освобожденно вздохнул и вытер слезившиеся глаза.

В тот же день он купил в соседней деревне кобылу, взгромоздился на нее и тронул в город. Зре-

лице это незабвенно для всей деревни. Она провожала Сваакера за околицу, ребята бежали гурьбой до лесных хуторов, собаки надолго охрипли от лая. Сваакер ехал шагом, длинные ноги его, свисавшие по бокам низкорослой лошади, почти бороздили землю, загребали кочки, и на гатях, в лужах и грязи он подбирал ноги и примаживал колени на загривок кобылы. Лицо его было строго, даже страшно, он неподвижно, искоса глядел вперед, на дорогу, и сдавленным тонким голоском пел неизвестную песню. Широкополая громадная шляпа странным, пугающим зонтом прикрывала его нелепую фигуру. Казалось, он не едет верхом, а движется, не переставляя ног, лошадь же идет под ним отдельно.

Он скрылся в лесу, похожий на какого-то миссионера, обреченно странствующего в чуждом ему мире. Таким, вероятно, Сваакер почудился мужикам, потому что с этого дня они начали говорить о нем, как о *выдуманном*, а не настоящем человеке.

Но тут произошло множество событий, сопровождавших в уезде долгожданное и смутное *пришествие*. События быстро превратились в совершенную окрошку из выдуманного и настоящего, и тогда вдруг обнаружилось, что под рукой имеется человек, готовый расхлебать любую окрошку. Человеком этим был не кто другой, как Сваакер, ибо он, Вильям Сваакер, съездив верхом на кобыле в город, привез оттуда с собой *революцию*.

Шли дожди, размытые дороги отрезали деревни друг от друга.

Сельский сход собрался в школе, шумел, мужики обливались потом, безногие, забравшись на школьные скамейки, размахивали клюками, было темно от дыма и смрада, и люди шевелились в комнате, как раки в решете, накрытом тряпкой. Когда притомились от споров, на сходку явился Сваакер.

Едва он открыл дверь, сразу стихло, и все, как поговору, впились в него глазами.

Он был забрызган с ног до головы грязью, по дереву, прикрывавшей его плечи, скатывались быстрые капли мутной воды, он смахнул дерюгу на пол.

— Почему теперь кричать? — сказал он, шурясь от дыма и темноты. — Власть ваш!

Мир притих еще больше. Сваакер пошел к окну, перед ним расступились, дали ему место около света.

— Зачем стали молчать? — спросил он, скользнув по мужикам колким прищуренным глазком и принимаясь обирать на себе прилипшие ошметки грязи, чудно и бережно кладя их в горсть.

Потом он произнес смешные необыкновенные слова:

— Граждане мужики будут задавать вопрос, гражданин Вильям Сваакер будет отдавать ответ. Я был в город, я все знаю. Прошу!

— Вот вы насчет власти, — тихо сказал невзрачный коренастый крестьянин, сидевший позади Сваакера на подоконнике.

Сваакер круто обернулся к нему, ткнул его указательным пальцем в грудь и крикнул:

— Вот — ты! Ты боронишь, косишь, пахаешь? Вот ты — власть!

Он начал с силой тыкать крепким своим пальцем в мужиков, быстро переходя от одного к другому и крича:

— Ты — кузнец? Ты коваешь молотом, и твой рука мозольна? Ты — власть! Моя рука тоже мозольна, вот глядите — я дергал моя кобыла за узда, пока ехал к вам, раздергал весь моя ладошка до самой кровь, бедный Сваакер!

Он всхлипнул, поцеловал свою ладонь; мужики загудели одобрительно, повеселели, а он не унимался, и крик его вдруг сдвинул с места спертую духоту комнаты и точно распахнул окна.

— Мой рука мозольна — я власть, да! Твой грудь носит крест святой Георгий?

Сваакер перекрестился, смахнул кулаком слезу, набожно облобызал георгиевский крест на груди калеки и, преодолевая веселость мужиков, закричал пронзительно:

— Бедный герой! Ты потерял мозольны руку, ты защитил родина от немцев, ты — власть!

Его перебили:

— Говори про войну!

Он раздвинул крестьян широким размахом руки и выпрямился. Он был на голову выше окружающих его людей, дородный, осанистый, он подавлял собою мутно-зеленую от сумерек, похожую на кучу раков толпу крестьян.

— Хорошо, — покорно сказал он и опустил голову, — хорошо! Я буду говорить про война! Война — это ужасна! Война против немцев, который так бесчеловечный!.. У мой отец, тоже Вильям, тоже Сваакер, был маленький хозяйство, совсем крошка, вот такой крошка! Мы жиль на берег море, в мой родной маленький Эстония и трудился в пользу людей, как все мы, вот, как здесь все мы, ты и ты, все равно! Тогда наступил война, и наступал немцы. У меня был голубятник, я полезал наверх и махал вот такой палка с одной простой тряпка, и — фь-юи, фь-юи, — посвистел, и это был мой личный счастье! Тогда пришел немецкий солдат и велел сломить голубятник, чтобы я не полезал наверх и не посмотрел, сколько у немцев солдат, и потом не помахал на русский сторона, чтобы русский считал, сколько немцев. Я тогда сказал немецкий солдат: где же будет жить мой милый голубята, мой лучший счастье? И немец ударил меня один раз ружейный приклад и прямо в глаз! И мой голубой красивый глаз пропал!.. Голубяток немец зажарил на сливочный масло и сожрал, как свинья, чтобы я не посылал голубятный почта на русский сторона, и мой голубой глазок!.. мой голубой!

Вильям Сваакер плакал. Слезы лились по его обрюзглым щекам бойкими светлыми струйками, закатывались в уголки губ, стекали на подбородок, за воротник. Он плакал, как ребенок.

— А масла на голубей у тебя взял? — спросил кузнец.

— Мой сливочный, пресованный масло! — всхлинул Сваакер.

— Эк, стерва! — сказал кузнец. — Ну, а глаз-то у тебя новый натек?

— Новый? — закричал Сваакер, обводя мужиков большим, почти выпавшим из орбиты глазом. — Новый?

Он сложил три пальца правой руки, точно для крестного знаменья, занес руку над головою, опустил ее и вдруг, воткнув троеперстие в левую глазную лунку, надавил им на яблоко.

— Вот вам мой глаз!

На него смотрели не отрываясь. Он стоял кривой, сморщенные, провалившиеся веки левого его глаза склеились, он протягивал перед собою зажатую в кулак руку, медленно раскрывая пальцы. Потом он показал на своей ладони круглый большой стеклянный глаз и положил его на скамью для обозрения. Глаз тяжело, каменно стукнул по доске и закатался на месте, как орех. Мужики ухнули, столпились у скамьи, полезли смотреть на стеклянный глаз.

— Новый власть будет сначала всего кончать война, — раздельно произнес Сваакер.

Тогда безногие мужики, сидевшие на школьных скамейках, замахали самодельными кривыми костылями:

— Правильно!

— Довольно покалечились, верно!

Сваакер растолкал любопытных, взял со скамьи глаз, вынул носовой платок, поплевал на него, обтер стекляшку слюною. Потом распылил пустые веки и вставил в них глаз, как монокль, высоко подняв рыжие лохматые брови.

— Вполне красивый мужчин, что? — спросил он.

— Павлин! — отозвался кузнец, но сход пропустил шутку мимо, и Сваакер спохватился.

— Новый власть — ваш! — строго крикнул он. — Новый власть одной рука будет кончать война, другой рука будет разделять наша матушка кормилица-земля!..

Тут стены дрогнули и загудели, как будто ополз и рухнул подмытый берег. Бородатые мужики полезли к Сваакеру вперед, расталкивая молодежь, спихивая со скамеек калек, странно загребая воздух руками,

точно плывя. Казалось, что люди пошли в драку, что костыли и согнутые костлявые локти дробят головы, плечи, сокрушают сдавленные толпою тела. Но темнота и шум обманывали, за ними поднималось и отвердевало всепокоряющее единодушие: как камни под тяжестью горы, люди срастались в одну глыбу.

Сваакера оттеснили в угол, точно позабыв о нем...

Но ночью, когда сход разошелся, Вильям Сваакер, стоя неподалеку от школы, среди редких высоких берез, медленно распрямил руки и негромко, утвердительно сказал себе:

— Так!

Он был не просто Вильямом Сваакером — чудачком, который пришел неизвестно откуда и зачем, он был почетным гражданином села, облеченным доверием и властью, — он был председателем сельского совета.

Вильям Сваакер поднял голову к небу. Оно было по-осеннему черно и холодно. Ветер очистил его от туч, и по черному бархату, рассыпая серебряную пыль хвостом, скользили падающие звезды.

Вильям Сваакер улыбнулся.

3

В версте от мельницы, на берегу речки, прислонившись к липовому парку спиною, лицом к воде стоял дом. Строил его Бурмакин — отец помещика, разорившегося на мельнице, строил хозяйственно, надолго. После его смерти земли и леса пошли по рукам, закладные и купчие на них писались и переписывались, банки присылали оценщиков, подавали иски в суд. А дом по-прежнему прочно стоял, опираясь спиною на липы, глазами к воде, на речку — мутную, озорную по веснам, ясную, успокоенную осенью. Жил в нем Бурмакин-внук с женою и дочерью, наезжал из Москвы на лето, иногда — святками, на волчьи

облавы. Но в доме всегда было по-жилому тепло, прибрано, и черная крышка рояля, который в семье зачем-то звался по-немецки — флюгель, была зеркально чистая.

Кругом поместья хоронились деревни, скучно и жестоко воевали с болотами, лесом, волками и хворью. Когда умирал человек, вдосталь покорчевав пни и натоптавшись по трясинам, в изголовье ему ставилась жаровня с водой, чтобы душа, покидая тело, могла омыться в воде. И тогда родные умиравшего видели, как в смертную минуту вода в жаровне подергивалась рябью и колебалась, крестились на очищавшуюся душу и принимались выть над бренными останками кормильца. Потом вывешивали за окно полотенце, клали на завалинку краюху хлеба и ставили жаровню с водой. Тогда, по ночам, отошедшая душа, все еще бродя по земле, могла передохнуть у своей избы, поесть и попить, умыться и вытереться полотенцем. И в тяжкий год, когда болезнь приходила рассчитывать мужиков за работу над пашней, лесом и пнями, ветер колыхал у каждой избы небесные холстинки, и рыжие трепанные воробьи щипали на завалинках черствые корки хлеба.

И вот холодной осенью, после уборки, можно стало запрячь лошадей и длинным поездом, как на свадьбе, с песнями, под хмельком, с гармонью, застревая в колдобинах и миром вызволяя из них телеги, катиться в усадьбу. Можно стало по-хозяйски осмотреть помещичьи сарай, риги, коровники, пощупать все, что захочет душа, и подобрать кое-какую малость на свою нужду.

Ходить по усадьбе было весело, в бурмакинской кухне попадались чудные, блестящие вещи, как в магазине, в комнатах ножки стульев, столов, рояля отражались в полу, точно в речке. Ребятишки, кучась у рояля, вшестером, всемером тяпали по клавишам кулачонками, дом звенел и, казалось, плыл, как паром в разлив, покачиваясь и стеноя. Все это можно было делать, потому что настал большой праздник, вроде особенной, широченной масленицы, вроде всеобщих именин, на которые каждому подарено всего вволю.

Вильям Сваакер сказал мужикам:

— Теперь надо поднимать голова высоко! Теперь все одинаковый богач! Этот дом наш общий, и мельница наш общий, и жеребенок, который я взял себе у Бурмакин для совет, тоже наш общий! Я буду сам воспитывать этот народный жеребенок: на мужицкий солома он будет капут!..

Сваакер поселился на мельнице, в доме, из которого бесшумно и неприметно, словно исполняя уговор, ушел старый мельник. Вильям Сваакер понемногу, упрямо, как хозяин, приводил мельницу в порядок, и мужики одобряли его, потому что он не брал ничего за помол.

В эти именинные, масленичные дни крестьянам полюбился картавый сильный чужак.

Он был подходящей властью, знающим человеком: мельница у него пошла сразу, он понимал толк в деле, жил смешно и без усилия. Ему дали удобное, простое прозвище — Свёкор, и он шутил на безделье:

— Вот глупый народ: я для вас лучше родной отец, а вы называл меня Свёкор!

Так же неприметно, как скрылся старый мельник, к Сваакеру пришла откуда-то его жена — гороподобная, веснушчатая, белобрысая женщина с грудями, прорывавшими ситцевую кофту. Она была бессловесна, и лицо ее никогда не менялось. Вильям Сваакер останавливал ее на людях, внезапно взяв за локоть, оборачивая лицом к себе, и ужасался:

— Это — мой жена? Как мне быть? Такой огромный старуха у такой молодой человек! Бедный Сваакер! Бог наказал меня за мой добро!

Он поднимал здоровый глаз к небу, шептал молитву, говорил:

— Но я не роптаю, я несу мой крест! Ступай, мой родной, милый жена, к коровам!

И жена, не моргнув глазом, каменно шла своей дорогой — в хлев или на птичник. Она несла всю работу одна, муж не подпускал ее только к мельнице и бурмакинскому жеребенку. За молодым коном, шуст-

рым, с норовком красавцем, Сваакер ходил сам, на-шептывал ему в конюшне непонятные слова, щекотал пальцем теплые губы, исподволь, по-заводски, приучал к упряжке. Непонятно быстро он обрастал хозяйством, и к зиме, когда из Москвы приехала семья Бурмакиных, добро, оставленное старым мельником, утроилось. Двор заполнялся птицей, скотом, дырявыми веялками, телегами, строевым лесом, старым кирпичом, бочками цемента, полученного в городе для мельницы...

Бурмакины нашли в своем деревенском доме то, в чем они не нуждались: расстроенный рояль, картины, остатки мебели, гамак. Они были помещиками без земли, крестьяне относились к ним снисходительно или безразлично и усадьбу растрепали беззлобно, от скуки, просто потому, что она стояла без хозяина. Но год был недородный, скудный, и усадебные запасы хлеба, картофеля, свининыгодились в деревнях. Бурмакины приехали спастись от голода, голод встретил их в усадьбе радушнее, чем проводил из Москвы.

Они замкнулись, огородились своим несчастьем, покорно ожидая конца.

И вот лунной, зажатой тисками мороза ночью, когда около парка — казалось, под самыми окнами дома — больно завыл волк, в дверь Бурмакиных постучались.

Открывать пошел сам Бурмакин. В переднюю ввалился заиндевелый громадный человек, в городской шубе и собольей шапке, выпачканный мукою и снегом. Он спустил с плеча и поставил на пол двухпудовый мешок муки, отцепил от пуговицы шубы двух общипанных замороженных уток и снял шапку.

— Вильям Сваакер, — сказал он, расшаркиваясь и подавая Бурмакину руку, — председатель местный крестьянский совет...

Маленький, очень подвижный хозяин, подергивая седой клинышек бородки, застенчивой скороговоркой ответил:

— Иван Саввич Бурмакин, приват-доцент Московского университета, моя жена... Аня! — крикнул он, отворяя дверь в комнату. — Аня! К нам — гости! Моя жена Анна Павловна, моя дочь... Надя! — позвал он, подбегая к другой двери. — Надя! К нам — гости! Моя дочь Надежда...

— Извиняюсь, — тоненько произнес Сваакер, подходя к хозяйке и вытягиваясь перед ней, — я в шубе, и так как начался наш деревенский музик, я думаю — волк уж поет романс, — это значит — поздно. Но я — один момент!

Он шагнул навстречу девушке, еще больше вытянувшись, веки его стеклянного глаза часто задержались, он сказал с придыханием:

— Имел счастье видеть вас на плотине, Вильям Сваакер...

Он отступил от Надежды Ивановны, не оборачиваясь, пожирая ее разными своими глазами и, стараясь говорить правильно, объявил:

— Мне известно, что гражданин Бурмакин имеют нужда на продукт питания. Я — местный власть, и мой долг — борьба со всякой нужда. Поэтому я приносил вам один небольшой паек, который лежит здесь.

Он величаво показал на уток и муку.

— Помилуйте, однако!.. — испуганно воскликнул Иван Саввич.

Анна Павловна — такая же маленькая, как ее муж, — закрылась ладонью и заплакала. Дочь обняла ее, погладила редкие тусклые волосы матери, сказала:

— Не знаю, папа, удобно ли это?

Сваакер приложил руку к сердцу:

— Мадмуазель Надежда Ивановна, прошу вас, я — иностранец, я понимаю культур, долг культурный человек! Как местный власть — я могу приказывать, чтобы в мой село никто не умирал от голода! Но культур, — и я могу только просить...

Надежда Ивановна улыбнулась, и Сваакер обрадованно отозвался деликатным благодарным смешком,

— Вы хоть бы в комнаты прошли, господин Вильям... не знаю по батюшке, — всхлипнула растроганная Анна Павловна, и муж подхватил:

— Пройдемте, разденьтесь, снимите!..

Через час Вильям Сваакер, обращаясь ко всем хозяевам по очереди, часто и ненужно играя оттенком своего тенора, говорил:

— Я не курю и никогда не пил. Я считаю: здоровое тело — здоровье дух. Надо жить достойно для человека. Сейчас это мой программ. Мы, культурный люди, мы обязан править руль событий. Мы обязан дать голова эта ужасный революций!

Он упирал раскосый взгляд на Надежду Ивановну, его лицо из круглого делалось квадратным, он нашептывал стремительно:

— Между нас: я имею большой план! В России может много сделать этот рука, этот мускуль, этот голова!

Он показывал свою ладонь, сгибал в локте руку, ударял себя по лысине.

Круглые темные глаза Надежды Ивановны ласково, удивленно улыбались, она с любопытством смотрела на обрюзглое лицо человека, говорившего о себе с жесткой настойчивостью, на его руки, беспокойно ощупывавшие воздух, на холодный глаз, за голубым светом которого чудилась пустота.

— Вы играете на рояль, я знаю. О, мой лучший счастье — музык! Полонез Шопен, Фридрих Франц Шопен, о, о! — вскрикнул Сваакер.

Он подошел к роялю, приподнял крышку, взял аккорд и отскочил.

— Боже! Ему надо делать настройку! Я буду делать, не волнуйтесь! Музык! Надежда Ивановна, музык!..

Он закрыл глаза, умиленно помолчал и вздохнул:

— Вильям Сваакер поет. Вы будете добры музицировать с Вильям Сваакер?..

При прощанье его благодарили за муку, он сказал, опустив на грудь голову:

— Не надо забывать, что все мы — христианин!..

Проводить его вышла Надежда Ивановна. В сених, на холоду, он второй раз взял ее руку, но в этот миг тишину разодрал волчий вой; Надежда Ивановна вздрогнула, отпрянула назад.

— Собака! — взвизгнул Сваакер. — Я пойду прогоню этот вонючий негодяй!.. Он не дает отдохнуть Надежда Ивановна, — нежно добавил он, спрыгнул по ступеням на снег и пошел к реке, откуда несся вой.

— Куда вы, куда? — в испуге крикнула ему вдогонку девушка. — Зачем это?..

Она выбежала на крыльцо и протянула руку, как будто удерживая Сваакера.

Стеклянная луна, бесконечно высокая, неподвижная, струила мертвое серебро на снег. Гулко ухали сдавленные морозом стволы лип, дальний собачий лай был похож на колокольный звон.

Вильям Сваакер обернулся.

— Какой поэтический ночь, — тихо сказал он. — Не беспокойтесь за мой жизнь: волк всегда боится человек... Мороз очень большой, вы должны беречь ваш жизнь, а не мой, Надежда Ивановна... вам нельзя стоять такой мороз! — вдруг громко и властно закончил он и с решимостью зашагал на речку.

Она рассмеялась, замкнула дверь, быстро прошла в комнату и прислушалась. Знакомая волчья песня, начавшись высоким отчаянным лаем, покатилась книзу, свирепея, хряско раздирая безмолвие, и вдруг оборвалась, не докатившись до смертного своего отвратительного рыка. Надежда Ивановна слышала, как за стеною отец проговорил:

— Кто-то спугнул...

Она подошла к окну, приоткрыла занавесь и осталась в холодном мертвом свете. Сквозь пышный узор замерзшего стекла нельзя было ничего увидеть...

Незадолго до распутицы Вильям Сваакер ездил в город на крестьянский съезд, вернулся оттуда победителем и начал работать веселей и упрямее обычного. Пошла молва об изумительном его выступлении

на съезде, перед доброй сотней крестьян, которым он наглядно показал, как были угнетены малые народности, вынудив не только свой стеклянный глаз, но и вставные челюсти. Он уже не плакал, а рыдал, облокотившись на трибуну, держа в одной ладони глаз, в другой — зубы. Съезд качал его на руках, выбрал во все комиссии, дал наказ волости беречь и почитать Вильяма Сваакера как человека пострадавшего и незаменимого. Кончилось тем, что Вильям Сваакер от имени съезда держал речь с соборной паперти на городском митинге и его дородную осанку, страшный глаз и пронзающий тенор запомнил весь город.

Мужикам нравилась карьера Сваакера, но они были убеждены, что настоящего своего секрета он еще не открыл. И правда, великолепие неожиданно-стей как будто только начиналось.

В разгар весенней запашки в село прибыла какая-то уездная комиссия, ревизовала совет, признала дела в хорошем порядке, но, едва речь зашла о мельнице, Сваакер пригласил комиссию к себе на дом.

— Мельница — народный, общий, как наша матушка-землиčka, — говорил он, размещая гостей вокруг стола.

Все важно уселись, ожидая угощения, покашиваясь на бессловесную хозяйку. Она замешивала пойло для телят, громыхала дойницами, ушатами, размазывала иссиня-белые лужи на скамейке.

Сваакеру не осталось за столом места, он оглядел залитую молоком скамью, шагнул в передний угол, снял с гвоздя темную широкую икону и подложил ее под себя, на мокрое сиденье. Мужики крикнули, словно взяв гужи тяжелого возка, помолчали.

— Не веруете?! — тихонько спросил председатель комиссии — долговолосый, масляный мещанин.

— Господь бог хотел отнять у нас ум и делать война, — ответил Сваакер, — тогда мы делали революций, и господь бог сам потерял голову!

Мещанин засмеялся, его поддержали мужики, он сказал поощрительно:

— Весьма тонко выявляете свое революционное убеждение... Впрочем, закончим дело. Сколько вы, Вильям Иванович, взимаете с помольщиков за помол?

— Ничего, — осанисто заявил Сваакер.

Комиссия неожиданно заволновалась, и он, широко проводя рукою, как будто обнимая просторы полей, торжественно объяснил:

— Я сказал: все народный! Мельница работал — мужик получал даром! Он сломался — мужик починял даром!

— Тут я с вами не согласен и должен разъяснить, — мягко проговорил долговолосый. — Во всей губернии за помол берут десятину, таково решение власти, и вы должны его провести. Кроме этого, национализация в сельских местностях таких маленьких предприятий, и особенно мельниц, запрещена совсем, так сказать, законом, что разъяснено. Вы обязаны, Вильям Иванович, несколько, так сказать... Мельница, по закону, должна бы остаться за старым владельцем, и комиссия предлагает вам...

Договорить председателю комиссии не удалось.

Вильям Сваакер шумно вскочил со скамьи и навалился на стол так, что все отшатнулись от него в стороны. Лежа на локтях, он обвел всех пугающим своим взглядом и, грузно дыша, сгорбленный, осоловелый, поднялся. Впервые с тех пор, как он появился в уезде, люди видели, что Сваакер сбит с панталыку. Он поднял над головою руки, точно над ним ударил гром, рот его распахнулся, стекляшка в левой глазнице робко подмигивала.

— Вильям Сваакер не понимал революций? — пролепетал он непослушным коснеющим языком. — Маленький мельница может остаться у частный хозяин? Частный хозяин может брать десятину, эксплуатировать крестьянский беднота? Бе-е-едный Сваакер! Я этого не думал! Я думал — все общий, все народный!..

Но вдруг лицо его передернулось быстрой усмешкой, он сжался, точно собираясь прыгнуть, отступил назад, спрятал руки за спину и расставил вкрадчивые словечки:

— Товарищи! Граждане! Кто желает бесплатно посмотреть маленький фокус Вильям Сваакер? Маленький фокус-сик, совсем крошка фокусик Сваакер?.. — сюсюкал он, вытягивая из-за пазухи рыжий кожаный бумажник и медленно раскрывая его на ладони.

С игривой присядкой он подошел к столу и развернул лист упругой голубой бумаги. Долговолосый председатель осторожно прикоснулся к бумаге и вытаращил глаза: это была купчая крепость Вильяма Сваакера на мельницу.

Новоявленный мельник обнимал свою массивную супругу, слезливо-восторженно причитая:

— Это тебе в приданный, мой добрый, милый старуха! Вильям Сваакер совсем не знал, что у него есть законный маленький собственный хозяйство! Совсем не знал! Он думал, что у него ни кола ни двора, что все — народный, а у него есть собственный конурка, где он может умирать!..

Он передохнул, присел, закрыл глаза и заговорил умильно:

— Я хотел сохранить мой маленький сбережений и купил этот разваленный мельница. Я поехал верхом на лошадь в город, к нотариус, и отдавал мельник весь мой капитал. Вдруг я слышал: революций! Я сказал: бедный Сваакер, ты потерял все! В Россия — революций, что делать? Но теперь я опять получил мельница, мой лучший друг!..

Мещанин справился наконец со своим изумлением. Он локтем отстранил от себя купчую и обиженно пробормотал:

— Значит, вы являетесь, гражданин Сваакер, собственником, нетрудовым, так сказать?.. Поэтому, по конституции, не имеете прав и относитесь в другую категорию, то есть не можете быть крестьянским депутатом и, конечно, председателем...

Сваакер встал, поднял торжественно, как на присяге, руку и произнес нараспев:

— Вильям Сваакер много пострадал для идея! Вильям Сваакер все равно будет служить революции!

Он набожно взглянул на потолок, пошевелил губами, потом шумно заходил, командуя женой:

— Живо, Вильям Сваакер теперь хозяин! Гость надо угощать, как говорится у русский народ, — накрывай на стол все, что стоит в печке!

Сытным деревенским коштом он всех примирил со своей неожиданной ролью богача, и к вечеру один из мужиков пустил порхать по уезду лепкое словцо о Сваакере:

— Устервился жить, подлец!

Сказано это было и с восхищением и с завистью...

Весною, в короткий роздых от пахоты, мельница начала обновляться. Работа бежала по-хозяйски — без перебоев, шумно и расчетливо. Пруд был опущен, гнидой, покоробленный став разобран, и на его месте желтыми пахучими зубами торчали сосновые смолянистые сваи лесов. Шла кладка каменного става, с полей возили валуны, в чанах размешивали цемент, плотники вытесывали прихотливые части водяного колеса.

И тогда на переднем скате крытой шатром мельницы загорелись золотцем стройные буквы, составившие непонятное деревне слово:

Т р а н с в а а л ь

Не видано было в уезде, чтобы мельницу прозывали не по имени речки, на которой она стоит, или села, или хозяина, а неизвестной, маловнятной кличкой, и она прививалась плохо: удобней и памятней было прозвище самого Вильяма Сваакера.

Как ни занят был Сваакер строительством, он все чаще навещал Бурмакиных.

Приват-доцент побаивался его, прятался, когда он приходил.

Анна Павловна почитала его благодетелем, растроганно плакала, принимала подарки и все беспокоилась, как его отблагодарить.

— Вильям Иваныч, — уговаривала она, — ну, за что нам такое внимание? Ведь нельзя же так прямо — ни за что! Чем мы с вами рассчитаемся? Ведь у нас

ничего не осталось, — плакала она, сквозь слезы прося: — Вы хоть бы вон зеркало себе взяли, зеркало хорошее, елизаветинское!

Сваакер снисходительно давал Анне Павловне выговориться и, загадочно шурясь, отвечал:

— Мы — культурный люди, мы должны помогать один одному. Теперь так надо. Как-нибудь вы тоже будете делать приятно Вильям Сваакер! Как-нибудь!..

Он раздувал ноздри, наводил глаза на Надежду Ивановну, молчаливо и громко дышал, потом шутил:

— Зачем вы такой злой, Анна Павловна? Ай-ай-ай! Вы хотел, чтобы Сваакер посмотрел в зеркало и увидел, как он страшный кривой рожа?

Анна Павловна пугалась, расстраивалась, а он настойчиво ждал встречного взгляда ее дочери и говорил:

— Зачем мне зеркало? Такой малость, такой пустячок! Как-нибудь... когда-нибудь, вы — тоже. Правда, Надежда Ивановна? Правда?

Тогда Анна Павловна пугалась за дочь, начинала покусывать платочек, туго вытирать щеки, стараясь сделать это незаметно для дочери.

Надежда Ивановна подсаживалась к ней, обнимала ее, спрашивала полным голосом:

— О чем вы говорите, Вильям Иванович? Я не понимаю.

Он застенчиво опускал голову, зная, что это смешит.

— Сваакер — плохой разговорщик. Он лучше любит музицировать. Не угодно ли вам присесть немного за этот прекрасный флюгель?

Надежда Ивановна хмурилась, упрямо и мутно всматривалась в лицо Сваакера, точно принуждая себя разгадать его. Но он готовно, сладко улыбался, и она говорила коротко:

— Пойдемте.

Он пел, затянув веками глаза, как канарейка, на нежных высоких нотах голос его переходил в фистулу, он складывал губы трубочкой и замирал, Надежда

Ивановна вяло перебирала желтоватые, неупругие клавиши, глядя поверх нотной тетради пустым, влажным взором. Иногда она оживала за роялем, Сваакер забавлял ее визгливыми песенками, переходившими в собачий лай, кричал петухом, хлотал и кудахтал, изображая «утро на мельнице Трансвааль».

В сущности, такие забавы взбалтывали безысходное однообразие усадебной жизни, и, не будь их, Сваакеру вряд ли пришлось бы на ум устроить

*Культурный, музыкальный и вокальный вечер
для трудящихся граждан-крестьян.*

Этот вечер состоялся на красную горку в большом зале бурмакинского дома, и слава о нем разнеслась далеко по уезду.

Приват-доцент со страху согласился сказать что-нибудь для начала вечера и действительно сказал непонятное даже для самого себя. Народу набралось множество, окна и двери стояли настежь, зрители толпились вокруг дома. Музыка Надежды Ивановны поразила всех, особенно после того, как почетный на селе гармонист признался, что на рояле играть не может.

Но перед Вильямом Сваакером померкла вся ученость приват-доцента и все искусство его дочери. Он спел романс о чистой девушке и коварном соблазнителе, и зал был потрясен, лишь только певец начал:

...Над озером ти-хая ш-шайка летит...

Потом, когда дело дошло до «утра на мельнице Трансвааль», народ позабыл даже «шайку»: стон стоял от хохота и воплей.

— Свёкор, петухом, петухом!

— Выняй, Свёкор, глаз-от!

— Кажи зубы и глаз! Выняй, сделай милость!..

Наутро оказалось, что под шум и потеху вечера в парке Бурмакиных, совсем неподалеку от дома, какие-то озорники подрубили две вековых липы, и они лежали, сплющив своею тяжестью могучие, молодо зазеленевшие кроны. Узнав это, Надежда Ивановна

перестала показываться Сваакеру, хотя он всплакнул над погубленными липами и обещал за поимку озорников награду мукой.

Немилость Надежды Ивановны как будто не встревожила Сваакера. Его растрогал успех вечера, он рад был послушать уговоры дальносельчан:

— Ты бы, Свёкор, к нам приехал с представлением! Поклохтать под музыку!..

Вскоре, однако, произошли события, которые заставили на время позабыть артистическую славу Сваакера.

Мельничный став был выведен, настилали мост, и в пруду высоко поднялась вода. Топоры тявкали на перегонки, пилы звонко брюзжали, отрезая концы тяжелых плах. В разгар стуков, треска щеп, свиста и торканья инструментов рабочие увидали, как Вильям Сваакер легко и спокойно вытолкнул из дома свою жену.

Она ушла тою же каменной походкой, с тем же отверделым лицом, с каким привыкли видеть ее на дворе мельницы. Остановилась она на одну минуту за плотиной — свернуть потуже узел, не оглянувшись, и ветлы скрыли ее.

— Что же ты бабу-то прогнал, Свёкор? — спросил его десятник.

— Прогнал? — изумился Сваакер. — Она сама ушла, не знаю зачем! Она говорит, она не полюбила зачем-то Вильяма Сваакера! И молчит и сам ушел! Бедный Сваакер!

Он пригорюнился, потом хлопнул себя по лысине и воскликнул:

— Вильям Сваакер проживал с этой ведьмой целый год? Это прямо...

Он долго вспоминал слово, недоуменно озираясь, потом тихо выдохнул:

— Хипнокок!

Он нанял работницу — черноглазую, смешливую солдатку, двигавшуюся по двору проворной, круглой кошкой.

Деревня не успела наговориться об этой истории, как Сваакер еще больше поразил ее другою.

Июньским желто-лиловым закатом Вильям Сваакер, с мешком на горбу, подошел к бурмакинскому дому со стороны речки. В мешке была провизия — сало, крупа, пара гусей. Добро пришлось ко времени. Анна Павловна расстроилась, убежала к мужу.

— Как вы пришли оттуда? Вплавь? — спросила Надежда Ивановна, показав на речку.

— О да! Вильям Сваакер капелька плавал! — сказал он, довольный, что Надежда Ивановна вышла его встретить. — Не угодно ли посмотреть?

Он провел ее на берег. В кустах ольшаника, привязанная к подмытому корневищу, стояла белоснежная лодка.

Надежда Ивановна всплеснула руками. Сваакер просиял, хотел что-то сказать, но не мог, пожевал воздух, прищелкивая челюстями.

На носу лодки черной краской четко было выведено: «Чайка Н. С.».

— Эта великолепный флот — ваш, Надежда Ивановна! — прошептал Сваакер.

— Но что означают буквы Н. С.?

Сваакер шаловливо погрозил Надежде Ивановне пальцем.

— Это малюсенький секрет, который я не могу вам открывать! Может быть, так, может быть, еще не так! Как-нибудь! Прошу!

Он подал ей руку, помогая вскочить в лодку, распутал привязь и оттолкнулся.

На реке, на озере и — позже, когда ночь скрала пространство и деревья, дом, сарай стали плоски, как силуэты, — еще позже, в парке, Сваакер молодо, жестко говорил. Лица его, взгляда, улыбок не было видно, искромсанные слова казались новыми, нерусскими, голос был сдавлен нетерпением:

— Этот страна еще не умел рождать сам себя! Он сам не знает, что он такое есть. Мы ходим сейчас на богатство, Надежда Ивановна. Вот, как фокус: Вильям Сваакер наступал — он наступал на золотой кусок! Вы наступал на брильянт! Мужик наступал — на сам Ротшильд! Это будет Америк! Сваакер будет

помогать революций делать Америк! А мы — бедный, как дурак...

В парке, в темноте, они натолкнулись на поваленную липу. Сваакер подхватил Надежду Ивановну за руку, выше локтя. Она услышала горячую крепость его пальцев, вдруг ощутила ночной щиплющий холод молодого лета, и ей не захотелось высвободить свою руку. Они сели на ствол липы.

— Вот один дурак порубил это старый дерево, дерево — совсем гнилой, пустой и ни за чем не нужно, — злобно сказал Сваакер. — Теперь будет лежать и делать в парк один дрянь, а был — превосходный красота! Русский человек не может никогда посмотреть вперед, смотреть... предусмотреть.

— Я могу предусмотреть, — вдруг сказала Надежда Ивановна.

— Что? — вскрикнул Сваакер. — Извиняюсь, — проговорил он потише, — вы весь вечер молчал и потом сразу — гоп! — сказал. Потому я немного трусился. Вы сказали такой слово... Что вы может предусмотреть?

— Все.

— Все? — спросил он еще тише.

— Да, все.

Он обнял ее одною рукой, сильно прижал к себе и, стараясь преодолеть здоровым глазом мрак, приблизил к ней свое лицо...

Отец и мать ожидали Надежду Ивановну подавленные и тупые. Иван Саввич принялся разгорячать себя благородною и душевной речью:

— Я, Надя, говорю маме: так продолжаться дальше не может, не должно. Принимать подачки унижительно, невозможно. Чего хочет от нас этот человек? К чему все это приведет? Я предпочитаю умереть с голоду, я должен предпочитать. Я понимаю, что маме и тебе тяжело. Но такова судьба. Тут вся Россия, весь народ, а не одни Бурмакины. Надо иметь мужество раз и навсегда отказаться от...

— Прости, — перебила Надежда Ивановна, — ты говоришь о Вильяме Ивановиче?

— Я говорю об этом монстре, шуте гороховом, и несомненно жу...

— Прости,—опять прервала дочь,—я должна вам сказать, что... Вильям Иванович предложил мне... выйти за него замуж. И я согласилась.

Приват-доцент и его жена вскочили со своих мест. Надежда Ивановна стояла бледная, недвижимая. Мать протянула к ней руки, залепетала:

— Наденька, Надюшечка!.. Ведь ты его... ты его...

— Я люблю его,—сказала Надежда Ивановна.

4

Густые зеленыя сменялись медью жнива, пепельно-лиловой коркой пара, голубыми равнинами снегов. По-прежнему на березах дрожали сережки, по-прежнему солнце прокалывало золотыми булавками растрепанную вату облаков, по-прежнему бабьим летом вихри подымали в рощах желто-рыжую, красную, кровавую сумасшедшую пляску.

Но час наступал скудный.

Назойливые тени горожан сновали от избы к избе в поисках хлеба, и избы бездушно глядели на них пытливо сощуренными, похожими на глаза мужиков оконцами. Деревня угрюмо ждала неминуемой смерти, крепко держала остатки добра под спудом, в ямах, и даже дело Вильяма Сваакера как будто перестало расти.

В доме его, рядом с мельницей, наладилась по-деревенски ровная, на сторонний глаз скучная жизнь. С тех пор как деревня подивилась женитьбе Сваакера на бурмакинской дочке, он не забавлял мужиков ничем. Бурмакины перебрались на мельницу, усадебный дом заколотили, все утряслось, как в телеге под конец дальней дороги.

И вдруг Вильям Сваакер, словно по заказу, принялся чудесничать.

Зачалось с кремешков.

По весне на мельницу заявила горстка сельчан попросить хозяина об одолжении.

— Нуждишка привела, Свёкор, выручай, небось и мы тебе когда пригодимся.

— Присадитесь, пожалуйста, — предложил Сваакер, показывая на размятую ногами проталинку и опускаясь на крыльцо, — прошу!

— Нуждишка, конечно, — повторили на разный лад мужики и вынули табак. — Крестьянство в нужде, как сказать... сильно прижало...

Сваакер отмахнулся от дыма, просители подождали говорить, пока он, не торопясь, осматривал их по очереди.

— Просьба у нас к тебе насчет хлебушка. Перебиться бы до нови.

— Давать вам хлеб? — громко спросил Сваакер, подымаясь с крыльца и переходя в наступление. — Сваакер давал хлеб — значит, у него был хлеб! Теперь нельзя иметь хлеб, закон требовал весь хлеб отдавать для народ и для наша геройский красноармейский армий. Бедный Сваакер сам сидел с одна картошка в день! — взвизгнул он. — У Сваакер есть один тесть, и есть один милый теща, и есть прекрасный жена Надежда Ивановна, и это все с одна картошка в день! У тебя пустой голова! У тебя нет совсем мозг! У Сваакер нет ни один зерно хлеб! Запоминал? Ты тоже запоминал? Ты — тоже?

Он опять присел и мирно проговорил:

— Ну, вот все в порядке, и теперь я буду начинать разговор. Вам надо хлеб? Сваакер надо много кремешок. Да. Простой такой кремешок, в один, в два кулак, в три кулак, который валялся везде на поле, он только мешал пахать и портил борона у мужик. Сваакер будет собирать много такой кремешок, очень много воз, много вагон. Вы будете возить на Трансвааль кремешок, Сваакер будет давать хлеб.

Он снова внезапно привскочил, протянул ладонь и грозно крикнул:

— Время — дорог, по рукам!

Кто-то усмешливо спросил:

— А почем же платить станешь?

— Фунт против пуд! — быстро сказал Сваакер. — Каждый пуд камень — каждый фунт хлеб!

Испитой, желтый парень бестолково взмахнул руками:

— Бреши! Развесили уши-то, он налопочет, только слухай! Обманщик!..

Вильям Сваакер рванулся к парню, схватил его за плечо.

— Как тебя зовут?

Он сверлил парня напряженно мигающим здоровым глазом.

— Аким, — сказал парень, недовольно подбирая плечо.

— Вот тебя зовут Аким, так запоминай мой слово. Сваакер никогда не обманул. У Сваакер стальной слово. Все будут привозить кремешок, Вильям Сваакер будет платить. А ты, Аким, пустой голова, я не буду тебя знать!

Он прыгнул на крыльцо, оттуда раскланялся и исчез за дверью.

Весть, что Сваакер покупает возами камни, мгновенно облетела округу. Но никто не решался сделать почин, повезти первый воз на мельницу, чтобы навсегда стать посмешищем деревни. Больной, озлобленный Аким вышучивал посулы Сваакера, издевался над доверчивыми мужиками.

Но дня три спустя захудалый мужичонка с хутора, чуть забрезжило, покатиł сторонкой в поле, собрал на меже возок камня и заявился на Трансвааль.

Сваакер подошел к возу, пощупал камни, прищурился на возок, спросил:

— Почему?

Мужичонку ударило в пот, он утерся рукавом, испуганно пролепетал:

— Да ведь как твоя милость сказывал...

— Ну, хорошо, — сказал Сваакер, отступая на два шага и примериваясь к возку глазом. — Пудов двадцать есть?

— Да двадцать должно быть, — согласился мужичок, — хоша не вешамши трудно, ну, а не мене как двадцать!..

— Мешок есть?

— Мешочек захватил, пожалуйста, — ответил мужичок и торопливо выдернул из-за пояса закорузлую тряпицу.

— Веди свой рысак, я буду показать, где валить кремешок!..

Камни были ссыпаны за мельницей, над обрывом буковища. И ничуть не медля, с деловитым спокойствием Вильям Сваакер повел мужика в амбар, зачерпнул из закрома зерна, прикинул полпуда на весах и, словно в лавке, закрутив мешок узлом, подал его мужику.

Тут только мужик поверил в серьезность дела, сразу проникся почтением к себе, стал медлительным и важным.

— Еще привезти ж тебе камню-то? — спросил он и добавил, помолчав: — Камень стоящий!..

Он пошел из амбара солидно, не спеша обернул лошадь, медленно тронул. Но едва скатился с моста и въехал на плотину, стегнул вожжами по ногам лошади, по крупу, животу, раз, другой, третий, пока кобыленка не понеслась вскачь. Правил он в поле, на межу, за кремешками...

С этого дня, не переставая, росла за мельницей, над буковищем куча камня, и по утрам на Трансвааль со всех концов ползли тарахтевшие кремневином телеги...

Вслед за историей с кремешками, озадачившей и странно приободлившей мужиков, Вильям Сваакер поразил всех новой неожиданностью. Он прогнал своего тестя.

В том, как приват-доцент Бурмакин покинул Трансвааль, было что-то похожее на уход с мельницы первой жены Сваакера: вышло все тихо, незаметно, как будто сам Бурмакин, отдохнув в деревне, решил поехать в Москву.

Перед отъездом Иван Саввич, боясь растрогаться, произнес речь о долге гражданина и ученого, объявил, что задумал новый труд, выполнить который без библиотек, без университета невозможно. Он утаил внушительный разговор с зятем, не в меру

бодрился, опасливо покашываясь на Сваакера. Но он заслужил полное одобрение. Вильям Сваакер, уложив на воз мешки, корзинки, чемоданы, отвел приват-дочента в сторонку.

— Мерси, мой дорогой тесть и папаша, вы — великолепный герой! Но я хотел, чтобы вы еще один раз понимал меня. Трансвааль будет большой дело, тогда наш родной мужицкий власть будет говорить: зачем на мельнице поживает помещик Бурмакин? Это — буржуй, который нанимал для себя Сваакер, чтобы попрятаться на него, его надо выгонять и Трансвааль делать народный достояний!

— Понимаю, да, понимаю, — бормотал Иван Саввич, торопясь к повозке.

— Я буду присылать вам, дорогой папаша, немного мука, немного сала и крупа, и вы будете как-нибудь прекрасно жить в наш революционный столица и писать ваш большой ученый сочиненье!

Кучер впрыгнул на грядку телеги, Иван Саввич замигал, в отчаянье махнул рукою, выжал из себя, заикаясь:

— Аня!.. Анечка!.. Надюша!..

Вильям Сваакер воззрился в небо и торжественно обещал:

— Клянусь, я буду сохранять ваша родная жена и моя родная жена Надежда Ивановна!

Он быстро, как в торопливой молитве, зашептал что-то мягкими, отвислыми губами.

Повозка дернулась, Иван Саввич закрыл лицо. Анна Павловна уткнулась дочери в грудь...

Необычное, продолжительное затишье в жизни Вильяма Сваакера сменилось бурной деятельностью. Он точно спохватился, работа его вдруг пошла скачками во всевозможных направлениях, он вспомнил даже о своей общественной миссии.

На новом наборе рекрутов перед сельским сходом вновь вырастает его величественная, громадная фигура, засверкав металлом лысины, холодным блеском глаз, звеня переливами фальцета.

— Вы можете говорить, что Вильям Сваакер обманул вас один раз в жизни? — вопрошает он без-

молвный, заглодалый сход. — Нет! И теперь Вильям Сваакер давал свой честный слово, что эта война — самый последний война и мы доживал скоро до полный мир и до полный счастье! Мы должен давать только еще один раз солдат и не должен попряты-вать наш сыновья в лес, чтобы они становился зеле-ный. Мы должен побеждать Польша, и потом будет лучший счастье для весь наш несчастный, бедный, хороший народ!

Вильям Сваакер снижает голос, пригибается, мед-ленно, бесшумно близится к мужикам и, шипя, точно заклиная змею, размеренно шепчет:

— Вы знает, кто стоял за спина Польши, когда он пошел против Россия? За спина стоял ан-гли-чан! Ан-гли-чан! Это — ужасный враг человеческий сча-стья — ан-гли-чан!

Сваакер распрямляется, входит в гущу толпы, осматривает ее, как вожак, грозно приказывает:

— Русский народ делал революций не для англи-чан! Мы не должен позволять англичан брать наша земля, наш дети, наша жена! Вильям Сваакер знает, кто такой англичан! Вильям Сваакер, — бур. Он жил с его отец, тоже Вильям, тоже Сваакер, в его пре-красный родина, в теплый страна Трансвааль, в да-лекоой Африка.

Сваакер приостанавливается, его голос вздраги-вает на последнем слове, воспоминания тронули его, он говорит с нежной грустью:

— В теплой страна Трансвааль мой бедный род-ной народ бур честно работал и делал счастливый жизнь, и еще думал о наш господь бог, учил малень-кий дети бибель и сам всегда читал этот святой книга. Тогда приходил англичан...

Сваакер наливается темной кровью, стеклянный глаз его как будто белеет, он долго не может выгово-рить ни слова. Потом вдруг мнет кулаками воздух, хватает невидимого врага, душит его, хрипло при-говаривая:

— Начинал вот так, и потом — так и еще — так, вся наш бедный народ! И потом хватал жена и дети, сажал в лагерь и там — так, так! — раздавливал его

башмак всё, всё! Потом брал ваш бедный Сваакер за шею, и запира́л его в тюрьма, и давал вот такой крошечка сухой хлеб и один капля совсем горькой вода в день. Тогда Сваакер подумал, что приходил конец, читал бибель и подождал смерть. Но бог не дал Сваакер смерть, давал один болезнь, и Сваакер потерял там все собственный зуб! Вот!

Он с хрустом вынимает изо рта челюсти, они влажно поблескивают желтизною мастиковых кубиков и золотом пружинок. Но Сваакер не успевает показать челюстей мужикам — Аким кричит на весь сход:

— Этот рас-ска-жет! То говорил, что его немец прикладом потчевал, а нынче, слышь, англичанин!

Сваакер вставляет челюсти в рот, щелкает языком, присасывая зубы к деснам, расталкивает толпу, идет к Акиму.

— Это ты? Я тебя знал! Я говорил про зуб? А? Я говорил про глаз! Немец выбивал Сваакер глаз, англичан отнимал зуб!

Но Аким уже не может удержаться, трясет кулаком над головами мужиков, вопит:

— Тебе легко уговаривать, тебе последнего не отдавать, у тебя пузо-то — во-о!

Тогда весь сход становится на дыбы, и сквозь стон чуть слышны голосистые выкрики:

— Последнего коня отымают!

— У тебя сынов нету, ты можешь!

— Небось бурмакинського жеребца зажалил!

Сваакер смиренно наклоняет голову, ждет, пока улягутся крики. Его покорность гасит мужичий гнев, и тихое причитанье Сваакера понемногу вкрадывается в шум:

— Бедный Сваакер! У него никогда не был сын! Он так хотел иметь один сын! Но для война каждый должен носить жертва! Сваакер хочет отдавать для война прекрасный лошадь, который он кормил, и почистил, и так любил, как родной сын!

— Айда на мельницу, давай коня! — яростно кричат мужики. — Айда!..

Минуту спустя Сваакер, облепленный мужиками, едва поспевавшими за ним, шествовал по деревенской улице. Следом за гудящей толпой мчались ребята, забегая вперед, пугливо и озорно тараща глазенки на выступавшего с военной решимостью громоздкого человека.

У Трансвааля крестьяне остановились, Вильям Сваакер пошел во двор, вывел из конюшни жеребца.

Трехгодовалый буланый конь был красив. Холеный желтоватый стан его отдавал на солнце огнем отливов, густо-черная грива переходила на холке в темный ремень, плавно бежавший по хребту. Жеребец часто перебирал ногами, нетерпеливо закидывая вперед отлогий лоснящийся круп, точно норовя стать к хозяину грудью, косил на мужиков черный влажный глаз.

Сваакер подвел коня к крестьянам и сунул повод подвернувшемуся мужику.

— Пожалуйста, — плаксиво сказал он, — берите этот лошадак, этот жертва Сваакер для войны против англичан!

Но едва мужик потянулся к поводу, как конь шарахнулся в испуге, и крестьяне рассыпались по сторонам. Сваакер как будто ничего не заметил.

— Прошу, берите мой лошадак и отводите в город, — продолжал он, протягивая повод другому мужику.

Конь забил ногами, выворачивая копыта грязи, прижал уши, фыркнул. Никто не решался подойти к нему ближе, и Сваакер напрасно совал кончик узкого поводка вправо и влево. Наконец он крикнул:

— Аким, ты очень замечательный, храбрый мужик, принимай, пожалуйста, мой лошадак!

Аким вышел на круг, по которому танцевала лошадь, кинулся к ней, перехватил у Сваакера узду, коротко, под самой губой жеребца, сильно потянул книзу и взмахнул, для острастки, свободной рукою. Но в тот же миг конь дернул голову, оторвал Акима от земли, приподнял, кинул и, захватив зубами Акимово плечо, снял до локтя рукав полушубка.

От суматохи, смеха и криков — убьет! убьет! — буланный загорячился еще больше, мощно вздыбился, и Аким кое-как, на карачках, пустился спасать свою душу. Сваакер поймал повод, запрыгал обочь лошади, смешно отставляя назад ноги, хороня ступни от копыт и — словно в отчаянии — повизгивая:

— Спасите меня от этот зверь!.. Сваакер не знал, что с ним поделаться!.. Этот лошадь убьет меня!.. Ой, он будет выбивать мне последний глаз!.. Я умолял вас, избавьте меня от этот лошадь, берите его для война!

Когда мужики вволю посмеялись над прыгающим Сваакером, над оторванным рукавом Акима, над собою, хозяин со спокойной ловкостью одернул коня, сказал ему непонятное слово, и он пошел за ним на конюшню, наострив уши, обмахивая черным хвостом огненный глянец боков...

Расположение духа Вильяма Сваакера в этот день было прекрасно, и он легко покончил с двумя поджидавшими его неприятностями.

Нежданно-негаданно на Трансвааль явился старый владелец мельницы. Все богатство его было с ним: сума за спиною, подонок в руке, лапти с веревочными оборками на ногах. Он вытянул из-за пазухи запродажную, дал ее Сваакеру и стал ждать, что тот скажет. По бумаге выходило, что задатку за мельницу было дано десять тысяч, а пятнадцать оставалось за покупателем. Сваакер накормил гостя, набил его суму хлебом, потом вывел мельника на улицу и сказал:

— Видишь, вон стоит мужик, вон стоит задом? Это — настоящий хозяин мельница! И во-он баба доставал в колодец ведро вода, видишь? Это тоже хозяин мельница! Мельница — народный! У меня может отнимать мельница каждый минута, я всегда видел один только сон, как меня прогнали с Трансвааль. Зачем я буду заплатить деньги за чужой добро? Ступай, оставайся странник, для человека — это лучший счастье!..

Мельник не простился с ним, Сваакер растерянно посмотрел на его лапти, вернулся домой, раскопал в

чулане сношенные сапоги и велел работнице воротить нищего. Но нищий не вернулся...

Вечером, за столом, вечно тихая Анна Павловна внезапно осмелела. Она долго говорила о судьбе, об уехавшем на верную смерть муже, о черствых сердцах, пока не решилась кратко и неожиданно заключить:

— Совсем вы, Вильям Иванович, не любите Наденьку!..

Сваакер вскинул брови и на мгновение застыл.

— Я думал, милый мамаша, мой жена имеет язык, но... но он молчит...

— Ах, Вильям Иванович, ну, что мы будем шутить! Разве вы не видите, что с Наденькой случилось? Краше в гроб кладут!

— Зачем — в гроб? — испугался Сваакер, привскочив в своем кресле. Он затряс руками, попеременно обращаясь к жене и теще: — Я ничего не знал. Я давал моя жена лучший кусочек, я давал ей музик, я перетаскивал сюда двадцать пуд книги, я...

— Будет притворяться! — с сердцем прервала его Анна Павловна. — Ведь и слепой видит, как вы Наденьку обманываете!

— Сваакер обманывал?

Надежда Ивановна пошла в соседнюю комнату. В дверях она обернулась, брезгливо и устало проговорила:

— Оставьте, мама, прошу вас!

Но Анна Павловна расплакалась, слезы у нее сыпались бойко, точно веселые капли июльского дождика, и, отряхивая их со щек, с подбородка и кофты, она лепетала полные обиды слова:

— Изменять тут же, за стенкой, рядом с кроватью жены, изменять с батрачкой!..

— Кто это говорил вам, несчастный женщин, кто говорил, что Вильям Сваакер — такой ужасный ловелас?..

— Да, милый мой, она же сама и сказала! Она же от тебя тяжелой ходит!

Сваакер погладил лысину. По лицу его разлилось спокойствие, он удобнее уселся в кресле.

— Если она говорил — она лучше знает. Это надо решать совсем не так. Вы не должны делать сцена. Вильям Сваакер не любит крик и слез, он делал пачало, он будет делать конец. Вы не понимал современный... как это? — супружничество, да! Женщин раскрепостился, мужчин раскрепостился тоже! Вы — старый женщин, мамаша...

— Да сами-то вы — старый хрыч, стыдно! — крикнула Анна Павловна и убежала к дочери.

Вильям Сваакер, посидев минутку в неподвижности, улыбнулся, посмотрел вслед теще и убежденно, негромко сказал:

— Со старый хрыч это не может случаться. Да, это может случаться только всегда с молодой хрыч...

Он пошел на кухню. Работница, вертко размахивая заткнутым подолом, мыла пол. Она разогнулась, проворно откинула сухим локотком упавшие на лицо волосы, весело глянула на хозяина. Он показал пальцем на ее живот, окруженный пышными сборками подобранной за пояс юбки, спросил:

— Ты... это? Да?

— Быдто не знаете? — засмеялась солдатка. — Поди, чай, третий месяц!

Она была круглой, плотной бабенкой, черные глаза ее постоянно сверкали радостью, смуглая кожа гладко и туго обтягивала ее. Вильям Иваныч подошел к ней, помял и пощупал ее лопатки, плечи, грудь, зажмурился и сказал:

— Хорошо! Но тебе не надо больше работать на Трансвааль! Я буду давать тебе хлеб, сало, крупа, два баран и куриц и буду починять твоя изба. Если будет девочка, я буду давать еще два баран. Если будет мальчик, сын, сыночек, я буду давать корова! Запоминал? Согласен?

— А мне ж не все равно? — звонко воскликнула солдатка, окуная тряпку в ушат. — Ты ж ко мне на новоселье придешь? — слукавила она и тут же расмеялась...

Вскоре исполнилось пророчество Вильяма Сваакера: наступил мир. И хотя он не принес с собою пол-

ного счастья, как обещал Сваакер, но вдунул живой дух в работу.

На деревне было все еще скудно, мужики с охотой возили Сваакеру кремневик, целая гора его высилась над буковищем, сверкая на солнце редкими бликами кварцевых граней. Народ устал гадать — зачем понадобилась на мельницу такая уйма камня? Сваакер платил за камень по уговору — хлебом, брал камень в уплату за помол, кремнь шел на Трансваале вместо денег.

Привез наконец воз товару и Аким. Чтобы избежать насмешек, он наскоро, втихомолку, ссыпал камень и отвел телегу к мельнице. Сваакер наблюдал за ним через окно. Когда Аким подошел за расчетом, он с улыбочкой объявил, что прекращает покупку кремня, что ему больше не нужно и он платить не будет, а если Аким хочет — может наложить свой воз и отвезти камень назад, в поле. Аким только скрипнул зубами, бросился к лошади и, отъехав подальше, показал Вильяму Ивановичу кулак...

Зима прошла в таинственных приготовлениях. К мельнице в той стороне, где был ссыпан кремневик, пристроили тесовый сарай, поодаль вывели большой приземистый барак. По чертежам Сваакера выдвигали в сарае невразумительное сооружение из деревянных шестерен, приводимых в движение мельничным валом. В бараке прилаживали старые мельничные вальцы, на земле ставили шашечницу низких тесовых переборок.

Ранней весной, до ледохода, Сваакер нанял двух камнебоев, промышлявших прежде по шоссе, и молодого парня-мельника. Двор ожил, люди работали с утра до ночи, хозяин успевал всюду с прибауткой и шутовством.

И вот Вильям Сваакер открыл наконец деревне долгожданный секрет: на Трансваале началось производство мельничных жерновов. В сарае причудливая машина разбивала кремневик на мелкие куски ударами железного дробила. Камень переправлялся в барак, там его пропускали через вальцы, и, размолотый в горошину, сыпали в формы для заливки.

Мужики ахали, почесывались, одобряли Сваакера и все доискивались до настоящего секрета: каков состав жидкости, которая сваривает молотый кремнь в сплошной каменный жернов. Но Сваакер посмеивался.

Когда подсохли и укатались дороги, жернова начали возить на станцию, и такого ада, какой подымался на погрузке многопудовых камней в телеги — с криком и руганью возчиков, ржаньем непривычно заложенных лошадей, с треском колес, осей, оглобель, — такого крешенного ада деревня не видывала никогда.

Сваакер потирал руки. Он исхудал, вытянулся, в его осанке появилась легкость мальчугана, он работал радостно и азартно, точно играл в бабки. Вставал он с зарею, в зябкой тишине осматривал свой завод, иногда забирался на камень подле става, думал, окоченело глядя на застывшее пожарище восхода.

Однажды на рассвете Сваакер услышал далекие удары топора. Казалось, что они доносятся из деревни, срастаясь в слитный гул, плавно колеблющийся в небе. Но за этим гулом Сваакер различал короткие, обрывистые стуки, которые падали где-то в конце плотины. И он кинулся туда. Он бежал, пригнувшись, прячась за насыпью плотины, низинкой, поросшей лозняком и крапивой, бежал бесшумно, огибая кусты, останавливаясь, напряженно слушая топор, словно подкрадываясь к токующему глухарю.

На плотине какой-то мужичонка, стоя спиной к Сваакеру, подрубал крайнюю ветлу. Он уже кончал свое дело, топор выкалывал из глубокой зарубины в стволе матовую, сырую щепу, и она, падая, подпрыгивала на укатанной твердой земле. Сваакер тихо перебежал через плотину, спрятался за стволом соседней ветлы, вынул из кармана плоский черный наган и спокойно подошел к мужику. Он навел оружие в лицо порубщика, когда тот занес над головою топор для удара по дереву.

— Добрый утро, Аким, — сказал Сваакер.

Аким метнулся, уронил топор, потом выпятил растопыренные пальцы на мельника и застыл.

— Сейчас совсем рано, а ты уже на работе? — не торопясь и не отводя револьвера, говорил Сваакер. — Подымай твой топорик и давай мне. Ну, не бойся, мой милый дружок!

Аким нагнулся, боязливо протянул топор Сваакеру. Руки его дрожали, он был бледен, мелкая россыпь серых веснушек проступила на его щеках, и только теперь стало видно, как этот человек изможден и слаб. Он вдруг рухнул на колени и взвыл по-бабьи:

— Не погуби-и, Вильян Иваныч!

— Зачем погубить? Я вовсе не такой злой, — ласково ответил Сваакер, наставляя револьвер к Акимову носу. — Я совсем добрый, ты — тоже совсем хороший, и все будет хорошо. Ты только будешь говорить мне, кто тебя научил так прекрасно порубить дерево? Может быть, еще ты скажешь, кто порубил липки у Бурмакин в парк? А?

— Попутало, Вильян Иваныч, был грех!

— Кто путал? Зачем Аким порубил?

— Сильно вы тогда в доме шумели, попутало посмотреть — услышите аль нет, как кряж валится.

— Аким хотел делать маленький шутка? А?

— Отпусти, Вильян Иваныч, не погуби!

Сваакер дотронулся стволом нагана до лба Акима. От ледящего прикосновения металла Аким вскрикнул, испуг подкосил его, он стал биться головою оземь. Сваакер заговорил обрывисто, больше обычного ломая язык. Его голос твердел, лицо стало квадратным, стеклянный глаз то вылезал, то подбирался в глазницу дрожащими веками.

— Ты хотел платить Сваакер, потому что я не купил твой кремешок? Но Сваакер сам продает кремешок! Сваакер может сейчас убивать Аким, и его будут благодарить в совет, потому что он убивал государственный изменник, который разрушал плотина — этот народный достояний! Если Аким не хочет, чтобы Сваакер нажимал собачку — вот, раз! — готово! — чтобы ты валялся на дороге, как собака, если Аким не хочет, он должен выбирать наказаний сам для себя! Говори, какой наказаний для себя ты сам выбирал? Ну?

— Делай что хочешь, не погуби! — простонал Аким.

С мельницы грузно донесся шум пущенной на колесо воды, Сваакер прищурился, рот его дрогнул улыбкой, он быстро сказал:

— Сваакер задумал! Ты будешь немного купаться, делать себе маленький ванна. Вставай!

Аким поднялся. Сваакер толкнул его вперед, навел ему в затылок наган, и они пошли так, под недвижным навесом ивовых крон, вдоль плотины к мельнице.

Там, стоя над буковищем и командуя зажатым в кулак револьвером, Сваакер велел Акиму спуститься под обрыв, залезть в воду, стать под колесо и не сходить с места, пока не будет разрешено. Полюбовавшись на Акима, который корчился от холода и непрерывных тяжких ударов водопада, Сваакер погрозил ему и ушел на работу.

Через четверть часа камнебои вытащили обессиленного Акима из буковища жердями и дали ему переодеться...

Так весело начавшийся день омрачился печальным событием.

После обеда на Трансвааль возвратился Иван Саввич Бурмакин. Он пришел пешком, вид его был жалок, Анна Павловна от неожиданности и сострадания лишилась чувств. Иван Саввич сразу слег, с него успели стащить только сапоги, и он лежал на постели жены грязный, истрепанный, с крошечным лилово-серым от пыли лицом.

Сваакер шумно вошел в комнату. Он приготовил приветственную речь, напыжился, чтобы начать ее торжественно, но, взглянув тестю в глаза, выпустил из груди весь воздух и ушел.

Во дворе он обозленно гонялся за собакой, которая упрямо возвращалась к дому и, задрав морду, выла протяжно и жалобно. Но его скоро позвали в комнаты.

Иван Саввич, высоко подняв нижнюю челюсть с острым седым клинышком бородки и неловко упи-

раясь в подушку затылком, безжизненно пробормотал:

— Поручаю вам... Вильям... свою жену... мать Надюши... дай бог... простите...

Вильям Иванович опустилсЯ на колени в изголовье постели, сжав голову руками, и внезапно заголосил, причитая по-деревенски:

— Ми-лый ты мой те-стюш-ка, на ко-го ты...

Тогда Надежда Ивановна быстро подошла к нему, схватила его за плечи и обернула к себе. Он поднял голову. Его встретил чужой, давящий взгляд непривычно горевших глаз жены. Он хотел изумиться, но она просто приказала ему:

— Перестаньте ломаться. Подите вон.

Он был так поражен, что тотчас поднялся и вышел на цыпочках.

Минуту спустя приват-доцент Бурмакин был совершенно безразличен к Москве, университету, к деревне, Трансваалу, и седенький клинышек бородки казался нарочно приклеенным к его маленькому запыленному лицу...

Вильям Сваакер легко настоял, чтобы покойника похоронили на островке посредине пруда, в тени круглой ивовой кущи, похожей на погост.

— Я хочу всегда иметь могилка мой родной тe-стюшка перед глаза! Выходил на бережок, посмотрел, поплакал, и стал сразу немножко полегче!

Он наскоро выстроил плот, украсил его ветвями ельника, плотники вырубили громадный крест, починили лодку.

Гроб внесли на плот мужики. Вильям Сваакер накрыл его покрывалом, взял крест, и плот медленно отпихнули от берега. С гробом плыли Сваакер, толкавший плот шестом, и дьячок, который стоял впереди покойника, лицом к островку.

На лодке ехали жена и дочь Бурмакина, двое рабочих с заступами и деревенский батюшка. На нем была малиновая риза в серебряных крестах, плисовая камилавочка. Из осторожности он придерживался за нос лодки левой рукою, стоял согнувшись и неловко помахивал кадилом, перехватив его поко-

роче. Реденький дымок ладана нехотя тащился по воде, следом за лодкой. Приученным голоском попик заводил:

— Во блаженном успении... пода-а-аждь... сохрани ему ве-е-е...

И на плоту дьячок с Вильямом Сваакером подхватили:

— Ве-е-ечная па-а...

Перед тем как подплыть к острову, Сваакер на минуту перестал работать шестом и произнес мечтательно:

— Я видал такой печальный картина, который назывался Остров Смерть. Вот как теперь, — он обвел рукою плавучую процессию, остров и приложил к глазам ладонь.

Крестьяне, толпившиеся на берегу, следили за похоронами с угрюмым любопытством. Они знали об истории с Акимом, и в их представлении Сваакер приобрел какую-то новую, опасную черту.

На поминках по Бурмакине, подвыпив и развеселившись, мужики пристали к хозяину:

— Нет, ты без утайки, Свёкор! Как же это выходит: в бога ты, говоришь, не веришь, а на могиле вон какой крест воткнул? Ты скажи!

— Это я делал, чтобы мой милый тестюшка не вставал из могилка! — объяснил Сваакер, грозя пальцем в сторону островка. — Я буду еще класть один большой плита, тогда будет совсем крепко!

Тут кто-то из мужиков сказал про Сваакера:

— Свят, свят, будто просвира, а поди укуси его — он каменный!

Так и пошло ходить по уезду новое словцо о Вильяме Иваныче: каменная просвира...

После смерти отца Надежда Ивановна больше чем прежде замкнулась, холодное безразличие ко всему странно овладело ею, она как будто не жила на Трансваале. Анна Павловна непрерывно плакала, теряла остатки уважения к зятю, попрекая его всеми несчастьями, так что вскоре он решился на оправданный опытом шаг.

Он построил крытую повозку с низкими колесами, похожую на фургоны, в каких путешествуют бродячие цирки, нагрузил ее имуществом тещи и попросил Анну Павловну переселиться к родственникам в уездный городок.

Анна Павловна исполнила эту просьбу с облегчением. Уезжая, высунувшись из фургона и взглядом прощаясь с дочерью, она быстро перекрестила ее и сказала всего два слова:

— Значит, судьба....

По утрам круглый островок хоронит в своих ветлах ночную тень, и в ее мраке стройно белеет высокий крест.

Вильям Сваакер стоит на камне, подле мельничного става. Осанка его прочна и величественна, взгляд пристален и зорок.

Позади него разметнулись новые постройки. Их стены снаружи оклеены плакатами о налоге и кооперации, паукообразными попами и красными рожами деревенских кулаков. Когда помольщики не понимают значения плакатов, Сваакер объясняет его в духе времени. В конторе, в переднем углу перед иконой, вместо лампы подвешен молоток, и хозяин говорит о нем с умилением:

— Это — мой символ труд! Этот молоточек я начинал весь мой маленький культурный дело, мой Трансвааль!

В конторе за столом сидит барышня, привезенная из города. Справа от нее — «ундервуд», слева — арифмометр. Барышню, кажется, придется скоро уволить, надеть коровью, гусиными, мукой и отправить назад в город...

Иногда Вильям Сваакер посвящает в свои планы жену. Она сидит в темном углу комнаты, спрятавшись от неровного света электрической лампы. Сквозь нескончаемый стремительный шум динамо, долетающий со двора, едва различимы слова мужа:

— Надин, ты знаешь Осовня? Это — несчастный бедный деревня: каждый гроза он горит! Мужик сов-

сем потерял голова — что делать? Я хочу делать в Осовня громоотвод. Мужичок будет немножко возить кремешок на станций, Сваакер будет делать громоотвод. А?

Надежда Ивановна молчит. Муж мурлычет песенку, потом мечтательно говорит:

— Культур!.. Сваакер будет делать электричество в каждый деревня... Весь уезд — Сваакер!

Он подходит к жене и настойчиво повторяет:

— Надин!.. Надин!.. Как ты думаешь, Сваакер может делать электричество весь уезд? Надин!

Тогда Надежда Ивановна, закрывая глаза, тихо и безразлично говорит:

— Мне кажется, Вильям, ты можешь все...

1925—1926

ПРИМЕЧАНИЯ

БРАТЬЯ

Роман впервые опубликован в ленинградском журнале «Звезда», №№ 3—9, 11—12, 1927 г., и № 2—3, 1928 г. Отдельные главы и отрывки из романа печатались также в различных периодических изданиях. Так, в 1927 году в «Ленинградской правде» были опубликованы два отрывка — «Конец Ростислава» и «Смерть Шеринга», в «Смене» — «Музыка», в «Красной газете» — «Речной бой». В 1934 году отдельным изданием вышло «Детство музыканта» (Л. Гослитиздат).

У Федина долгое время зрела идея единства национального и революционного искусства: художнику «нечем наполнить себя без родины». Углублению, оттачиванию этой идеи способствовала переписка с Горьким, которая нашла художественное выражение в «Братьях».

В своих письмах Горький говорил об ужасающем разложении эмигрантской литературы, о том, что уход от родины, от революции лишил ранее талантливых писателей способности творить, обрекал их на бесплодие, превращал в истерических эпигонов. Так, в одном из писем Горький пишет Федину: «С изумлением, почти с ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди, еще вчера «культурные». Б. Зайцев бездарно пишет жития святых. Шмелев — нечто невыразимо истеричное. Куприн не пишет, пьет. Бунин переписывает «Крейцерову сонату» под титулом «Митина любовь». Алданов тоже списывает Л. Толстого. О Мережковском и Гиппиус — не говорю. Вы представить себе не можете, как тяжело видеть все это».

Переписка с Горьким помогла также оптимистической постановке в «Братьях» вопроса о старой интеллигенции и новом герое. В период работы над «Братьями» Федин писал Горькому:

«Я, кажется, всегда только жалею и восхищаюсь скупой и ненадолго. На замечательного, красивого, умного и, конечно, ползющего рысак, например, я всегда немножко досадую, а забитая, никчемная кляча меня волнует глубоко. Я знаю, что в этом порок моего зрения, но лечиться у меня не хватает выдержки, а очков я не люблю. Словом, я смирился перед неизбежностью до конца дней любить только жалкое и ненужное».

Горький отвечает: «Аз есмь старейший ненавистник страданий и физических и моральных. И те и другие, субъективно и объективно взятые, возбуждают у меня негодование, брезгливость и даже злость. Страдание необходимо ненавидеть, лишь этим уничижишь его. Оно унижает человека, существо великое и трагическое. «Клячи» нередко рисуются им, как нищие своими язвами...

...Нет, дорогой друг, мне с Вами трудно согласиться. На мой взгляд, с людей страдающих надобно срывать словесные лохмотья. Часто под ними объявится здоровое тело лентяя и актера, игрока на сострадание и даже — хуже того.

Мне кажется, что Вас, художника, не «клячи» трогают до слез, а Вы волнуетесь от недостаточно понятого Вами отсутствия смысла в бытии «кляч».

Впоследствии Федин говорил, что письма Горького помогли ему освободиться от традиционного в старой литературе интереса к страданию и вызвали уважение к человеку сильному и цельному, верящему в творческие силы разума и воли. Это прежде всего повлекло за собой более конкретное и жизнеутверждающее изображение в «Братьях» (по сравнению с «Городами и годами») положительного героя, революционера-коммуниста — образы Родиона Чорбова и Ростислава Карева. Переписка с Горьким, возбуждая интерес к «рысак», то есть к людям, которые, по словам Горького, творили и творят все, что радует нас, чем мы гордимся, ослабляла внимание Фебина к раздвоенному интеллигенту, «лишнему человеку». Федин как бы прощается в «Братьях» со старым героем, столько лет волновавшим его воображение, — оттого эпиграф к роману гласит:

Прощай, прощай, и если навсегда,
то навсегда прощай!

Байрон.

Горький прочитал первые главы романа, когда тот еще публиковался в «Звезде», и написал Федину в апреле 1928 года, что начало ему «очень понравилось строгим тоном, эконом-

ностью слов, точностью определений. Жду отдельного издания. М. б., оно уже вышло и послано мне, — но — до меня не дошло...»

Отдельным изданием роман вышел весной того же года, и Федин вручил его Горькому при свидании с ним в Москве в начале июня 1928 года.

10 декабря 1928 года Федин получил из Зальцбурга письмо от Стефана Цвейга, в котором тот говорил, что его «страстно захватило» чтение романа «Братья», что в этой книге он находит «искусство композиции возросшим еще сильнее, и потом — в ней у Вас есть то, что у русских художников так непонятно большинству (и чего, к моему огорчению, я совершенно лишен) — великолепная способность, с одной стороны, изображать народное, совсем первозданно человеческое, и одновременно создавать тончайшие артистические фигуры, показывать духовные конфликты во всех их сверхчувственных проявлениях».

В следующем письме от 24 мая 1929 года Стефан Цвейг приглашает Федина на конгресс ПЕН-клуба в Вену и к себе в Зальцбург и сообщает о своем намерении написать статью о книгах Федина (в первую очередь о «Братьях»), которые он «необыкновенно» любит и «которые принадлежат к тому наиважнейшему, что нам дала новая русская литература».

В «Братьях» много непосредственных жизненных впечатлений Федина от быта и природы дореволюционного Поволжья.

Смурский переулоч в приволжском городе, громилы «потники» и «анафемы», серенькие, деревянные домишки, где ютилось мещанство и городская беднота, — это тот самый переулоч, где жил Федин в детские и отроческие годы. До сего времени сохранился в Саратове этот переулоч под тем же названием и старенький домик, где жил Федин.

Следует отметить некоторое сходство отдельных черт семьи Каревых в главе «Одна ночь» с семьей профессора-хирурга Грекова, как она изображена во 2-й части книги «Горький среди нас».

Прототипом старого профессора Арсения Арсеньевича с его донкихотством, старомодностью, экзальтацией, в известной мере, является Аким Волынский, которого Федин встречал в доме Грековых.

«Статья композитора Ю. А. Шапорина», публицистически подтверждающая основную идею романа об единстве национального и революционного искусства, была по просьбе Федина

написана Шапориным специально для «Братьев» и обработана автором романа совместно с композитором.

За рубежом роман «Братья» вышел в переводах на следующие языки: болгарский (София, 1957), испанский (Мадрид, 1930), итальянский (Турин, 1929; Рим, 1945), немецкий (Берлин, 1928, два издания; Штутгарт, 1947; Лейпциг, 1954), польский (Варшава, 1956), румынский (Бухарест, 1954, 1955), сербский (Белград, 1939), словацкий (Братислава, 1950), чешский (Прага, 1929, 1951).

П О В Е С Т И

НАРОВЧАТСКАЯ ХРОНИКА

Сатирическая повесть «Наровчатская хроника» впервые напечатана в альманахе «Ковш», кн. 2, Гос. изд., Л. 1925.

Во вступительной статье к однотомнику А. И. Куприна (Гослитиздат, 1957) К. Паустовский пишет, что Наровчат, родина Куприна, до революции в литературе ни разу не отмечался, что впервые о нем написал Федин в своей «Наровчатской хронике»: «В общем, только два выдающихся литературных события были связаны с именем этого захолустного городка — рождение в нем Куприна и упомянутая выше книга Фебина, тоже имевшего некоторое касательство к Наровчату (мать писателя была родом из Наровчата)».

На основании этих слов Паустовского одна из обитательниц села Наровчата послала Федину ряд фотографий окрестностей Наровчата. «Вы не знаете, как тронули меня присылкой очень славных фотографий окрестностей неведомого мне и почти загадочного Наровчата! — пишет Федин своей корреспондентке. — Все эти немного странные имена — Наровчат, Инсар, Земетчина, а с ними и такие простые — Краснослободск, Нижний Ломов, Пестровка звучат для меня такой музыкой, которую слышишь, кажется, только в детстве и потом уносишь ее в своей груди в неизвестность будущего и тоскуешь о ней и с нею умираешь.

Я никогда не был в Пензенской области. Но и мать и отец мои были родом пензяками. Только отзвуки давних рассказов и разговоров взрослых, смутные картины столетней давности, что-то зыбкое, неуловимое, как исчезнувший сон, заключены для меня в слове — Наровчат,

Вы знаете, что «Наровчатская хроника» вымышленное название повести, не имеющее ничего реально-общего с действительным заштатным городком, а теперь — селом. Я изумился, что в трех-четыре верстах от Наровчата действительно был мужской монастырь, — никогда прежде никто мне об этом не говорил. Теперь на снимке я вижу, так сказать, воплощение астрального прототипа моего монастыря в «Хронике».

Таким образом, Федин никогда не бывал в Наровчате; несколько анекдотический колорит провинции времен гражданской войны у него возник, по его словам, из разных бытовых наблюдений в Сызрани. Так, летом 1919 года он наблюдал в Сызрани изъятие и возвращение колокола, вышивание революционных знамен в женском монастыре и другие эпизоды в этом духе. Федин воссоздал настолько типичные жанровые картины и пейзажи, что они оказались характерными для любого русского городка того времени, отдаленного от революционного центра.

Для того чтобы усилить сатирическую направленность своей повести, Федин ведет повествование от имени некоего послушника Игнатия. «Маска, избранная мною на роль рассказчика, — говорит Федин, — дает возможность ввести известную наивность передачи одновременно глупых обстоятельств и драматического подтекста или фона революционного времени. Вполне реалистическое изображение, то есть без наивности, здесь было бы невысказано».

У героя «Наровчатской хроники», Афанасия Сергеевича Пушкина, есть прототип. «Двойника» А. С. Пушкина, — рассказывает Федин, — я помню с раннего детства по Саратову. Двойник был изумителен, его знали многие, я видел его появление в саратовском Пассаже, вызвавшее почти фурор у публики.

Позже, когда моя повесть появилась и ее прочитал А. Н. Толстой, он был изумлен, что я «тоже» видел двойника Пушкина: оказалось, эта фигура была хорошо знакома Толстому, но он утверждал — не по Саратову (где он жил с матерью короткое время), а по Самаре. Толстой сам хотел написать о двойнике и страшно жалел, что я его «обогнал»... Очень возможно, что наш «Пушкин», живя на Волге, появлялся в разных городах. Он был мелким служащим. Самоубийство в повести вымышленное.

Косвенным прототипом другого персонажа «Наровчатской хроники» Симфориана Бесплезного послужил журналист, который «вывез» Федина из Москвы в Сызрань и был его приятелем. Антип Грустный списан Фединым с одного поэта-самоучки, жившего в те годы на Волге,

Повесть впервые напечатана в альманахе «Пролетарий», Харьков, 1926 г.

В «Трансваале» Федин, по его словам, хотел показать деревню «русского прошлого, использующую в свою самозащиту нэп».

В советской литературе в годы нэпа завязалась напряженная идейная борьба вокруг деревенской темы. И тема и горячие споры вокруг нее диктовались самой действительностью: допущение частных мелких предприятий и торговли вело к временному укреплению кулачества. Это было воспринято отдельными писателями как угроза реставрации капитализма. Отсюда настрояния пессимизма, растерянности в некоторых книгах того времени. «Трансвааль» отличается от этих книг сатирической направленностью, обличительной силой. Но элементы социального пессимизма нельзя не отметить и в изображении взаимоотношений кулака Сваакера с крестьянами.

Впоследствии Федин писал, что во время работы над «Трансваалем» его интересовала «не социальная сторона явления, а биологическая, скрытая, интимная — сокровенность чувств хуторянина, цепкость его надежд, его ожиданий сказки, родом своим вышедшей из лесной глуши и манящей человека назад, в глушь. Среди хуторских чаяний возникают дикие, почти величественные уродства: пройти мимо них не мог бы ни один художник...»

Повесть была написана на материале, который в середине 20-х годов Федин вывез из глухих лесов Смоленщины (Дорогобужский уезд). Там нэп оживил «маленького чумазого», старые отношения между крестьянами, что породило обстановку, названную впоследствии «смоленским гнойником» (см. примечания к первому тому о рассказах «Пастух», «Тишина», «Утро в Вяжном»).

Прототипом Сваакеру послужил владелец небольшого заводи в Ельнинском уезде «Трансвааль-жернов» Юлиус Саарек. Это был враг опасный и умный, кулак нового, «европейского» типа. С появлением повести «Трансвааль» этот нэпман скупал в книжных магазинах Смоленской губернии экземпляры книги Федина, чтобы уничтожить обвинительный акт на свою пресловутую деятельность,

Герой «Трансвааля» стал нарицательным именем в печати для обозначения зарвавшихся кулаков. Наиболее интересен в этом плане обширный очерк «Сваакер из Паласовки», опубликованный в «Поволжской правде» 18 апреля 1929 года.

«Увы, Свааеры существуют не только в художественной литературе», — заключает автор очерка.

В «Комсомольской правде» от 16 декабря 1928 года была помещена большая статья «Лицо классового врага» с такими подзаголовками: «Саарек «любит социализм», «Кулак в новой личине», «Сильнее огонь по кулаку!»

Переводы повестей печатались в иностранной периодике и выпущены отдельными изданиями в сборниках К. Федина под названиями: «Наровчатская хроника» — в чешском переводе (Прага, 1928, 1958) и «Трансвааль» — на языках: испанском (Мадрид, 1928, 1929), немецком (Берлин, 1928; Лейпциг, 1957), французском (Брюссель, 1927), чешском (Прага, 1928).

Обе повести вошли в десяти томное собрание сочинений К. Федина на немецком языке (Берлин, 1958, том 1).

СОДЕРЖАНИЕ

БРАТЬЯ

Роман

Одна ночь	9
Inferno	60
На взвозах	116
Караваны	197
Концерт	302
Утраты	363

ПОВЕСТИ

Наровчатская хроника	419
Трансвааль	456
Примечания	509

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ф Е Д И Н

Собрание сочинений, т. 3

Редактор *И. Чеховская*
Художеств. редактор *Ю. Боярский*
Технический редактор *В. Гриненко*
Корректор *В. Седова*

•

Сдано в набор 14/IV 1959 г.
Подписано к печати 16/VII 1959 г. А04265.
Бумага $84 \times 108\frac{1}{32}$ — 16,25 печ. л. = 26,7
усл. печ. л. 24,79 уч.-изд. л.
Зак. 1170. Тираж 90 000 экз. Цена 9 р.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

•

Ленинградский Совет народного хозяйства.
Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

